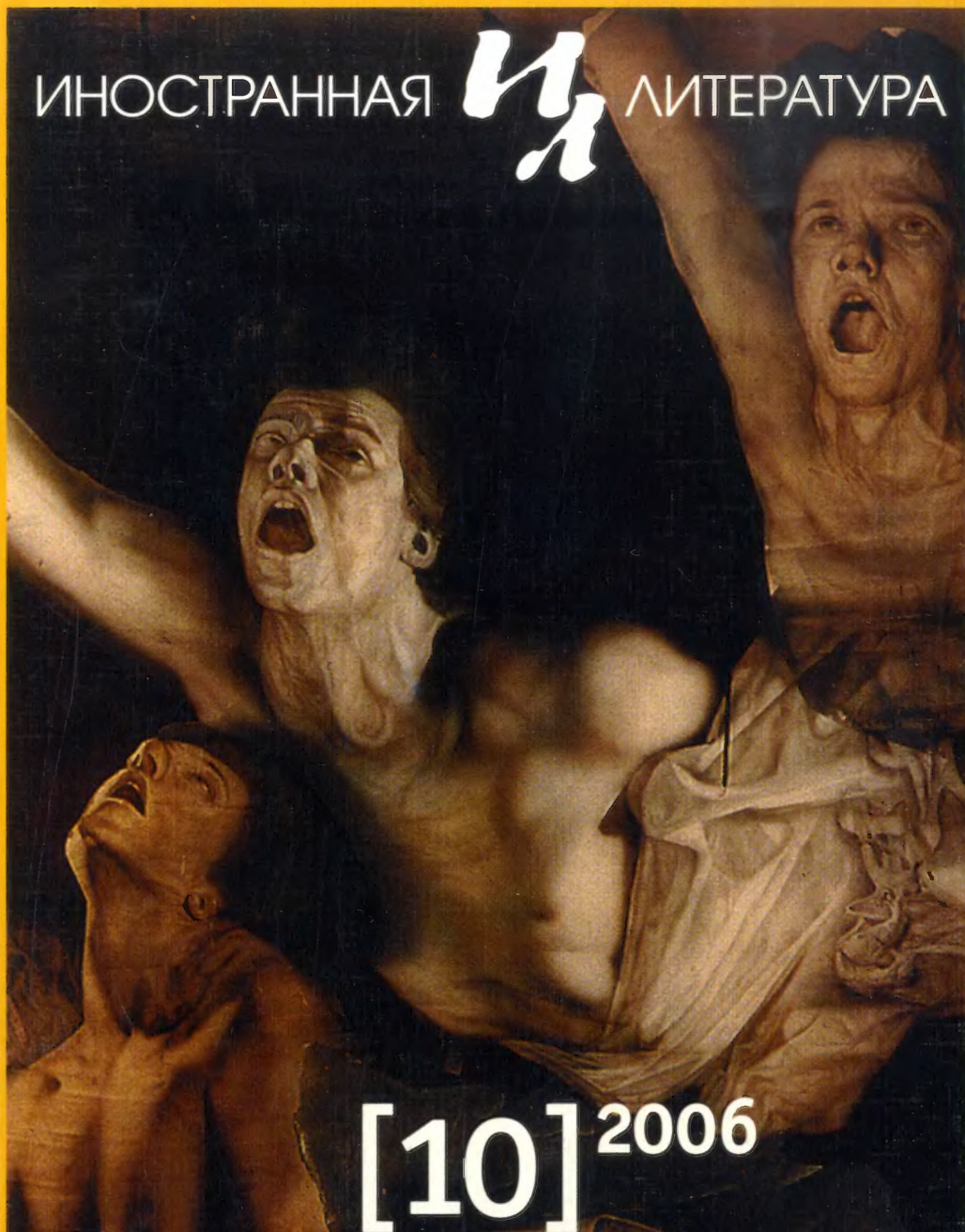
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2006

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: "БАЛКАНЫ. ПЕЙЗАЖ РАЗВАЛИН" / РОМАН ДЖОНА БЭНВИЛЛА "МОРЕ" — БУКЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2005 ГОДА / ПОВЕСТЬ ЗБИГНЕВА МЕНТЦЕЛЯ "ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА" / ИСПАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПЕРЕВОДЕ ПАВЛА ГРУШКО / ДЖОН ЭШБЕРИ В РУБРИКЕ "ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ" / "НА ПОЛЯХ ХОЛОКОСТА" — СТАТЬЯ ЛЬВА АННИНСКОГО / ГРЭМ СВИФТ, ТИБОР ФИШЕР И ЧЖАН ЖУН В РУБРИКЕ "НАШИ ИНТЕРВЬЮ"

Основан в 1891 году

Поздравляем
нашего постоянного автора
Наталью Михайловну Вагапову
с вручением ей правительственной награды
Республики Хорватии –ордена Авроры Хорватской
за заслуги в области изучения и распространения
достижений хорватской культуры.

[10]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Джон Бэнвилл *Море.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц

94 Збигнев Ментцель *Все языки мира.* Повесть. Перевод с польского К. Старосельской

183 *Испанские пословицы и поговорки.* Перевод с испанского и вступление Павла Грушко. Евгений Солонович о переводчике

Другая поэзия. Антология

Джон Эшбери

193 Антон Нестеров *Джон Эшбери: поэзия сложности*

202 Джон Эшбери *Стихи.* Перевод с английского Аркадия Драгомощенко, Антона Нестерова, Александра Уланова, Яна Пробштейна, Ирины Ковалевой

216 Ян Пробштейн *Интервью с Джоном Эшбери*

Литературный гид "Балканы. Пейзаж развалин"

220 Андрей Шарый *Фантомные боли*

228 Бора Чосич *Катарина.* Фрагменты романа "Наставники". Перевод с сербского и вступление Василия Соколова

251 Миленко Ергович *Рассказы.* Перевод с хорватского Ларисы Савельевой, Елены Солодовниковой

259 Джевад Карахасан *Пейзаж развалин как сад. (Поэтика руин.)* Эссе. Перевод с боснийского Ларисы Савельевой

Наши интервью

271 *Фестиваль книги.* С Грэмом Свифтом и Тибором Фишером беседует Александр Ливергант

276 *Чжан Жун: "Дикие лебеди" и Красное, Красное Солнце.* Материал подготовлен Романом Шапиро

Статьи, эссе

284 Лев Аннинский *На полях Холокоста*

Среди книг

291 Е. Гениева *Национальная литература столетия: стереорама.* Галина Снежинская *Все о нем*

БиблиофИЛ

297 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

299

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

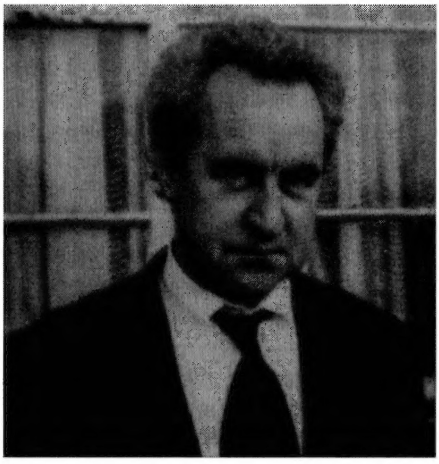
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Джон Бэнвилл



Море

Роман

Перевод с английского Е. Суриц

I

Их уже нет, тех богов, канули, сгинули в день странного прилива. Все утро под бледным небом вода в бухте взбухала, взбухала, забиралась на невозможную высоту и мелкие, плоские волны всползали на каленый песок, годами иначе как от дождя не знавший влаги, и снизу лизали дюны. Ржавый остов сухогруза, давным-давно, не на нашей памяти, выброшенный на мель в дальнем краю залива, мог вообразить, что снова спустили его на воду. Больше не буду плавать, никогда, после того дня. Морские птицы голосили, взвивались, ухали вниз, будто ополоумели из-за того, что огромная чаша воды под ними вздулась, как волдырь, и жутко отливала свинцом. Такие невыносимо белые они были, те птицы. Волны оставляли на берегу грязную, желтую пену. Ни единого паруса на высоком пустом горизонте. Больше не буду плавать, нет, никогда, никогда.

Опять у меня мурашки по коже. Опять.

Дом называется "Кедры", как раньше. Группка бурых деревьев, нахохлясь, разя смолой, спутав, как в кошмаре, стволы, по-прежнему стоит

© John Banville, 2005
© Е. Суриц. Перевод, 2006

слева и через неопрятный лужок смотрится в большое сводчатое окно, когда-то окно гостиной, которую теперь мисс Вавасур, хозяйка, предпочитает именовать салоном. Парадное — с другой стороны и открывается на грязный квадрат гравия под защитой высокой железной калитки, все еще крашенной зеленой краской, хоть ржавчина к зыбкой филиграни свела блоки. Поражаюсь, как мало что тут изменилось за те пятьдесят с лишним лет, пока меня не было. Поражаюсь, досадую, чуть ли не ужасаюсь даже, почему, сам не знаю, — с чего бы ждать перемен, раз явился жить на обломках прошлого? Странно, и зачем это дом встал так, вполоборота, слепой штукатурной стеной к дороге; может, в прежние времена, до прокладки рельсов, дорога целилась в совершенно другую сторону, бежала под самым парадным, тоже не исключено. Мисс В. по части дат не сильна, но предполагает, что дом заложили в начале прошлого века, то есть позапрошлого, да? — я плутаю по тысячелетию, наобум набавляю годы. Но таким образом легко можно объяснить здешний беспорядок и путаницу, маленькие комнаты вперемежку с большими, окна, глядящиеся в слепые стены, сплошь низкие потолки. Полы из красной сосны отдают морской ноткой, как и мой долгоспинный вертящийся стул. Что ж, вообразим старого морехода, наконец-то осевшего на берегу, — он дремлет у камелька, а зимняя буря гремит оконницами. Ох, быть бы на его месте. Побывать в его шкуре.

Когда я тут был, давным-давно, во времена тех богов, "Кедры" были такой летний дом и сдавались — на две недели, на месяц. Весь июнь ежегодно его заполоняло шумное семейство богатого доктора — мы не любили горластых докторских деток, они над нами смеялись, швырялись камнями из-за нерушимого барьера калитки, — а после них заявлялась таинственная пожилая чета, эти ни с кем не общались и в урочный час, каждое утро, в скорбном молчании выгуливали своего жирного пса по Станционной до берега. Август был в "Кедрах" самое интересное время, для нас по крайней мере. Жильцы каждый год разные, то англичане, то с континента, занесло как-то парочку молодоженов, мы пробовали за ними подглядывать, и один раз закатилась сюда даже труппа бродячих артистов, давала по вечерам представления в продувной деревенской киношке. А потом, в тот год, в доме поселились Грейсы.

Прежде всего я увидел автомобиль, припаркованный на гравии, внутри за калиткой. Побитый и поцарапанный, низкая посадка, бежевые кожаные сиденья и крупные спицы полированного руля. Книжки в мятых, линялых обложках валялись под лихо откинутым задним стеклом, и скучал среди них путеводитель по Франции, сильно потрепанный. Парадное стояло настежь, снизу неслись голоса, наверху кто-то топотал по доскам босыми ногами, и хохотала девочка. Я застыл у калитки, откровенно подслушивая, и вдруг из дому выходит взрослый, с бокалом в руке. Невысокий, полноватый, крупные плечи, большая круглая голова, волнистые, стриженые, глянцевито-черные волосы с ранней проседью, черная бородка клинышком с точно такой же проседью. Зеленая рубашка расстегнута, шорты цвета хаки, и он босиком. Загар такой крепкий, что отдает фиолетовым. Даже ноги, я заметил, темные на подъеме; тогда как, по моим наблюдениям, все отцы ниже линии воротничка обычно были рыбно-белесы. Ставит бокал — льдисто-голубой джин с кубиками льда и ломтем лимона — под рискованным углом на крышу автомобиля, открывает дверцу, шарит на приборном щитке. В

доме, наверху, снова хохочет невидимая девочка, визжит в притворном испуге, снова топочут босые ноги. Там бегают наперегонки, она и еще кто-то, но тот молчит. Взрослый распрямляется, берет свой джин, хлопает дверцей. Того, что искал в машине, он не нашел. Он уже хочет вернуться в дом, но тут глаза его натыкаются на мой взгляд, и он мне подмигивает. Не так, как всегда подмигивают взрослые — игриво, заискивающе. Нет, тут дружеский, заговорщический, прямо масонский знак — в том смысле, что минута, которая свела нас, мальчишку со взрослым, по видимости пустая, неважная, обладает, оказывается, тайным смыслом. У него поразительно светлые, прозрачно-голубые глаза. Но уже он возвращается в дом, с порога бросает: "Проклятая штуковина, кажется..." — и скрывается. Я еще постоял, засматривая в верхние окна. Никто не выглянул.

Такова была моя первая встреча с Грейсами: сверху девочкин голос, топот босых ног, а внизу мне подмигивают голубые глаза, весело, дружески, чуть жутковато.

Вот, опять себя ловлю: опять этот тоненький, нудный свист сквозь передние зубы — новая новость. Фью-фью-фью — как бормашина дантиста. Так отец свистел — ну и я туда же? В комнате через коридор полковник Бланден крутит радио. Обожает вечерние дискуссии: гневные звонки сограждан, возмущенных сволочами политиками, ценами на спиртное, тому подобными вечными раздражителями. "Общение", — кратко объясняет полковник, откашливается, по-видимому, конфузится, прячет от меня выпученные, выцветшие глаза, хоть я от него не требую никаких объяснений. Или он слушает свое радио, валяясь в постели? Придется себе представить, как он лежит, в серых теплых носках, шевелит пальцами, галстук на сторону, воротник распахнут, руки запрокинуты и сзади сжаты на старой жилистой шее. Вне своей комнаты он сама вертикальность, весь подтянут — вверх, от подошв чиненых-перечиненых лоснистых ботинок к конической маковке черепа. Каждую субботу стрижется у деревенского парикмахера, все подчищается сзади и по бокам, наверху оставляется ястребиный седой хохолок. Торчат старые уши с длинными мочками, их как будто долго-долго сушили, коптили; белки глаз тоже отдают дымной желтизной. Слышу жужжание голосов, но смысла не разобрать. Нет, тут с ума сойдешь. Фью-фью-фью.

Или в тот же день, когда приехали Грейсы, только попозже, или на следующий, опять я увидел черный автомобиль, я сразу его опознал, когда он подпрыгивал, одолевая горбатый мосток над рельсами. Он и теперь тут как тут, мосток, сразу за станцией. Да, жизнь уходит, остаются предметы. Автомобиль выезжал из деревни в сторону города. Назовем его Баллимор, от нас в двенадцати милях. Город Баллимор, деревня Баллилесс, может, смешновато, ну и пусть. Тот, с бородкой, который мне подмигнул, сидит за рулем, что-то говорит, хохочет, запрокидывает голову. Рядом женщина, локтем на опущенном стекле, тоже запрокидывает голову, светлые волосы треплет ветер, но она не хохочет, она улыбается только, той своей улыбкой, которую для него одного держала, скептической, снисходительной, томной. Белая блузка, темные очки в белой пластиковой оправе, сигарета в руке. Но сам-то я где, с какой точки подглядываю? Себя я не вижу. Секунда, и их уже нет, автомобиль, дрогнув задом, в струе выхлопного газа вильнул за поворот. Высокие травы в ка-

наве, светлые, как волосы женщины, кратко дрогнув, снова задумчиво застывают.

Я шел по Станционной в солнечной пустоте вечернего часа. Берег у подножья холма рыже мерцал под полосою индиго. Всё на море — узкие горизонтали, мир сведен к нескольким долгим прямым, зажатым между землею и небом. Я приближался к "Кедрам" с опаской. И почему это в детстве все новое, привлекавшее мой интерес, отдавало жутью, тогда как, согласно авторитетам, жутко не то, что ново, а то, что знакомо, но возвращается в новой форме, в качестве призрака? Да, много есть неразрешимых вопросов и понасущнее этого. Подходя, я слышал ржавый упорный скрип. Мальчишка, мне ровесник, повис на зеленой калитке и, вяло уронив руки, отталкиваясь ногой, медленно раскачивался над гравием. Те же светлые волосы, что у женщины в автомобиле, безошибочно те же, что у мужчины, голубые глаза. Я просто шел себе мимо, ну, положим, даже задержался, запнулся, а он ткнул гравий носком кеды, пресек вращенье калитки, и смерил меня взглядом — враждебным и вопросительным. Так все мы, дети, друг на друга смотрели при первой встрече. За его спиной мне открылся весь узенький сад, тыл дома, диагональная просадь вязов у полотна — уже их нет, тех вязов, повырублены, заменены строем пастельных дачек, кукольных домиков, — и даль, где были тогда поля, и коровы, и рыжие вспышки утесника, и одиноко тянулся шпиль, и небо катило белые облака. Вдруг, поразительно, мальчишка скорчил жуткую рожу: скосил глаза, высунул язык чуть не до подбородка. Я двинулся дальше, всей спиной чувствуя его насмешливый взгляд.

Кеды. Про них теперь как-то почти нет речи. А так славно рифмовались с "Кедрами". Теперь все больше — кроссовки. Опять полковник отправился в сортир. Нелады с простатой, могу поспорить. Проходя мимо моей двери, он умеряет шаг, скрипит на цыпочках, из уважения к моей утрате. Блюдет условности, доблестный наш полковник.

Я иду по Станционной.

Как часто мы замирали в детстве, или это теперь только кажется; бдительно; выжидательно. Ждали, в нашем еще не готовом мире, вглядывались в будущее, как мы с тем мальчишкой вглядывались друг в друга; ждали; как солдаты на поле боя ждут судьбы. У подножья горы я замер и поглядел на три стороны, вдоль Береговой, вдоль Станционной и еще туда, где была жестяная киношка и бесплатные теннисные корты. Ни души. Дорога за кортами называлась Скальной, хотя какие б там ни были скалы когда-то, их давным-давно слизало море. Там, говорили, на песчаном морском дне стоит церковь, целехонькая, с колоколом на звоннице, прежде она высилась на мысу, но он тоже исчез, обрушенный жуткой волной в роковую ночь потопа и бури. Такими байками кормили нас местные, Дуиньян, молочник, глухой Колфер, промышлявший продажей подобранных после гольфа мячей, — чтоб мы, значит, приезжие, понимали, что их ручная деревенька на взморье тоже знавала кошмарные времена. Реклама сигарет над Береговым Кафе — "Морские" с картинкой: бородатый матрос в спасательном круге, или это петля каната? — от бриза дрожала на просоленно-ржавых петлях, скрипучим эхом отвечая жужжанью калитки в "Кедрах", на которой, конечно, качался еще тот мальчишка. Они скрипят, сохранившаяся калитка, исчезнувшая реклама, до сих пор они скрипят в моих снах. Я отправился по Берего-

вой. Дома, лавки, две гостиницы — "Гольф", "Береговая", — гранитная церковь, бакалея Майлера (плюс почта, плюс паб), а потом поле — Поля — деревянные дачки, и в одной всегда проводили лето мы, отец, мать и я.

Если те, в автомобиле, его родители, как же они оставили мальчишку одного? И где тогда была девочка, девочка, которая хохотала?

Прошлое бьется во мне, как второе сердце.

Фамилия консультанта была мистер Тодд. Не иначе как шутка в дурном вкусе со стороны полиглота-рока[1]. Кстати, могло быть и похлеще. Мистер Гроб, например, не хотите? Этот Тодд к Анне обращался как к миссис Морган, но меня называл Макс. Вовсе не уверен, что мне сильно нравилась как эта почтительность, так и это амикошонство. На первый взгляд казалось, что его кабинет, нет, приемная, — тут говоришь "приемная", как и про него скажешь "мистер", не "доктор", — парит в вышине, хоть этаж был всего-навсего третий. Здание новое, сплошь стекло и бетон — даже шахту лифта забрали в стекло и бетон: прямо цилиндр шприца; когда лифт, жужжа, поднимался и ухал вниз, было очень похоже на то, как шприц вонзают и вынимают, — а две стены главной приемной доктора — сплошь стекло, от пола до потолка. Когда мы с Анной вошли, мне в глаза, пробивая это сплошное стекло, ударило раннее осеннее солнце. Регистраторша, неясное белое пятно, в халате и мягких скрипучих туфлях — в таких обстоятельствах кто станет особенно разглядывать регистраторшу? — сунула документы Анны мистеру Тодду на стол и, скрипя, удалилась. Мистер Тодд нас попросил сесть. Садиться в кресло мне до ужаса не хотелось, я подошел к стеклянной стене, стал смотреть. Прямо подо мной рос дуб или бук — вечно я путаю эти большие лиственные деревья, но не вяз, это точно, все вязы давно позасохли, одним словом, благородное что-то, — и летнюю зелень кроны только чуть посеребрило осенней сединой. Сияли крыши машин. Молодая женщина в темном быстро уходила с парковки, и казалось, что даже на таком расстоянии слышу нежное цоканье по гудрону ее каблучков. Анна бледно отражалась в стекле, очень прямо сидя в металлическом кресле, в полупрофиль: образцовая пациентка, ноги сдвинуты, руки сложены на коленях. Мистер Тодд, избочась за столом, листал документы; бледно-розовый ящичек картотеки мне напомнил знобкие первые утра в школе после летних каникул, гладкость новехоньких учебников под рукой, почему-то грозный запах чернил и заточенных карандашей. Как, однако, разбегается мысль даже в минуты предельной сосредоточенности.

Я отвернулся от стекла, то, что снаружи, стало вдруг непереносимо.

Мистер Тодд был дюжий мужчина, не высокий, не грузный, а очень какой-то широкий: прямо квадратное что-то. Он придерживался успокоительно старомодного стиля. Твидовый костюм с жилетом и часовой цепочкой, рыжие башмаки, полковник Бланден бы одобрил. Волосы напомажены по старой моде, плотно зализаны назад, усы — серой щеткой, — потрясающий вид. Не без некоторого смятения я понял, что, несмотря на весь маскарад почтенности, ему едва ли сильно за пятьдесят. С каких это пор доктора стали моложе меня? Он все писал, тянул время;

1. Der Tod — смерть (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

я его понимаю, точно так же себя бы вел на его месте. Наконец положил перо, но разговора не начинал, вовсю давая понять, что даже уж и не знает, как приступиться. Что-то было заученное в этой запинке, театральное что-то. Опять-таки, понимаю. Доктор обязан быть столь же хорошим актером, как и врачом. Анна поерзала в кресле.

— Ну как, доктор? — она спросила чуточку чересчур громко, напуская звонкую бодрость фильмовой дивы сороковых. — Смертный приговор, или мне даруется жизнь?

Было тихо. Залп остроумия, явно отрепетированный, пробил мимо цели. Захотелось кинуться к ней, обнять и, как пожарник из огня, унести отсюда подальше. Я не шелохнулся. Мистер Тодд смотрел на нее испуганными, заячьими глазами, до середины лба вздернув брови.

— О, миссис Морган, мы вас пока не отпустим. — Большие серые зубы оскалились в ужасной улыбке. — Нет, мы пока подождем.

Снова удар тишины. Анна нахмуренно разглядывала свои сложенные на коленях руки, будто раньше никогда их не видела. У меня предательски дернулось правое колено.

Мистер Тодд пустил в ход неопровержимые доводы, отшлифованные частым употреблением: перспективное лечение, новые лекарства; весь могучий арсенал химического оружия у него под рукой; мог с таким же успехом обещать чудо-зелье, экстракт алхимика. Анна все так же разглядывала свои руки; она не слушала. Наконец он умолк, сел, глядя на нее тем же затравленным заячьим взглядом, слышно дыша, растянув губы в подобье улыбки, демонстрируя те же зубы.

— Спасибо, — сказала она вежливо, и теперь голос шел как-то очень издалека. Сама себе кивнула. — Да — уж совсем издалека, — спасибо.

Тут мистера Тодда, видимо, отпустило, он быстро шлепнул себя ладонями по коленкам, вскочил и буквально затеснил нас к дверям. Когда Анна вышла, он меня пожаловал бодрящей, мужской улыбкой и сухим, быстрым, твердым рукопожатьем: уверен, дежурный набор для супругов в такие минуты.

Коридорный бобрик глушил шаги.

Лифт под нажимом кнопки вонзился в шахту.

Мы вышли в день — как ступили на новую планету, где никто не жил, кроме нас.

*

Добравшись до дому, мы сидели в машине, долго, не в силах заговорить об известном, молчали, вдруг чужие сами себе и друг другу. Анна смотрела вдаль, на залив, где яхты, убрав паруса, колко сверкали на солнце. Живот у нее вздулся, твердый круглый ком изнутри давил на корсаж. Она тогда сказала: "Еще за беременную примут, в моем-то возрасте!" — и мы хихикнули оба, боясь друг на друга глянуть. Чайки, гнездившиеся у нас в трубах, давно улетели — в море, в далекий край, кто их знает. Сплошь все то жуткое лето день-деньской они кружили над крышей, освистывая наши потуги — делать вид, что все хорошо, что ничего не случилось, не рухнул мир. А она тут как тут была, в животе у нее сидела, зрела, время выгадывала, — Тодд, смерть.

Наконец мы вошли в дом — куда денешься. Яркий полуденный свет натекал в кухонное окно и все одевал таким острым, стеклянным блеском, как будто смотрю сквозь глазок фотоаппарата. Знакомые вещи —

вазы на полках, сковороды на плите, хлебная доска и зазубренный нож — как будто, поджав губы, неловко отводили глаза от нашего горя. Вот так, я понял с тоской, так и будет теперь, куда бы она ни шла, о ней будет возвещать этот колокольчик прокаженного. *Как вы дивно выглядите!* — будут возгласы. — *Как же, мы вас такой чудной еще никогда не видели!* И она, сверкая своей улыбкой, будет делать хорошую мину, бедная миссис Скелет.

Она стояла посреди кухни в плаще и шарфе, уперев руки в боки, и сердито озиралась. Она была еще хороша тогда: высокие скулы, просвечивающая, тонкая-тонкая кожа. Я всегда особенно любил ее аттический профиль, линию носа, как резного, слоновой кости, прямо со лба.

— Знаешь, что это такое? — выпалила она горько. — Ни с чем несообразно — вот это что такое.

Я поскорей отвел глаза, чтоб не выдали; своим глазам доверять нельзя, всегда из них смотрит другой, сумасшедший, отчаянный карла. Я понял. С ней не могло такого случиться. С нами не может такого случиться, не те мы люди. От беды, болезни, безвременной смерти не застрахованы добрые люди, скромные люди, соль земли. Но не Анна, не я. Посреди победного шествия, каким была наша с нею совместная жизнь, вылез, осклабясь, паршивец, отделился от ликующих толп и с комически низким поклоном подал моей трагической королеве указ о свержении с трона.

Она поставила чайник, пошарила в кармане плаща, достала очки и надела, накинув тесьму на шею. И стала плакать, беззвучно, рассеянно. Я неуклюже сунулся обнимать, она отдернулась.

— Ради бога, не суетись! Просто я умираю, вот и все.

Чайник закипел, сам выключился, сердито шикнув, осела вода. В который раз я подивился равнодушной жестокости знакомых вещей. Да нет, при чем жестокость, просто они безразличные, что с них возьмешь? Впредь надо принимать их такими, как они есть, и хватит уже фантазировать. Я взял чай, заварочный чайник, гремя — тряслись руки, — но она сказала, что передумала, хочется бренди, бренди и сигарету, — а ведь она не курила и очень редко пила. Стояла в плаще у стола, смотрела на меня с хмурым вызовом, как непослушный ребенок. Уже не плакала. Смахнула очки, они подпрыгнули, успокоились на свисающей с шеи тесьме, потерла глаза. Я нашел бренди, плеснул ей, горлышко бутылки стучало о край стакана, как зубы стучат. Сигарет в доме не было, и где мне их взять — сигареты? Она сказала — не важно, не надо, не так уж и хотелось курить. Стальной чайник сверкал, кудрёй пара из носика смутно напоминая джинна и лампу. Ох, исполни мое желание, только одно!

— Хотя бы плащ сняла, — сказал я.

Почему — хотя бы? Ну и штука язык человеческий.

Я подал ей стакан, она стояла, держала его в руке, не пила. Оконный свет из-за спины у меня блестел на линзах очков возле ключицы, рождал жутковатый эффект: у нее под подбородком, тут как тут — она же, крошечная, с опущенным взглядом. Вдруг она обмякла, тяжело села, протянула руки по столу странным, отчаянным жестом, будто моля о пощаде невидимого судью напротив. Стакан звякнул о столешницу, расплескал половину. Я тупо смотрел. На отчаянную секунду мелькнула мысль, что больше для нее не придумаю ни единого слова, так и будем — ужасно

молчать, до конца. Нагнулся, поцеловал бледный кружок на макушке, размером с монету, откуда раскручивались темные волосы. Она вскинула ко мне лицо, жуткий взгляд.

– От тебя больницей пахнет, – она сказала, – вместо меня.

Отобрал у нее стакан, поднес к губам и залпом выпил все, что осталось от жгучего бренди. Вдруг понял, какое чувство одолевало меня с той самой минуты сегодня утром, как вошел в стеклянный блеск приемной доктора Тодда. Неловкость. И Анна тоже ее чувствовала, уверен. Неловкость, да, прямо какая-то паника – не знаешь, что сказать, куда глаза девать, как себя вести, – да, и еще что-то, не то чтобы злость, а тоска, обида на незадачу, с которой столкнулись оба. Будто нам открыли секрет, до того мерзкий, гнусный, что уже почти невозможно терпеть друг друга, каждый знает, что другой тоже знает про эту гадость, и само знание связывает, и вырваться нету сил. С этого дня впредь будет сплошное притворство. Иначе со смертью не проживешь.

Анна сидела, выпрямившись, на меня не смотрела, бессильно протянула по столу руки ладонями вверх, будто ловила что-то.

– Ну? – Она не повернулась ко мне. – Что дальше?

Опять полковник крадется к себе в комнату. Долгонько он пробыл в клозете. Затруднение мочеиспускания – миленькие слова. У меня у единственного в доме комната, как мисс Вавасур выражается с жеманной гримаской, en suite[1]. А еще у меня – вид из окна, верней был бы, если б не эти треклятые дачки за садом. Ложе у меня итальянской работы, грозное, мощное, высоченное, достойное дожа, изголовье витое и отполированное, как скрипка Страдивари. Надо бы спросить у мисс В., откуда такое взялось. Наверно, при Грейсах это была главная спальня. Мне тогда не случалось подниматься выше первого этажа – разве что во сне.

Только сейчас заметил, какое сегодня число. Ровно год с того самого, первого визита, какой нам с Анной пришлось-таки нанести мистеру Тодду в его приемной. Совпадение. А может, и нет; бывают ли совпадения в царстве Плутона, в бездорожье пустынь, где плутаю я, безголосый, безлирный Орфей? Двенадцать месяцев, однако! Надо б дневник вести. Записки чумного года.

Сон меня сюда и привел. Я шел по сельской дороге в том сне, и всё. Зима, сумерки или, может, та странно лучистая ночь, какая только в снах и бывает. И падает мокрый снег. Я определенно куда-то иду, домой, кажется, но сам не знаю, где он, этот дом. Справа чистое поле, плоское, смутное, и ни дома, ни единой лачуги, а слева темные, хмурые стоят стеной вдоль дороги деревья. Ветки, хоть и зимние, почему-то не голые, и все роняют, роняют плотные, почти черные листья, груженные снегом, который тут же преображается в нежный, искристый лед. Что-то разбилось, сломалось, машина, что ли, нет, велосипед, детский велосипед, потому что я во сне и такой, как сейчас, и в то же время я мальчик, большой неуклюжий мальчик, я иду домой, да, кажется, домой, или куда-то, где раньше был дом, и я сразу его узнáю, только б добраться. Идти еще

1. С дополнением (*франц.*).

долго, но мне все равно, сама по себе почему-то необыкновенно важна дорога, я должен ее одолеть. Я спокоен, я совершенно спокоен, я уверен, что все будет хорошо, хоть толком не знаю, куда иду, просто знаю: домой. Я на дороге один. Снег тихо валил весь день и теперь лежит белый, нетронутый, без единого следа — шин ли, сапог, копыт, — потому что никто не проходил по этой дороге и никто не пройдет. Что-то такое у меня с ногой, с левой ногой, видно, я ее повредил, давно, она уже не болит, но не слушается, при каждом шаге каким-то циркулем выбрасывается на сторону, мне это мешает, не то чтобы очень, но все же мешает. Сердце сжимается от жалости к самому себе, точней, мне, спящему, жалко того, кто мне снится, болвана, который отважно бредет под валящим, валящим снегом, и перед ним дорога, только дорога, и никакой надежды, что она приведет домой.

Вот и весь сон. Дорога не кончилась, никуда я не вышел, больше ничего не было. Просто я шел, отчаянный, неколебимый, без конца продирался сквозь снег и сумрак зимы. Но проснулся я на хмуром рассвете не так, как обыкновенно в те дни просыпался, будто за ночь с меня содрали еще один защитный слой кожи, — нет, с убеждением, что сделано что-то или хотя бы намечено. И тут, уж и не знаю, с каких это пор впервые я вспомнил про Баллимор, про дом на Станционной, про Грейсов, про Хлою Грейс, и почему, сам не знаю, но было так, будто из тьмы я вдруг ступил под выплеск бледного, солнечного, соленого света. Длился он всего минуту, меньше минуты, этот блаженный свет, но он прояснил, что мне делать, куда мне податься.

В первый раз я увидел ее, Хлою Грейс, на пляже. Был яркий день с резким ветром, Грейсы заняли нарытую в дюнах приливами и ветрами узенькую площадку и, обосновавшись там лихо, с размахом, выглядели как на сцене. Снарядились они внушительно: линялый большой полосатый холст, распятый на кольях, защищал от холодящего бриза, складные стульчики, складной столик, в громадной плетеной корзине величиной с небольшой чемодан посверкивали бутылки, и еще были термосы и жестяные коробки с бутербродами и печеньем; были даже настоящие, с блюдцами, чашки. Эта часть пляжа по умолчанию отводилась постояльцам гостиницы "Гольф", их лужок здесь сбегал прямо к дюнам, а потому стрелы негодующих взоров летели в беспечных дачников, куда не надо сунувшихся со своей пляжной роскошью и вином, но в Грейсов стрелы не попадали, Грейсы их не замечали. Карло Грейс, папочка, был опять в шортах, под полосатой курткой темнела грудь, совершенно голая, кроме двух шерстистых пучков в форме распростертых, кучерявых крыл. Я до тех пор, как, между прочим, и позже, не встречал никого столь дивно волосатого. На голову была перевернутым песочным ведерком нахлобучена парусиновая шляпа. Он сидел на складном стульчике, держал перед глазами газету и, несмотря на тугой ветер с моря, ухитрялся курить. Белоголовый мальчишка, тот, который на калитке качался, — Майлз, его тоже пора назвать, — на корточках у отцовых ног сердито ковырял песок отполированной и отвергнутой морем дощечкой. Чуть подальше, у самых дюн, девушка, или молодая женщина, под защитой красного махрового полотенца раздраженно выкручивалась — из мокрого купальника, безусловно. Странно бледная, томная, с длинным, тонким лицом и очень черными, тяжелыми волосами. Всё поглядывала, я

заметил, с какой-то досадой, Карло Грейсу в затылок. И еще я заметил, что этот мальчишка, Майлз, посматривал искоса в явной надежде, которую я разделял, что с девушки соскользнет спасительное полотенце. Значит, едва ли она была ему сестра.

Миссис Грейс шла по пляжу. Она искупалась, и черный купальный костюм ее облепил и темно поблескивал, как тюленья кожа, а поверх была еще юбка с запáхом, из чего-то такого прозрачного, закрепленная на поясе единственной пуговицей, и при каждом шаге она развевалась и видны были голые, загорелые, толстоватые, но красивые ноги. Миссис Грейс встала возле мужа, сдвинула к волосам свои эти очки в белой оправе, выждала такт, пока он опустит газету, взглянет на нее и, подняв руку с сигаретой, заслонит глаза от просоленно-острого блеска. Она что-то сказала, он набок склонил голову, дернул плечом и улыбнулся, выказывая сплошные и ровные белые мелкие зубы. Девушка у него за спиной, все еще под полотенцем, отшвырнула купальник, из которого наконец-то высвободилась, повернулась задом, уселась, лбом уткнулась в колени, накинула на себя полотенце, и разочарованный Майлз вонзил дощечку в песок.

Вот вам все они, Грейсы: Карло Грейс, жена его Констанс, сын Майлз и девушка, или молодая женщина, которая, я вмиг догадался, была не та девочка, которая хохотала в доме в тот первый день, и все эти вещи при них, складные стульчики, чашки, бокалы с белым вином, и откровенная юбка на Конни Грейс, и смешная шляпа, газета и сигарета мужа, и досточка Майлза, и купальник, который так и валяется, как его отшвырнули, — крученый, опушенный по мокрому краю песком, как что-то, оставленное отливом.

Не знаю, долго ли Хлоя стояла на дюне, прежде чем прыгнуть. Может, она там все время была — подглядывала, как я за другими подглядываю. Сначала она была силуэтом, и солнце, ударив из-за спины, соорудило из стрижки сверкающий шлем. Но вот — протянула руки, тесно сжала коленки и прыгнула с дюнной стены. Ветер на секунду вздул шорты. Босая, она приземлилась на пятки, вихрем взметнув песок. Девушка под полотенцем — Роз, пора уж ее тоже назвать, бедную Рози — взвизгнула от испуга. Хлоя качнулась — руки все еще подняты, пятки в песке, вот-вот повалится, плюхнется, но нет, устояла и косо, презрительно усмехнулась, глядя, как Рози трет глаза, в которые попал песок, с кислой миной трясет головой и моргает. "Хло-о-я!" — с укором протянула миссис Грейс, но Хлоя, не обращая на нее никакого внимания, прошла к брату, опустилась рядом на коленки и стала вырывать у него дощечку. Я лежал пузом на полотенце, уткнувшись щеками в ладони, и притворялся, что читаю. Хлоя заметила, что я на нее смотрю, и делала вид, что ей это безразлично. Сколько же нам тогда было? Десять? Одиннадцать? Скажем, одиннадцать, да, так верней. Грудь у ней была плоская, как у Майлза, бедра не шире моих. Поверх шортов — белая майка. Волосы выгорели почти добела. В борьбе за дощечку Майлз наконец победил, щелкнул сестру по костяшкам, Хлоя охнула, ткнула его в ключицу острым, маленьким кулачком.

— Вот, послушайте объявление, — проговорил папаша, ни к кому в частности не обращаясь, и, давясь хохотом, прочитал: "Требуются бойкие люди для сбыта жалюзи. Вождение машины обязательно. Обра-

щаться по номеру двадцать три". Он хохотал, он кашлял, он хохотал, хохотал. — Бойкие люди! О господи!

Как плоско падают на море все звуки, плоско и все-таки гулко, как ружейные выстрелы, приглушенные далью. Массы песка, что ли, действуют как глушитель? Не помню, правда, когда мне случалось слышать ружейные выстрелы.

Миссис Грейс налила себе вина, пригубила, сморщилась и села на складной стульчик, одну на другую положив свои крепкие ноги и поигрывая пляжной тапкой. Роз на ощупь одевалась под полотенцем. Теперь в свою очередь Хлоя уткнула подбородок в колени — так ведь все девочки складываются (раньше, по крайней мере, так было) — поверженным зетом? — и обняла их руками. Майлз ткнул ее в бок своей дощечкой.

— Ну пап, — протянула она с ленивой досадой, — ну скажи ему, пап.

Отец продолжал читать. Тапочка Конни Грейс качалась в такт неизвестной, неслышной музыке. Прожаренный солнцем песок пахну́л чем-то странным, едким. Белый парус в бухте дрогнул, хлопнул, поймав ветер, и на секунду мир накренился. По пляжу летали пестрые голоса. Дети. Купальщики. Рыжий мохнатый пес. Снова дрогнул парус, и я отчетливо слышал, как там, далеко на воде, щелкает и плещет брезент. Потом бриз опал, и все на мгновенье затихло.

Они играли, Хлоя, Майлз, миссис Грейс, дети перекидывались мячом через ее голову, а она бегала, прыгала, пыталась его поймать, в основном безуспешно. Когда она бегает, раздувается юбка, и я глаз не могу оторвать от темного опрокинутого треугольника под ее животом. Она прыгает — снова мимо, — задыхается, кричит и хохочет. Плещутся груди. Мне чуть ли не страшно смотреть. Существо, вынужденное таскать на себе столько взгорков и впадин, не должно так скакать, еще повредит что-нибудь внутри, в нежном устройстве своих желез, своих драгоценных хрящей. Муж опустил газету и тоже смотрит, расчесывая пальцами бороду, чуть раздвинув губы над мелкими сплошными зубами, и он раздувает ноздри по-волчьи, как бы помкнув. Азарт, веселая жадность, легкое презренье — все в этом взгляде; кажется, он хочет, чтоб она упала в песок и ударилась; я мечтаю стукнуть его, пихнуть прямо в эту волосатую грудь, как Хлоя пихнула брата. Я уже знаю этих людей, я среди них освоился. И я влюблен в миссис Грейс.

Роз появляется из-под полотенца в красной рубашке и черных шароварах, как ассистентка фокусника у него из-под плаща с багряным подбоем, и старательно ни на что не глядит, в особенности на играющую со своими детьми женщину.

Вдруг Хлоя теряет к мячу интерес, отворачивается, плюхается в песок. Как хорошо я потом изучу все эти ее зигзаги, эти приливы хандры. Мать зовет играть, Хлоя не отвечает. Лежит, опершись на локоть, скрестив лодыжки, щурясь смотрит мимо меня, на море. Майлз у нее перед носом изображает шимпанзе, охлопывает себя ладонями по бокам, нечленораздельно лопочет. Она притворяется, что может смотреть сквозь него. "Бяка", — почти удовлетворенно кидает мать некомпанейской девчонке и снова усаживается на свой стульчик. Она задыхается, ходуном ходит склон груди под цвет песка. Она поднимает руку — отлепить ото лба мокрую прядь, и я отмечаю потаенную тень у нее под мышкой, цвета сливы, влажного цвета моих будущих снов. Хлоя дуется. Снова Майлз кромсает песок дощечкой. Мистер Грейс складывает газету, косится на

небо. Роз изучает непрочную пуговку на рубашке. Плещут плоские мелкие волны, лает рыжий пес. А моя жизнь переменилась навеки.

Но в какой же миг из всех наших мигов совершенно, совершенно не меняется наша жизнь вплоть до самой последней, самой решительной перемены?

Мы закатывались сюда каждое лето, мать, отец и я. Конечно, тогда мы так не говорили — закатывались. Мы приезжали сюда провести лето. До чего же трудно теперь говорить так, как мы говорили тогда. Мы приезжали сюда провести лето, приезжали ежегодно, много-много раз, покуда отец не смылся в Англию, как частенько бывало с отцами в то время и, если честно, сейчас тоже бывает. Дача, которую мы снимали, мало отличалась от макета деревянного домика в натуральную величину. Три комнаты, гостиная, она же кухня — это с фасада, а сзади две махонькие спальни. И никаких тебе потолков, только сводчатая изнанка толевой крыши. Стены обшиты нечаянно элегантной, узкой филенкой и в солнечный день пахнут краской и сосновой живицей. Стряпала мать на керосинке с крошечной дыркой для топлива, доставлявшей мне темную, тайную радость, когда ее прочищал, орудуя хитрым устройством из складного куска жести и проволочки, крепленной к нему под прямым углом. И где он теперь, наш крепкий и стойкий, наш маленький примус? Электричества не было, жгли керосиновую лампу, когда стемнеет. Отец работал в Баллиморе, возвращался на поезде вечером, в бессловесной ярости, таща с собой неприятности дня, как багаж в узелке. Что делала мать, когда он уезжал, а я убегал куда-то? Так и вижу: сидит у стола, локтем в клеенку, склонив голову, и обижается, пока убывает медленный день. Она была еще молодая тогда, они были молодые оба, отец и мать, уж конечно моложе, чем я сейчас. Вот ведь странно. Все, кажется, моложе меня, даже мертвые. Вижу, как они, мои бедные родители, злобно разыгрывают на дому детство мира. Их несчастье было константой моих ранних лет — непрестанное жужжанье, высокое, недоступное слуху. Я не то чтобы их ненавидел. Наверно, даже любил. Просто они мне мешали, застили будущее. Со временем я научусь смотреть сквозь них, сквозь моих прозрачных родителей.

Мать могла купаться только там, где никто не купался, подальше от глаз, от гостиничных толп и шумных случайных становищ залетных горожан. За тем местом, куда сбегала гольфовая дорожка, постоянный песчаный вал, отступя от берега, огораживал мелкую бухту, ее-то мать и облюбовала. С робкой радостью барахталась в мелкой воде, не плавала, плавать она не умела, а плюхалась на воду и переступала руками по дну, старательно держа рот над ленивым приплеском. Помню — кримпленовый купальник, мышино-розовый с узкой жеманной каймой, туго протянутой поперек, над самой промежностью. Лицо голое, беззащитное в тесной резиновой шапочке. Отец чудно плавал, ровными ударами наотмашь рубил воду, косясь, пыхтя и вытаращив один глаз. Вижу, как он наконец поднимается, задыхаясь, отплевываясь, — волосы облепили лоб, торчат уши, вздуваются плавки, — стоит подбочась и смотрит на жалкие усилия мамы с язвительной, мутной усмешкой, и на челюсти дрожит желвачок. Он ей плещет в лицо, хватает за руки, пятясь тащит за собой по воде. Она жмурится, вопит. Я наблюдаю эти неуклюжие забавы, изнемогая от отвращения. Но вот он ее отпускает, принимается за меня,

опрокидывает, хватает за пятки, как тачку катит вдоль песочного вала и хохочет, хохочет. Какие у него были сильные руки, как железные холодные кандалы, я и сейчас ее чувствую, ту грубую хватку. Он был грубый человек, мой отец, шутки, жесты, все было грубо, но он был и робкий, и понятно, что он нас бросил, не мог не бросить. Я наглотался воды, отчаянно вывернулся, вскочил на ноги, стоял и блевал в прибое.

Хлоя Грейс и ее брат стояли на твердом песке у края воды, смотрели.

Оба как всегда были в шортах и босиком. Я заметил, как поразительно они друг на друга похожи. Они собирали ракушки, Хлоя держала их в носовом платке, связанном уголками. Они стояли и нас наблюдали без всякого выраженья, как будто мы разыгрываем комический номер в их честь, а они его не находят ни смешным, ни интересным, просто чудны́м. Я, конечно, покраснел сквозь посинение и гусиную кожу, и я остро чувствовал, как тонкая струйка морской воды неостановимой дугой пробивала обвисший перёд моих плавок. О, если бы я только мог, я бы тут же вычеркнул, отменил моих постыдных родителей, прихлопнул, как зыбь морскую, — толстую, с голым лицом мать, отца, будто вытопленного из лярда. Бриз охлестнул пляж, вкось по нему пробежался, вздул пенку сухого песка, потом пошел по воде, ее разделывая на острые мелкие металлические черепки. Я дрожал, но уже не от холода, а как будто что-то сквозь меня пропустили — быстрое, тихое, неотвратимое. Парочка на берегу отвернулась и поплелась в сторону гиблого сухогруза.

Не в тот ли день я заметил, что пальцы ног перепончатые у Майлза?

Мисс Вавасур внизу играет на пианино. Придерживается деликатного туше, чтоб не слышно было. Боится меня потревожить в моих титанических, невыразимо важных трудах. Играет Шопена, вполне сносно. Только б не ударилась в Джона Филда, этого я не вынесу. Я было пытался наусьскать ее на Форе[1], на последние ноктюрны в частности, — обожаю. Даже купил ей ноты, из Лондона выписал, потратился, между прочим. Зря размахнулся. Говорит, у нее пальцев на такое не хватит. *Скорей мозгов*, — не отвечаю я. Еретические, еретические мысли. И почему она замуж не вышла? Ведь красивая была, в своем этом томном духе. Седые, длинные волосы — а какие черные были — затягивает в пучок на затылке, крест-накрест его протыкает двумя булавками, большущими, как вязальные спицы, по-моему, весьма некстати посягая на образ гейши. Японскую ноту длит надеваемый по утрам шелковый пеньюар на манер кимоно, перехваченный кушаком, весь в бамбуках и экзотических птицах. В остальное время дня она предпочитает разумный твид, но вечером может побаловать нас с полковником, прошуршав к столу в зеленом миди с накидкой или испанского стиля малиновом болеро, черных широченных бананах и черных лаковых лодочках. Вполне себе элегантная старая дама, и под сурдинку трепещет, отмечая мой одобрительный взгляд.

"Кедры" почти ничего не сохранили от прошлого, от той части прошлого, какую я знал. Я рассчитывал хоть на какой-то след Грейсов, пусть полный пустяк, не важно, блеклую фотографию, позабытую в ящичке, локон, шпильку, застрявшую между половиц, но не было ничего, ниче-

1. Джон Филд (1782–1837) — ирландский пианист, композитор, педагог; Габриель Форе (1845–1924) — французский композитор, дирижер, педагог, музыкальный критик.

го. Даже духа их не осталось. Видимо, толпы живых — пансион как-никак — вытоптали следы мертвецов.

Как сегодня ярится ветер, большими, мягкими, неловкими кулаками тузит оконницу. Я всегда любил вот такие — ярые, яркие осенние дни. Осень всегда была для меня любимой порой, как для других, наверно, весна. Осень — пора трудов. Тут я совершенно согласен с Пушкиным. Да, мы с Александр Сергеичем — октябристы оба. Но вдруг заколодило, совсем не по-пушкински, — не пишется. Однако торчу за столом, перебрасываю абзацы, как фишки в игре, в которую уже не умею играть. Стол маленький, хилый, с независимой откидной столешницей, которую мисс В. собственноручно приволокла и ненавязчиво преподнесла моему вниманию. Скрипи, скрипи, деревяшечка. Тут же и мой вертящийся капитанский стульчик, точно как был у нас с Анной когда-то в одной меблирашке, и даже стонет примерно так же, когда налегаю на спинку. Труд, которым я, считается, занят, — монография о Боннаре, скромный проект, в котором вязну уж столько лет, что даже лень сосчитать. Вполне себе великий художник, о котором, я давным-давно понял, не могу сообщить ровно ничего оригинального. Бабы в бане, — так Анна, хихикая, определяла. Bonnard, Bonn'art, Bon'nargue[1]. Нет, не идет мой труд, могу только фьюкать — фью-фью.

Вообще, труд — не то слово, которое стоит применять к моим занятиям. Труд — слишком крупно, слишком торжественно. Труд — это про великих. Что до людишек, как я, и слова нет такого для нашей деятельности — чтоб в меру скромно и достаточно точно. Баловство? Не принимаю. Балуются дилетанты, а мы — класс, вид, о каком толкую, — уж что-что, но во всяком случае профессионалы. Кстати, обойных дел мастера Вюйяр и Морис Дени[2] были точно так же усердны — вот вам еще одно ключевое словцо, — как друг Боннар, да только его маловато, увы, усердия. Мы не халтурщики, мы не лентяи. Мы даже бешено выкладываемся порой, но мы не созданы, фатально не созданы для длинных дистанций. Мы заканчиваем вещи, тогда как истинный труженик — поэт Валери, да, кажется, это он, — говорил, что вещь нельзя закончить, можно только отставить. Прелестный, кстати, этот случай с Боннаром в Люксембургском музее, когда он отряжает приятеля, как раз Вюйяра, если не вру, чтоб заговаривал зубы смотрителю, а сам хватает этюдник и давай переписывать место в собственной картине, которая там висела годами. Истинные труженики все умирают в терзаниях. Столько еще надо бы доделать, столько брошено незаконченным!

Ух. Опять кольнуло. Как бы не предвещало чего серьезного — все время эта гнусная мысль. У Анны же пошло с полных пустяков. За год я здорово поднаторел в медицине — неудивительно. В частности, знаю, что покалывание в конечностях — ранний симптом рассеянного склероза. Покалывание налицо, и это еще слабо сказано. Прямо жгучий укол, сразу много уколов, в руку, в затылок, а то, помню, ужалило в большой палец правой ноги так, что я прыгал на одной ножке по комнате, жалостно, горько мыча. Боль, правда, быстро проходит, но дикая. Как тест на витальные признаки; на наличие чувств; наличие признаков жизни.

1. Прекрасное искусство, прекрасная насмешка (*франц.*).
2. Эдуард Вюйяр (1868–1940) — французский художник, друг Боннара; Морис Дени (1870–1943) — французский художник, иллюстратор, изготовитель витражей и гобеленов.

Анна посмеивалась над моей мнительностью. Дала мне прозвище: Доктор Макс. *Ну как сегодня Доктор Макс? Неважно себя чувствует?* Она абсолютно права, кто спорит, я от роду нытик, вечно ношусь с каждой царапиной, с малейшим недомоганием.

Ага, заявился мой дрозд, каждый вечер прилетает невесть откуда, устраивается на падубе возле сарая. Он, замечаю, задает себе на деревьях какой-то урок, перелетит с верхней ветки пониже, потом еще ниже, а там успокоится и трижды свистит — победно, пронзительно. У каждой твари своя повадка. Вот из глуби двора нежной поступью барса крадется пестрый соседский кот. Берегись, моя птичка. Траву бы не мешало скосить, хоть разок еще в этом году. Предложу свои услуги. Не успел подумать, и вот уже в жилетке и брюках гармошкой потно бреду за газонокосилкой, трава набивается в рот, жужжат мухи над головой. Странно, то и дело вижу себя так вот, как бы издали, как будто я — кто-то другой, не я, и делаю что-то, что только другой может делать. Скажем, косить лужок. Сарай, хоть развалющий, вполне красив, если смотреть на него сочувственным взглядом. Бревна выветрились до серебристой, шелковой сизости, как ручка заслуженного орудия — лопаты, верного топора. *Старые бабы в бане* дивно вписались бы в эту текстуру — тихий лоск, тихий блеск. Фью-фью-фью.

Клэр, моя дочь, прислала письмо, интересуется, как я. К сожалению, не ахти, прекрасная Кларинда, отнюдь не ахти. Звонить она не звонит, я предупредил, что не буду отвечать, особенно на ее звонки. Не то чтоб мне обрывали телефон — никто и не знает, где я, никому кроме нее не докладывался. Сколько ей сейчас, двадцать с чем-то, точно не помню. Дико способная, такой синий чулок типичный. Но некрасивая, в этом я давно убедился. Не стану врать, что не огорчался, я же думал, из нее вторая Анна получится. Слишком она рослая, сильная, жесткие, непослушные рыжие волосы топорщатся вокруг веснушчатого лица, и ей совсем это не идет, в улыбке она демонстрирует верхние десны, блестящие, бледные. Глядя на эти длиннющие тонкие ноги, большую задницу, особенно на длинную шею — хоть что-то взяла от матери, — всегда вспоминаю сконфуженно картинку Тенниела[1]: Алиса уже куснула волшебного гриба. Но девушка она мужественная, храбро борется с собою и с миром. Гарцует с едким, унылым юмором — он часто присущ дурнушкам. Заявилась бы вдруг сюда, влетела бы, плюхнулась на мой диван, сунула руки между колен, свесила, чуть не до полу, поджала бы губы, надула щеки — ф-фу! — и завела бы литанию всех комических казусов, в какие вляпывалась с тех пор, как мы с ней видались. Ах, Клэр, девочка моя хорошая.

Увязалась за мной, когда в первый раз отправился сюда, в Баллилесс, после того сна — ну, про то, как иду под мокрым снегом домой. Побаивалась, видно, как бы я утопиться не вздумал. Не знает она, какой я трус. Что называется, тряхнули стариной — издавна были большие любители покататься. Еще когда она была совсем клоп и не могла ночью заснуть — изначально страдала бессонницей, вся в папочку, — я кутал ее в одеяло, совал в машину и вез далеко по дороге вдоль меркнущего моря, бормоча все подряд песенки, в которых хоть с пятого на десятое помнил слова,

1. Сэр Джон Тенниел (1820–1914) — английский художник, карикатурист, иллюстратор Льюиса Кэрролла.

но вместо того, чтоб баюкать, они ее приводили в восторг, и она хлопала в ладоши, после чего с новой силой принималась реветь. Как-то, потом уже, мы даже вздумали отдохнуть на колесах, парочкой, – большая ошибка, ей, подростку, мигом осатанели виноградники, дачи, моя компания, и она жутко меня доставала, пока я не сдался и раньше времени ее не отвез домой. Наша поездочка сюда оказалась не сильно лучше.

Был роскошный, ох, прямо-таки роскошный осенний день, – собрав всю медь и золото Византии под лазурной глазурью небес Тьеполо, он стоял, на себя не совсем похожий, как хрустальный, как собственное отражение в ясной воде. В такие вот дни с некоторых пор солнце для меня – сальный глаз, с наслаждением посматривающий, как тут корчусь от горя. Клэр была в замшевом просторном пальто мышиного цвета, от него в автомобильном тепле пованивало чуть заметно, но безошибочно плотски, и я терзался, хоть, конечно, ни звука ей не сказал. Вообще, я страдаю – как бы сказать? – слишком острым восприятием, что ли, той смеси запахов, которые идут от людей. Ну, может, страдаю – не то слово. Люблю же, например, буроватый запах женских волос, когда их пора помыть. От моей дочери, брезгливой старой девы – увы, не сомневаюсь, мужа ей не видать – обычно ничем не пахнет таким, чтоб я уловил. Опять-таки – не в мать, чей грубый дух, а для меня томный запах самой жизни, крепчайшими духами не перебить, перво-наперво меня приманил тогда, в тот баснословный год. От моих рук теперь, даже страшно, пахнет чуть-чуть похоже, пахнет ею, не отделаться, как их ни тру. В последние месяцы от нее пахло в лучшем случае фармакопеей.

Когда приехали, я даже удивился, что деревня еще сохранилась в общем такой, как я помнил, пусть на глаза, какие знают, куда смотреть, то есть на мои глаза. Вот как встречаешь старую пассию и в набрякших чертах угадываешь нежный облик, какой когда-то любил. Миновали заброшенную платформу, вкатили на мосток – уцелел, тут как тут, голубчик! – что-то, как раньше, сорвалось у меня под ложечкой, что-то покатилось внутри, и вот – просияло: дорога, и берег внизу, и море. Есть минуты, когда прошлое набирает такую силу, что кажется – сотрет тебя в порошок.

– "Кедры"! – хрипло крикнул я. – "Кедры"! – По дороге я успел рассказать ей все, ну почти все про "Кедры". – Где они жили!

Она извернулась на сиденье, глянула.

– Чего ж не остановился?

Что я мог ответить? Что меня парализовала робость – вдруг, посреди затерянного мира? Я прорулил дальше и свернул на Береговую. Береговое Кафе исчезло, сменилось большим приземистым зданием, редким уродом. А вот и две гостиницы, поменьше и пооблезлей, конечно, чем их сберегала память, и над гостиницей "Гольф" важно реет огромный флаг. Даже из машины я слышал, как пальмы мечтательно плещут сухими листами – звук, который в лиловые, летние, давние ночи сулил все чудеса Аравии. Сейчас, в смуглом свете октябрьского вечера, – уже потягиваются тени, – все блеклое, как на старинной почтовой открытке. Бакалея Майлера (плюс почта, плюс паб) разрослась аляповатым супермаркетом с асфальтовой парковкой для покупателей. Я припомнил, как в тихий, пустой, от солнца слепой день полвека назад здесь, на гравийной дорожке у Майлера, меня встретил мелкий, невинного вида пес, когда я протянул к нему руку, ощерился, – что я ошибочно счел любезной улыбкой, – с редким проворством сощелкнул челюсти у меня на запястье и убежал,

ухмыляясь, или так мне казалось, а когда я пришел домой, мать меня костерила за глупость — тянуть руку к эдакой твари! — погнала одного к местному доктору, и тот, светский, лощеный, кое-как наложив пластырь на мою приятно розовеющую вздутую цевку, мне велел догола раздеться и сесть к нему на колени, с тем чтобы он, удивительно белой, пухлой рукой с маникюром жарко давя мой живот, мог меня научить, как правильно надо дышать. "Распусти живот, не втягивай, понял?" — ворковал он, приникая мягким, большим жарким лицом к моему уху.

Клэр бледно усмехнулась.

— И какой же след оказался прочней — от собачьих зубов или от докторской лапы?

Я ей показал руку, где на запястье до сих пор белеют два шрама от свирепых собачьих клыков.

— Тут тебе не Капри, — сказал я. — Да и доктор был, извини, не Тиберий[1].

Но если честно, об этом дне у меня сохранились самые теплые воспоминания. Так и помню — запах послеобеденного кофе от доктора, бегающие глазки экономки, изучающие меня на крыльце.

Мы с Клэр добрались до Полей.

Собственно, теперь никакие это не поля — жалкие участки, один к другому впритык, с дачками, тяп-ляп понастроенными левой ногой того же умельца, подозреваю, который ответствен за уродов в глубине сада. Однако я рад был отметить, что местечко, при всей своей пошлости, носит названье Люпины и что строитель — ведь был же строитель — даже пощадил высокий подрост этих скромных диких кустов — Lupinus Papilionaceae, я проверял, — подле комически величавых, ложноготических ворот у въезда с дороги. Вот под такими точно кустами отец, выбрав ночь потемней, с фонариком и лопатой, чертыхаясь себе под нос, раз в две недели выкапывал яму в мягкой песчаной земле и захоранивал ведро помоев из нашего биосортира. Едва поймаю слабый, странно человеческий запах люпинов — меня настигает вкрадчивый, сладкий дух нечистот.

— Ты вообще-то собираешься остановиться? — простонала Клэр. — Меня скоро от этой машины стошнит.

С годами во мне крепнет иллюзия, что дочь меня догоняет по возрасту, так что сейчас, например, мы с ней примерно ровесники. Видимо, это неизбежно, когда имеешь столь продвинутого ребенка — продолжала бы свое дело, ей светила такая карьера ученого, какая мне и не снилась. И еще: меня она раскусила до такой степени, что даже страшно, и не склонна прощать моих бзиков и крайностей, как прощают те, кто меня хуже знает, а потому больше боится. Но я обездолен и уязвлен, я нуждаюсь в снисхождении. Если есть формула отпущения грехов поразвернутей — ничего мне больше не надо. *Оставь ты меня в покое,* — воззвал я к ней без единого слова, — *дай мне проскользнуть мимо старых поруганных "Кедров", мимо стертого Берегового Кафе, мимо этих Люпинов, мимо бывших Полей, мимо всего, что было. Не то растекусь позорнейшей лужей слез.* Тем не менее я кротко прижался к обочине, и она вышла в злобном молчании и так хлопнула дверцей, будто мне надрала уши. И что я ей сделал, чем уж так насолил? Иногда на нее находит — вылитая мать.

1. Римский император Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до Р. Х. — 37 г.) в конце жизни удалился на остров Капри.

Но вдруг, против всех вероятий, из-за гномических построек Люпинов глянула на меня дорога к Дуиньяну, вся, как и прежде, в ухабах, бойкой иноходью труся между косматым боярышником и пыльной стеной куманики. Как она устояла под напором кранов и грузовиков, как снесла надругательства бульдозеров и лопат? Здесь я в детстве каждое утро ходил, босой, с побитым бидоном, за молоком к Дуиньяну, молочнику, и его стоически веселой, задастой жене. Помню, солнце уже высоко, но холод еще затаился в булыжниках, и куры, поджимая лапки, жеманно переступают между собственных зелено-меловых катышков. Собака, всегда привязанная к передку телеги, оценивающе наблюдает, как я пробираюсь на цыпочках, чтобы не вляпаться в куриный помет, а мышастый коняга, подойдя изнутри к двери денника, кладет на нее морду и весело, искоса смотрит на меня из-под челки точно того же оттенка, как дымно-бежевые цветки жимолости. Я не стучался в дом, я боялся матери Дуиньяна, старой, низкой, квадратной, как стол на коротких ножках, — она сопела, пыхтела, свешивала над нижней губой огромный, мокрый, бледный язык, — и дожидался в лиловой тени денника, пока хозяин или его половина меня избавят от встречи с каргой.

Дуиньян был долговязый болван, с соломенными жидкими волосами и невидимыми ресницами. В миткалевой открытой рубахе, каких уже тогда никто не носил, в вислых штанах, сунутых в заляпанные резиновые сапоги. В погребе, наливая мне молоко, он похабно-сиплым тоненьким голоском — скоро он умрет от болезни горла — наводил разговор на девочек: он-то знает, у меня есть подружка, интересно только, разрешает ли себя целовать. А сам не отрывает глаз от длинной тонкой струи молока, стекающей в мой бидон, улыбается, быстро-быстро хлопает этими своими ресницами. Какой ни противный, чем-то меня он притягивал. Казалось, что ли, что у него откровенье за пазухой, что вот извлечет оттуда похотливую картинку, приоткроет мерзкое знание, ту зону, куда допускаются только взрослые. Погреб был низкий, квадратный, штукатуреный, белый до жути, даже впадал в синеву. Маслобойки стояли стальными коренастыми часовыми в плоских шляпах, и солнечный сноп от двери всем раздавал одинаковые белые ордена. Большие низкие чаны с молоком, кутаясь в марлю, задумчиво ждали на полу сепарации, и была еще старинная деревянная маслобойка, я всегда мечтал застать ее в деле, но так и не вышло. Прохладный, густой, потаенный дух молока наводил меня на мысль о миссис Грейс, и даже меня подмывало сдаться на подходцы Дуиньяна, ему про нее рассказать, но я удерживался — правильно делал, конечно.

И вот снова я у ворот фермы, да только мальчик подрос, стал плотным с сильной проседью господином, чуть ли не стариком. Дурно намалеванная табличка на воротном столбе под страхом суда запрещала вход посторонним. Клэр у меня за спиной что-то жужжала про фермеров, про дробовики, я не слушал. Я шел по булыжникам — тем же булыжникам! — я не шел, меня волокло, как тяжелый, осевший аэростат, перехватывало дух, толкало ударами памяти. Вот и он, денник с укороченной дверцей. Ржавая борона притулилась там, где стаивала тележка Дуиньяна — или память мне только подсовывает эту тележку? И погреб тут как тут, но заброшенный, дверь на замке, хоть невозможно себе представить зачем, окна ослепли от грязи, а где и разбиты, на крыше трава растет. Спереди к ферме присобачено хитрое крыльцо, сплошь стекло, алюминий: силь-

но похоже на рудиментарный глаз гигантской стрекозы. Наконец в его глубине отворилась дверь, молодая — или старая? — женщина вышла, замерла за стеклом и осторожно меня разглядывала. Я кинулся вперед, осклабясь, кивая, — так идиот-миссионер приближается к крохотной королеве по счастью еще не обращенного пигмейского племени. Сначала она таилась за стеклом, и я к ней взывал сквозь него, выкликал собственное имя, страстно жестикулировал. Она стояла, смотрела. Похожая на юную актрису, тщательно, но не вполне убедительно загримированную старухой. Волосы, крашенные в цвет сапожной коричневой ваксы, завитые в тугие блестящие кудерьки, слишком пышны для личика с кулачок и, стоя вокруг него нимбом из спутанного терновника, похожи скорей на парик. Линялый фартук поверх джемпера явно собственной вязки, протертые мужские штаны, на ногах — пронзительно-синие вельветовые полусапожки на молнии — в моей молодости мечта всех пожилых дам, теперь-то они перешли исключительно к нищенкам и алкоголичкам. Я ей проорал сквозь стекло, как я жил здесь ребенком, на даче в Полях, как по утрам ходил на ферму за молоком. Она слушала, кивала, и живчик взбухал и таял в углу рта, будто она боялась расхохотаться. Наконец открыла дверь крыльца, вышагнула на булыжники. В своем состоянии эйфорического полупомешательства — я правда смехотворно растрогался — я чуть не бросился ее обнимать. Лепетал про Дуиньянов, мужа с женой, про его мать, про погреб, даже про коварного пса. Она все кивала, вздернув недоверчивые брови, смотрела мимо меня, на Клэр, которая стояла, ждала, сложив руки под грудью, запахиваясь в свое просторное, дорогое, мехом отороченное пальто. Аврель — так, она сказала, ее зовут. Аврель. Фамилию не предъявила. Смутно, из давно забытых темнот, всплыло: девочка в грязном дыму на мощеных задворках фермы небрежно держит за гнутую ручку розового, лысого голыша и смотрит на меня упорным, неотрывным и строгим взглядом. Но эта особа передо мной, конечно, не та девочка, той же теперь — ну сколько? За пятьдесят? Может, та, в моей памяти, сестра этой, но гораздо старше, то есть куда раньше родилась? Возможно такое? Нет, Дуиньян умер молодым, чуть за сорок, и невозможно, конечно, чтоб эта Аврель была ему дочерью, ведь он же был взрослый, когда я был мальчик, и... Мой ум спотыкался об эти выкладки, как старый, заезженный вьючный конь. Аврель, однако. И кто это в здешних краях мог подарить своему ребенку столь нежно-весеннее имя?

Я снова спросил про Дуиньянов, и Аврель ответила — да, Кристи Дуиньян помер — Кристи? Разве я знал, что Дуиньяна звали Кристи? — а миссис Дуиньян, та жива еще, в приюте, где-то по берегу. "А Патси свое хозяйство завел у Старого Замка, а Мэри в Англию подалась, а бедный Уилли, тот тоже помер". Я кивал. Вдруг я понял, что больше не могу их всех выносить, этих отростков от древа Дуиньянов, одни имена которых так основательны, так реальны, — фермера Патси, эмигрантку Мэри и крошку Уилли, который помер, — топчущихся на моей приватной церемонии вспоминанья, как незваные бедные родственники на модных похоронах. Я не знал, что сказать. Эйфория как налетела, так и улетучилась, вдруг я отяжелел, я выпал из темы, я стоял, как дурак, улыбался, малодушно кивал, из меня вытекал последний воздух. Аврель, кроме имени, все не сообщала о себе ничего, считала, видимо, что я вспомню, узнаю, — но как, откуда, хоть она и стояла на том месте, где был некогда

вход к Дуиньянам? Меня удивляло, что она так много знает про Дуиньянов, раз сама не состоит с ними в родстве, по крайней мере в прямом, ведь все эти Уилли, Мэри и Патси уж точно не родители ей, она бы уж сообщила. Вдруг моя тоска сгустилась, взбухла досадой на нее, как будто она по жуткой какой-то причине сюда заявилась в этом неубедительном гриме — хнойные волосы, старушечья обувь — нарочно, посягая на уголок из моего драгоценного мифа. Сероватое лицо, я заметил, сплошь было в мелких веснушках. Не рыжеватых, как вот у Клэр, и не крупных, расплывчатых, какие когда-то взбегали по странно девичьим предплечьям Дуиньяна, и не таких, опять же, как, будь неладны, недавно повадились ко мне на изнанку ладоней и на цыплячье-белую кожу по окату плеч возле ключиц, — нет, эти были гораздо темней, прямо как тусклокоричневое пальто Клэр, не больше булавочного укола, и, к сожалению, намекали на хроническую, общую нечистоплотность. Что-то такое они мне напомнили, а что — непонятно.

— А у меня, знаете ли, — сказал я, — жена умерла.

Не постигаю, зачем надо было это брякать. Надеюсь, хоть Клэр не услышала. Аврель уставилась на меня, без выражения, явно ожидая, что я что-то прибавлю. А что я мог прибавить? Некоторые объявления в подробностях не нуждаются. В знак сочувствия она повела плечом и скривила рот.

— Жалко, — сказала она плоским, пустым голосом. — Очень печально слышать. — По ней это было не очень заметно.

Осенние лучи падали косо во двор, синевато подсвечивали булыжник, на крыльце горшочки герани кичились огненными цветами, последними в этом сезоне. Да уж, скажу я вам, наш бренный мир.

Шерстистой тишью гостиницы "Гольф" мы, моя дочь и я, пользовались, кажется, безраздельно. Клэр пожелала чаю, я заказал, и нас препроводили в ледяную оранжерею с видом на берег и отступившее море. Несмотря на стужу, здесь еще медлил след былых утех. Запах пивных опивков мешался со стоялой вонью сигаретного дыма, а на помосте в углу, как бы затесавшись сюда из вестерна, скалило щербатую клавиатуру пианино с откинутой крышкой. После встречи с Аврель на душе у меня кошки скребли, я чувствовал себя примерно как дива, семенящая со сцены после кошмара сорванных верхов, прозеванного вступления, перевранного либретто. Мы с Клэр уселись рядышком на диване, и тотчас рыжий нескладный юнец в черном официантском фраке и в брюках с лампасами вошел с подносом, со стуком его поставил перед нами на низенький столик и сразу исчез, оступаясь в больших башмаках. Чайный пакетик — гнусное изобретение, моему, возможно, чересчур брезгливому глазу он напоминает некий предмет, по рассеянности оставленный несмытым в сортире. Я налил себе чашку зеленовато-бурого чая, укрепил его рюмашкой из своей плоской фляги: всегда имею про запас укрепляющее, научился за прошлый год. Вечерний свет был уже грязный, студеный, и сизой стеной воздвигалась на горизонте плотная туча. Волны когтили уступчивый песок у самого берега, пробовали вгрызться, окопаться, да не получалось у них. Там было больше пальм, взъерошенных, хилых, с серой грубой на вид корой, как слоновья кожа. Стойкая, видно, порода, раз выживают в холодном северном климате. А помнят их клетки каленый жар пустыни, вот что интересно? Дочь, ссутулясь в своем этом паль-

то, грела руки о чашку с чаем. Я увидел детские ногти, их лиловатый цвет, у меня сжалось сердце. Свой ребенок, ничего не попишешь.

Заговорил про Поля, про дачу, про Дуиньянов.

— Ты живешь прошлым, — заявила она.

Тут я чуть не сорвался, но смолчал. Что же, она права. Ведь жить, по-настоящему жить, считается, это значит бороться, действовать и дерзать, тупой башкой пробивать стену мира, нечто в таком разрезе, ну а я, озираясь назад, вижу, что все мои силы ушли, в основном, на нехитрые поиски крова, удобства, да, и, прошу прощенья, уюта. Удивительное, чтоб не сказать потрясающее открытие. Я-то воображал себя пиратом, который всех соперников встречает с абордажной саблей в зубах, и вот — вынужден признать, это был типичный самообман. Крова, охраны, опеки, покоя — вот чего, оказывается, жаждала душа, — свернуться калачиком в утробном тепле, сжаться, укрыться от холодного взора небес и вредоносных земных испарений. Вот почему я спасаюсь прошлым, с радостью в него ухожу, умываю руки, отрясаю прах холодного настоящего, еще более холодного будущего. Да, но все же — было ведь что-то в этом прошлом? В конце концов, это всего-навсего прежнее настоящее, былое, — было, прошло, и нет его, и все дела. Да, но все же.

Клэр по-черепашьи втянула голову в броню своего пальто, смахнула туфли, обняла ступнями ножку столика. И почему они всегда такие трогательные, женские ноги в чулках, может, думаю, из-за того, что пальцы туго сбиты под шелком, как будто они слитные. Вот у Майлза Грейса, у того, естественно — неестественно, — были такие пальцы. Когда он их раздвигал, с той же легкостью, как растопыривают пятерню, перепонки растягивались во что-то тонкое, как тенетник, розовое, сквозное, как лист, пронизанный сетью прожилок, красное, как прикрытое пламя, как знак божка, — нет, честное слово.

Вдруг, сквозь ровно загустевающую синь вечера, мне представилось семейство плюшевых мишек, друзей детства моей Клэр. Чуточку противноватых, слишком живых, по-моему. Наклоняясь над ней в зернистом свете настольной лампы, чтобы поцеловать на ночь, я чувствовал, что из-за края одеяльца меня наблюдают шесть пар крошечных, блестящих стеклянных глаз, влажно-карих, застывших, подозрительно возбужденных.

— Твои lares familiares[1], — сказал я. — Небось и по сей день у тебя, на твоей девичьей постельке?

Солнце падало очень косо на берег, делая белым, как кость, песок у приплеска, и чайка, пронзительно-белая на фоне сплошной тучи, пролетела на серповидных крыльях, беззвучно ими хлопнула, повернула и ушла, смыкающийся шеврон, в неспокойную черноту волн. Клэр минуту посидела не шевелясь, потом заплакала. Ни звука, только слезы, как шарики ртути в последнем свечении моря, падавшем на нас с высокой стеклянной стены. Такой молчаливый, почти рассеянный плач — это у нее тоже от матери.

— Не ты один мучаешься, — сказала она.

Я, собственно, так мало ее знаю, родную дочь. Как-то раз, когда ей было двенадцать, тринадцать — балансировала на пороге половозрелости, — я ошибкой вломился к ней в ванную: забыла запереться. Стояла го-

1. Домашние лары (*франц.*).

лая, только полотенце тюрбаном на голове. Глянула на меня через плечо в тихом свете матового окна, преспокойно на меня глянула из собственной безмятежности. Груди только наметились, но уже был у нее этот наливной зад. Что я тогда почувствовал? Полное смятение, прослоенное нежностью и каким-то страхом. Через десять лет забросила свою историю искусства — Воблен, стиль fête galante[1], вот какая у меня девочка, точней, какая была — и взялась за обучение отсталых детей во все ширящемся районе все более кошмарных трущоб. Так загубить свой талант. Я ей не мог простить, до сих пор не могу. Уж стараюсь, но у меня не выходит. И все из-за своего этого книжника со скошенным подбородком и идеями равенства — нашла в кого втюриться. Роман — если был роман, подозреваю, она до сих пор девица — кончился для нее плохо. Мерзавец уговорил ее бросить то, что могло бы стать делом жизни, ради пустого социального жеста, а сам смылся, оставив мою бедную девочку на бобах. Я хотел найти его, убить. По крайней мере, я просил, позволь мне хоть нанять хорошего адвоката, надо вчинить ему иск за нарушение обязательств. Анна говорила — ах, оставь, не суйся ты в это дело, ты все только усугубляешь. Она была тогда уже больна. Что я мог сделать?

Снаружи густели сумерки. Море, молчавшее до сих пор, начинало угрюмо ворчать — видно, надвигался прилив. Клэр перестала плакать, и слезы висели, не стертые, она их не замечала, наверно. Меня передернуло; теперь меня то и дело бросает в дрожь, вечный какой-то озноб.

Кто-то крупный, в визитке, вошел в дверь у нас за спиной, приблизился беззвучным шагом, искательно заглянул мне в лицо и, поймав мой взгляд, удалился. Клэр шмыгнула носом, порылась в кармане, нашла платок и трубно высморкалась.

— Смотря что, — сказал я терпеливо, — ты понимаешь под словом "мучиться".

Она промолчала, убрала платок, вскочила и стала хмуро озираться, как будто отыскивая что-то глазами, сама не зная что. Сказала, что меня обождет в машине, и вышла, свесив голову, глубоко сунув руки в карманы этого скроенного из шкур пальто. Я вздохнул. На темнеющем небе чайки поднимались и падали, как оторванные от тряпья лоскуты. Тут только я заметил, как у меня раскалывается голова, боль неосознанно билась у меня в черепушке с тех самых пор, как мы вошли в этот затхлый стеклянный ящик.

Вернулся как лисенок робкий мальчик-официант, приблизился, нагнулся за подносом, свесив со лба рыжую прядь. При такой своей масти тоже небось из племени Дуиньянов, младшая ветвь. Я спросил, как его зовут. Он замер, неловко согнулся углом от пояса, смотрел на меня из-под бледных бровей, тревожно соображая. Лоснистый фрак, обшарпанные, грязные обшлага рубашки.

— Билли, сэр, — был ответ.

Дал ему монету, он поблагодарил, сунул ее в карман, взял поднос, повернулся, собрался уйти, замешкался.

— С вами все в порядке, сэр?

Я вытащил ключи от машины и тупо разглядывал. Все на свете казалось чем-то еще. Я сказал — да-да, все в порядке, и он ушел. Тишина сом-

1. Изящный праздник (*франц.*).

кнулась, плотная, как море. Гнусно щерилось на помосте щербатое пианино.

Когда выходил из холла, тот, в визитке, меня настиг. Крупное, восковое, до странности никакое лицо. Осклабленно кланялся, тискал руки перед грудью прямо оперным жестом. Ну что мне в этих людях, зачем их запоминать? Весь елейный, а все-таки страшноватый. Может, и этот ждал чаевых? Я ж говорю: бренный мир.

Клэр ждала у машины, ссутулясь, рукава пальто используя в качестве муфты.

— Могла бы ключи попросить, — я сказал. — Думала, что ли, не дам?

На пути домой она у меня вырвала руль, хоть я бешено сопротивлялся. Была уже глубокая ночь, пучеглазые фонари вдруг выхватывали из тьмы деревья, белесые, безлистые пугала, и так же вдруг они исчезали, падали в мрак с обеих сторон, как скошенные нашей скоростью. Клэр вся подалась вперед, чуть носом не ткнулась в ветровое стекло. Свет от приборного щитка был как зеленый газ, и лицо у нее стало прямо призрачное. Я потребовал, чтоб она отдала мне руль. Она сказала, что я слишком пьян для этого. Я всю фляжку вылакал, она видела, да, она заметила, там ничего не осталось. Я сказал — не ее это дело, и нечего меня шпынять. Опять она ударилась в слезы, и сквозь слезы она на меня орала. Я сказал, что даже пьяный представляю собой меньше опасности за рулем, чем она в таком состоянии. Ну и пошло, и поехало, ох, как ее понесло. Я не остался в долгу, ей напомнил, ради точности всего-навсего, что добрую половину, злую половину то есть — Господи, до чего же беден язык, как не приспособлен к данному случаю, — того года, который заняло у ее матери умирание, сама она была за границей, носилась со своей наукой, а я остался один и вертелся как мог. Это дошло. Она хрипло застонала сквозь стиснутые зубы, застучала ладонями по рулю. И давай меня костерить. Оказывается, я *выжил Джерома*. Я онемел. Джерома? Джерома? А-а, ну конечно, это она про своего этого гада без подбородка — очень он много ей сделал хорошего, — одно время предмет ее нежных чувств. Джером, да-да, так, довольно неувлекательно, звали мерзавца. Но каким же образом, осведомился я сдержанно, каким образом я *его выжил*? В ответ она только фыркнула, тряхнув головой. Я задумался. Да, действительно, да, я считал, что он ей не пара, на что ему и указывал достаточно определенно, притом не однажды, но у нее же выходит так, будто я прямо кнутом размахивал, за ружье хватался. И вообще. Если моего протеста оказалось достаточно, чтоб *его выжить*, чего ж после этого стоит его характер или его настойчивость? Нет уж, нет уж, от таких лучше подальше — ясно как день. Но сейчас я ничего больше не стал говорить, оставил все при себе, и через милю-другую она поостыла. С женщинами всегда так, я заметил, — не спорь, выжди, и будет по-твоему.

Когда добрались до дома, я сразу вошел, оставил машину на ее совести, по телефонной книге отыскал номер "Кедров", позвонил мисс Вавасур и сказал, что хотел бы снять у нее одну комнату. Потом поднялся к себе, в кальсонах залез в постель. Вдруг я смертельно устал. Ссоры с собственной дочерью, в общем, только здоровье портят. Я тогда уже перебрался из нашей с Анной общей спальни в пустую комнату над кухней, где была раньше детская и стояла низкая, узкая, почти походная кровать. Я слышал, как Клэр внизу, на кухне, бренчит кастрюлями и сковородками. Я ей не говорил пока, что решил продать дом. Мисс В. по те-

лефону осведомилась, как долго я намерен пробыть. В голосе дрожало удивление, почти подозрительность. Я напускал нарочно туману. Ну, несколько недель, может, месяцев. Томительную минуту она молчала, раздумывала. Упомянула полковника: постоянный жилец, устоявшиеся привычки. Я не стал комментировать. При чем тут полковники? Пусть целый офицерский корпус у себя приютит, мне-то что? Белье, сказала, придется сдавать в прачечную. Спросил, помнит ли она меня. "Да, — был ответ без всякого выражения, — да, конечно я помню".

Услышал шаги Клэр на лестнице. Перестала яриться, шла тяжело, печально. Конечно, и для нее ссоры — тоже зряшное, утомительное занятие. Я оставил дверь приоткрытой, но она не вошла, только вяло спросила в щель, не хочу ли поесть. Я еще не включил лампу, и длинный, острый клин света с площадки падал на линолеум, стрелкой указывая на детство, ее и мое детство. Когда была маленькая, спала на этой кроватке, она любила слушать, как стучит моя пишущая машинка в кабинете внизу. Такой уютный звук, говорила, как будто бы я слушаю: вот ты думаешь; хоть не представляю себе, как звук моих мыслей может хоть кого успокоить, по-моему ровно наоборот. Ах, да когда это было — эти дни, эти ночи. И все равно, нечего было так орать на меня в машине. Я не заслуживаю, чтоб так на меня орали. "Папа, — повторила она, и было, кажется, уже раздражение в голосе, — ты будешь ужинать, нет?" Я не ответил, она ушла. Я живу прошлым, видите ли.

Отвернулся к стене, от света. Согнул колени, и все равно ноги не помещались в кровати. Ворочаясь в путанице простынь — постельное белье вечно меня раздражает, — поймал теплый, сырный, мой собственный запах. До того как Анна заболела, я к своим собственным физическим проявлениям относился с нежной досадой, как обычно люди относятся — конечно, к своим, не к моим — печально неизбежным эманациям тела, выделениям от носа до кормы, перхоти, гною, поту и прочим обычным утечкам, и даже к тому, что Хартвордский бард[1] назвал изящно продуктами низа. Но когда тело Анны ее подвело и она начала пугаться его, его вражеской сути, у меня — тут загадочная связь — развилось мучительное отвращение к собственной плоти. Нет, я не то чтобы постоянно чувствую омерзенье к себе, во всяком случае не всегда его сознаю, но, наверно, оно неотлучно при мне, выжидает, пока останусь один, ночью, ранним утром особенно, — и уж тут на меня накатит, как миазмы болотного газа. И еще меня стали теперь чересчур занимать некоторые процессы в моем теле, неизменные процессы, настырность, например, с какой растут себе мои ногти и волосы, невзирая на мое состояние, на все мои муки. Такая небрежность, такое на все наплевательство в этом безжалостном порожденье материи, которая уже умерла, — вот как живность занимается себе своими делами, знать не зная о том, что хозяин, вытянувшийся наверху на ледяной постели с отвислой челюстью и стеклянным взглядом, никогда уж больше не спустится — не задаст корму, не откроет последнюю банку сардин.

Да, кстати, о пишущих машинках — я ведь ее только что упоминал, пишущую машинку, — вчера ночью она мне приснилась, вернулась ко

1. Так называемые "Хартвордские остроумцы" — писатели, главным образом выпускники Йельского университета, знаменитые в конце XVIII века.

мне, я хотел отстукать завещание на этой машинке, а она не брала слова Я. Буквы Я то есть, ни прописной, ни строчной.

Здесь, у самого моря, по ночам тишина особого свойства. Не знаю, может, это из-за меня, то есть, может, я сам привношу это свойство в тишину своей комнаты, вообще всего дома, или это местный эффект такой, зависящий от просоленности воздуха, что ли, вообще от морского климата. В детстве, когда жил на Полях, я ничего подобного не замечал. Она плотная и пустая одновременно, эта тишина. Долго, ночь за ночью, я докапывался, что же она мне напоминает. Это — как тишина комнаты, где болеешь в детстве, лежишь в жару, под сырой, горячей горой одеял, и, как воздух в батисфере, пустота давит на барабанные перепонки. Болезнь тогда — особое место, отдельное место, куда больше никому нет доступа, ни доктору с бросающим в дрожь стетоскопом, ни даже матери, прикладывающей прохладную руку к твоему раскаленному лбу. Вот и сейчас я, по-моему, в таком же примерно месте — далеко-далеко ото всего, ото всех. Но, кстати, в доме есть и другие люди, мисс Вавасур, полковник, спокойно храпят себе, а может, вовсе они не храпят, лежат без сна, глядят в свинцово-сизую тьму. А может, думают друг о друге, уж у полковника-то определенно виды на хозяйку, уверен. Она, правда, за спиной посмеивается над ним, не без нежности, называет Полковник Без Полка или Наш Храбрый Вояка. Бывает, утром у нее красные глаза, как будто плакала ночью. Может, корит себя за то, что случилось, до сих пор горюет? Каким утлым сосудом печали, судном печали мы плывем по глухой тишине сквозь осенний мрак.

Ночью — вот когда я особенно думал про Грейсов, лежа на узкой железной койке на даче, под открытым окном, слыша монотонное, ровное буханье моря, сирый бессонный крик чайки, редкий свист дергача вдалеке, а то свингующий всхлип джаз-банда на последнем медленном вальсе в гостинице "Гольф", и ссоры отца с матерью рядом, за стенкой, — они вечно ругались, думая, что я сплю, тихо шипели друг на друга, каждую ночь, каждую ночь, пока в последнюю ночь отец не ушел от нас и больше не вернулся. Но это было зимой, уже потом, уже совсем в другом месте. Чтобы не вслушиваться в их слова, я сочинял драмы, в которых спасал миссис Грейс от великой, губительной катастрофы, от кораблекрушения, от опустошительной бури и в видах безопасности ее прятал в пещере, кстати сухой и теплой, и там в лунном свете — вот лайнер прошел, шторм утих — я нежно помогал ей сдернуть липкий купальник и махровой простыней укрывал светящуюся наготу, и мы ложились рядом, и она склоняла голову мне на плечо и благодарно дотрагивалась до моего лица и вздыхала, и мы засыпали вместе, она и я, убаюканные нежной, просторной ночью.

В то время меня сильно занимали боги. Я не про Бога с большой буквы, я про богов вообще. Точней, про самую идею богов, про возможность их существования, что ли. Я был заядлый книгочей и довольно сносно знал греческие мифы, хоть и трудновато было уследить за персонажами ввиду частоты перевоплощений и множественности перипетий. Я их поневоле себе представлял вполне стилизованно — полуголые гиганты, литые мускулы сплошь, грудь колесом, — исходя из работ великих мастеров итальянского Возрождения, Микеланджело в частнос-

ти, — я, разумеется, репродукции видел в журналах и книгах, я же вечно охотился на образчики голого тела. И, конечно, эротические подвиги небесных созданий особенно чаровали мое воображение. От одной мысли об этой тугой, туго трепещущей плоти, ничем не прикрытой, кроме мраморных складок плаща или небрежной газовой дымки — небрежной, но досадно блюдущей скромность, как махровое полотенце Роз или, да, как купальник Конни Грейс, — моя неопытная, но уже перегретая фантазия ударялась в любовный бред о шалостях, об изменах, побегах, ловитвах и трудных победах. В деталях тех схваток в золотой пыли Греции я не вполне разбирался. Воображал, как содрогаются смуглые стегна над бледными чреслами, как те уклоняются, даже сдаваясь, слышал стоны восторга и нежной муки. Механика самого акта решительно не давалась моему пониманию. Однажды, бродя по колтунным тропинкам Отвала — как называлась узкая лесистая полоса между берегом и полями, — я чуть не споткнулся о парочку, сцепившуюся под плащом в неглубокой песчаной ложбинке. От их усилий плащ сполз, прикрывал головы, а не низ, а может, они так нарочно устроились, предпочтя прятать лица, как ни крути куда более опознаваемые, чем зады, и от этого вида — бока мужчины ритмично напруживались между приподнятыми, широко раскинутыми ногами женщины — что-то набухло, заскочило у меня в горле, и в какой-то панике от омерзения кровь прилила к сердцу. *Так вот*, я подумал, или это кто-то подумал за меня, *так вот чем они занимаются.*

Любовь у взрослых. Было дико представить: бьются на своих олимпийских ложах во тьме, и только звезды одни видят, что они вытворяют, как пыхтят, задыхаются, выдыхают ласки, вопят от удовольствия, будто от боли. Но днем-то как же им удается перед собой оправдать эти темные делишки? Вот что меня больше всего поражало. Неужели не стыдно? Скажем, воскресенье — являются в церковь, не стряхнув трепета субботней ночи. Священник с ними здоровается на паперти, — честно улыбаются, лопочут невинное что-то. Женщина окунает пальцы в купель, к святой воде примешивает липкую любовную жижу. Бедра под обеднишним платьем прочесывает ночной восторг. Преклоняют колена, и плевать они хотели на удрученный взор мраморного Спасителя, устремленный на них с креста. После воскресного обеда, с них станется, ушлют детей поиграть, укроются в занавешенном святилище спальни и все проделают сызнова, не ведая, что мой покрасневший глаз не мигая смотрит на них. Да, такой я был мальчик. Точней сказать, во мне до сих пор сидит такой мальчик. Зверушка с грязными помыслами. А-а, будто кто-то устроен иначе. Мы так и не взрослеем. Я, во всяком случае, не повзрослел.

Днем я маялся на Станционной, в надежде, что вдруг мелькнет миссис Грейс. Возле зеленой калитки укрощал свой разбег до шага сомнамбулы, мечтал, что вот она выйдет из двери, — вышел ведь муж, когда я впервые его увидел, — но она упрямо оставалась внутри. В тоске я заглядывал за дом, в сад, где висело на веревке белье, но видел только все детское, шорты, носки, кое-какое неинтересно мелкое исподнее Хлои и, конечно, вислые, сероватые кальсоны папаши, а раз даже его шляпу-ведерко, зашпиленную под залихватским углом. Миссис Грейс представлял только черный купальник, висел на бретельке, вялый, постыдно пустой, сухой, и напоминал уже не тюленя, а шкуру пантеры. Я и в окна

заглядывал, особенно в верхние, в спальни, и однажды был вознагражден — как бухнуло сердце! — промельком в затененном окне того, что принял за голое бедро — чье же, как не ее? Затем обожаемая плоть шелохнулась и обернулась волосатым предплечьем мужа — насколько я понял, сидящего на толчке и тянувшегося к рулону бумаги.

Однако настал день, дверь открылась, но это всего-навсего Роз — вышла, смерила меня таким взглядом, что я потупился, и заспешила куда-то. Да, Роз сразу меня раскусила. И сейчас видит насквозь, конечно.

Я решил — надо войти в дом, походить там, где ходит миссис Грейс, посидеть там, где она сидит, потрогать то, к чему она прикасается. С этой целью я наметил знакомство с Хлоей и ее братом. Дело было несложное — все это было просто в детстве, даже для такого зажатого ребенка, как я. Нам тогда не требовалось подходцев, разговоров издалека, не надо было ждать, пока тебя представят, просто подкатывайся, а там уж гляди. Наконец удалось высмотреть этих двоих на гравии перед Береговым Кафе, заприметить прежде, чем они меня заприметили, и я перешел наискось через дорогу туда, где они стояли, и встал. Майлз в глубокой сосредоточенности ел мороженое, ровно вылизывал со всех сторон, как кошка вылизывает котенка, а Хлоя, видно, прикончила свое и ждала, скучая, налегши на дверь кафе, одной ногой в сандальке давя на подъем другой и равнодушно задрав лицо к солнцу. Я молчал, они тоже. Так мы и стояли трое в блеске утра, среди запахов водорослей и ванили, и того, что в Береговом Кафе сходило за кофе, и наконец Хлоя соблаговолила опустить голову, устремила взгляд на мои коленки и спросила, как моя фамилия. Я сказал, и она ее повторила, будто на зуб попробовала, как подозрительную монету:

— Морден? Что за фамилия за такая?

Мы побрели по Станционной, мы с Хлоей впереди, Майлз скакал за нами следом. Они городские, Хлоя сказала. Можно подумать, я сам не догадался. Спросила, где я живу. Я неопределенно повел плечом.

— Там... Как мимо церкви пройдешь.

— Дом снимаете или в гостинице?

Какая скорая. Я уже изготовился врать — "Да, в гостинице 'Гольф'" — но смекнул, куда эта ложь может меня завести.

— На даче, — бормотнул я.

Она кивнула мечтательно.

— Я всегда хотела пожить на даче.

Это слабо меня утешило. Наоборот, на секунду, но с жуткой отчетливостью я себе представил скособоченный деревянный сортир посреди люпинов под самым моим окном и даже вдруг уловил как будто сухой древесный запашок газетных обрывков, насаженных на ржавый гвоздь изнутри, как войдешь.

Добрели до "Кедров", остановились у калитки. Машина стояла на гравии. Только что вернулась откуда-то, и, остывая, нервно цокал мотор. Из дома, из включенного радио летели липко-тающие, как тянучка, струнные звуки оркестра; я представил: миссис Грейс танцует с мужем — скользят в вальсе, у нее запрокинута голова, голое горло, он переступает на шерстистых, как у фавна, ногах, жадно скалится ей в лицо — он ниже ее дюйма на два, — выказывая сплошные, мелкие, острые зубы, весело-похотливо горит льдисто-синий взгляд. Хлоя чертила узоры на гравии носком сандальки. На икрах светились белые волоски, голени

были гладкие, блестели, как камень. Ни с того ни с сего Майлз подпрыгнул, подскочил, от радости, что ли, но уж чересчур механически, будто вдруг проснулась заводная игрушка, весело мазнул меня по затылку ладонью, повернулся, с немым хохотом перемахнул через калитку, плюхнулся на гравий по ту сторону и опять повернулся к нам, согнув ноги, мотая руками, как акробат, ждущий законных аплодисментов. Хлоя скроила гримасу, скривила рот.

— Не обращай внимания, — сказала она скучно, с досадой. — Он говорить не умеет.

Они были близнецы. Я в жизни еще никогда не видывал близнецов, стало дико интересно и отчасти противно. В их положении чудилось что-то почти непристойное. Конечно, брат и сестра не могут быть уж совсем одинаковыми — от одной мысли о совсем одинаковых близнецах у меня прошелся холодок по хребту, — но все равно, тут же ужас до чего глубокая связь. Каково это? Как одна душа на двоих? Даже подумать тошно. Как будто чувствовать изнутри чужое тело, чужие органы, чужие запахи, чужие позывы. Как это? Как? Мне дико хотелось знать. Моросящим воскресным вечером в тесном киношном мраке — тут я забегаю вперед — мы смотрели фильм про двоих каторжан, они бежали, в наручниках, скованные вместе, и Хлоя заерзала, издала какой-то глухой звук, не то вздохнула, не то хихикнула. И шепнула: "Смотри-ка, мы с Майлзом". Я растерялся, почувствовал, что краснею, был рад, что темно. Она как будто призналась в чем-то постыдном, тайном. Но именно потому, что считал почти неприличной такую их близость, меня подмывало спросить, разузнать, ужасно хотелось — и было противно. Наконец — тут я еще дальше забегаю вперед — я набрался храбрости, взял и попросил Хлою сказать, да, мне потому что важно — как это — быть в такой тесной близости с братом — двойником! — и она задумалась, потом подняла руки, сдвинула ладони, тесно сдвинула, но не сомкнула. "Как два магнита, — сказала она, — но как-то так они повернуты неправильно, ни туда ни сюда". И мрачно умолкла, как будто на сей раз сама спохватилась, что выдала постыдную тайну, и она от меня отвернулась, и вдруг мне сделалось страшно, дурно, как тогда, когда слишком долго удерживал выдох на глубине. Да, с ней всегда было страшновато, с Хлоей.

Связь между ними была прямо физически ощутима. Я себе представлял растянутую на луче паутину или поблескивающую нить, какую по себе оставляет улитка, перебравшись с листа на лист, а может, наоборот, она стальная была, эта связь, и яркая, тугая, как арфовая струна, как гаротта. Они были спаяны, скованы вместе. Все общее: чувства, страхи, боль. И мысли. Наверно, проснувшись ночью, прислушиваясь к дыханью друг друга, знали, что одно и то же видят во сне. Снов друг другу не рассказывали. Зачем? Они и так знали.

Майлз был немой от рождения. Верней, просто не говорил никогда. Доктора не находили причин для его упорного молчанья, признавались в том, что озадачены, что не верят, иногда и в том и в другом. Сначала считалось, что у него замедленное развитие, придет время, заговорит, как все, но шли годы, а он так и не произносил ни слова. Может, он умеет говорить, но не хочет? Никто не знал. Немой или просто молчит? Просто молчит или немой? Вдруг у него есть голос, только он его никогда не пробует? Или пускает в ход, когда не знают, не слышат? Я себе представлял, как ночью, в постели, он шепчется сам с собою под одея-

лом и улыбается своей проказливой, жадной улыбкой. Или он говорит с Хлоей. И как же они хохочут, сдвинув лбы, обнявшись, над своей общей тайной.

— Заговорит, когда надо ему будет, — ворчал отец с заученным злым весельем.

Мистер Грейс явно не любил сына. Избегал его как мог, всячески старался с ним не оставаться вдвоем. Ничего удивительного: очутиться с Майлзом один на один — было как войти в комнату, откуда только что кто-то выскочил, хлопнув дверью. Она мешала, она угнетала, его немота. Молчит, но никогда не ведет себя тихо. Вечно что-нибудь схватит, отшвырнет, уронит с грохотом. И горлом издаст сухой, мелкий клекот. И слышно, как он дышит.

Мать к нему относилась с какой-то ленивой рассеянностью. Отвлеченно скользя по волнистому течению дня — она не то чтоб всерьез пила, но всегда была будто чуточку под хмельком, — она вдруг заметит его, не совсем узнавая, насупится и улыбнется — беспомощно и печально.

Ни один из родителей не выучил языка жестов, для общения с Майлзом избрали упрощенную ретивую пантомиму, всегда казалось, что они не пытаются что-то донести до его сознанья, но нервно на него машут руками, хотят спровадить. Правда, он прекрасно понимал, что́ они хотели сказать, иной раз даже чересчур быстро схватывал, и они только больше от этого раздражались. В сущности, оба, уверен, его побаивались. Тоже неудивительно. Это, наверно, как жить с чересчур даже видимым, весьма осязаемым полтергейстом.

Лично мне, хоть стыжусь признаться, точней, должен бы стыдиться, Майлз скорей приводил на память моего пса — был у меня когда-то такой пес, неукротимо бодрый фокстерьер, которого я страшно любил, но иногда, когда рядом не было никого, нещадно лупил его, бедного Понго, ради жаркого, распирающего удовольствия, которое он мне доставлял, визжа от боли и униженно извиваясь. Какие прутики-пальцы были у Майлза, какие ломкие, девичьи запястья! Он меня изводил — дергает за рукав или идет, например, по пятам и то и дело снизу скалится на меня из-под моего локтя, пока, наконец, я на него не кинусь, не повалю, что не составляло труда, потому что я уже тогда был дюжий детина и притом на голову его выше. Но дальше возникал вопрос, что с ним делать, поскольку, если не предпринять мер, он мигом брался за свое, и, перекувырнувшись, как заводная кукла, снова вскакивал на ноги. Сидя у него на груди, я пахом чувствовал, как мечется его сердце, как напрягаются ребра, как трепещет кожа, сбегая в подгрудинную впалость, а он подо мной смеялся задышливо, высовывал мокрый, бесполезный язык. Но, может, я тоже его слегка побаивался в глубине души или где там обретается страх?

В согласии с тайными протоколами детства — так мы были дети? — хочется другого какого-то слова — они не пригласили меня в дом в тот первый раз, когда я за ними увязался от Берегового Кафе. В общем, даже не помню точно, при каких обстоятельствах мне в конце концов удалось проникнуть в "Кедры". Только вижу: после той первой встречи разочарованно отворачиваюсь от зеленой калитки, и близнецы смотрят, как я ухожу, а потом, сразу, совсем в другой день, стою в святилище, будто, как Майлз тогда через калитку, я волшебным образом перемахнул через все препятствия, приземлился в гостиной, и вот — косо, латунным

клином падает плотный с виду солнечный луч, и миссис Грейс в просторном платье, голубеньком в синих цветах, оборачивается от стола и улыбается с прилежной неопределенностью, очевидно не понимая, кто я, но чувствуя, что должна бы понять, из чего явствует, что мы с ней, конечно, не в первый раз оказались нос к носу. Но где же Хлоя? Где Майлз? Почему я остался один на один с их матерью? Она спросила, не хочется ли мне чего-нибудь. Стаканчик лимонада? "Или, — в легком смятении, — может быть, яблоко?" Я затряс головой. Она была здесь, рядом, и уже потому душа у меня зашлась от радости и какой-то непонятной печали. Кто скажет, какие муки терзают сердце одиннадцатилетнего мальчика? Она склонила голову к плечу, ее озадачивало, но и смешило, я заметил, мое бессловесное, настойчивое присутствие. Наверно, я напоминал мотылька, дрожащего перед свечным пламенем, или саму свечу, дрожащую, тающую от собственного жара.

И что она делала у стола? Охорашивала в вазе цветы? Или тут подвираю? Но пеструю тропу моей памяти заволакивает каким-то мерцаньем в том месте, где реют ее руки. Лучше, пожалуй, помешкаю с нею рядом, пока не появится Роз, пока Майлз и Хлоя не вернутся откуда-то, уж не знаю, где они были, пока похотливый супруг с грохотом не ворвется на сцену; скоро, скоро ее снесет из дрожащего центра моих мечтаний. Но как ярко горит этот луч. Откуда же он исходит? Он светит почти по-церковному, будто, непостижимым образом, из окна-розы косо падает на нас с высоты. Не в одном этом дымном луче, в кротком сумраке летних вечерних комнат моя память нащупывает детали, предметы, свидетелей прошлого. Миссис Грейс, Констанс, Конни, все еще улыбается мне, смотрит рассредоточенным взглядом, каким, я теперь уж думаю, она смотрела на все, как бы не вполне полагаясь на прочность мира, чуть ли не ожидая, что вот-вот он диковинно, весело обернется чем-то совсем другим.

Я тогда бы сказал, что она красивая, будь у меня кто-нибудь, кому я вдруг бы вздумал довериться, но теперь понимаю, что на самом деле ничего особенного. Скорей приземистая, пухлые красные руки, шишечка на носу, жидкие пряди, которые она все заправляла за уши, а они выбивались, были темней, чем остальные, светлые волосы, отдавали лоснистым мореным дубом. Ходила ленивой раскачкой, под летним шелком прыгали ляжки. Пахло от нее потом, кольдкремом и, еле распознаваемо, кухней. Женщина как женщина, иными словами, ну, обыкновенная мамаша. Но для меня она была, при всей своей ординарности, такой же недосягаемой, такой же недосягаемо вожделенной, как тканая бледная леди с единорогом и книжкой. Но нет, зачем на себя наговаривать, какой бы я ни был ребенок и потенциальный романтик. Даже мне она совсем не казалась бледной, совсем не казалась тканой. Вполне себе реальная, толстомясая, чуть ли не съедобная. То-то и оно: она была одновременно и венцом моих желаний, и самой обыкновенной женщиной из плоти и крови. Кончились мои вполне пристойные грезы со спасением и нежной возней, и теперь меня осаждали яркие необузданные фантазии, впрочем лишенные главной детали, я лежал на земле под ее жарким телом, размаянный, раскачиваемый, оседланный ею, зажав себе грудь руками, лицо в огне, сразу ей и дитя и любовник.

Иной раз вдруг, непрошено вставал передо мной ее образ, и вожделенье жалило, пронзало всего, до корней. Однажды, зеленоватыми су-

мерками после дождя, когда мокрый луч еще медлил в окне и немыслимый в эту пору дрозд посвистывал в моросящих люпинах, я лежал ничком на постели в таких мученьях неутоленной страсти — она реяла ореолом вокруг своего предмета, ловила его в фокус, не умела поймать, — что я не выдержал и разрыдался, громко, горько, взахлеб. Мать услышала, вошла ко мне, не сказала ни слова, что нехарактерно — я скорей ожидал настырных расспросов, даже затрещин, — только подобрала подушку, сброшенную на пол метаниями моей тоски, чуть помешкала и снова вышла, бесшумно прикрыв за собою дверь. Как она себе объяснила причину моих рыданий? Вот что меня занимало тогда и теперь занимает. Распознала мой острый любовный голод? Этому я не мог поверить. Где уж ей, всего-навсего моей маме, было понять шторм, мотавший меня, неукротимый огонь, опалявший мне крылья? Ах, мама, мама, как же плохо я тебя понимал, считая, что ничего ты не понимаешь.

Итак — я стою, в райский миг, в самом центре мира, и падает этот луч, и рядом эти увертливые цветы — душистый горошек? — вдруг вижу: ну да, конечно душистый горошек, — и светловолосая миссис Грейс меня потчует яблоком, которого, однако, незаметно на горизонте, но сейчас, сейчас, под скрежет винтов головокружительно, до дурноты, все вдруг взмоет, накренится. Произойдет сразу много разных вещей. В открытую дверь кубарем вкатится лохматый песик — действие почему-то переместилось из гостиной на кухню, — отчаянно стуча коготками по сосновому полу. В пасти у него теннисный мячик. Тут же вдогонку вбежит Майлз, и Роз в свою очередь вдогонку за Майлзом. Майлз споткнется — или он это нарочно — о завернувшийся ковер, рванется, упадет, снова вскочит, перекувырнется, чуть с ног не сшибет свою мать, и та крикнет — испуг мешая с усталой досадой — "Ради Бога, Майлз!" — а пес тем временем, взмахнув вислым ухом, сменит курс, метнется под стол, не выпуская мячика из усмешливой пасти. Роз сделает выпад, пес ловко увернется. Но вот в другую дверь, воплощением самого седого Времени, войдет Карло Грейс, в шортах, сандалиях, с мохнатой простыней на плечах, выставив волосатое пузо. При виде Майлза с собакой он притворно рычит, грозно топает ногой, и собака роняет мячик и исчезает вместе с Майлзом так же вдруг, как они появились. Роз хохочет — такое тонкое конское ржанье, — но, глянув на миссис Грейс, закусывает губу. Хлопает дверь, ускоренным эхом отзывается дверь наверху, в клозете, и за мгновенье до того наполнившийся бачок урчит, захлебывается, клокочет. Оброненный мячик медленно, блестя от слюны, выкатывается на середину комнаты. Мистер Грейс, завидя меня, незнакомого, — забыл, конечно, как сам мне мигал, — запрокинул голову, собрав лицо в складки, и вопросительно, с напускным вниманием, меня оглядывает. Я слышу, как шлепают сандальи, по лестнице спускается Хлоя. Вот — спустилась, а миссис Грейс тем временем уже представила меня мужу — по-моему, это впервые меня кому-то официально представили, правда, пришлось самому назвать свою фамилию, миссис Грейс забыла — и он притворно-торжественно тряс мне руку, именовал "дражайший", а затем, ловко перейдя на кокни, заверил, что "завсегда рады будем, значится, друзьям, стал быть, наших детев". Хлоя выкатила глаза, задыхаясь от возмущения. "Ну хватит тебе, па", — прошипела сквозь стиснутые зубы, и он сделал вид, что перед нею трепещет, выпустил мою руку, шалью накинул полотенце на голову, тяжело удерживаясь на цыпочках, вышел из

комнаты и на прощанье пискнул летучей мышью, изображая испуг, миссис Грейс зажигала сигарету. Хлоя, даже не взглянув в мою сторону, через всю комнату прошла к двери, за которой скрылся отец. "Подбрось меня! — крикнула ему вслед. — Слышишь?" Хлопнула автомобильная дверца, затрещал мотор, хрустнул под шинами гравий. Хлоя сказала: "О черт!"

Миссис Грейс налегла на стол — тот, с душистым горошком, потому что мы волшебным образом снова оказались в гостиной, — курила сигарету, так, как дамы тогда курили: рука под грудью, ладонью придерживает локоть другой. Вздернула брови, криво мне улыбнулась и поежилась, щипком снимая табачную кляксу с нижней губы. Роз нагнулась, морща нос, двумя пальцами подняла обслюнявленный мячик. За калиткой весело, дважды, гуднул рожок, и мы услышали, как укатывает автомобиль. Зашлась лаем собака, требуя, чтоб ее допустили к мячу.

Да, кстати, собака. Больше я ее никогда не видел. Чья она была?

Сегодня чувствую странную легкость, даже, как бы сказать, летучесть. Снова поднялся ветер, вздул прямо целую бурю, вот почему, наверно, кружится голова. Я всегда был восприимчив к погоде, ко всяким ее проявлениям. В детстве любил примоститься зимним вечером у приемника, слушать метеопрогноз для судов, себе представлять, как отважные мореходы борются с бурей — у Туманного, Недоступного, или как там он назывался, тот дальний брег. Часто уже и взрослым такое испытывал, с Анной, в нашем милом старом доме между горами и морем, когда осенняя буря выла в трубе и валы катили к берегу белый кипень. До того как пропасть разверзлась у наших ног в приемной у доктора Тодда — которая, вот пришло на ум, сильно смахивала на мерзко-усовершенствованную парикмахерскую, — я часто с удивлением рассуждал о том, как щедра ко мне жизнь. Спросить того мальчика, мечтавшего возле приемника, кем он хочет быть, когда вырастет, — так то, что собой являю, совпадает более или менее с тем, что бы он описал, пусть сбивчиво и нескладно, — совершенно уверен. И это ж, по-моему, замечательно, даже со скидкой на нынешние мои печали. Мало ли народу ропщет на собственный жребий, уныло томясь в цепях?

Вот интересно, а другие в детстве тоже, пусть туманно, но с известной определенностью себя представляют в будущем? Я не о надеждах, упованиях, чаяниях и прочее. С самого начала у меня ясно очертились планы. Карьера знаменитого путешественника или машиниста меня категорически не прельщала. Жадно вглядываясь сквозь туман из очень даже реального *тогда* в блаженно неведомое *теперь*, я, как уже сказано, довольно точно угадывал будущего себя — обладателя праздных интересов, вялых амбиций, в такой вот приблизительно комнате, на капитанском стульчике, у такого вот столика, в такую пору, когда кончается год, и блаженна погода, и летают листья, и дни выцветают, медленно, неуклонно, и что ни вечер чуть пораньше зажигаются фонари. Да, так я представлял себе свою взрослость, как такое долгое бабье лето, покой, тихое нелюбопытство, и ничего не осталось от почти непереносимой резкости детства, и решены все задачи, устаканились тайны, есть ответы на все вопросы, и минуты текут, одна за другой, почти незаметно, золотая капля за каплей, до самого последнего, неотвратимого, почти незамечаемого конца.

Конечно, кое-что тот мальчишка просто бы с ходу отверг, не позволил себе предвидеть даже, предположим, угадывая в слишком смелой фантазии. Потери, горе, черные дни и бессонные ночи, такие сюрпризы не очень-то отражаются на фотографической пленке пророческого воображенья.

И опять же, если как следует вдуматься, картина будущего, которую я рисовал мальчишкой, дико была старомодна. Мой нынешний мир, осуществись он по тем лекалам, при всей тогдашней моей прозорливости, получился бы чуть-чуть другой, да, чуть-чуть, но все же; все разгуливали бы в фетровых шляпах, габардиновых пальто, разъезжали бы на тучных тупорылых автомобилях с крылатыми фигурами, подрагивающими над решетом радиатора. И где я успел понабраться всех этих штук, столь подробно уснастить ими будущее? Наверно, не умея его точно себе представить, но не сомневаясь, что буду в нем процветать, я его обставил атрибутами успеха, какими щеголяли большие люди нашего города, доктора, адвокаты, провинциальные фабриканты, на которых скромно работал отец, да хлипкие наследники протестантских богатств, доживавшие век в своих Больших Домах при заросших дорогах окраин.

Нет, не то, опять не то. Так тоже не вполне объяснишь жеманно-усталую, устарелую атмосферу моих мечтаний. Точный образ собственной взрослости — сижу себе, тройка в елочку, шляпа набекрень, ноги под пледом, в "хамбер-хоке", а правит шофер — был навеян, да, наконец-то понял, утлой элегантностью, томным шиком, который я связывал, во всяком случае связываю теперь, с тем временем еще до моего детства, с недавней древностью, какой был — да, вот оно, вот! — мир до Второй мировой. То, что казалось мне будущим, было в действительности — ах, при чем тут действительность, — фантазийной картиной прошлого. Я, можно сказать, не столько предвкушал будущее, сколько по нему тосковал, ибо то, что мне виделось впереди, давно миновалось. Да-да, вдруг сообразил, что-то в этом есть, что-то есть. А может, я вовсе не в будущее смотрел — мимо него, сквозь него?

Честно говоря, это все уже стало сплываться, прошлое, возможное будущее, невозможное настоящее. В страстные недели диких дней и ночных кошмаров, перед тем как Анне пришлось-таки признать неотвратимость доктора Тодда, его тычков и настоек, я сошел как будто в сумрачный ад, где не отличить сна от яви, где и сон и явь состоят из одной бледноватой, порхающей тьмы, где меня мотало в лихорадочной летаргии, будто не Анне, а мне предстояло вот-вот присоединиться к столь густым уже толпам теней. То был мрачный вариант фантомной беременности, которую я пережил, когда Анна только обнаружила, что у нас будет Клэр; теперь я с ней за компанию страдал от фантомной болезни. Со всех сторон маячили предвестия смерти. Меня терзали совпаденья; давно забытое вдруг вспоминалось; отыскивались безнадежно пропавшие вещи. Моя жизнь проходила передо мной, не мгновенно, как, говорят, проносится перед утопающим, но в медленных судорогах, сбрасывая балласт повседневных тайн в подготовке к моменту, когда придется ступить на черный паром у туманной реки, сжимая холодный обол в уже охладевшей ладони. Как ни странно, место этого воображаемого предотплытия было мне не то чтобы совсем незнакомо. Раньше иногда, в минуты забытья, скажем, за работой, скажем, за столом, когда тону, захле-

бываюсь в словах, пусть бедных словах, потому что ведь, бывает, и посредственность осенит вдохновенье, я чувствовал, что прорываюсь сквозь мембрану сознательного в иную среду, которой названия нет, в которой не действуют простые законы и время течет иначе, если течет вообще, и я не живой и не то, другое, но однако же как никогда живо присутствую в том, что, хочешь не хочешь, мы называем реальностью. Кстати, давным-давно, когда стоял, например, в пронизанной солнцем гостиной перед миссис Грейс, когда сидел с Хлоей во тьме киношки, я присутствовал и отсутствовал одновременно, был самим собою и призраком, и намертво влипнув в миг, как-то парил в то же время на грани отрыва. Может, вся жизнь всего-навсего долгая подготовка к тому, чтобы с ней распрощаться.

Для Анны, в ее болезни, хуже всего были ночи. Этого следовало ожидать. Много было такого, чего следовало ожидать, теперь, когда настало неожиданное, бесповоротное. Ночью то, что днем было ошеломляющей несуразицей — *со мной не могло такое случиться*! — сменялось неподвижным, тупым изумлением. Она лежала рядом без сна, и я почти физически чувствовал, как страх крутится у нее внутри, как динамо. Или вдруг громко расхохочется во тьме, заново изумившись положению, в которое так безжалостно, так безобразно поставлена. Но чаще лежала тихо, затаясь, свернувшись калачиком, как заблудившийся полярный исследователь в палатке — уже засыпает, уже замерзает, и уже ему безразлично, погибнет он или его спасут. Раньше все, что с ней случалось, было временно, одолимо. Горести исцелялись, пусть просто временем, радости затвердевали привычкой, тело само справлялось с недомоганиями. А тут — абсолютный, единственный, неотвратимый конец, а такого она не могла вместить, осилить. Были бы хоть боли, она говорила, все же показатель какой-то, понятно, — накрыло и никуда не денешься. Но болей не было, пока не было; только, она объясняла, как-то вечно мотает, мутит, скребет изнутри, будто одураченное, бедное тело отчаянно строит заслоны против захватчика, а тот уж пробрался вовнутрь тайным ходом, черными клешнями похрустывает.

В те бесконечные октябрьские ночи, лежа рядом двумя поверженными памятниками самим себе, мы убегали от нестерпимого настоящего в единственно возможное время — в прошедшее, даже в давно прошедшее. Спасались в наши первые совместные дни, вспоминали наперебой, плутали по общему прошлому, поддерживали друг друга, как двое старцев бродят под руку по укреплениям города, где жили когда-то, давным-давно.

Особенно вспоминали то лондонское дымное лето, когда встретились и поженились. Я сразу засек Анну в гостях, в чьей-то квартире, в удушливо жаркий вечер — все окна настежь, воздух сизый от выхлопных газов, и гудочки автобусов, как туманные горны, чужды болтовне, тесноте темнеющих комнат. Ее размер — вот на что я сразу клюнул. Не то чтоб она была уж такая громадная, но спроектирована в ином масштабе, чем все мои прежние знакомые женщины. Крупные плечи, крупные руки, ноги, великолепная голова и эта грива темных, густых волос. Она стояла между мной и окном, в легком платье, в босоножках, говорила с другой женщиной так, как ей было свойственно, сосредоточенно и рассеянно сразу, в задумчивости навивая на палец темную прядь, и сначала мой глаз как-то все не мог утвердиться в фокусе, все казалось, что Анна,

такая большая, стоит гораздо ближе ко мне, чем та, помельче, ее собеседница.

Ох, эти вечеринки, сколько их было в то время. Как начну вспоминать, всегда вижу: вот мы явились, секунду мешкаем на пороге, моя рука у нее пониже спины, под пальцами этот разлог, прохладный сквозь пупырчатость шелка, ее дикий запах в моих ноздрях, жар волос у меня на щеке. Роскошно, надо думать, мы выглядели, являясь, — выше всех, глядя поверх голов, будто на что-то прекрасное, дальнее, что только нам одним благоволило открыться.

Она тогда собиралась стать фотографом, щелкала эти свои утра с настроением — сплошь сажа, черненое серебро — в самых мрачных углах города. Хотела работать, что-то делать, кем-то быть. К ней взывал Ист-Энд, Брик-лейн, Спитафилд, милые места. Я никогда это не принимал всерьез. Зря, наверно. Жили они с отцом, снимали квартиру — в коричневом особняке, на Слоун-сквер, правда, но в сонной заводи, на темных задворках. Квартира громадная, ряд просторных высоких комнат, большие подъемные окна гордо отводили остекленелый взгляд от копошащихся внизу человечков. Папочка, старый Чарли Вайсс — "можешь не волноваться, фамилия не еврейская " — сразу ко мне расположился. Я был большой, молодой, нелепый, мое присутствие в этих раззолоченных комнатах его развлекало. Веселенький такой господин, крошечные ручки, ножки. Меня ошарашил его гардероб: несчетные костюмы с Сэвил-роу, рубашки от Шарве, кремового, бутылочного, лазурного шелка, десятки пар на заказ сшитой миниатюрной обувки. Голова, которую он через день таскал к Трамперу брить — волосы, он объяснял, это шерсть, ни один порядочный человек ее на себе не потерпит, — была гладкая, как яйцо, и он ходил в этих мощных очках, модных среди тогдашних крутых — резные дужки, линзы с блюдце, — острые глазки метались за ними экзотическими хитрыми рыбками. Он ни минуты не мог оставаться в покое, вскочит, сядет, опять вскочит, и под своими высокими потолками был как гладкий орешек, бренчащий в слишком крупной для него скорлупе. Когда я пришел в первый раз, он гордо таскал меня по квартире, демонстрировал картины, сплошь старых мастеров — так он воображал, — гигантский телевизор, оправленный каштановым деревом, бутылку "Дом Периньона" и корзину безупречных несъедобных фруктов, присланную накануне коллегой — у Чарли не было друзей, партнеров, клиентов, сплошные коллеги. Свет лета густым медом натекал в окно на узоры ковра. Анна сидела на диване, уперев подбородок в ладонь, поджав под себя одну ногу, безучастно глядя, как я топчусь вокруг ее несуразно мелкого папаши. В отличие от других коротышек, он ничуть не робел нас, больших, мои размеры его даже, кажется, ободряли, он чуть ли не влюбленно жался ко мне, и посреди всего этого хвастовства сверкающими плодами успеха выпадали минуты, когда казалось: вот подпрыгнет и уютно устроится у меня на ручках. Когда он в третий раз помянул свой бизнес и я спросил, наконец, о каком бизнесе речь, он обратил ко мне взор, полный чистейшей невинности, сияя своими аквариумами.

— Тяжелое машиностроение, — отчеканил он без тени улыбки.

На свою жизнь Чарли смотрел с восторгом, слегка удивляясь тому, что удалось так легко смыться с такой тучной добычей. Он был мошенник, наверно, опасный мошенник, и совершенно, начисто аморален.

Анна нежно, печально его почитала. Как такому крошке удалась такая крупная дочь, остается загадкой. При всей ее молодости казалось, что она терпеливая мать, а он — очаровательный сорванец-карапуз. Свою же мать Анна потеряла в двенадцать дет, и с тех пор отец с дочерью парочкой противостояли миру, как двое авантюристов позапрошлого века, он, скажем, пароходный шулер, она — девица при нем для отвода глаз. Два-три раза на неделе к ним в квартиру заваливались шумные гости, шампанское лилось пузырчатой, чуть горклой рекой. Как-то к концу лета мы возвращались из парка — я любил с ней гулять в сумерках в пыльных тенях под деревьями, которые уже хрустким, сухим, уже бумажным шелестом предвещали осень, — и, еще не свернув на свою улицу, мы услышали пьяный гвалт из соответствующих окон. Анна положила руку мне на плечо и остановилась. В вечернем воздухе подрагивал темный посул. Она повернулась ко мне, двумя пальцами захватила пуговицу на куртке, туда-сюда крутанула, как наборный диск сейфа, и обычным своим легким, слегка отвлеченным тоном сделала мне предложение.

Всё то ожиданием и жарой одурманенное лето я, кажется, дышал только верхушкой легких, как ныряльщик, который стоит на самой верхней доске и смотрит на малый квадратик синевы где-то под ним, в невозможной дали. И вот зазвенел, раскатился крик Анны: "Прыгай!" В наши дни, когда только низшие слои да то, что осталось от "благородных", считают нужным жениться, у всех же прочих принято заводить партнеров, как будто жизнь — это танец или деловой проект, даже трудно, наверно, себе представить, какой головокружительный прыжок это был — подписать себе брачный приговор. Я погрузился в диковатый мир Анны и ее родителя, как в иную, фантастическую среду, где правила, как я их себе представлял до тех пор, оказались неприменимы, где все мерцало, все было нереально и даже реальное казалось подделкой, как те безупречные фрукты на блюде в квартире у Чарли. И вот меня приглашали стать насельником этих обворожительно чуждых глубин. То, что Анна мне предложила тогда, на углу Слоун-стрит, был не столько брак, сколько шанс осуществить фантазию о самом себе.

Свадьбу сыграли под полосатой маркизой в неожиданно просторном саду за особняком. Был последний день ударившей в то лето жарищи, он стоял тихий, весь исцарапанный косыми лучами. Бесконечно причаливали длинные блестящие автомобили, выгружались все новые гости, цапленогие дамы в широкополых шляпах, девицы в белой помаде, в лайковых белых сапожках до колен, полупочтенные господа в полосатом и светлом, тонкие юноши, важно курившие травку, и были еще какие-то невнятные типы, коллеги Чарли, скользкие, сторожкие, безулыбчивые, в костюмах с отливом, в разноцветных воротничках и остроносых сапожках по щиколотку. Чарли подпрыгивал среди них, среди всех, блестя подсиненной лысиной, как пóтом сочась довольством. Потом, попозже, сладкоокие, истомные, робкие полноватые господа в чалмах и белоснежных джеллабах приземлились среди нас, как голубиная стая. Еще попозже кошмарно надралась толстая вдовица, рухнула, была поспешно унесена каменнолицым шофером. Когда свет уже загустевал под деревьями, и тень соседнего дома дверью люка упала на сад, и последние пьяные пары шаркали по доморощенной танцевальной площадке, склоняя друг к другу головы, опуская, смыкая подрагивающие ве-

ки, а мы с Анной стояли и ждали, когда все это кончится, вдруг темным облаком откуда ни возьмись низко-низко над самой маркизой пролетели стрижи и выбили крыльями продолжительные, презрительные аплодисменты.

Ее волосы. Вспомнил вдруг эти волосы, длинные, темные, блестящие, они убегали со лба высокой косой волной. Даже в солидном возрасте в них почти не завелось седины. Как-то — уже мы на машине ехали из больницы — она подняла прядь с плеча, стала перебирать, разглядывать, хмуриться.

— А есть птица такая — лысь?

— Ну не знаю, — ответил я осторожно. — По-моему, это не птица, а вовсе тюлень. А что?

— Видимо, я буду вся лысая, эдак через месячишко.

— Кто тебе сказал?

— Одна женщина, ей делали процедуры, те же, как мне назначены. Лысая, как колено. Так что ей видней. — Она посмотрела на дома, магазины, проплывавшие мимо, равнодушно, как у них это водится, потом опять повернулась ко мне: — Да, а лысуха — это кто?

— Это птица такая.

— А-а. — Она хмыкнула. — Я стану вылитый Чарли, когда они все повылезут.

И стала.

Он умер, старый Чарли, через несколько месяцев после того, как мы поженились. Все деньги достались Анне. Не такая уйма, как я мог бы рассчитывать, но ничего, очень даже прилично.

Странная вещь, одна из многих странных вещей в моей страсти к миссис Грейс — та, что она улетучилась чуть ли не в ту же минуту, как достигла; можно сказать, апогея. Все случилось в день пикника. Мы уже всюду ходили втроем — Хлоя, Майлз и я. Как же я гордился тем, что меня видят с ними вместе, с этими божествами, я же, конечно, в них видел богов, так не похожи были они ни на кого из моих прежних знакомых. Бывшие друзья с Полей, где я уже не играл, возмущались моим предательством. "Все время с шикарными этими, новая дружба", — так, я подслушал, мама раз говорила чьей-то обиженной матери. "Что с него возьмешь, — понижая голос, — дурачок, мальчишка". А в глаза мне она выражала недоумение, почему не попрошусь к Грейсам в приемные сыновья. "Я бы что, я бы ничего. Под ногами не будешь путаться". И смотрела на меня спокойным взглядом, немигающим, острым — тем самым, каким часто смотрела после ухода отца, будто хотела сказать: *А потом и ты меня бросишь*. Так и вышло, наверно.

Родители не познакомились с Грейсами, даже не порывались. Те, кто жил в настоящих домах, не якшались с теми, кто жил на дачах, и незачем нам было втираться к ним в дружбу. Джина мы не пили, к нам не приезжали гости на выходные, мы не забывали карту путешествий по Франции на заднем сиденье автомобиля — да у кого в Полях и был-то автомобиль. Социальная структура нашего летнего мира жестко определилась, снизу доверху не добраться. Несколько семейств в собственных летних домах — это была вершина, потом шли те, кто мог себе позволить гостиницу — Береговая котировалась выше Гольфовой, — потом те, кто снимал дом, а уж дальше — мы. Жившие здесь круглый год в

иерархии не учитывались; деревенские, молочник Дуиньян, глухой гольфер, подбиравший на гольфе мячи, две старые девы, протестантки из Плюшевой Сторожки, француженка, убиравшая теннисные корты и, говорили, регулярно совокуплявшаяся со своим догом, — все это было постороннее, лишнее — дымчатый задник для нашего нарядного, солнечного спектакля. То, что мне удалось с самого низа крутой социальной лестницы вскарабкаться до уровня Грейсов, мне самому представлялось, как и тайная моя страсть к Конни Грейс, знаком избранности среди толп незваных. Боги меня удостоили своей милости.

Да, так этот пикник. На шикарном автомобиле мистера Грейса мы пустились далеко по Отвалу, до того места, где кончалась мощеная дорога. Страстная нотка звякнула, едва пупырчатая кожа сиденья липко прильнула к моим голеням ниже шортов. Миссис Грейс сидела впереди рядом с мужем, покоя локоть на спинке, так что я видел обворожительно заштрихованную подмышку и то и дело, когда ветер, хлынув в окно, задувал в мою сторону, чуял ее сырой, потный, жаркий запах. На ней было нечто такое странное, что теперь называется, если не ошибаюсь, топик: белая шерстяная полоса без бретелек, в обтяжку, подчеркивала все особенности тяжелых грудей. Она была в своих очках кинозвезды, темных, в белой оправе, и курила толстую сигарету. Я, замирая, смотрел, как после глубокой затяжки она косо опускала нижнюю челюсть и тугое кольцо дыма недвижно повисало между сургучно-красных, поблескивающих губ. Ногти тоже были кроваво-красные. Я сидел прямо за ней на заднем сиденье, Хлоя посредине, мы с Майлзом по бокам. Острое, жесткое бедро Хлои беззаботно вдавливалось мне в ногу. Брат с сестрой были заняты каким-то своим бессловесным состязанием, возились, корчились, вцеплялись друг в дружку скрюченными пальцами, силясь столкнуть другого в узкий желобок. Я так и не усвоил правил их этих игр, если правила были, но в результате неизменно возникал победитель, чаще Хлоя. Вспоминаю, все еще с уколом жалости к бедному Майлзу, как стал впервые свидетелем этой игры, скорей драки. Шел дождь, мы торчали взаперти в "Кедрах". Каких дикарей будит в детях дождливый день! Близнецы устроились на полу гостиной, коленки к коленкам, глаза в глаза, напрягшись, сцепив пальцы, качаясь, как два воина-самурая, и наконец произошло что-то, я не разглядел, но что-то решительное, и Майлзу сразу пришлось сдаться. Вырвав пальцы из ее железной хватки, он обнял себя обеими руками обиженного, оскорбленного — тут он поднаторел — и стал рыдать от обиды и бешенства, тоненько, задушенно подвывая, прихватив нижней верхнюю губу, скосив и прикрыв глаза, пуская мутные, крупные слезы, — все это чересчур театрально и не вполне убедительно. Но как же глянула на меня Хлоя через плечо, победно, коварно, неприятно перекосясь, поблескивая резцом. Теперь, в машине, снова она победила, что-то такое сотворила с запястьем Майлза, и тот взвизгнул. "Ах, ну прекратите вы, оба", — сонно сказала мать, еле на них взглянув. Хлоя, все еще тонко, победно хихикая, еще сильней вжалась бедром мне в ногу, а Майлз гримасничал, складывал губы в кривое О, на сей раз сдерживал слезы, но тщетно, и тер раскрасневшееся запястье.

Дорога кончилась, мистер Грейс остановил машину, корзина с бутербродами, чашками, бутылками вина была вынута из багажника, и мы пошли по широкой полосе твердого песка, помеченной древней, полу-

осевшей, ржавой колючей проволокой. Мне здесь не нравилось, совсем не нравилось, я даже побаивался дикой заволоченной, грязной полосы, где все как будто отворачивалось от земли, печально заглядывалось на горизонт в немых поисках избавления. Грязь темно поблескивала, как свежий кровоподтек, и щетинились камыши, и к осклизлым, прогнившим надолбам были привязаны ненужные бакены. Прилив здесь никогда выше чем на дюйм не поднимался, вода набежит на отмель, быстрая, сверкающая, как ртуть, и ни с того ни с сего запнется. Мистер Грейс лихо трусил впереди, обоими локтями зажав по складному стульчику, и комическое ведерко ему съехало на ухо. Мы обогнули мыс и смотрели через пролив на город, взбиравшийся по холму, на игрушечные, лиловатые углы и плоскости, увенчанные шпилем. Мистер Грейс, по-видимому зная дорогу, свернул на луг, сплошь заросший высокими папоротниками. Мы шли за ним — миссис Грейс, Хлоя, Майлз и я. Папоротники были с меня ростом. Мистер Грейс нас дожидался в конце луга, на муравчатом взгорке под разлапой сосной, я наступил на расщепленный папоротник, и он прорезал борозду на моей голой щиколотке над самой сандальей.

На полосе травы между стеною папоротников и муравчатым взгорком расстелили скатерть. Миссис Грейс, на коленках, с налипшей к углу рта сигаретой, щуря один глаз от дыма, расставляла по скатерти снедь и посуду, супруг же тем временем — шляпа еле держалась на ухе — сражался с артачившейся винной пробкой. Майлз уже исчез в папоротниках. Хлоя, сидя на корточках, жевала сэндвич с яйцом. Роз — где же Роз? Да вот она, тут как тут, в своей алой рубашке, танцевальных туфельках и нарядных черных брюках в обтяжку, с уходящими под ногу штрипочками, и стянутые на узкой голове волосы хвостом распушены на затылке. Но как она сюда попала? В машине ее не было. А-а, ну конечно, я вижу велосипед, он небрежно раскинулся в папоротниках, с завернутыми лапками, под немыслимым углом выпятив руль — хитрым прообразом, что ли, — теперь мне кажется, — того, что случится потом. Мистер Грейс зажал бутылку в коленях, тянет, тянет, и у него краснеют ушные мочки. Роз сидит на углу скатерти сзади меня, опершись на согнутую руку, почти касаясь щекой плеча, сдвинув вбок ноги, — казалось бы, неуклюжая поза, но нет, ничего. Вдруг пробка выскакивает из бутылки с комическим щелчком, от которого все мы вздрагиваем.

Мы принялись за еду. Майлз изображал дикого зверя, выбегал из зарослей, хватал все руками, опять убегал, с ржаньем и уханьем. Миссис и мистер Грейс выпили всю бутылку, мистер Грейс откупорил вторую, на сей раз почти без усилий. Роз сказала, что у нее нет аппетита, миссис Грейс объявила, что это глупости, мистер Грейс, осклабясь, тянул к ней банан. Под безоблачным пока еще небом летал ветерок. Корявая сосна вздыхала над нами, к духу хвои примешивался запах мятых папоротников, острый, соленый привкус моря. Роз дулась, из-за того, как я понял, что миссис Грейс ей устроила выволочку, а мистер Грейс совал этот дурацкий банан. Хлоя сосредоточенно ковыряла болячку на локте, который вчера раскроила шипом. Я анализировал свою щиколотку — злая красная борозда бежала между рваных краев побелевшей кожи; крови не было, но на дне поблескивала сукровица. Мистер Грейс обмяк на складном стульчике, заложив ногу на ногу, с сигаретой в зубах, и ведерко, съехав на лоб, ему затеняло глаза.

Вдруг что-то мелкое, легкое мазнуло меня по щеке. Хлоя, оставив в покое свой шрам, запустила в меня хлебным шариком. Я на нее посмотрел, она ответила взглядом без всякого выраженья, метнула еще шарик. На этот раз промахнулась. Я подобрал шарик с травы, бросил в Хлою и тоже промахнулся. Миссис Грейс лениво следила за нами, прямо передо мной лежа на боку, на пологом муравчатом склоне, вдавливая щеку в ладонь. Бокал стоял ножкой в траве, краем упираясь в косо поникшую грудь — я часто думал, не больно ли ей их таскать, эти две тяжелые луковицы млечной плоти, — вот она облизнула палец и провела по краю бокала, чтоб он запел, но не получилось. Хлоя сунула в рот хлебный мякиш, послюнила, вытащила, медленно, стрательно помесила пальцами, запустила в меня, но шарик не долетел. "Хлоя!" — сказала мать, Хлоя пропустила мимо ушей этот бледный упрек, улыбнулась мне кошачьей, тонкой, злорадной ухмылкой. Она была жестокая девочка, моя Хлоя. Ей на потеху, помню, я налавливал горсть кузнечиков, каждому отдирал одну ножку, чтоб отрезать путь к спасению, клал извивающиеся тельца на крышку баночки из-под ваксы, смачивал керосином и поджигал. И до чего ж зачарованно, сидя на корточках, уперев ладошки в колени, она смотрела, как бедные существа корчатся, кипя в собственном соку.

Она лепила новый шарик. "Хлоя, ты невыносима", — вздохнула миссис Грейс, и вдруг Хлое все надоело, она выплюнула хлеб, стряхнула с себя крошки, встала и уныло поплелась под тень сосны.

Поймала ли Конни Грейс на себе мой взгляд? Мелькнуло ли что-то заговорщическое в ее улыбке? Тяжко вздохнув, она перевалилась и вот лежала навзничь на склоне, запрокинутой головой в траве, согнув одну ногу, так что мой взгляд вдруг был допущен под юбку и по внутренней стороне бедра дополз до самой вмятины паха, до самого взгорочка, схваченного белым тугим хлопком. Вдруг все замедлилось. Опустевший бокал свалился в обмороке, последняя винная капля добежала до края, повисела, блеснула, упала. Я смотрел, смотрел, лоб у меня горел, вспотели ладони. Мистер Грейс из-под шляпы, кажется, мне ухмылялся, мне было плевать, пусть себе ухмыляется на здоровье. Его крупная жена, еще увеличенная этим мигом, — укороченная, безглавая великанша, у ножищ которой я ежился чуть ли не в страхе, — выгнулась, задрала еще выше колено, выказывая гнутые складки толстой ляжки в том месте, где начинается зад. День погас от грома в моих висках. Больно задергало пораненную лодыжку. И тогда-то издали, из гущи папоротников, вылетел высокий, тоненький звук, свирельной архаической нотой вонзился в глазурованный воздух, и Хлоя там, под сосной, свела брови, как бы встречая приказ, нагнулась, сорвала былинку, зажала между большими пальцами обеих рук и выдула ответную ноту из раковины ладоней.

Через несколько бесконечных минут моя распростертая маха втянула ногу, опять перевалилась на бок и заснула с прямо обескураживающей внезапностью — вот уже она нежно посапывала, как пыхтит маленький, хлипенький мотор, когда силится завестись и никак не может, — а я сел, осторожно, чтоб резким движением не разбить что-то тонкое, драгоценное у себя внутри. И вдруг ощутил кислый вкус пустоты. Волнение как рукой сняло, что-то нудно сдавило грудь, я чувствовал пот у себя на веках, на верхней губе, под пояском шортов — горячий и едкий. Я был ошарашен, я был странно обижен, будто это меня, не ее, оскорбили нескромным взглядом. Я собственными глазами свидетельствовал

явление богини, но как же унизительно краток был божественный миг. Под моим жадным взглядом миссис Грейс из женщины стала виденьем и сразу — опять женщиной. Только что была Конни Грейс, жена своего мужа, мать своих детей, через миг всего — предмет моего беспомощного поклонения, безликий идол, первобытный, древний, порождение моей жажды. И вот снова — что-то в ней осело, обмякло, я почувствовал тошное отвращенье, стыд, не за себя, не за то, что́ я стибрил у нее своим взглядом, нет, за нее самое, эту женщину, не потому, что она что-то нехорошее сделала, просто потому, что, с хриплым стоном перевалясь на бок, из воплощенья соблазна она снова стала смертной женщиной, просто собой.

Но при всей моей досаде именно смертная женщина, не богиня, все сияет, чуть тусклея от патины, среди ушедших теней. Уж она-то сможет за себя постоять. Что реальней, та женщина, лежавшая на муравчатом склоне моего воспоминанья, или струйка праха, иссохшие кости, которые, еще неизвестно, хранит ли земля? Конечно, для кого-то там, где-то там она тоже осталась, пошевеливается среди восковых фигур в захолустье памяти, но тот, чей-то, образ отличается от моего, он у каждого свой. Да, вот так-то в душах многих дробишься, ветвишься. Но и это не вечно и никакое вам не бессмертие, нет, при чем тут бессмертие. Мы тащим на себе мертвецов, пока сами не свалимся, а дальше уж нас протащат немножко, пока не свалятся тоже, и так далее, через невообразимые поколения. Я помню Анну, наша дочь Клэр будет помнить Анну и помнить меня, потом не будет и Клэр, но останутся те, кто будут помнить ее, но уже не нас, не нас, и это будет наша последняя, окончательная погибель. Конечно, что-то останется, увядшие фотографии, прядь волос, отпечатки пальцев, брызги атомов в комнате, где мы испустили последний вздох, но это уже не мы, какие мы есть, были, — мертвый прах и больше ничего.

В детстве я был вполне себе верующий. Не сказать чтоб глубоко, зато рьяно. Бог, которого чтил, был Иегова, сокрушитель миров, а не добрый Иисус, мягкий и кроткий. Божество для меня было угрозой, вот я и отвечал страхом и неизбежно ему сопутствующим чувством вины. Насчет чувства вины — тут я был прямо виртуоз в свои юные годы, каковым остаюсь и в преклонных годах, между прочим. Перед первым моим причастием, или, точней, предшествующей ему первой исповедью, к нам в монастырскую школу повадился ежедневно священник, дабы наставлять желторотых грешников в хитросплетениях христианской доктрины. Бледный, тощий фанатик, всегда с чем-то белым в углах рта. Даже странно, как ясно помню упоенный экзерсис о грехе смотрения, который он развернул перед нами в одно дивное майское утро. Смотрения, да-с. Нам были разъясняемы виды греха: вольные и невольные, страшные и простительные, семь смертных, и еще какие-то такие кошмарные, которые, нам было сказано, может отпустить только сам епископ, и вот объявилась еще новая категория: грех пассивный. Или мы думаем, саркастически вопрошал брат Белопенн, носясь от двери к окну, от окна к двери, так что свистела ряса и на узком лысеющем лбу звездою взблескивал свет, как бы отражением само́й божественной благодати, или мы думаем, что грех непременно предполагает совершение известного действия? Смотреть с вожделением, завистью, ненавистью значит уже вожделеть, завидовать, ненавидеть; желание, не сопровожденное

действием, столь же пятнает душу. Не сам ли Господь, кричал он, распалясь, не сам ли Господь учит нас, что всякий, посмотревший на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем? Он уже совершенно забыл про нас, про то, что сидим тут, как мышки, таращимся на него, обмирая, недоумевая. Хотя для меня все это было так же ново, как и для моих соучеников, я все схватывал с лету, не без удовольствия, ибо в свои семь лет был уже стреляный воробей, дока по части подглядывания за тем, что мне видеть не полагалось, знал уже темную радость от щупанья взглядом того, на что не надо смотреть, и еще более темный стыд, который за этой радостью следовал. Так что, как только я досыта, до отвала насмотрелся на серебрящиеся ляжки миссис Грейс до самой развилки трусиков, до жирной складки под задом, я тут же стал озираться в страхе, что кто-то, может, все это время видел, как я смотрю. Майлз, уже выйдя из папоротников, оглядывал Роз, Хлоя все мечтала у себя под сосной, — да, но мистер Грейс, вдруг он за мною все время подглядывал из-под края своей этой шляпы? Он сидел, как будто погруженный в себя, подбородком в грудь, вывалив из открытой рубахи волосатое брюхо, голой щиколоткой на голом колене, так что и его ногу изнутри я тоже смог обозреть вплоть до крупного шара, вздувавшего шорты цвета хаки, лопающиеся на толстых раскоряченных ляжках. Весь долгий день, пока лиловатая тень сосны, постепенно плотнея, упрямо подкрадывалась к нему по траве, он вставал со своего складного стульчика только затем, чтоб налить жене вина или чего-нибудь съесть, — так и вижу: жадная пятерня разминает полсэндвича с беконом и образовавшееся месиво поглощается красной дырой в бороде.

Для нас тогда, в нашем возрасте, взрослые все были непредсказуемы, даже слегка безумны, но с Карло Грейсом приходилось особенно держать ухо востро. Он любил внезапные выпады, розыгрыши. Сидит себе, скажем, в кресле, поглощенный своей газетой, и вот, как жалящая змея, выбрасывается его рука, он цапает проходящую Хлою за ухо или захватывает прядь волос, крутит сильно и больно, и все это без единого слова, не прерывая чтения, как будто рука действует сама по себе. Или вдруг, прервавшись на полуслове, замрет, как статуя, выгнув локоть, уставясь бессмысленным взглядом в пустоту за твоим нервно дернувшимся плечом, будто вслушивается в шум тревоги, дальний ропот, доступный исключительно его слуху, а потом — раз, и сделает вид, что сейчас тебя схватит за горло, и смеется с присвистом, не разжимая зубов. Он мог серьезно обсуждать с почтальоном, полным болваном, виды на погоду, возможный исход предстоящего футбольного матча, при этом кивая, хмурясь, вспахивая пальцами бороду, так, будто перед ним сыплют чистейшие перлы премудрости, а потом, когда одураченный малый удалялся, гордо посвистывая, он на нас смотрел, вздернув брови, собрав губы в пучок, и весь трясся от беззвучного смеха. Хотя, казалось бы, все мое внимание было сосредоточено на других, как теперь понимаю, именно Карло Грейс первым заронил в меня мысль, что я попал в общество богов. Отчужденный, радостно-равнодушный, именно он над нами над всеми властвовал — усмешливое божество, Посейдон нашего лета, по знаку которого покорно устраивался наш маленький мир.

Но он не кончился еще, тот беззаконный день. Миссис Грейс, развалясь на муравчатом склоне, сладко всхрапнула, и сонная одурь спустилась на милый дол, на всех нас, невидимой сетью истомы, какая всегда

опутывает компанию, когда кто-то один от нее отстал, провалившись в сон. Майлз лежал ничком в траве рядом со мной, но лицом в другую сторону, все еще глядя на Роз, которая все еще сидела на скатерти у меня за спиной, как всегда не замечая его нежного взгляда. Хлоя все еще стояла в тени под сосной, что-то держа в руках, задрав лицо и внимательно разглядывая, может, птицу, а может, просто решетку ветвей на синеющем небе, где уже пробирался с моря белый, легкий пух облаков. Как туманно она задумалась, но какая была живая, невозможно живая, с этой шишкой в руках — это шишка была? — и как жадно смотрела на ветки, навылет пробитые солнцем. Вдруг она стала осью, на которой вращалось все остальное, и только ради нее, для нее с такой тщательной безыскусностью располагались все эти узоры и тени: белая скатерть на лоснистой траве, склоненная сизая сосна, бахрома папоротников и даже эти мелкие облачка, прикидывавшиеся недвижными в высоком морском небе. Я глянул на спящую миссис Грейс, глянул почти презрительно. Вдруг она стала просто безжизненным архаическим торсом, поверженным идолом уже не почитаемой племенем древней богини, выброшенным на свалку на потеху мальчишкам, мишенью для их рогаток, луков и стрел.

Вдруг, как будто разбуженная холодом моего взгляда, она села и стала мутно озираться, моргать спросонья. Заглянула в бокал, удивилась, кажется, что он пустой. Капля вина оставила на белой материи, на груди красный след, она потерла его пальцем, прищелкнула языком. Потом снова нас оглядела, прокашлялась и объявила, что сейчас мы будем играть в салочки. Все на нее уставились, даже сам мистер Грейс. "Лично я ни за кем гоняться не собираюсь", — крикнула Хлоя из-под сосны и недоуменно фыркнула, но ей было сказано, что нет, так нужно, что она зануда, и тогда она подошла к отцовскому стульчику, встала, вжала локоть ему в плечо, а он обхватил ее за узенькие бока и сгреб в волосатом объятье. Миссис Грейс взялась за меня: "Но ты-то будешь играть, да? И Роз тоже".

Ту игру помню как череду вспышек, промельков цвета, быстрых секунд, живых картин: вот — Роз несется, по пояс в папоротниках, горит рубашка, закинута голова, реют сзади черные волосы; Майлз, с мазком папоротника на лбу, как воин-дикарь, помеченный краской, извивается, рвется у меня из рук, я слышу, как скрипят его лопатки; снова Роз, мчится, теперь уже по твердой полоске песка, за ней с диким хохотом — миссис Грейс, обе босые менады на миг вбегают в раму ветвей, фоном картинки тускло серебрится залив, и синеет, ровно синеет небо до самого горизонта. Вот — миссис Грейс среди папоротников, вся подалась вперед, согнув колено, как ждущий сигнала бегун, я ее настигаю, но она не бежит, как требуют правила, жестом подманивает меня, велит присесть рядом, притягивает меня к себе, я чувствую податливость груди, мечущееся сердце, кисловатый, молочный запах. "Тсс", — шепчет она и прикладывает палец к моим губам — не к своим, к моим. Она дрожит, вся колышется от подавляемого хохота. Так близко к взрослой женщине я не был с тех пор, как грудным сидел у матери на руках, но вместо трепета меня пробирает страх и какая-то злость. Роз, застукав нас в такой странной позе, сердится, хмурится. Миссис Грейс хватает ее за руку, будто хочет подтянуться, подняться, но вместо этого тянет Роз на себя, на нас, и вот мы барахтаемся, куча мала, и реют волосы Роз, и вот, опершись на

локти, отдуваясь, мы — звездою, ноги к ногам — распростерты в примятых папоротниках. Я встаю, я боюсь, как бы миссис Грейс — сразу уже бывший предмет моих воздыханий — не вздумала снова мне демонстрировать свой испод, но она козырьком ладони прикрывает глаза и меня оглядывает с непроницаемой, жесткой, холодной улыбкой. Роз тоже вскакивает, что-то бормочет злое, не могу разобрать, и шагает в папоротники. Миссис Грейс пожимает плечом: "Ревность", — и сразу просит меня, чтоб подал ей сигарету, до смерти хочется вдруг подымить.

Когда мы вернулись к травянистому склону, ни Хлои, ни ее отца там уже не было. Остатки пикника разбросались по белой скатерти с нарочитостью, с вызовом, как посланье, которое нам предлагается расшифровать. "Вот это мило, — кисло уронила миссис Грейс, — ушли, а мы им убирай". И тут снова вышел из папоротников Майлз, встал на колени, сорвал былинку, снова выдул свирельную ноту из прижатых один к другому больших пальцев и ждал, тихо, сосредоточенно — гипсовый фавн, — и солнце золотило солому волос, и мгновенье спустя пришел от Хлои ответ, чистый, высокий свист, иглой пронзивший летний линяющий день.

Кстати, о наблюдениях — ты наблюдаешь, тебя наблюдают, — должен упомянуть долгий мрачный осмотр, которому себя подверг сегодня утром в зеркале ванной. Как правило, я сейчас не торчу перед зеркалом дольше необходимости. Было время, было, когда мне даже вполне себе нравилось то, что я видел в зеркале, но теперь — увы. Теперь меня пугает, и это еще мягко сказано, когда вдруг на меня пялится личико, абсолютно непохожее на то, чего ожидал. Какая-то прямо пародия на меня, уныло взлохмаченный тип в хэллоуинской маске из серо-красной резины, лишь отдаленно смахивающий на облик, какой упорно удерживаю в голове. Вообще у меня с зеркалами проблема. То есть проблем у меня с зеркалами хватает, но в основном они метафизического свойства, тогда как та, о которой сейчас скажу, абсолютно практическая. Из-за моего невозможного, несуразного роста зеркальца, скажем, для бритья всегда слишком низко для меня повешены на стене, и приходится в три погибели гнуться, чтоб обозреть собственную физиономию во всей полноте. И вот, когда таращусь на себя из зеркала, весь изогнутый, с этим дурацким удивлением, страшком, который теперь не отпускает меня, с отвислой челюстью и как бы в тихом недоумении вздернув брови, — я, ей-богу, похож на висельника.

Когда только сюда приехал, я решил было запустить бороду, так, по лени, не почему-нибудь, но дня три-четыре походил и заметил, что щетина какого-то ржавого цвета — теперь понятно, откуда Клэр у нас рыжая, — ничего общего с растительностью на скальпе, и вдобавок еще прохвачена серебром. Из-за этой дряни, жесткой, как наждак, в сочетании со скользким взглядом в красных прожилках, я превратился в типичного преступника комиксов, тяжкого притом и если еще не повешенного, так уж явно смертника. На висках, где поредели седоватые волосы, проступили шоколадные пятна, привет от Аврель или от печени, да, ну конечно от печени, и не сегодня-завтра, уверен, любое пятно может взбеситься по прихоти атипичной клетки. И еще замечаю, моя rosacea цветет пышным цветом. Кожа на лбу вся сплошь в красных точках, по крыльям носа мерзкая сыпь, и даже на щеках разгорается гнусный румянец. Мой любимый, залапанный Медицинский словарь Уильяма А. Р. Томсона — Адам и Чарлз

Блэк, Лондон, тринадцатое издание, 441 черно-белая, точней серо-серая иллюстрация плюс четыре цветные вклейки, от которых меня неизменно продирает мороз по коже, — мне сообщает, что rosacea, милое название для весьма неприятной болезни, *проистекает от хронической конгестии воспаленных областей лица и лба, ведущей к образованию красных пупул; возникшая в результате эритэма, так мы, медики, именуем красноту кожи, может то уменьшаться, то разрастаться, но в конце концов становится постоянной и может*, на голубом глазу упреждает доктор, *сопровождаться сильным разрастанием сальных желез (см. Кожа) и ведет к сильному разрастанию носа, известному под названием гипорhута, или нос пьяницы.* Этот повторчик... *сильное разрастание... к сильному разрастанию* — тут нетипично, слегка прихрамывает благозвучная, как правило, пусть и слегка старомодная проза доктора Томсона. Интересно, ходит ли он по визитам. Прелестен, надо думать, подле одра, так утешно влияет на страждущего, к тому же может побеседовать на разные темы, не обязательно о болезнях. Вовсе не так уж односторонни медики, как принято считать. Скажем, Роджет, который Тезаурус[1], был врач, сделал важные открытия в области туберкулеза, веселящего газа и, разумеется, мимоходом вылечил одного-другого больного. Однако нос пьяницы — н-да-с, хорошенькая перспектива.

Когда так разглядываю свое лицо, на ум, естественно, приходит Боннар, последние этюды к автопортрету перед зеркалом в ванной Ле-Боске, к концу войны, когда у него умерла жена, — критики считают эти портреты безжалостными, хоть не понимаю, при чем тут жалость, — но в общем-то мое отражение мне напоминает скорее, да, вот только сообразил, портрет Ван Гога, не тот, знаменитый, с повязкой, с трубкой и в скверной шляпе, а тот, из ранних, написанный в Париже в 1887-м, с высоким воротом, в галстуке цвета берлинской лазури, еще при всех своих ушах, вид такой, будто он только что после пытки, лоб скошен, виски запали, щеки ввалились, как от голода; он косится из рамы, настороженно, с сердитым предчувствием, ожидая худшего, и не зря.

Сегодня меня особенно впечатлило состояние моих глаз, белки сплошь в ярко-красных прожилках, влажные нижние веки воспалены, чуть отстают от глазных яблок. У меня, замечаю, почти не осталось ресниц, и это у меня, чьей шелковой бахроме когда-то могла бы позавидовать девушка. На верхнем веке, изнутри, на самом краешке, сидит такая шишечка, перед закруглением к лузгу, она даже вполне ничего себе с виду, если б не эта вечная желтая точечка в центре, прямо как гнойничок. А бутон в самом лузге, это еще зачем? Нет, нельзя так пристально изучать человеческое лицо. Бледность тронутых покраснением щек, впалых, да, боюсь, впалых, как у бедняги Ван Гога, подчеркнута из-за сияния белых стен и эмалевой раковины. Это сияние — не свет северной осени, скорей оно похоже на жесткий, упрямый, сухой блеск далекого юга. Этот блеск нырнул в зеркало, утонул в унынии стен, сделал их пересохшими, ломкими, как скелет каракатицы. От изгиба раковины он растекся во все стороны, как далекий, далекий туман. Стоя тут в белом кубе света, я на миг перенесся на дальний берег, настоящий, придуманный, сам не знаю, но все подробности были прочерчены с достоверностью сна, и я сидел на твердой грядке сланцевого песка и держал боль-

1. Питер Марк Роджет (1779–1869) — английский врач и составитель знаменитого словаря (Тезауруса) синонимов.

шой плоский гладкий синий камень. Был он теплый, сухой, и, кажется, я его тронул губами, и на вкус он был, кажется, солоноват, отдавал морскими глубями, далями, баснословными островами, местами, забытыми среди никнущих папоротников, хрусткими скелетами рыб, водорослями и гнилью. Мелкие волны передо мной у приплеска говорили по-человечески, возбужденно шептали о древней беде, о гибели Трои, наверно, а может, о погружении Атлантиды. Все блестит, все искрится, течет. Водные бусы рвутся, серебряной снизкой падают с края весла. Вижу черный корабль вдалеке, он все ближе, он каждую секунду все ближе. Я готов. Я слышу вашу песню, сирены. Я готов, я почти готов.

II

По-моему, мы, Хлоя, Майлз и я, чуть ли не целыми днями торчали на море. Плавали под солнцем и под дождем; плавали утром, когда море вялое, как суп, плавали ночью, поддевая плечами рулоны черного блестящего шелка; как-то остались в воде во время грозы, и молния раскроила поверхность моря, и мы услышали треск, и запахло паленым. Пловец я был не ахти. Близнецы учились плавать, можно сказать, с пеленок и рассекали волны без малейших усилий, двумя парами сверкающих ножниц. Недостаток ловкости, грации я восполнял выдержкой. Мог одолевать большие дистанции и часто, было б кому смотреть, гребя боком, упрямо молотил воду, пока не только сам выбивался из сил, но истощал терпение зрителей.

Именно после одного такого сеанса впервые меня осенило, что отношение Хлои ко мне изменилось, точней сказать, что отношение это у Хлои есть, и вот оно изменилось. Дело было вечером, я проплыл — ну сколько? сто, двести ярдов? — между двух замшело-зеленых бетонных молов, которые невесть когда вдвинули в море в тщетной надежде остановить упорное размывание берега. Я вылез из воды и обнаружил, что Хлоя меня дожидалась, тут, на берегу, все время меня дожидалась, пока я плавал. Закуталась в полотенце, вся дрожит; губы — синие. "И нечего было выпендриваться", — бросила сердито. Я не успел ответить, — и что ответишь, ведь она права, я выпендривался, — из-за дюн над нами выскочил Майлз, побежал, обрызгал нас песком, и вдруг представилось — очень четко, до жути трогательно: Хлоя, какой я увидел ее в тот день, когда из-за края той, другой дюны она выбежала — прямо в центр моей жизни. Она, значит, протянула мне полотенце. Кроме нас троих никого не было на берегу. Сырой серый вечер отдавал намокшей золой. Вот вижу: мы поворачиваем, мы бредем к бреши в дюнах, которая нас приведет к Станционной. Полотенце Хлои краем метет песок. Я выступаю — полотенце наброшено на плечо, зализаны мокрые волосы, — римский сенатор в миниатюре. Впереди бежит Майлз. Но кто это медлит на политом сумерками берегу, у потемневшего моря, которое, как зверь, выгнув спину, встречает ночь, а она все быстрей, быстрей накатывает с отуманенного горизонта? Не мой ли это собственный призрак смотрит, как мы — они — эти трое детей — растворяются в пепельном воздухе и вот уже канули в брешь, которая их приведет к Станционной?

Я еще не описал Хлою. Внешне мы с ней в том возрасте мало различались, то есть я имею в виду — по части того, что поддавалось сравне-

нию. Даже волосы, чуть ли не совсем белые, но, когда мокрые, потемней, цвета спелой пшеницы, были у нее едва ли длинней моих. Она стриглась под пажа, челка свисала на прелестный высокий, странно выпуклый лоб, удивительно похожий — вдруг стукнуло — на лоб того видения, что в профиль витает в углу одного холста у Боннара, "Стол у окна", да, и там еще ваза с фруктами, книга, а само окно, кстати, как холст, видный сзади, прислоненный к мольберту; теперь для меня все на свете — что-то еще, то и дело себя ловлю. Один парень с Полей, постарше, как-то, помню, меня уверял с ухмылкой, что такая челочка, как у Хлои, верный признак, что девчонка сама с собой тешится, сама с собой играет. Я не понял, что он имел в виду, но я-то знал, что вовсе Хлоя не играет, сама ли с собой или как. Лапта, прятки, которыми я так увлекался раньше в Полях, были не для нее. Как она хмыкнула, раздувая ноздри, когда я ей сообщил, что в Полях некоторые девчонки ее возраста еще в куклы играют. Большинство своих ровесниц она глубоко презирала. Нет, не играла Хлоя, ни с кем не играла, разве что с Майлзом, и то, чем они занимались, игрой не назовешь.

Парень, который сказал про челку — вдруг вижу его, прямо передо мною стоит, Джо, не помню фамилии, крупный, кряжистый, мясистые уши, грива торчком, — сказал еще, что у Хлои зеленые зубы. Я возмутился, но он оказался прав; в самом деле, когда мне представилась возможность их разглядеть вблизи, я заметил, что эмаль резцов чуть отдает зеленым, но тонко, влажно серо-зеленым, вот как влажный свет под деревьями после дождя, как матово-яблочный, зеленоватый испод листа, отраженный в тихой воде. Яблочный, да, и дыхание ее пахло яблоком. Зверушки, какие мы были зверушки, друг друга обнюхивали. Особенно нравился мне, когда время пришло учуять, сырный, что ли, такой дух от внутренней стороны ее локтей и коленок. Она не была, вынужден это признать, самой чистоплотной из девочек, и всегда, ближе к вечеру все сильней, пахло от нее чем-то таким непонятным, стоялым, как пахнет, как раньше пахло, от пустых коробок из-под бисквитов — не знаю, их теперь еще продают поштучно, бисквиты из больших, жестяных квадратных коробок? Ее руки. Глаза. Обгрызенные ногти. Все это я помню, очень помню, но все разрозненно, а собрать, составить целое — нет, не могу. Как ни стараюсь, как себя ни обманываю, не могу, не могу воскресить ее в памяти, как, скажем, ее мать или Майлза, даже толстоухого Джо с Полей. Она волнится в глазах моей памяти, всегда на одном расстоянии, всегда не в фокусе, и пятится с ровно такой же скоростью, с которой я рвусь вперед. Но раз то, что там, впереди, стало для меня сокращаться, все быстрей и быстрей, почему же мне никак ее не догнать? И сейчас еще часто — увижу на улице, чуть ли не обознаюсь, ну вылитая, тот же выпуклый лоб, и бледные волосы, и стремительный, смешно спотыкливый, чуть косолапый шаг, только всегда моложе, гораздо, гораздо моложе. Эта тайна меня всегда занимала и сейчас занимает. Как может она быть — со мной, а в следующую секунду — нет? Как она может быть где-то еще, совершенно? Вот чего я не мог понять, с чем не мог примириться, до сих пор не могу. Раз не вижу ее, ей бы стать чистым вымыслом, воспоминанием, сном, но все мне твердит о том, что и вдали от меня она прочно, упрямо, непостижимо остается собой. А ведь люди уходят, они исчезают. Это тайна еще покрупней; самая великая тайна. Скоро и я уйду, ох, не успею оглянуться, уйду, исчезну, как не был на све-

те, только вот к жизни привыкаешь за долгие годы, и не хочется умирать, как — приблизительно — учит нас доктор Браун[1].

— Пациент, — сказала Анна как-то, уже под конец, — смешное слово. Я, признаться, ничуть себя не чувствую пациентом.

Когда в точности я перенес свою привязанность — пора бы излечиться от этой страсти к старомодным оборотам — с матери на дочь, не могу припомнить. Ну да, была та пронзительная догадка на пикнике, когда Хлоя стояла под сосной, но прошибло-то меня эстетически, тут не эротика была, не влюбленность. Нет, не помню великого мига признанья, прозренья, когда бы, скажем, рука Хлои робко скользнула в мою, ни пылкого объятья, ни робкой клятвы в вечной любви, ничего. То есть кое-что, даже все это, наверно, было, в первый раз взялись за руки, обнялись, объяснились, но эти первые разы сплошь затеряны в темных складках ветшающего час от часу времени. Даже тот вечер, когда, стуча зубами, я вылез из моря и увидел, что она, посинев, ждет меня на темном уже берегу, не припомню беззвучного взрыва, каким, считается, должна полыхнуть любовь и в туговатом, положим, мальчишеском сердце. Я видел, как она замерзла, понял, как долго она ждала, отметил грубую нежность, с какой она кутала полотенцем мои тощие ребра в гусиной коже, а край его накидывала мне на плечо, но отметил всего лишь с горячей признательностью, как бы теплый порыв овеял пламя где-то у меня под лопаткой, и на миг оно ярко зашлось. Но все время, все время тайно шло превращение, чтоб уж не сказать пресуществление.

Помню один поцелуй из столь многих, которые забыл. Был он наш первый, не был — не знаю. Как много они тогда значили, поцелуи, как все вдруг вспыхивало, загоралось, гремело, — фейерверки, хлопуши, гейзеры. Тот имел место, нет, мы им обменялись, нет, насладились в хлипкой киношке, которая с этой именно целью исподволь вырастала из косвенных упоминаний, предусмотрительно рассыпаемых по этим страницам. Это был, в общем-то, просто сарай, на кустистом пустыре между Скальной и морем. Крыша — железная, крутым коньком, никаких тебе окон, только сбоку — дверь, занавешенная длинным пологом, кожаным, что ли, в общем, из чего-то такого плотного, чтобы экран не засвечивался, когда заскальзывали опоздавшие на ранний сеанс, или вечером, когда солнце последними лучами палило из-за теннисных кортов. Сидели на деревянных скамьях, мы их называли — лавки, экраном служил большой холщовый квадрат, который от каждого блудного ветерка томно потягивался, и тогда чересчур вызывающе колыхалось шелковое бедро героини или неприлично вздрагивала на курке мужественная рука. Хозяином был мистер Реккет — Риккет? — маленький такой, в свитерке, а помогали ему сыновья, двое крупных, красивых подростков, которые слегка стеснялись, по-моему, семейного дела, отдававшего вольностями кабаре. Имелся всего один проектор, шумная дрянь, со склонностью к перегреву, — ей-богу, я видел однажды, как дым валил из нутра, — так что полнометражные фильмы прокручивались минимум в два приема. В перерывах мистер Р., он же и киномеханик, света не зажигал, тем самым предоставляя возможность — нарочно, уверен, ибо кинематограф Риккета или Реккета пользовался зазывно-дурной репу-

1. Сэр Томас Браун (1605—1682) — английский ученый, религиозный мыслитель.

тацией — многочисленным парочкам, в том числе несовершеннолетним, минуту-другую тискаться в полной тьме.

В тот вечер, дождливый субботний вечер памятного поцелуя, о котором пойдет сейчас речь, мы с Хлоей сидели в середине скамьи так близко к экрану, что легчайшее мерцанье черно-белых фантомов тяжело нависало над нами, грозя придавить. Я держал руку Хлои так долго, что уже и не чувствовал, что ее держу, — никакое соитие так не сплавляет тела воедино, как эти детские сплетания пальцев — и тут экран запнулся, побледнел, ее рука трепыхнулась, у меня все оборвалось внутри. На экране прямо над нами еще дрожал серый, пасмурный свет, долгую секунду он длился, перед тем как погаснуть, и даже совсем потухший, потом еще подержал образ — тень тени. Темнота, как обычно, взорвалась свистом, криками, громовым топотом. Как по сигналу, под этой шумовой завесой мы с Хлоей повернулись друг к другу и набожно, как к причастной чаше, приникали друг к другу, пока наши губы не встретились. Мы ничего не видели, от этого все обострялось. Я как будто летел, без усилья, в плотной, припудренной тьме. Грохот вокруг стал страшно далеким — смутный слух, отзвук дальнего грома. У Хлои были сухие, холодные губы. Я чувствовал, как ей трудно дышать. Когда наконец, странно, со свистом вздохнув, она оторвалась от меня, что-то горячее вдруг прошлось, разлилось, потекло у меня по хребту. Но тут мистер Риккет, Реккет — возможно, Роккет? — кое-как наладил проектор и зрители относительно стихли. Экран вспыхнул белым, фильм зашуршал, замелькал к своему концу, и за секунду перед тем, как включиться музыке, я услышал, что дождь, оголтело гремевший железом крыши, вдруг перестал.

Счастье в детстве — совсем другое. Тогда это как бы вопрос собирания — собираешь, копишь новые чувства, новые впечатления, вертишь, прилаживаешь, как гладкие такие кирпичики — когда-нибудь из них вырастет дивная постройка: ты сам. И ощущение невероятности — оно тоже входило в понятие счастья, то есть восторженная неспособность поверить: неужели это со мной? Вот я — и вдруг с девочкой, делаю то, что делают взрослые, держу ее за руку, целуюсь с ней в темноте, и, когда кончается фильм, я отступаю в сторонку, откашливаюсь не без торжественности, учтиво ее пропускаю вперед, под тяжелый занавес, в дверь — в промытый дождем летний солнечный вечер. Я был — я и кто-то совсем другой, кто-то совсем новый. Идя за нею в толпе по направлению к Береговому Кафе, я пальцем ощупал губы, которые ее целовали, чуть ли не предполагая, что они у меня изменились, неуловимо, но важно, как изменился день, увешанный толстобрюхими тучами, набухший дождем, но все-таки день еще, когда мы входили в кино, а теперь он вдруг превратился в вечер, и смуглый свет весь исчерчен косыми тенями, и кусты, шурша, отряхиваются от звезд, и красный парус там, в бухте, от нас воротит нос и уходит к уже подернутому далью, уже синему горизонту.

То кафе. В том кафе. В том кафе мы.

Был вот такой же вечер, воскресный вечер, когда я приехал сюда насовсем после того, как наконец Анна ушла. Даром что осень, не лето, тот же был смуглый свет, и чернильные тени лежали длинные, стройные, как срубленные кипарисы, и так же казалось, что все течет, моросит рубинами и звездами, и так же сине искрилось море. Мне почему-то полегчало; было так, будто вечер, весь промокший, отряхиваясь от напрасно-

го пафоса, до поры до времени снимал с меня груз гореванья. Наш дом, или мой дом — так ведь теперь, наверно, — был еще не продан, я пока не решался выставить его на торги, но оставаться там не мог ни минуты. После смерти Анны он стал до жути пустой, сплошная комната для игры с эхом. Что-то стояло враждебное в воздухе, и так грустно рычал старый пес, недоумевая, куда подевалась любимая хозяйка и зачем это хозяин все еще тут торчит. Анна не разрешала никому сообщать о ее болезни. Подозревали, конечно, неладное, но только уж на последней стадии догадались, в чем дело. Даже Клэр предоставили самой догадаться, что у нее умирает мать. И вот все кончилось, и кое-что новое для меня начиналось: деликатная миссия — оставаться в живых.

Мисс Вавасур смущенно взволновалась при моем появлении, красные пятна кружочками выступили на высоких, тонко-морщинистых скулах, она все всплескивала руками, поджимала губы, укрощая улыбку. Когда она мне открыла, полковник Бланден был тут как тут в коридоре, подпрыгивал то из-за одного, то из-за другого ее плеча; я сразу понял, что его не порадовал мой вид. Вполне сочувствую; в конце концов, он здесь царил единственным петухом, а тут я заявился и турнул его с насеста. Пронзая взглядом мой подбородок, приходившийся по уровню его глаз — росточком полковник не вышел, хоть держится прямо, как струнка, — он мял мою руку, откашливался, сплошная мужественность, крутизна, рявкал что-то насчет погоды, слегка, по-моему, переигрывая роль старого вояки. Что-то в нем такое, ненастоящее, слишком старательное, слишком уж бьющее на правдоподобие. Сияющие башмаки, твидовый пиджак от Харриса, с кожаными заплатами на локтях и манжетах, канареечный жилет, в котором он щеголяет по выходным, — все это несколько чересчур. Стылая безупречность актера, давно заигравшего роль. Неужели действительно он старый армеец? Усиленно скрываемый белфастский акцент все равно прорывается, как запертый ветер. А в общем-то — чего уж скрывать? Ну что такого этот акцент может нам выдать? Мисс Вавасур признается, что не раз примечала, как он юркал в церковь на раннюю воскресную службу. Полковник из Белфаста — католик? Сомнительно; и весьма.

В эркере салона, то есть бывшей гостиной, был накрыт к чаю раздвижной столик. Комната была точно такая, какой мне запомнилась, или так мне казалось — память норовит без зазора прилаживаться к местам и предметам при возвращении в прошлое. Этот столик — неужели он тот же, возле которого миссис Грейс охорашивала цветы в тот день, когда играла с мячом собака? Сервировка на высоте: большой серебряный чайник, под стать ему ситечко, прекрасные чашки, щипцы для сахара, салфеточки. Сама мисс Вавасур выступала в японском стиле — пучок, крест-накрест проткнутый двумя большущими булавками, мне некстати напомнил те эротические гравюры японцев восемнадцатого столетья, на которых одутловато-фарфоровые матроны хладнокровно дают себя тискать гримасничающим господам с несуразно огромными членами и, всегда с удивлением их отмечаю, непостижимо гибкими пальцами ног.

Разговор разваливался. Мисс Вавасур как-то еще не оправилась, у полковника урчало в животе. Поздний луч, пробив куст в шуршащем саду, слепил глаза, на столе от него все дрожало и зыбилось. Я чувствовал себя слишком громадным, не знал, куда деться, как скверный подрос-

ток, которого отчаявшиеся родители отправили в деревню, на попечение к парочке пожилых родственников. Может, это все — гнусная ошибка? Может, пробормотать извинение, да и смотаться на ночь в гостиницу или даже домой, и пускай там пусто, пускай там эхо? Но тотчас я сообразил, что для того сюда и явился, чтоб была ошибка, чтоб было гнусно, чтоб сам я был, по словцу Анны, да, чтоб я был неуместен. "Ты с ума сошел, — говорила Клэр. — Ты ж там помрешь со скуки". Да, ей хорошо рассуждать, пикировал я, обзаведшись чудной новой квартирой, *не теряя времени* — этого я не прибавил. "Ну так давай, живи со мной, — сказала она, — места и на двоих хватит". Жить с ней! Места хватит! Но я только поблагодарил и сказал, что мне нужно побыть одному. Не выношу этот взгляд, каким она теперь на меня смотрит, сплошная нежность, дочерняя забота, и голова набок, вот как у Анны бывало, и вздернута бровь, участливо сморщен лоб. Не надо мне участия. Мне дайте злость, ругань, грубость. Я как тот страдающий бешеной зубной болью упрямец, который с мстительным наслаждением все давит кончиком языка на пульсирующее дупло. Вот, воображаю — кулак, из ниоткуда, с размаху, мне заезжает по морде, даже чувствую стук, слышу, как трещит переносица, и почему-то мне легче. После похорон, когда все вернулись в дом — ужасно, ужасно, немыслимо, — я так сжал рюмку, что она треснула у меня в кулаке. Удовлетворенный, я смотрел, как течет моя кровь, будто это кровь заклятого врага и я его от души полоснул.

— Вы, стало быть, по части живописи, — осторожно начал полковник. — И много она дает?

Он имел в виду — денег. Мисс Вавасур, поджав губы, свирепо нахмурилась и укоризненно затрясла головой.

— Он только о ней пишет, — зашептала она, глотая слова, как будто таким образом я буду избавлен от необходимости их услышать.

Полковник быстро переводил взгляд с меня на нее и молча кивал. Он все ждет подвоха, к такому приучен. Когда пьет чай, отставляет мизинец. На другой руке мизинец навсегда прижат к ладони, какой-то это синдром, вполне даже обычный, только я названье забыл; впечатление такое, будто ему больно, но он уверяет, что нет. Эта рука вдруг пышно, элегантно и широко взмывает — жест дирижера, будящего деревянные духовые или извлекающего из хора фортиссимо. Легкий тремор тоже имеет место, чашка не раз клацала о передние зубы, вставные, конечно, судя по ровности и белизне. На обветренном лице и с тылу ладоней кожа сморщенная, темная и глянцевитая, как та плотная глянцевая бумага, в которую, бывало, заворачивали что-нибудь неудобопакуемое.

— Понимаю, — сказал он, конечно ничего не поняв.

Однажды в 1893 году Пьер Боннар заметил девушку, сходившую с парижского трамвая, привлеченный ее хрупкой бледной миловидностью, проводил до места, где она работала — pompes funèbres[1], целыми днями нанизывая жемчуга на кладбищенские венки. Так с самого начала смерть оплела их жизни траурной лентой. Он быстро с ней познакомился — как я понимаю, это легко и лихо делалось в дни Belle Epoque[2], — и вскоре затем она бросила работу и все прочее в своей жизни и переселилась к нему. Она сказала, что зовут ее Марта де Мелиньи и что ей сем-

1. Похоронное бюро (*франц.*).
2. Прекрасная эпоха (*франц.*).

надцать. На самом же деле, хоть ему это довелось узнать уже через тридцать лет, когда он на ней надумал жениться, звали ее Мария Бурсен, и, когда они познакомились, ей было не семнадцать, а так же, как самому Боннару, двадцать с хвостом. Так вот и сошлись они на светлые и черные дни, а если точней, сероватые большей частью, почти на пятьдесят лет — пока Марта не умерла. Таде Натансон, одна из ранних покровительниц Боннара, в своих мемуарах о нем беглыми, импрессионистическими штрихами рисует сильфидную Марту, помянув *дикий взгляд птицы, движенья на цыпочках*. Была она скрытная, ревнивая, жуткая собственница, страдала манией преследования и отчаянной, страстной мнительностью. В 1927-м Боннар купил дом, Ле-Боске, в неприметном городке Ле-Канне на Лазурном берегу, и там прожил с Мартой, заточась в периодически мучительном уединении, пятнадцать лет, до ее смерти. В Ле-Боске она пристрастилась к многочасовым ваннам, и там-то, в ванне, Боннар и писал ее, снова и снова, продолжая писать, когда уж ее не стало. В "Обнаженной в ванне, с собачкой", начатой в 1941-м, за год до смерти Марты, и оконченной лишь в 1946-м, она лежит, розовая, лиловатая, золотая, богиня плавучего мира, истонченная, безвозрастная, ни мертвая ни живая, а рядом на плитках лежит коричневая собачонка, ее любимица, такса, по-моему, бдительно свернувшись на своем коврике, или это квадрат слоистого света, упавший из невидимого окна. Узкая комната, прибежище Марты, дрожит вокруг, вибрирует красками. Невозможно длинная левая нога напряженной стопой упирается в край ванны и как будто ее толкает, меняет ей форму, и как бы взбухает левый край, и пол под ванной с этой стороны, в том же силовом поле, тоже сдвинут, и кажется, вот-вот он прольется в угол, не пол, а текучий пруд, поблескивающий водой. Все течет, дрожит, движется в тишине, в молчанье воды. Плеск, шелест, шорох. На воде у левого плеча купальщицы красно-ржавое пятно, может, ржавчина, а может, засохшая кровь. Правая рука лежит на бедре, упокоенная простертостью тела, и я вспоминаю руки Анны, на столе, в тот день, когда мы впервые вернулись от доктора Тодда, эти ее беспомощные ладони, открытые, как будто просящие о чем-то, кого-то по ту сторону стола, но там никого нет.

И она, моя Анна, тоже пристрастилась к долгим ваннам средь бела дня. Успокаивает, говорила. На всю осень, всю зиму в тот год ее долгого умирания мы заперлись в нашем доме у моря, в точности как Боннар с Мартой в Ле-Боске. Погода была мягкая, такое даже погодой не назовешь, как будто незакатное лето неприметно перетекало в конец года в отуманенной тишине неизвестно какого сезона. Анна боялась весны, непереносимого го́мона, суетни, она говорила, всей этой жизни. Глубокая, сонная тишь нас окутывала, мягкая и густая, как ил. Анна так затихала в своей ванной первого этажа, что я иногда даже пугался. Мерещилось, что вот она, поскользнувшись, без звука уходит под воду, испускает последний водяной вздох. Я прокрадывался вниз по лестнице и стоял на площадке, затаясь, не шевелясь, будто я сам под водой, и жадно ловил признаки жизни за дверью. В гнусном, предательском уголке души, конечно, мелькало желанье, чтоб так оно и было, чтоб все это кончилось, для нее, для меня. Но вот слышался легкий вздох воды — это она шелохнулась, легкий всплеск — потянулась за полотенцем, за мылом, — и я отворачивался, плелся к себе, прикрывал за собой дверь, са-

дился за письменный стол, смотрел в серое свечение вечера и старался не думать.

— Бедный Макс, — сказала она как-то, — за каждым словом следить приходится, все время надо быть милым.

Она тогда уже была в приюте, в дальней комнате в старом крыле, с угловым окном, смотревшим на клин живописно запущенного луга и шелестящую, на мой взгляд совершенно ненужную просадь высоких, огромных черновато-зеленых деревьев. Весна, которой она так пугалась, пришла и ушла, но она слишком была больна, чтобы беспокоиться из-за шума и гама, и теперь наступило влажно-жаркое, липкое лето, последнее, какое ей суждено было видеть.

— О чем ты? — сказал я. — Приходится все время быть милым?..

Она так много странного говорила тогда, как будто уже была где-то там, где меня нет, где даже слова переменили значения. Сдвинула голову на подушке и мне улыбнулась. В лице, иссохшем почти до костей, проступила какая-то пугающая красота.

— Ну, тебе теперь даже нельзя чуточку меня ненавидеть, — она сказала, — как раньше.

Поразглядывала деревья, опять повернулась ко мне, потрепала по руке.

— Ну чего ты уж так-то расстроился, — сказала она. — Я тоже тебя ненавидела — чуточку. Мы же люди были, человеки, ведь правда.

Она тогда уже употребляла предпочтительно прошедшее время.

— Не желаете ли посмотреть свою комнату? — осведомилась мисс Вавасур. Последние спицы солнца, пробивая эркер окна, будто осыпались осколками при пожаре. Полковник угрюмо счищал со своей рыжей жилетки пятно от пролитого чая. У него был обиженный вид. Наверно, что-то мне говорил, а я не слушал. Мисс Вавасур повела меня по коридору. Я нервничал: сейчас придется принять этот дом, примерить, как что-то такое, что нашивал в другое, райское время, некогда франтоватую шляпу, давно не модные туфли, свадебный костюм, который не сходится в талии, жмет под мышками и по всем карманам топырится от воспоминаний. Коридора я вообще не узнал. Он коротенький, узкий, тусклый, стены разделены по горизонтали пупырчатой линией, причем нижняя часть заклеена затейливыми обоями, на вид столетними, а то и постарше. Я, собственно, никакого не помню тут коридора. По-моему, входная дверь открывалась прямо — да, вот только куда же она открывалась? На кухню? Шлепая за мисс Вавасур со своей сумкой, как благонравный убийца в каком-то старом, еще черно-белом триллере, я чувствовал, что модель дома у меня в голове, как ни старалась приладиться к оригиналу, все натыкалась на упорное сопротивление. Все выступало немного не в том масштабе, слегка не под тем углом. Лестница оказалась круче, площадка тесней, окно сортира смотрело не на дорогу, как ему предписывала моя память, а на тылы, через поля. Я чуть ли не с ужасом отмечал, как реальность, непроходимо пошлая реальность бралась за вещи, которые, мне казалось, я помнил, и, встряхнув, ставила все на свои места. Что-то драгоценное таяло, утекало у меня между пальцев. Но с какой же легкостью я в конце концов его отпустил. Прошлое, я хочу сказать, подлинное прошлое, куда меньше значит, чем нам бы хотелось. Когда мисс Вавасур меня оставила там, где отныне была моя комната, я бросил пиджак на стул, сел на край постели, глубоко вдохнул

стоялый, нежилой воздух и понял, что странничал долго, годами и пришел наконец туда, куда неведомо для меня самого все время лежал мой путь и где я останусь, потому что нет для меня теперь никакого другого места, другого приюта.

Мой приятель дрозд минуту назад появился в саду, и вдруг я сообразил, чть мне напомнили веснушки Аврель в тот день нашей встречи, во дворе у Дуиньяна. Птичка как всегда занимает свой пост на кусте падуба и окидывает план местности воинственным бусинно-ярким глазком. Дрозды славятся своей храбростью, и этот с совершеннейшим равнодушием смотрит, как соседский Барсик шествует в высокой траве, и даже чирикает слегка сардонически, пушит перья, пятит рыжую грудку, будто издевательски демонстрируя, какой лакомый, прелестный кусочек он бы собой представлял, умей кошки летать. Как только его увидел, сразу вспомнилось, с болью, столь же некрупной и столь же отдельной, как сам этот дрозд, то, давным-давно разоренное гнездо в кусте утесника. В детстве я увлекался птицами. Не то чтоб я их наблюдал, какой из меня наблюдатель, и мне было неинтересно их открывать, классифицировать, именовать, это было выше меня, да и скучно; нет, я с трудом отличал один вид от другого, мало знал, а тем более знать не хотел их историю и повадки. Я умел находить их гнезда, вот была моя специальность. Тут надо иметь терпенье, ловкость, быстрый глаз и что-то еще, способность быть заодно, что ли, с крошечными существами, которых выслеживаешь. Один ученый, забыл фамилию, в опроверженье чего-то, не помню чего, утверждает, что человек не в состоянии поставить себя на место, скажем, летучей мыши. В целом я с ним согласен, но мог бы дать ему прекрасный отчет о таком состоянии птичества, мышества — в детстве, когда сам был еще зверушкой.

Я не был жестоким, ни за что не убил бы птицу, не стал бы красть яйца, ни боже мой. А толкало меня любопытство, простое желанье разузнать кое-что из секретов других, непохожих существ.

Что меня всегда поражало — так это контраст между гнездом и яйцом. Я имею в виду случайность первого, как бы добротно, пусть даже красиво ни было оно построено, и совершенство второго, его беспорочную полноту. Еще до начала всего — яйцо есть абсолютный конец. Воплощение самодостаточности. Я прямо-таки страдал при виде разбитого яйца, крошечной трагедии. В том случае, о каком пойдет речь, я, видно, сдуру кого-то навел на гнездо. Это было в гуще утесника, у холмика посреди открытого поля, меня легко было выследить, я неделями туда наведывался, уже наседка привыкла. Кто это был? Малиновка, дрозд? Словом, кто-то такой покрупней. И вот — прихожу, а яиц нет. Два унесли, третье раздавили на земле под кустом. Осталась только мазня из желтка и белка да несколько осколков скорлупы, каждый в мелком коричневом крапе. И что мне, казалось бы, та минута, я же был бессердечен, как все мальчишки, а вот поди ж ты, все еще вижу тот куст, чую маслянистый запах цветов, помню точный оттенок коричневых пятен, ужасно похожих на веснушки Аврель на бледных щеках и на переносице. Память о той минуте на полвека застряла в душе, эмблемой драгоценного, канувшего, непоправимого.

Анна косо сползает с больничной постели, ее рвет на пол, полыхающий лоб втиснут в мою ладонь, круглый, хрупкий, как страусово яйцо.

Я в Береговом Кафе, с Хлоей, после того фильма и памятного поцелуя. Мы сидим за пластиковым столиком, пьем наше любимое: шипучий апельсиновый сок, а в нем плавает щедрый кус ванильного мороженого. Удивительно, с какой отчетливостью, стоит сосредоточиться, я нас вижу. Ей-богу, можно прожить жизнь сначала, напряги только умеючи память. Наш столик у самой открытой двери, откуда к нам под ноги падает толстый солнечный брус. Время от времени забредает с моря блудный ветерок, кропит пол тонким песком, а то занесет конфетный фантик, он продвинется, замрет, снова продвинется со скребущим звуком. В кафе почти пусто, только несколько мальчишек, парней скорее, в глубине, в уголке, дуются в карты, да за стойкой жена хозяина, крупная, русая, вполне ничего из себя женщина, смотрит в дверь пустым, мечтательным взглядом. На ней голубой халат, или это фартук, с зубчатой белой оборкой. Как же ее звали? Ну как? Нет, ускользает — вот вам и хваленая память мадам Памяти. Ладно, миссис Кафе, пусть будет миссис Кафе, не важно. Она еще стояла как-то по-своему, очень даже помню, твердо, квадратно, протянув одну веснушчатую руку по стойке, а другую вжав в высокий край кассы костяшками пальцев. Желтовато пузырился апельсиновый сок. Мы пили через бумажные соломинки, в приступе застенчивости старательно отводя друг от друга глаза. Я чувствовал полное, совершенное успокоение, вот как простыня, расправясь, укладывается на постель, сам себе создавая воздушную подушку, как опадает шатер. Факт этого поцелуя во тьме кино — да, вспомнил, ну конечно, это был наш первый поцелуй — стоял между нами, насыщенный такой значительностью, что никуда от нее не деться. Эти зачаточные, светлые усики над верхней губой у Хлои — мои губы ведь помнили их соболью нежность. Мой стакан почти опустел, я жутко стеснялся, что сейчас в соломинке неприлично заурчит, как в желудке. Тайком, из-под век, я разглядывал ее руки, одна была на столе, другая держала стакан. Пальцы были пухлые до первого сустава, потом сужались к концу: руки матери, я догадался. Из приемника миссис Кафе изливалась песня с истомно-сладкой мелодией, Хлоя рассеянно подвывала. Как же много тогда значили песни, все эти томления-расставания-встречи, которые, обознавшись, мы принимали за любовь. Лежишь ночью, на даче, в постели, ветер доносит их под медный взрыд духовых с танцев в Береговой или Гольфовой, и воображаешь, как, девочки с перманентом, в нежно-голубом, в ядовито-зеленом, парни в спортивных, ворсистых пиджаках, в туфлях на бесшумном ходу, на толстенных подошвах, кружат, кружат в пыльной, жаркой, зеркальной тьме. *Все вокруг, все вокруг озаряет луна, милый друг, милый друг, нас целует она!* А дальше, за всем за этим — мрак, и песок, невидимый, сверху прохладен, а пониже хранит еще дневное тепло, и долгие линии волн подсекаются косо о берег, светясь будто сами собой, изнутри, и над всем над этим ночь, молчаливая, скрытная, пристальная.

— Дурацкая картина, — объявила Хлоя. Она наклонила лицо к самому краю стакана, и свесилась челка. Волосы — бледные, как солнечный коврик у нее под ногами... Нет, постойте, я спутал, тут что-то не сходится. Не могло это быть в день того поцелуя. Когда мы вышли из кино, был вечер, еще не просохший после дождя, а сейчас яркий день, потому и этот нежный луч солнца, и шальной ветерок. И где Майлз? В кино он был с нами, так куда он мог подеваться, он же никогда не отходил от

сестры, если его не турнуть? Да уж, мадам Память, беру назад свои комплименты, если тут ответственны вы, а не какая другая, более капризная муза. Хлоя фыркнула: — Как будто они не знали, что бандит — это тетка на самом деле.

Опять я посмотрел на ее руки. Та, что со стаканом, скользнула вниз, к дну, проткнутому стрелой чистого, белого света, другая деликатно держала у губ соломинку большим и указательным пальцами, бросая на стол бледную тень в виде клювастой, с высоким хохолком птицы. Опять я вспомнил про миссис Грейс, и что-то горячо, остро меня кольнуло, будто каленой иглой в сердце. Чувство вины? Ведь что бы она подумала, миссис Грейс, что бы сказала, доведись ей увидеть, как я здесь, за столиком, пялюсь на лиловатую тень дочкиной щеки, западающей по мере того, как соломинка подбирает последнюю сладость коктейля? Ах, да не все ли равно! В глубине души я не испытывал ни стыда, ни раскаяния, ничего такого. Любовь, условно так ее назовем, любовь склонна предательски переноситься с одного яркого предмета на другой, еще более яркий, притом в самых неподходящих обстоятельствах. Сколько раз день свадьбы кончался тем, что надравшийся, осоловелый жених, уныло глядя на новехонькую супругу, пружинящую под ним на шикарной постели молодоженского люкса, видел перед собою лицо ее подружки, или более смазливой сестры, или даже, прости господи, матери в полном соку?

Да, я влюблялся в Хлою — уже влюбился, чего уж там. Я был в сумасшедшей эйфории, чувствовал себя валким, зыбким, как всякий, взявшийся за дело любви, себя чувствует при начале крутого подъема. Потому что тогда уже, в своем нежном возрасте, я понимал, что всегда есть тот, кто любит, и тот, кто позволяет себя любить, и знал, какова будет в данном случае моя роль. Те недели с Хлоей были для меня цепью более или менее самозабвенных унижений. Она с ошарашивающим самодовольством мне разрешала молиться у ее алтаря. Бывало, в рассеянности почти не снисходила до того, чтоб замечать мое существование, но даже когда и дарила меня как бы полным своим вниманием, была тут какая-то течь, какой-то изъян, чем-то это пахло не тем — озабоченностью, отсутствием, что ли. Ее намеренная уклончивость мучила, бесила меня, но еще страшней была мысль, что вдруг это она не нарочно. Хочет презирать меня — пусть, я ничего, я пожалуйста, но мысль о том, что иногда я просто бледнею в ее глазах до полной прозрачности, — нет, эта мысль была нестерпима. Часто, когда я нарушал ее тупое молчание, она вздрагивала, озиралась, смотрела в угол, на потолок, только не на меня, отыскивая источник незваного голоса. Что это было — бессердечное издевательство или она минутами честно проваливалась куда-то? Разозленный до невозможности, бывало, схвачу ее за плечи, трясу, требую, чтоб меня, только меня видела, а она оседает в моих руках, роняет голову, как тряпичная кукла, хохочет как-то горлом, мучительно похоже на Майлза, и когда я грубо, злобно ее отталкивал, она падала навзничь, на диван, на песок, и лежала раскинувшись, жутко осклабясь, притворяясь мертвой.

Почему я мирился с этими выходками, капризами? Обычно я не терпел оскорблений, всегда норовил отыграться, и на любимых тоже, на любимых особенно. Мое долготерпение с Хлоей вызывалось сильнейшей потребностью ее защитить. Дайте объясню, это интересно, по-мо-

ему, это интересно. Тут, видите ли, такая тонкая, исключительная такая деликатность. Раз именно на нее я решил, я был назначен, расточать свою любовь, все в ней, душа и поступки, должны были оставаться, по мере возможности, безупречны. И было необходимо, чтобы я ее спас от ее недостатков. Задача, естественно, падала на меня, поскольку не могла же она сама исправиться, по собственной воле. Но мало было просто ее избавить от тех недостатков, от которых страдало ее поведение, нет, надо было еще вовсю стараться, чтоб она сама ничего о них не знала, даже не подозревала. Речь не о прямых пороках. Ненаблюдательность, непроницательность, глупая самоуверенность — эти вещи следовало замазать, скрыть от нее самой, будто их и в помине нет. Тот факт, например, что она, только она, не знала, что до нее я страдал по ее матери, делал ее в моих глазах уязвимой, чуть ли не жалкой. Заметьте, тут вовсе не в том дело, что она была вторая, не первая, нет, а в том дело, что она ни о чем не догадывалась. Да выведай она вдруг мой секрет, ведь она бы перестала себя уважать, сочла б себя дурой, еще стала бы, чего доброго, думать, что она хуже матери, раз я ее не первую выбрал. Такого нельзя было допустить.

На случай, если покажется, что стремлюсь себя выставить в чересчур выгодном свете, спешу объяснить, что пекся о Хлое и ее недостатках не только в ее интересах. Ее самоуважение куда меньше меня волновало, чем мое собственное, хотя тут была, конечно, взаимосвязь. Если ее отношение к себе будет подпорчено сомнениями, мыслями, что вот она, дура, не догадалась, сразу ведь будет подпорчено и мое отношение к ней. Так что — тактичность, осторожность, никакой прямоты, безжалостных разъяснений, никакого разоблаченья ужасных истин. Можно было трясти ее за плечи, грубо валить на песок, но ни под каким видом нельзя было выдать, что я любил ее мать до того, как влюбился в нее, что от нее пахнет лежалыми бисквитами, что Джо с Полей заметил зеленоватый оттенок ее зубов. Плетясь за ее важной раскачкой, путаясь взглядом в блондинистой запятой под узким затылком, в тончайших трещинках на фарфоровой изнанке колен, я как будто нес чашу с чем-то драгоценным, исключительно взрывчатым. Нет, никаких резких движений, ни-ни.

Была и еще причина, почему ее следовало холить, нежить и оберегать, чтоб не дай бог не испортилась, не поняла уж слишком-то хорошо себя, не раскусила меня. Она была *иная*. Я впервые столкнулся с абсолютной отдельностью, отличностью другого человека. Не будет преувеличеньем сказать — ну, будет, пусть, все равно я скажу, — что через Хлою мир мне впервые открылся в своей объективной цельности. Ни мать, ни отец, ни другие дети, ни сама миссис Грейс не были для меня такими реальными, такими невозможно живыми, как Хлоя. А раз жива и реальна она, вдруг и я сам стал реальным. Она, наверно, первая во мне разбудила, извините, самосознание. Но тут еще одна сложность, такая еще одна закавыка. Отделив меня от мира, при том что я эту отдельность сумел осознать, она меня отлучила от того ощущения естественности всех вещей, в котором я до того пребывал в более или менее блаженном неведении. У меня был кров, и вот я стоял в чистом поле, и не было ни огонька впереди, и негде укрыться. Я не знал, как трудно будет потом пролезать через ту же все сужающуюся калитку.

С ней я никогда не понимал, на каком я свете, что́ она может выкинуть, но это, подозреваю, только делало ее для меня еще более притягательной, такова уж донкихотская природа любви. Как-то шли мы по краю моря, отыскивая те именно розовые ракушки, какие ей требовались для ожерелья, и вдруг она останавливается, не обращая внимания на купающихся в воде, на отдыхающих на берегу, хватает меня за рубашку, притягивает к себе и целует с такой силой, что губа рассекается об зубы, я чувствую вкус крови во рту и слышу сзади грудной клекот Майлза. И тут же она меня отпихнула, с презрением, можно подумать, и двинулась дальше, остро шаря взглядом по полосе, где нежный, плотный песок жадно ждал тугую волну и втягивал с облегченным вздохом. Я в тревоге озирался. Вдруг тут мама, все видела, или миссис Грейс, Роз даже? Хлое, кажется, было абсолютно все равно. До сих пор помню то ощущенье шершавости мягких губ, зажатых зубами.

Любила она бросить вызов, да, но злилась, когда его принимали. Как-то, ранним-рано, жутковато тихим утром, когда грозовые тучи копились на горизонте, а море лежало плоское и сизо светилось, я стоял по пояс в тепловатой воде и собирался нырнуть и проплыть у нее между ног, если она разрешит, она иногда разрешала.

— Ну давай скорей, — сказала она и прищурилась. — Я только попи-сала.

Мне оставалось только ей подчиниться, маленькому влюбленному рыцарю. Но когда я выплыл, она объявила, что я противный, по подбородок зашла в воду и медленно поплыла прочь.

На нее находили ужасные, меня изматывавшие приступы грубости. Помню один сырой вечер, мы были вдвоем в "Кедрах", в гостиной, пахло дождем, золой и кретоном штор. Хлоя пришла из кухни, направилась к окну, и я встал с дивана и к ней двинулся, кажется готовя попытку ее обнять. Тут же она быстро подняла руку, размахнулась и влепила мне жуткую затрещину. Ужасный такой удар, такой звонкий, такой окончательный. Я слышал, как с угла потолка сорвалось эхо. Минуту я стоял, окаменев, отвернув лицо, а она чуть попятилась, расхохоталась, потом надулась, все-таки подошла к окну, что-то взяла со стола и, хмурясь, стала разглядывать.

Раз как-то на пляже она прицепилась к городскому мальчишке и давай его истязать. День был ветреный, серый, ближе к концу каникул, уже чуть заметно звенела в воздухе осенняя нотка, Хлоя маялась, злилась. Городской этот был бледный, тощий — впалая грудь, обвисшие плавки, белые от холода соски. Мы втроем прижали его к бетонному волнорезу. Он был выше близнецов, но я еще выше, и, красуясь перед своей девочкой, толкнул его на осклизло-зеленую стену, Хлоя встала перед ним, самым своим повелительным тоном осведомилась, как его зовут, зачем он сюда заявился. Он смотрел на нее с тупым недоумением и, видимо, не понимал, чего мы к нему пристали, чего нам от него надо, так же как и мы сами, конечно. "Ну!" — крикнула Хлоя, подбоченясь, топнув ногой по песку. Он робко улыбнулся, от смущения скорее, незаметно было, чтоб он испугался. Да вот, на день приехали, он бормотнул, с мамкой, на поезде. "Ах, с мамкой, да?" — язвительно протянула Хлоя, и, как по сигналу, Майлз подскочил и отвесил ему выразительную, звучную плюху. "Видал? — взвизгнула Хлоя. — Это тебе за то, что перед нами выпендривался!" Мальчишка, робкого десятка, бедняга, только глянул

затравленно, поднял руку, ощупал лицо, как бы удостоверяясь в том поразительном факте, что его стукнули. На миг повисла напряженная тишина — все что угодно могло случиться. Ничего не случилось. Мальчишка только покорно, грустно пожал плечами, заковылял прочь, все зажимая щеку ладонью, Хлоя ко мне повернулась с вызовом, но ничего не сказала, и захохотал Майлз.

Чем же меня так зацепил этот случай? Дело тут не в выражении глаз Хлои, не в хихиканье Майлза, нет, главное — взгляд, каким посмотрел на меня мальчишка перед тем как безутешно уйти. Он меня раскусил, он понял, что я тоже из города, что бы я из себя ни корчил. Будь в этом взгляде уличенье в предательстве, злость на меня из-за того, что объединился против него с чужими, что-то такое, я бы ничего, вполне бы даже удовлетворился, хоть стало бы стыдно, конечно. Нет, зацепило меня в этом взгляде как раз выраженье покорности, овечьей неудивленности моим предательством. Подмывало бежать, догнать, положить руку на плечо, и ведь я не каяться хотел, не оправдываться, что помог его унижать, нет, просто добиться, чтоб он опять на меня глянул, чтоб взял назад тот, первый взгляд, отменил, стер, чтоб следа его не осталось. Потому что непереносима была именно мысль о том, что меня понимают — так, как он меня, кажется, понял. Лучше, чем я сам себя понимал. Хуже.

Всегда терпеть не мог фотографироваться, а чтоб Анна меня фотографировала — особенно. Странно звучит, понимаю, но она стояла за камерой, как слепая, что-то мертвело во взгляде, гаснул какой-то существенный свет. Как будто не в линзы вглядывается, а вовнутрь, в себя, отыскивая основную перспективу, главный угол зрения. Держит камеру ровно, на уровне глаз, откинет львиную гриву, секунду смотрит, слепо, как будто твои черты записаны по некой системе Брайля и она умеет их считывать на расстоянии, а затвором щелкнет как бы так, между дел, — просто жест такой для умиротворения аппарата. На заре наших отношений я, дурак, поддавался на ее уговоры, позировал, несколько раз позировал; результат получался кошмарный, дико разоблачительный. Глядя на эти шесть черно-белых снимков моей головы — вот именно что голову с меня сняла, — я чувствовал, что это разоблаченье поужасней, чем если бы меня представили во весь рост, абсолютно голым. Я же был молодой, приятный, не сказать чтобы некрасивый, — это я скромничаю, — а на фотографиях выходил переросток-гомункулус. И не то чтоб она меня уродовала, деформировала. Знакомые, разглядывая эти фотки, уверяли, что она мне польстила. Ну нет уж, я не был польщен. Вид на них у меня такой, будто меня схватили, зацапали при попытке к бегству, под крики: "Держи! Держи вора!" Выражение лица одновременно победное и молящее, как у мерзавца, который дрожит, что вот сейчас его обвинят в преступлении, и он знает, что его совершил, хоть помнит уже смутно, но готовит увертки и оправдания. Какая отчаянная, заискивающая у меня улыбка, прямо гнусный смешок. Она упражняла свою камеру на свежем, открытом лице, а получалась фотка на документ для старого, испитого мошенника. Разоблачение, да, слово найдено: разоблачение.

Прямо дар у нее был какой-то — разочарованный, разоблачающий взгляд. Только подумать про фотографии, какие она нащелкала в больнице, в конце, в начале конца, — еще проходила лечение, еще без посторонней помощи вставала с постели. Велела Клэр отыскать эту ее каме-

ру, годами к ней не прикасалась. При мысли о том, что она вернется к старому своему наваждению, меня остро, хоть безотчетно, кольнуло недоброе предчувствие. И еще было неприятно, хоть опять-таки не могу объяснить почему, что Клэр, не мне она поручила эту камеру доставить, более того, предполагалось по умолчанию, что я ничего не должен знать. Зачем, для чего, кому это надо — все эти тайны, все эти штуки? Клэр недавно вернулась после своих занятий за границей — Франция, Нидерланды, Воблен, все такое, — ужаснулась, увидев мать в этом состоянии, и, конечно, накинулась на меня — зачем раньше ее не вызвал. Не стал ей объяснять, что это Анна была против. Тоже странно, всегда были водой не разольешь, эта парочка. Ревновал ли я? Да, немножко, в общем, даже не то чтоб немножко, если честно. Прекрасно отдаю себе отчет в том, чего ожидал, чего ожидаю от дочери, отдаю себе отчет и в эгоизме, в раздутости моих ожиданий. Много требуется от отпрыска-дилетанта. Она добьется того, чего не добился я, станет великим ученым, если я тут имею хоть какое-то право голоса, ну а я имею. Мать ей оставила кой-какие деньги, но недостаточно. Я же — большой жирный гусь, но с золотыми яйцами у меня туговато.

И я ведь случайно застукал Клэр, когда тащила из дому эту камеру. Она-то хотела пройти мимо, так легко, так небрежно, да только небрежность и легкость — не по ее части. Нельзя опять же сказать, что она знала, зачем нужна вся эта таинственность, — нет, не знала, так же как я. Анна вообще простейшие вещи любила делать втихую, исподтишка — долгое влияние папаши, я думаю, их лихого житья-бытья. И что-то в ней было детское. То есть капризная была, скрытная, терпеть не могла ни малейшего вмешательства в свои дела, ни малейших возражений. Я могу говорить, я знаю. В общем, наверно, мы оба с ней были дети, и оба единственные. Смешно звучит. То есть я хочу сказать, мы оба были единственными детьми. Тоже смешно звучит. Может, складывалось впечатление, что я был против ее посягательств на искусство, если это щелканье затвором можно назвать искусством? Да нет же, я вообще плевал на ее фотографии, так что никак она не могла меня заподозрить в том, что стану отнимать у нее аппарат. Да, тут прямо голову сломаешь.

Так или иначе, дня через два после того, как я застукал Клэр с этим аппаратом, вызывают меня в больницу и грозно оповещают, что моя супруга фотографирует других пациенток и поступили жалобы. Я краснел за Анну, стоя перед главной врачихой, чувствовал себя как школьник, вызванный к директору за чужие грехи. Вроде бы Анна блуждала по палатам, босая, в больничном добела застиранном халате, катя за собой капельницу, и, выискав кого-нибудь из товарищей по несчастью, кто больше изуродован, покалечен, останавливалась со своей капельницей у постели, вынимала лейку и щелкала, щелкала, пока кто-то из персонала ее не застукал и не погнал восвояси.

— А тебе сказали, кто жаловался? — хмуро спросила она. — Не пациенты, всего-навсего родственники, а что они понимают?

Заставила меня отнести эти пленки на проявку к ее другу Сержу. Друг Серж, когда-то давным-давно, возможно, больше чем друг, — дюжий малый с хромотой и гривой черных, блестящих волос, которые он изящно скидывает со лба обеими грубыми, большими ладонями. У него студия на самом верху высокого, узкого старинного дома из тех, что стоят на Шейд-стрит, у реки. Делает снимки для модного бизнеса, спит со

своими моделями. Выдает себя за беженца, уж не знаю откуда, от его пришепетывающего акцента девицы, говорят, без ума. Фамилией не пользуется, да и Серж, насколько я понимаю, всего-навсего nom-d'appareil[1]. Знали мы таких, мы с Анной, в наши старые дни, еще совсем-совсем тогда новые дни. Теперь просто не постигаю, как я мог его выносить; хуже нет — любоваться на пошлость, которой ты окружен, ну, когда-то был окружен.

Что-то, видимо, есть во мне такое, что дико смешит Сержа. Он держит наготове поток несмешных шуточек — такой предлог, не сомневаюсь, смеяться, но чтоб не получалось, что надо мной. Я пришел за проявленными фотографиями, он пустился на поиски по живописному беспорядку студии — не удивлюсь, если он нарочно этот беспорядок организует, как витрину, — довольно ловко лавируя на своих парадоксально стройных ногах, несмотря на отчаянный крен при каждом втором шаге. Потягивал кофе из как будто бездонной кружки, меня оглядывал через плечо. Этот кофе — тоже торговая марка, наряду с шевелюрой, хромотой, белыми толстовками, которые он обожает. "Как прелестная Анни?" Глянул на меня и расхохотался. Он всегда называл ее Анни, может, это старинная любовная кличка такая — ах, лучше не думать. Я ему не стал говорить про ее болезнь — с какой стати? Он рылся в хаосе на огромном столе, который использует для работы. Кислый дух проявителя из темной комнаты ел мне глаза и ноздри. *Анни без перемен*, — он проворковал про себя, с фьоритурой, пустив по ноздрям гнусавый смешок. В глазах мелькнуло: бросаюсь к нему, хватаю, волоку к окну, вниз головой швыряю на мостовую. Он торжествующе хрюкнул, вытащил пухлый, из оберточной бумаги, конверт, я за ним потянулся, он его придержал и весело, оценивающе меня оглядел, склонив набок голову. "Эти ее работы — да, вещь", — взвесил конверт на одной руке, другой легонько помахивая в своей манере, которую перенял не то у поляков, не то у чехов. Через слуховое окно над нами сноп летнего солнца упал прямо на стол и белым огнем поджег разбросанные куски фотобумаги. Серж покачал головой, сложил губы сердечком, беззвучно присвистнул: "Да, вещь!"

Анна жадно потянулась с больничной койки, по-детски растопырила пальцы, без единого слова выхватила у меня этот конверт. В палате было жарко и сыро, у нее на лбу и над верхней губой серо поблескивал пот. Волосы снова начали отрастать, но с ленцой, будто знали, что ненадолго понадобятся; росли патлами, жидкими, темными, сальными на вид, как вылизанная кошачья шерсть. Я присел к ней на постель, смотрел, как она хищно взрывает конверт ногтями. И что такое в этих больничных палатах, чем они так обольщают, несмотря на все, что случается в них? Не в пример гостиничным номерам. Гостиничные номера, даже самые шикарные, — анонимны; там ничто не питает любви к постояльцу, ни постель, ни охлаждаемый бар, ни даже пресс для брюк, скромно вытянувшийся у стены по стойке смирно. Несмотря на все старания архитекторов, дизайнеров, менеджмента, гостиничные номера хотят, чтоб ты поскорее смылся; больничные же палаты, наоборот, без ничьих без усилий взывают к тебе, чтоб остался, чтоб хотел остаться и был бы доволен. Так утешно напоминают о детской эти стены под жирной масляной

1. Деловой псевдоним (*франц.*).

краской, линолеум, крохотный в углу умывальничек, а под ним на жердочке полотенце, и эти кровати, само собой, с колесиками, рычажками, похожие на усовершенствованные коечки для новорожденных, — лежи себе, спи, за тобой приглядят, тебя обиходят, и ты никогда, никогда не умрешь. Может, снять бы такую комнату, такую палату то есть, и работать в ней, даже жить. Все удобства. По утрам — веселенькая побудка, с железной регулярностью подается еда, кровать чисто, туго застлана, как длинный такой белый конверт, и вся медицина под боком — на всякий пожарный. Да, мне б тут было хорошо, в такой белой келье, зарешеченное окно, нет, зачем зарешеченное, при чем тут, эка меня повело, мое окно смотрело бы вниз, на город, на дымовые трубы, запруженные шоссе, ссутуленные дома, на крошечные, без конца шныряющие фигурки.

Анна разложила фотографии по постели, жадно разглядывала, и у нее горели глаза — эти глаза тогда уже были огромные, торчали из черепа. Первая неожиданность — она использовала цветную пленку, а всегда предпочитала ведь черно-белую. Ну и потом — сами фотографии. Как будто снятые в полевом госпитале во время войны, в травмопункте побежденного, оставленного города. У старика нога ампутирована по колено, блестящий обрубок пересечен грубым швом, прообразом застежки-молнии. У тучной пожилой женщины отнята грудь, и на месте ее отсутствия все сморщено, вспухло — как пустая, зияющая глазница. Грудастая, улыбчивая мать в кружевной рубашке демонстрирует младенца-гидроцефала с взглядом вспугнутой выдры. Снятые крупным планом артритные пальцы старухи — в узлах и шишках, как корешки имбиря. Мальчик с язвой на щеке, сложной, как мандала[1], ухмыляется в камеру, поднимает кулаки, наглым, победным жестом выставляет оба больших пальца, хамски высовывает толстый язык. И было еще содержимое жестяного ведра, какие-то ошметки, жилы темного мяса — из кухни отбросы, из операционной?

Больше всего поражало меня в этих людях то, с какой спокойной улыбчивостью они демонстрировали свои раны, швы, свои гнойники. Отдельно запомнился на первый взгляд как бы формалистический этюд: острые тени, пластиково-розовое, красное, глянцево-серое — это снизу, почти из-под постели, снята косматая старуха, задравшая сине-жилистые, дряблые ноги, раскорячившая колени, показывая нечто — выпадающую матку, что ли. Вся композиция поражает тонкостью, тщательностью разработки — прямо фронтиспис пророческой книги Блейка. Центральное пространство — опрокинутый треугольник, отграниченный по бокам задранными ногами старухи, а сверху белым подолом рубахи, — как пустой участок пергамента в ожидании огненной надписи, которая, видимо, возвестит пародийное рождение того розового, бурого, что уже лезет между ног. Медузья голова старухи легким смещением перспективы как бы отрезана, выдвинута вперед и опущена на уровень коленей, аккуратный же обрубок шеи помещен на подол, образующий основание опрокинутого треугольника. Несмотря на свое положение, лицо совершенно спокойно, даже, кажется, чуть улыбается с веселым укором, с некоторым удовлетворением, что ли, и, да, определенно, с гордостью. Вспомнилось: как-то шли мы с Анной по улице, когда уже у нее выпали все волосы, и на тротуаре напротив она заприметила женщину,

1. Буддийский шар, прообраз бытия.

тоже лысую. Не знаю, видела ли Анна, что я перехватил тот взгляд, каким они обменялись, будто невидящий, но острый, хитрый, заговорщический взгляд. За весь тот год, пока она болела, никогда я не был, по-моему, так отдален от нее, как тогда, оттесненный из женского сообщества страждущих.

— Ну? — спросила она наконец, не отрывая глаз от снимков, даже не глянув на меня. — Как твое мнение?

Мое мнение ей было глубоко безразлично. Она уже далеко ушла от меня, от всех моих мнений.

— Ты Клэр показывала?

Сам не знаю, и почему это первым делом пришло в голову?

Она пропустила мой вопрос мимо ушей, а может, она не слушала. Где-то в коридоре жужжал звонок как бы озвученной слабой, неотвязчивой болью.

— Это мое досье, — она сказала. — Мой обвинительный акт.

— Обвинительный? — в смутном ужасе беспомощно переспросил я. — В чем?

Она пожала плечами.

— А-а, во всем, — сказала мягко. — Во всем.

Хлоя, ее жестокость. Тот берег. Наше плаванье в темноте. Ее сандалька, посеянная той ночью у входа в танцзал, — туфелька Золушки. Все прошло. Все пропало. Все равно. Устал, устал и надрался. Все равно.

А у нас была буря. Всю ночь штормило, и потом еще долго утром, диво дивное, ничего подобного по силе и длительности не припомню в этих мягких широтах. Прямо-таки наслаждался, сидя на своей помпезной постели, как на катафалке, если это уместное слово, комната ходуном ходила, небо ярилось, ухало, громыхало, ломалось. Наконец-то, думалось, наконец-то стихия взбунтовалась до такой степени, что соответствует пучине внутри у меня! Я себя чувствовал преображенным, чувствовал, что вагнеровским полубогом воссел на грозную тучу и дирижирую гулко-мощными струнами, небесно-бряцающими кимвалами. В этом состоянии взвинченной эйфории, разогретый парами бренди и молнией, я в новом, потрескивающем свете взглянул на свое положение. То есть на свое положение в целом. Я всегда был уверен, всем разумным доводам вопреки, что пусть нескоро, когда-нибудь, но настанет миг, когда с вечной репетицией, каковую являет собой моя жизнь, с ляпами, огрехами, промахами, будет покончено и начнется иная драма, к которой с такой серьезностью постоянно готовлюсь. Обычное заблуждение, знаю, всем присущее заблуждение. Но вчера ночью, под всю эту ярость Вальгаллы, вдруг подумалось: уж не накатывает ли миг, когда придется выйти на сцену, что называется, — *приступить*. Не знаю, как именно он будет выглядеть, мой драматический скачок в самую гущу действия, и что будет твориться на сцене. Однако предвкушаю крутой подъем, апогей. Это я не о посмертном преображении, отнюдь. Не допускаю возможности загробной жизни, ни божества, способного нам ее предоставить. Учитывая, какой Он устроил мир, было бы прямо невежливо по отношению к Богу верить в Него. Нет, то, чего дожидаюсь, — миг земного выражения. То-то и оно, вот именно, вот: когда удастся выразиться, до конца. Преподнестись как заключительная благородная речь. Одним словом, ска-

заться. Не в том ли всегда была моя цель, не в том ли у всех у нас тайная цель — скинуть с себя плоть, полностью преобразиться в бесстрастный дымчатый дух? Гром, треск, грохот, даже стены трясутся.

Кстати: эта кровать, моя кровать. Мисс Вавасур уверяет, что она всегда тут была. Грейсы, отец и мать, — значит, здесь они спали, на этой самой кровати? Вот ведь мысль, прямо не знаю, как от нее отвязаться. Хватит, не думать, не надо, так-то оно лучше — спокойней, во всяком случае.

Еще с одной неделей разделались. К концу сезона — как оно бежит, время, земля летит очертя голову к последнему резкому сгибу года. Невзирая на застоявшееся тепло, полковник ощущает близость зимы. Стал что-то неважно себя чувствовать, почки, так он выражается, застудил. Говорю, что это была одна из болезней моей матери, *собственно, одна из любимейших*, — не прибавляю я, — но он смотрит на меня как-то странно, может, думает, что над ним потешаюсь, — может, и правильно думает. Ну как можно застудить почки? Мама не больше полковника вдавалась в подробности, и даже Медицинский словарь Блэка на сей счет молчит. Может, полковнику хочется подсунуть мне некое объяснение тому, что он шаркает днем и ночью в сортир, взамен более серьезной причины, которую я подозреваю. "Нет, я не в лучшем виде, — он говорит, — и это факт". Взял манеру являться к столу в кашне. Уныло ковыряет еду, малейшее поползновение на веселость встречает томным, страдающим взором в сопровождении слабого вздоха, переходящего в стон. Я еще не описал его дивно-хроматический нос? Он меняет оттенки — в ответ на продвижение дня и малейшие перемены погоды — от блекло-лилового, через бордо, до густого, царственного пурпура. Вдруг подумалось, не rhinophyma ли это, не знаменитый ли нос пьяницы по доктору Томсону? Мисс Вавасур не слишком верит в его болезни, мне подмигивает у него за спиной. Он, по-моему, из кожи вон лезет в попытках снискать ее милость. В ярко-желтом жилете всегда педантически расстегнута нижняя пуговка, острые концы раздвинуты над аккуратным брюшком, и весь он сосредоточен, насторожен, как вот самец какой-нибудь птицы в экзотическом оперении — павлин, фазан, — важно вышагивает поодаль, пылая взором, прикидываясь равнодушным, покуда невзрачная самочка преспокойно выклевывает из песка червяков. Мисс В. отметает его тяжеловесно-робкие ухаживанья с раздражением, в то же время слегка смущаясь. По обиженным взглядам, какие он ей кидает, заключаю, что прежде она давала ему повод для надежды, но все было тотчас перечеркнуто, как только я заявился и мог стать свидетелем ее слабости, и теперь она сама на себя злится и вовсю старается меня убедить, что если что-то там он и принял за поощрение, так простую учтивость хозяйки.

Часто сам не знаю, куда девать время, и вот взялся составлять распорядок типичного дня полковника. Встает он рано, страдает бессонницей, и выразительным молчанием, поджатием губ, пожиманием плеч дает нам понять, что его преследуют такие кошмарные картины сражений, какие и под наркозом не дали б уснуть, хоть я сильно подозреваю, что пищу для мучительных воспоминаний он вкушал не в далеких колониях, а где поближе, на колдобинных проселочных дорогах Саут-Арма, скажем. Завтракает он один, за столиком в углу у камелька на кухне — нет, уголка не припомню, камелька тем более, — ибо, как он неустанно

торжественно возглашает, одиночество есть наилучшая предпосылка для *важнейшей трапезы дня.* Мисс Вавасур рада ему не мешать и в сардоническом молчании подает ему бекон, кровяную колбасу и яйца. Он держит собственный набор пряностей, бутылочки без этикеток с бурой, красной, зеленой жижей, которую подбавляет к еде, священнодействуя, как алхимик. И он сам готовит какую-то пасту не пасту, нечто цвета хаки, куда входят анчоусы, карри, бездна перца и бог знает что еще; пахнет почему-то псиной. "Отлично прочищает мешок", — говорит. Я не сразу допер, что мешок, который он так часто поминает, но только не в присутствии мисс Вавасур, — это желудок и окрестности. Он всегда горячо озабочен состоянием мешка.

После завтрака — утренний моцион, в любую погоду по Станционной, дальше по Скальной мимо Берегового Кафе и обратно вкруговую, в обход домиков на маяке, мимо Перла, где он останавливается, покупает утреннюю газету и упаковку крепчайших мятных лепешек, которые сосет день-деньской, так что весь дом провонял их смутным, тошнотворным запахом. Ходит он бодрой трусцой, которую, конечно, хочет выдать за военную поступь, хоть в первое же утро, увидев его отдаляющуюся спину, я даже вздрогнул, заметив, что при каждом шаге он выкидывает левую ногу, в точности как, бывало, мой давно покойный отец. Первые недели две после моего приезда он все еще приносил из этих походов какой-нибудь привет для мисс Вавасур, ничего такого слюнявого, нет, ветку красноватых листьев, зеленый прутик, все, что можно преподнести просто как предмет садоводческого интереса, и все это без комментариев помещал на столе в прихожей рядом с садовыми перчатками мисс Вавасур и могучей связкой ключей. А теперь возвращается с пустыми руками, если не считать газеты и мятных лепешек. А все мой приезд; мой приезд положил конец церемониалу обхаживания.

Газета поглощает остаток утра, он ее читает от корки до корки, ума набирается, ничего не пропустит. Сидит в салоне у камина, на котором спотыкливо, по-стариковски тикают часы, на получасе, на двух четвертях сперва замрут, потом разрешаются хилым сиротским треньканьем, зато на само́м часе в отместку хранят молчанье. У него свое кресло, своя стеклянная пепельница, своя подставка для газеты. Видит ли он медный луч, падающий сквозь оцинкованные окна эркера, пучок засушенных, синих, как море, и нежно-бурых гортензий на решетке камина, где даже и теперь еще нет нужды разводить первый предзимний огонь? Видит ли, что мир, о каком он читает в газете, уже не его мир? Может, теперь все усилья у него, как и у меня, уходят на то, чтоб не видеть? Я поймал его, он украдкой перекрестился, когда, зародившись в деревянной церкви на Береговой, раскатился до нас звон к вечерне.

Днем мы с полковником должны сами кормиться, поскольку на время от двенадцати до трех мисс Вавасур удаляется к себе — спать, читать, работать над мемуарами, ничему бы не удивился. Полковник — такое жвачное. Сидит на кухне, в жилете, в древней вязаной безрукавке, пережевывает неумело сооруженный сэндвич — кусок сыра, ломоть холодного мяса, зажатый между двумя здоровенными кусищами хлеба, сдобренными его снадобьем или мазком свирепейшего кетчупа, а то и тем и другим, если надо взбодриться, — ведет словесную пристрелку, так ловкий полководец выискивает клин в обороне противника. Темы нейтральные исключительно: погода, назначенный матч, скачки — а сам уве-

ряет, что не азартный. Несмотря на экивоки, цель его очевидна: он боится вечеров, этих пустынных часов, как я боюсь бессонных ночей. Он никак не может меня раскусить, не может понять, зачем на самом деле я здесь, раз могу быть где угодно, была бы охота, — так ему кажется. Зачем, если можешь позволить себе теплый юг — "Солнце лучший лекарь от всех горестей и болезней", — считает полковник, — приезжать горевать в "Кедры"? Я ему не докладывал про то, как здесь жил, про Грейсов, всякое такое. Да, собственно, и много ли это бы прояснило. Я встаю. "Работа", — объявляю торжественно, и он мне кидает отчаянный взгляд. Даже мое уклончивое общество лучше, чем его комната, его радио.

Вскользь упоминаю о Клэр и встречаю самый бурный отклик. У него тоже дочь, замужем, две малышки. Вот-вот приедут его навестить, дочь с зятем, он инженер, и девочки: семь лет и три годика. Чувствую, что не миновать фотографий, и, естественно, извлекается из заднего кармана бумажник и демонстрируются фотографии, молодая особа с брюзгливым дубленым лицом, ничуть не похожая на полковника, и нарядная девочка, явно, увы, похожая. Зять, осклабленный на пляже с младшей на руках, как ни странно, хорош собой, южный тип, широкие плечи, напомаженная челка, глаза с поволокой — и как этой мышке мисс Бланден удалось оторвать такого мужика? Живут же люди. Вдруг чувствую, что с меня хватит, не могу, надоели — дочь полковника, внучки, зять; спешно возвращаю фотографии, трясу головой. "Ах, прошу прощенья, прошу прощенья", — бормочет полковник и смущенно отхаркивается. Думает, что разговор о семье всколыхнул во мне грустные мысли, но это не то, не совсем то. Я теперь могу принимать мир только малыми, тщательно выверенными дозами, такой гомеопатический курс прохожу, хоть не совсем понимаю, что в данном случае предполагается вылечить. Может, заново учусь жить среди живых. Практикуюсь, одним словом. Да нет, опять же не то. Быть здесь — вот именно что способ нигде не быть.

Мисс Вавасур, во всем прочем нас так прилежно обхаживающая, небрежна, чтоб не сказать бесцеремонна, по части не только обеда, но трапез вообще, а на ужин в "Кедрах" и вовсе иной раз подается прямо немыслимый корм. Что угодно может явиться на столе, и является. Сегодня, к примеру, нам дали селедку от завтрака, плюс яйца всмятку, плюс вареную капусту. Полковник, фыркая, демонстративно вертел и вертел бутылочки со своими приправами, как жонглер. На подобные молчаливые протесты у мисс Вавасур один неизменный ответ: аристократическая рассеянность на грани презрения. После селедки были груши из банки в какой-то серой теплой крупитчатой массе, и если меня не подводят воспоминания детства, по-моему, это была манная каша. Манная каша, о Господи. Пока мы одолевали эту дрянь в нарушаемом лишь звяканьем приборов молчании, вдруг мне представился я сам, большая черная обезьяна, нечто, ссутулившееся за столом, да какое там нечто — ничто, пустое место, дыра в пространстве, ощутимое отсутствие, зримая тьма. Ужасно странно. Я увидел всю сцену как бы изнутри себя, столовую в тусклом свете двух торшеров, уродский стол на мутовчатых ножках, мисс Вавасур с отвлеченным взором, склоненного над тарелкой полковника, при жевании обнажающего край вставной челюсти, и себя — большой смутный образ, никто его не увидит во время съемки,

проступит только после проявки дагерротипа. Нет, ей-богу, я превращаюсь в собственный призрак.

После ужина мисс Вавасур убирает со стола — всего несколько легких, широких пассов, слишком она хороша для этой черной работы, — мы же с полковником в смутной тоске прислушиваемся к своим организмам, преодолевающим нанесенное им оскорбление. Затем мисс Вавасур величаво направляется в телевизионную. Это унылая, тускло освещенная комната, где всегда промозгло и сыро, как в подземелье. Мебель тоже имеет отчасти подземный вид, будто ее годами сплавляли сюда сверху, из более приятного места. Обитая ситцем тахта растерянно воздевает ручки, поникнув подушками. Есть еще пледом накрытое кресло и трехногий столик, на котором томится в пыли растение — по-моему, настоящий фикус, каких я с незапамятных пор не видывал, если видывал вообще. Пианино мисс Вавасур жмется к задней стене, с опущенной крышкой, как бы поджав губы в обиде на вульгарного соперника напротив, мощного, свинцово-серого, на которого хозяйка поглядывает с гордостью, приправленной легкой опаской. По этому телику мы смотрим комические шоу, предпочитая те, что потоньше, двадцати-тридцатилетней давности. Сидим и молчим, публика в записи хохочет за нас. Цветной отсвет экрана скачет по нашим лицам. Мы смотрим внимательно, нетребовательно, как дети. Сегодня показывали какое-то место в Африке, долину Серенгети, что ли, огромное стадо слонов. Вот удивительные созданья, связующее звено, конечно, с тем давним временем, когда о нас не было и помину, когда бегемоты, еще даже огромней их, рычали и ярились по топям и пущам. Такие печальные с виду, и все же, кажется, тайком посмеиваются над нами. Бредут в линеечку, каждый изящно обвивает кончиком хобота смешной поросячий хвостик братца, идущего впереди. Малыши, поволосатей родителей, радостно топают между ножищами матерей. Если б кто вздумал искать среди наших собратий, во всяком случае сухопутных, наибольшую нам противоположность, я бы ему порекомендовал остановиться на слонах. И как это мы позволили им не вымереть? При виде этих грустных, умных глазок так и тянет схватиться за обрез. Да, влепить пулю — прям туда или в эти огромные, глупо хлопающие уши. Да, да, изничтожить всех этих тварей, рубить, рубить дерево жизни, пока останется только пень, а потом и к нему ласково так подойти с косарем. Все, все прикончить.

Ты, сука, блядь, как ты могла уйти, меня так вот бросить, я ж барахтаюсь в собственной мерзости, и никого нет, никто меня не спасет от меня самого. *Как ты могла.*

Кстати, насчет телевизионной, вдруг сообразил, даже непонятно, как сразу не стукнуло, — это ж так очевидно, что́ она мне напоминает, что́ весь дом напоминает, если на то пошло, и ведь потому-то, наверно, в первую очередь потому-то я сюда и кинулся прятаться, — меблирашки, в которых мы жили с матерью, вынуждены были жить все мои школьные годы. Когда отец нас бросил, пришлось ей искать работу, чтоб прокормиться вдвоем, чтоб платить за мое ученье, какое-никакое ученье. Мы подались в большой город, она решила, что там у нее, конечно, будет больше возможностей. Она ничего не умела, рано бросила школу, только чуть поработала продавщицей перед тем, как встретила отца, за него вышла, ушла от родителей и была тем не менее убеждена, что где-то такое ждет ее место, идеальное место, для нее, именно для нее пред-

назначенное, только она никак его не может найти, ужасно, ужасно. Мы метались, мотались из одной меблирашки в другую, переселялись на новое место всегда как будто зимой, в моросящий воскресный вечер. Все они были одинаковы, эти комнаты, по крайней мере такими их сберегла моя память. Кресло с поломанной ручкой, на полу конопатый линолеум, унылая газовая печка в углу, провонявшем жаркой-варкой предшественников. Сортир внизу, в коридоре, щербатая деревянная крышка, длинный ржавый следок с тылу унитаза, на цепи при бачке оборвана шишечка. В коридоре воняло, очень похоже на запах в тесной глуби моих ладоней, куда я дышал, дышал, пытаясь себе представить, каково это — задохнуться. Поверхность стола, за которым мы ели, была липкая на ощупь, как ее ни скоблила мать. После чая она убирала посуду, расстилала на столе под тусклой шестидесятисвечовой луковкой Evening Mail, водила булавкой по объявлениям о вакансиях, каждое отчеркивала, злобно шипела под нос: *Требуется опыт... необходимы рекомендации... с университетским образованием...* "Тьфу ты!" А потом — засаленная колода карт, спички, разделенные на две равные порции, переполненная окурками пепельница, мне какао, ей шерри. Играли в пьяницу, в дурака, в джин-рамми. Потом раздвигался диван, туго натягивалась кислая простыня, к потолку прикреплялось каким-то образом одеяло, отгораживая ее ночную укромность. Я лежал и, бессильно бесясь, слушал, как она вздыхает, храпит, как пукает со свистом. Чуть ли не каждую ночь, по-моему, я просыпался и слышал, что она плачет, костяшками пальцев зажав рот, уткнув лицо в подушку. Отец редко упоминался, разве что запаздывал с ежемесячным пособием. Она даже имя его не могла выговорить; называла: Его Сиятельство, Синяя Борода, а когда особенно ее припрет или когда переберет шерри — даже Старый Пердун. Была уверена, что он — *там* — как сыр в масле катается, но злостно отказывается нам помогать, как он обязан, как мы заслуживаем. Конверты с чеками — и ни единого письма, только открытки на Рождество, на мой день рожденья, — надписанные тесным, каллиграфическим почерком, которым всегда щеголял отец, несли на себе штемпеля с такими названьями, которые — даже теперь, когда бываю *там*, их встречаю на указателях по автотрассам, и его трудом отчасти проложенным, — во мне будят причудливую смесь чувств, неотвязную грусть, злость, дальнее эхо злости, и непонятную тягу куда-то, ностальгию по местам, где отродясь не бывал. Уотфорд. Ковентри. Сток. Тоже небось знавал занюханные меблирашки, линолеум на полу, газовые плитки, вонь в коридоре. А потом пришло последнее письмо, от чужой женщины — по фамилии Чуж, Морин Чуж! — объявляющее, что *я должна вам сообщить очень печальную новость.* Мать рыдала в голос, от злости не менее, чем от горя. "И кто она такая, эта Морин?" Единственный в синюю линеечку тетрадный листок дрожал у нее в руке. "Черт бы его побрал, — шипела она сквозь стиснутые зубы, — черт бы его побрал, эту сволочь!" Вдруг я его себе представил, как раз на даче, в густом желтом свете керосиновой лампы он, спиной к открытой двери, смотрит на меня странно, чуть ли не улыбаясь, и пятно света блестит у него на лбу, и за ним, за дверью стоит бездонный, бархатный мрак летней ночи.

Напоследок, когда все каналы впадают в невыносимую мрачность ночных программ, телик выключается твердой рукой, и полковнику выдается настой из травок, для него приготовляемый лично мисс Вавасур.

Он мне говорит, что эту дрянь терпеть не может, — "Смотрите, ни слова!" — но не решается отказаться. Мисс Вавасур стоит над ним, пока он пьет. Уверяет, что это ему поможет заснуть; он мрачно убежден в обратном, но не протестует и обреченно пьет свою чашу до дна. Как-то я затащил его в бар "На молу", вместе выпить на ночь, это была ошибка. Мое общество его раздражало — тут я молчу, оно меня самого раздражает, — он ерзал над своим стаканчиком портера, пыхтел трубкой, все норовил засучить обшлаг, тишком глянуть себе на часы. Несколько завсегдатаев на нас пялились, мы скоро ушли и, бредя обратно, молчали до самых "Кедров", а в громадном октябрьском небе над нами текли звезды и бежала между пасмами туч луна. По большей части я с вечера, чтоб заснуть, чтоб попытаться заснуть, выдуваю рюмок по пять коньяка из большущей бутыли "Наполеона", которую держу у себя в комнате. Наверно, можно бы предложить глоточек полковнику, да нет, не стоит. Мысль о ночных беседах с полковником за жизнь и на смежные темы совершенно не греет. Ночь длинна, а меня ненадолго хватит.

Я уже говорил про свое пьянство? Я пью как рыба. Нет, не рыба, при чем тут, рыбы не пьют, это у них дыханье такое, это они так дышат. Я пью, как только что овдовевший тип со скромными дарованьями, еще более скромными амбициями, убеленный годами, неуверенный и заблудший, нуждающийся в утешении, в краткой передышке пьяного забытья. Я б наркотики принимал, будь они у меня, но у меня нет, и где ж ты их тут достанешь. Едва ли Баллилесс может похвастаться наркоторговцем. Может, Пекер Девро мог бы меня выручить. Этот Пекер страшноватый мужик — широченные плечи, грудь колесом, дубленая грубая рожа, загребущие лапы гориллы. Огромная физиономия вся рябая — из-за каких-то давних угрей, от оспы? — и в каждой рытвине пятнышко черной лоснистой грязи. Когда-то он был моряком, ходил в дальние края, говорят, убил человека. У него сад, там он и живет в бесколесном фургоне с крошечной, тощей женой. Торгует яблоками и — подпольно — мутным, зеленоватым самогоном из падалицы, по субботам дурманящим местных парней. И с чего я о нем распространяюсь? Накой он мне — Пекер Девро? Кстати, здесь эту фамилию произносят на свой манер, говорят — Деврекс, как пишется, ну вот, и не могу ведь остановиться. Ишь как разогналась праздная мысль.

Сегодня наш день был скрашен, если такое выражение уместно, визитом Пышки, подруги мисс Вавасур, которая составила нам компанию за воскресным обедом. Я наткнулся на нее, войдя в салон, она перетекала за пределы камышового кресла в эркере, как бы бессильно поникнув, слегка задыхаясь. Место, где она сидела, густо залил дымчатый свет, так что сначала я с трудом ее разглядел, хоть, надо признаться, по части зримости она может поспорить с покойной королевой Тонги. Пышка — необъятная особа неопределенного возраста. Твидовое платье цвета мешковины туго стягивал пояс, и вид был такой, будто ее до отказа накачали в груди и бедрах, а короткие крепкие ножки пробкового цвета торчали вперед из-под низу двумя гигантскими втулками. Нежное, с тонкими чертами личико рдеет в большой, серо-рыхлой голове, как чудом сохранившиеся окаменелые останки девочки, которой она была когда-то, давным-давно. Пепельно-серебристые волосы по старинке расчесаны на прямой пробор и стянуты сзади в пучок. Она мне улыбнулась, кивнула приветственно, расколыхав пудреные подбородки. Не зная,

кто это, я решил, что приехала новая постоялица — у мисс Вавасур в мертвый сезон полно пустых комнат. Кое-как она поднялась на ноги под облегченный стон, исторгнутый камышовым креслом. Да, объемы и впрямь поразительные. Я подумал, что сломайся вдруг пряжка, слети пояс — она вздулась бы безупречным шаром, и голова бы сидела, как крупная вишня, ну да, — на пышке. По взгляду, какой она мне подарила — сочувствие, живой интерес, — я понял, что ей сообщили, кто я, поведали о моем состоянии. Она назвала свою фамилию, важную, с дефисом, и я моментально ее забыл. Рука оказалась маленькая, мягкая, влажно-теплая, как у ребенка. Явился полковник Бланден с воскресными газетами под мышкой, глянул на Пышку, нахмурился. Когда он так вот хмурится, темнеют желтоватые белки, челюсть делается выдвинутая, квадратная, как у фокса.

Среди более или менее мучительных последствий утраты есть у меня и дурацкое ощущение самозванства. После смерти Анны меня стали обхаживать, стали со мною нянчиться, я сделался объектом особенного внимания. Знающие о моем горе умолкали, когда я входил, и мне ничего другого не оставалось, как задумчиво, важно молчать в ответ, что противно и неудобно. Началось оно, это особенное внимание, уже на кладбище, а то и пораньше. С какой нежностью на меня смотрели через разверстую могилу, как чутко, но твердо хватали под руки, когда кончилась церемония, будто я того гляди сам без памяти рухну в яму. Я даже, по-моему, улавливал некий расчет в том жаре, с каким иные дамы меня обнимали, бесконечно жали мне руку, заглядывали в глаза и трясли головами, соболезнуя молча, с тем окаменело-обмирающим выражением, какое принимали трагические актрисы старой школы, глядя под занавес на героя, шатко таскающего по сцене труп героини. Я чувствовал, что надо бы встать, поднять руку, крикнуть всем этим людям, что не стою такого почитания, да, почитания, иначе не скажешь, — я же только статист, играл весьма скромную роль, само умирание проделала Анна. За обедом Пышка упорно на меня изливала нежное участие, сдерживаемое благоговение, но я, как ни пыжился, не мог выдавить из своего голоса ничего, кроме бодрых, легкомысленных нот. Мисс Вавасур, я видел, эти сопли все больше раздражали, она не раз пыталась облегчить и развеять застольную атмосферу, но тщетно. От полковника тоже было мало проку, хоть он честно старался, кидая в этот неумолимый поток сочувствия то прогноз погоды, то последние новости из газет — все мигом выталкивалось. Где уж полковнику с Пышкой тягаться. Демонстрируя тусклую челюсть в зловещих ужимках, ухмылках, он сильно смахивал на гиену, корчащуюся и приседающую под безжалостным натиском гиппопотама.

Пышка живет в городе, в квартире над магазином, в обстоятельствах, она твердо дала мне понять, никак не достойных ее, отпрыска одефисенного дворянства. Она мне напоминает крепкую старую деву былых времен, ведущую, скажем, хозяйство у брата, холостого клирика, вдового помещика. Пока она журчала, я воображал ее: вот, важно сидит в бомбазине (кстати, а что это — бомбазин?), на гранитном крыльце перед просторным парадным, и с флангов косится на нее челядь; видел: вот, Немезида лис, в алом охотничьем фрачке, в котелке с вуалью, верхом, и под ней проседает, гарцуя, большой вороной скакун; а вот на огромной кухне — плита, скобленый стол, развешанные окорока — настав-

ляет верную миссис Харч, как разделать говядину для ежегодного парадного ужина его преподобия в честь Крещенья. Так я невинно тешился, не замечая ссоры Пышки с мисс Вавасур, пока она не разгорелась вовсю, и понятия не имел, с чего у них пошло и о чем речь. Два обычно сдержанных красных пятна на скулах мисс Вавасур рдели прямо свирепо, Пышка же как бы еще больше вздувалась под пневматическим воздействием разогретого гнева и смотрела через стол на подругу с неподвижной жабьей улыбкой, отрывисто, сипло дыша. Перекидываясь мстительно-вежливыми репликами, они наскакивали друг на друга, как плохо прилаженная пара карусельных лошадок. *Нет, я просто в толк не возьму, как ты можешь утверждать... Значит, прикажешь понять так, что?.. Дело в том, что я не... Дело в том, что ты вот именно... Ну, это уж... Да ничего же подобного... Извини, но тут ты немножечко ошибаешься!* Полковник с растущей опаской дико переводил взгляд с одной на другую, мелькая белками, будто смотрел теннисный матч, начинавшийся тихо-мирно, но вдруг обернувшийся страшной расправой.

Я думал, что мисс Вавасур легко одержит победу в этой битве, — ничуть не бывало. Уверен, она пускала в ход не все свое оружие, часть оставляла за пазухой. Что-то, я видел, ее сдерживало, а Пышка, отлично зная это обстоятельство, на него налегала могучим весом к вящей своей выгоде. Казалось, в пылу спора они абсолютно забыли про нас с полковником, но постепенно до меня доходило, что битва эта, хотя бы отчасти, затеяна ради меня, чтоб меня впечатлить, перетянуть на свою сторону. Я это замечал по тому, как то и дело в меня постреливали карие глазки Пышки, а мисс Вавасур, наоборот, ни разу не глянула в мою сторону. Пышка, я уже понял, была куда умней и хитрей, чем я поначалу подумал. Есть предрассудок, что если человек толстый, так он уж тебе и глуп. Данная толстуха, между прочим, явно меня раскусила, разглядела, уже видела всего насквозь, до потрохов, как облупленного. Подумаешь, ну и что такого она могла разглядеть? В жизни никогда не смущался, что живу захребетником при богатой, ну, не бедной жене. Да, был рожден дилетантом, только средств не хватало, пока не встретился с Анной. И не сильно меня колышет происхождение этих денег, сперва Чарли Вайсса денег, теперь моих, и плевал я с высокой горы на то, сколько, какого тяжелого машиностроения купил и продал Чарли Вайсс, чтоб сколотить капитал. И вообще — что такое деньги? Ничто, в сущности, когда, конечно, они у тебя есть. Так чего же мне ерзать под умным, тишком испытующим взглядом Пышки?

А, да брось ты, Макс, брось. Чего уж тут, отрицать бесполезно, всегда стеснялся своего происхождения, до сих пор от одного косого взгляда, снисходительного словца таких, как эта Пышка, у меня все трясется внутри от злости и жгучей обиды. С самого начала стремился улучшить свое положение. И Хлоя-то зачем мне понадобилась, как не для того, чтоб подобраться к социальному уровню ее семьи, пусть даже совсем ненадолго, пусть отдаленно. Да, нелегкое было мероприятие — карабкаться на этот Олимп. Сидя вот так с Пышкой, вспомнил другой воскресный обед в "Кедрах", полвека назад, и что-то оборвалось под ложечкой. Кто меня пригласил? Не Хлоя, нет, конечно. Может, мамаша, когда я еще ходил в ее воздыхателях и ей весело было глядеть, как сижу у нее за столом, проглотив язык. Как я волновался, я буквально изнемогал от ужаса. На столе были вещи, каких я в жизни не видывал, непонятного вида гра-

финчики, фарфоровые соусники, серебряная подставка для разделочного ножа, разделочная вилка с костяным черенком, и на нем еще такой рычажок, который при нажатии выдвигался. Когда подавали новое блюдо, я высматривал, за какие приборы возьмутся другие, прежде чем взяться за свой. Кто-то мне передавал мятный соус, я не знал, что с ним делают — с мятным соусом! Мистер Грейс, свирепо жуя, время от времени бросал мне веселый взгляд. Как мы там живем-поживаем на даче, он интересовался. На чем стряпаем? На примусе, сообщил я. "Ха! — крикнул он. — Примус inter pares!"[1] Ох, как он хохотал, и Майлз хохотал тоже, и даже у Роз дрогнули губы, хоть никто кроме него, конечно, не знал, в чем тут соль, и Хлоя дулась, злилась — не на них, что смеются, на меня, что так оплошал.

Анна не понимала моей чувствительности на этот счет, где уж ей, продукту неопределенного класса. Мою мать она находила дивной — ну, зажатой, ну, злопамятной, трудной, но все равно прелестной. Мать, надо ли говорить, на это теплое отношение не отвечала взаимностью. Они и виделись-то всего два-три раза, и выходила полная жуть, по-моему. Мама даже на свадьбе у нас не была — я не приглашал ее, надо признаться, — и умерла вскоре после, тогда же, когда и Чарли Вайсс приблизительно. "Как будто они нас освободили оба", — сказала Анна. С такой благостной версией я был не согласен, но спорить не стал. Потом уже, в хосписе, вдруг она завела разговор про мою мать, помню, совершенно без повода, я, во всяком случае, его не усмотрел; персонажи из далекого прошлого возвращаются под конец, требуют своего. Наутро после бури всё снаружи, в окне угловой палаты, было взъерошено, валко, косматый лужок засыпан преждевременным листопадом, деревья пошатывались, как с похмелья. На одном запястье у Анны была пластиковая бирка, на другом приспособление, на вид вроде часиков, с кнопкой, нажмешь — и отмеренная доза морфия поступает в уже вполне отравленную кровь. В первый раз, когда мы нанесли визит домой — дом: словцо как подножка, и я спотыкаюсь, — мать с ней почти ни словом не перемолвилась. Мама жила у канала, в темной, низкой квартирке, провонявшей хозяйскими кошками. Мы принесли ей беспошлинные сигареты, бутылочку шерри, она фыркнула, принимая дары. Сказала: надеется, что мы не рассчитываем у нее поселиться. Мы остановились в гостинице по соседству, где текла в ванной ржавая вода и у Анны сперли сумочку. Маму повели в зоопарк. Она смеялась над павианами, злобно намекнула, что кого-то они ей напоминают — меня, конечно. Один мастурбировал, с уморительно томным видом глядя через плечо. "Поганец", — припечатала мама и отвернулась.

Чай пили в кафе — там же, и рев слонов мешался с гулом воскресной толпы. Мама курила беспошлинные сигареты, демонстративно давя после двух-трех затяжек, чтоб я, значит, понимал, что́ она думает о моем предложении мира.

— И чего она тебя все Макс да Макс? — прошипела она, когда Анна отошла к стойке, купить ей булочку. — Какой ты ей Макс.

— Теперь уже Макс. Ты не читала разве вещи, я тебе посылал, вещи, которые я написал, там стояло мое имя?

— Почем же мне знать, я думала, это кто-то другой написал.

1. (Первый) среди равных (*лат.*).

И — величаво, по-своему, повела плечом.

Умела выказать свой гнев даже позой, сидела на краешке стула, напрягши спину, сжимая сумочку у себя на коленях, и шляпка вроде брюша с вуалеткой на тулье съехала набок на неприбранных седых кудельках. На подбородке тоже пробивался седой пушок. Она с отвращением огляделась. — Тьфу. Ну и местечко. Небось сплавить меня хотели сюда, и чтоб мартышки бананами потчевали.

Анна вернулась с булочкой. Мама презрительно глянула.

— Это еще зачем? Я не просила.

— Ну ма, — сказал я.

— А ты мне не мáкай.

Но когда мы уходили, она всплакнула, отступя в отворенную дверь квартиры, заслоняя локтем глаза, как злящийся на себя ребенок. Она умерла в ту же зиму, сидя на лавочке у канала, будним, не по сезону теплым вечером. Грудная жаба, никто не знал. Голуби еще суетились над крошками, которые она им побросала на тропку, оборванец присел рядом, предлагал глотнуть из бутылки в бумажном кульке, не замечая, что она умерла.

— Странно, — Анна сказала. — Вот ты тут, и вот тебя нет.

Вздохнула, глянула на деревья. Они ее завораживали, эти деревья, хотелось постоять под ними, слышать гул ветра в ветвях. Но не пришлось, не пришлось выйти, никогда, никогда. "Странно, вот — была тут, и...", — так она сказала.

Кто-то ко мне обращался. Пышка. Интересно, и долго я отсутствовал, бродил по комнате ужасов у себя в голове? Обед кончился, Пышка прощалась. Когда она улыбается, личико у нее делается еще меньше, съеживается, сморщивается вокруг пуговки носа. Я видел в окне, как собираются тучи, но непросохшее солнце низко на западе еще пялится из бледной прорехи в мутно-зеленом небе. На минуту представилось: сижу, ссутулясь, огромный, отвисла красная нижняя губа, громадные руки вяло протянуты по столу — гигантская горилла в клетке, смоpенная транквилизаторами. Бывает, и в последнее время все чаще, — вдруг мне кажется, что все, что знал, позабыл, вылетело, вылилось ливнем, и, парализованный ужасом, жду, надеюсь, что все еще вернется, но не уверен, отнюдь не уверен. Пышка собирала вещички, готовясь могучим рывком выволочить из-под стола необъятные ноги, подняться. Мисс Вавасур уже встала, витала над плечом подруги — большущим, как шар для боулинга, — мечтала, чтоб та поскорей убралась, старалась себя не выдать. Полковник стоял по другую сторону Пышки, изогнувшись и делая руками неясные пассы, как грузчик, примеряющийся к тяжелому, особенно неудобному предмету мебели.

— Ну вот! — сказала Пышка, постучала по столу костяшками, бодро оглядела сперва мисс Вавасур, потом полковника, и оба ринулись к ней, будто и впрямь собирались взять под локотки, поднять и установить.

Мы вышли в закатной медью тронутую осеннюю промозглость. Ветер охлестывал Станционную, макушки деревьев мотались, метали в небо мертвые листья. Истошно кричали грачи. Ну вот, почти разделались с этим годом. И с чего я взял, что взамен придет что-то новое, кроме чисел в календаре? Машина Пышки, маленькая, прыткая, красная и веселая, как божья коровка, стояла на гравии. Она стонала, пока Пышка, пятясь, водружалась на водительское сиденье — сперва взволокла не-

объятный зад, потом подтащила ноги и, крякнув, рухнула на прикидывающуюся тигровой шкурой обивку. Полковник распахнул ворота, стоял посреди дороги и театрально взмахивал руками, направляя машину. Запахи выхлопов, моря, осенней садовой гнили. Мерзость запустения. Ничего я не знаю, ничего, обезьяна старая. Пышка весело нам гуднула, помахала, осклабясь через стекло, мисс Вавасур помахала в ответ, совсем не весело, машина кособоко прошуршала по дороге, по железнодорожному мосту и скрылась.

– Холодрыга, – полковник, потирая руки, ринулся в дом.

Мисс Вавасур вздохнула.

Ужина нам не полагалось после такого долгого, такого тяжелого обеда. Мисс В., я видел, все не могла успокоиться после перепалки с подругой. Полковник за ней поплелся на кухню, вымогая хотя бы чай, но она его отшила, и он поплелся к себе, к своему радио, к футбольному матчу. Я тоже ретировался, в эркер, со своей книжкой – Белл[1] о Боннаре, скука смертная, – но читать не мог, отложил. Визит Пышки нарушил хрупкое равновесие нашего быта, что-то как бы беззвучно звенело в воздухе, будто щипнули тонкую, тугую струну и она все дрожит. Я сидел у эркерного окна и смотрел, как погасает день. Голые деревья через дорогу чернели в последних закатных вспышках, грачи хриплой стаей кружили, снижались, с распрями устраивались на ночлег. Я думал про Анну. Заставлял себя думать. Упражненье такое. Ножом во мне засела, а вот – начал забывать. Уже ее портрет, который держу в голове, протирается, отваливаются краски, сходит позолота. Вдруг дождусь, что холст начисто опустеет? Стало доходить, как мало знал ее, то есть как поверхностно знал, как плоско. Я себя за это не корю. Хоть, может, и надо бы. Слишком был ленив, невнимателен, слишком занят собой? Да, и то, и другое, и третье, но все равно, по-моему, за что ж тут корить – ну не знал, ну забываю? Не исключено, что вообще преувеличивал возможности знания. Я так мало знаю себя самого, куда уж других-то знать.

Нет, постойте, не то, не то. Тут я начал завираться, – разнообразия ради, скажете, ну да, ну да. Дело в том, что мы и не хотели друг друга знать. Больше скажу, мы именно что хотели не знать друг друга. Я уже где-то сообщал – некогда возвращаться, рыться, вот, стукнуло ни с того ни с сего, пока бьюсь тут над мыслью, – что в Анне я прежде всего нашел возможность осуществить фантазии о себе самом. Я не очень понимал, что́ я имел в виду, когда это сообщал, а теперь немного подумал – и вот вдруг понял. Понял? Ладно, постараюсь обмозговать, времени у меня навалом, они бесконечны, эти воскресные вечера.

С самого детства я хотел быть кем-то другим. Указание nosce te ipsum[2] песком скрипело на языке с первого раза, как мне его велел повторять за собой учитель. Я знал себя, слишком даже знал, и то, что я знал, мне не нравилось. Опять-таки объясняю. Мне не то не нравилось, чем я был, то есть мое истинное, неповторимое я – хоть, согласен, самое понятие истинного неповторимого я весьма условно, – но собрание воздействий, наклонностей, заемных идей, классовых бзиков, мне пожалованных взамен личности. Взамен, да. У меня никогда ее не было,

1. Клайв Белл (1881–1946) – английский художественный критик, провозвестник модернизма в живописи.
2. Познай самого себя (*лат.*).

личности, хотя бы как у других она есть, или они считают, что есть. Всегда я был типичное, внятное ничто, никто, а вот поди ж ты, страстно мечтал стать невнятным кем-то. Я знаю, что́ говорю. Анна, я с лету наметил, должна была стать средством моего превращения. Большим таким зеркалом в полный рост, в котором расправятся все мои искривленья. *Будь самим собой, ну чего ты?* — она говорила в начале нашего брака, — *будь*, заметьте, не *познай самого себя*, — и ведь из жалости говорила к моим нелепым потугам охватить неохватное. *Будь самим собой!* А сама небось думала: *Да будь ты, кем хочешь.* Такой мы с ней заключили пакт, что избавим друг друга от тяжкого груза: быть теми, кого в нас видят вокруг. Она, по крайней мере, меня от этого груза избавила, ну а я — что я для нее сделал? Может, не надо было ее замешивать в эту тягу к незнанию, может, это только я в нем нуждался?

И все же, и все же остается вопрос, и тут мне именно надо знать. Кто же мы такие, если не мы, ну кто? Ладно, оставим Анну. Кто я такой, если не я? Нам талдычат философы, что мы определяемся, обретаем нашу суть посредством других. Остается ли роза алой в кромешной тьме? В лесу на далекой планете, где ни единое ухо его не услышит, хрустнет ли, падая, дерево? Я спрашиваю: кому было знать меня, как не Анне? Кому было знать Анну, кроме меня? Идиотские вопросы. Мы были счастливы с ней или не были несчастны, тоже далеко не всем удается; неужели этого мало? Бывали обиды, стрессы, да и как не бывать в таком союзе, как наш, если такие существуют. Крики, вопли, швырянье тарелок, изредка оплеуха, еще реже пинок. И был ведь этот Серж и иже с ним, и лучше умолчим о моих Сержессах, лучше умолчим. Но даже в самых ужасных ссорах мы просто отчаянно переигрывали, как Хлоя с Майлзом в этой своей борьбе. Кончались ссоры у нас тем, что мы хохотали, пусть горько хохотали, но все же и конфузились, слегка стыдились — не нашей пылкости, а ее отсутствия. Мы ссорились, чтобы чувствовать, чтобы чувствовать себя настоящими, а не вымученными существами, какими были. Каким был я.

Могли ли мы, мог ли я вести себя иначе? Мог ли я жить иначе? Идиотские вопросы. Конечно мог, да ведь не жил, и нечего спрашивать глупости. Вообще — где они, эти образцы подлинности, по которым я обязан выравнивать свое крученое *я*? На тех последних полотнах, в ванной, Боннар свою семидесятилетнюю Марту изображал тем почти подростком, за какого ее принимал, когда только что встретил. Что ж с себя-то требовать большей точности зрения, чем с великого трагического художника? Мы старались вовсю, мы с Анной. Прощали друг друга за все, чем мы не были. Что еще возьмешь с юдоли страданий и слез? *Чего уж ты так-то расстроился?* — она сказала. — *Я тоже тебя ненавидела, чуточку. Мы же люди были, человеки.* И все же не могу отвязаться от мысли, что что-то мы упустили, что-то я упустил, что-то такое я упустил, только не знаю что.

Сбился со следа. Все перемешалось. И зачем я себя извожу этими неразрешимыми выкрутасами, может, хватит с меня казуистики? Оставь ты себя в покое, Макс, оставь ты себя в покое.

Вошла мисс Вавасур, призраком между тенями сумерек. Осведомилась, не холодно ли мне, не затопить ли камин. Я спросил про Пышку, кто она такая, как они познакомились, — надо ж было что-то спросить. Она не сразу ответила, и то на вопрос, которого я не задавал.

— Ну, видите ли, — сказала она, — этот дом принадлежит родным Вивьен.

— Вивьен?

— Пышки.

— А-а.

Нагнулась к камину, кряхтя подняла засохшую ветку гортензии.

— А может, теперь все ей перешло, у нее же почти все перемерли.

Я ответил, что удивлен, считал, что дом принадлежит ей самой.

— Нет, — сказала она, хмуро оглядывая ломкие цветы у себя в руках, потом подняла глаза, чуть ли не шаловливо, даже высунула язык. — Я, можно сказать, пошла в качестве бесплатного приложения.

Из комнаты полковника глухо неслись восторги толпы, квохчущий захлеб комментатора, кто-то забил гол. В какой же они темнотище играют. Недолго и покалечиться.

— И вы так и не вышли замуж? — спросил я.

Она бегло улыбнулась, опять потупилась.

— Ах, нет. Так и не вышла. — Быстро глянула на меня, тут же отвела глаза. Пятна на скулах пылали. — У меня Вивьен была. Пышка то есть.

— А-а, — снова сказал я. Что я мог сказать?

Теперь она там на пианино играет. Шуман, Kinderszenen[1]. Меня растравляет, что ли?

Странно, правда, как застревают в душе вроде бы незаметные вещи? За "Кедрами", там, где дом углом врезался в заросший лужок, под коленчатым водостоком стояла бочка, теперь, конечно, ее нет и в помине. Это был деревянный баррель, самый настоящий, большущий, клепки почернели от старости, обручи проржавели до железных кружев. Верх был чуть скошен и гладок так, что на ощупь почти не чувствовались стыки; она была отлично собрана по ладам, связана обручами, та бочка, только сам отсырелый край шершавился под рукой, был скорей даже бархатный, как султан камыша, только потверже, попрохладней, более влажный. Уж не знаю, сколько она вмещала ведер, а все равно стояла всегда полнехонькая, благодаря частым дождям в этих краях, даже летом, да, в частности летом. Я заглядывал внутрь, вода была черная, густая, как нефть. Бочка чуть накренилась, поверхность воды образовывала толстый эллипс, от каждого вздоха дрожавший и рассыпавшийся испуганной зыбью, когда проходил поезд. В этом запущенном углу сада из-за присутствия бочки был особенный, мягкий и влажный климат. Там процветали водоросли, крапива, щавель, вьюнок и много чего еще, названий не знаю, и там настаивался зеленоватый свет, по утрам особенно странный. Вода в бочке была мягкая или жесткая, уж одно из двух, и считалась поэтому полезной для волос, для кожи головы, словом, не знаю. И там-то в одно рябое от солнца утро я увидел, как Роз моет голову и ей помогает миссис Грейс.

Память не любит движения, мы ей навязываем статичность, и, как большинство запомнившихся сцен, эта мне видится как такое панно. Роз стоит, нагнувшись вперед, руки уперты в колени, волосы висят длинным черно-глянцевым клином, и стекает мыльная пена. Она босиком, я вижу пальцы ног в высокой траве, и на ней тирольская, что ли, льняная блуза без рукавов, крик моды в то лето, просторная в поясе, тугая в плечах, и

1. Сцены детства (*нем.*).

спереди вышит абстрактный узор, из красного с синим. Вырез зубчатый, глубокий, так что передо мной ясно мелькают висячие груди, маленькие, с острыми кончиками, как два волчка. Миссис Грейс, в синем атласном халате и хлипких синеньких туфельках, вынесла в сад неуместный дух будуара. Волосы у нее за ушами закреплены двумя черепаховыми зажимами, или заколками, как там они назывались. Она явно только с постели, и утренний свет разоблачает грубую лепку неприбранного лица. Позой она в точности вторит вермеровской девушке с молочным кувшином, склонив голову к левому плечу, одну ладонь подставив под тяжелый поток волос, а другой наливая серебристую густую струю из облупленного эмалированного кувшина. Проплешина от воды, падающей на макушку Роз, скользит, дрожит, как лунное пятно на рукаве у Пьеро. Роз охает, стонет — "Ой! Ой! Ой!" — вода холодит ей кожу.

Бедная Рози. Ее имя во мне неотделимо от жалостного эпитета. Ей же было, ну, девятнадцать, ну, двадцать от силы. Скорей высокая, странно тоненькая, узкая в талии, долголягая, она была помечена вкрадчивой грацией вся — от бледного лба до узких, чуть распяленных стоп. Наверно, со злости кто-нибудь — Хлоя, скажем, — мог бы назвать эти черты резкими. Нос с грушевидными, фараонистыми ноздрями выдавался на переносице, до прозрачности натягивая тонкую кожу. Он чуточку смещен, этот нос, влево, и если смотреть на нее спереди, создается иллюзия, будто видишь сразу и фас и профиль, как на каком-то из мудреных портретов Пикассо. Дефект этот ее, впрочем, нисколько не портит, наоборот, даже придает лицу томности, так сказать. Когда считала, что никто за ней не шпионит — ах, какой же я был шпион! — она круто склоняла голову, пряча глаза, уткнувшись слегка раздвоенным подбородком в плечо. И тогда казалась мадонной Дуччо[1], грустной, далекой, забывшейся в туманных мечтах о том, что сбудется с ней, чему в данном случае не дано было сбыться.

Из трех центральных фигур этого летнего, просоленного триптиха она, как ни странно, особенно отчетливо прорисована на стене моей памяти. Причина, по-моему, в том, что первые две фигуры, то есть Хлоя и ее мать, целиком созданы собственным моим творчеством, тогда как Роз выполнена другой, неизвестной рукой. Я все подхожу к ним вплоть, к обеим, то к матери, то к дочери приступлюсь, там мазок положу, там пролессирую деталь, и в результате такой работы рядом с холстом фокус расплывается, мутится, даже когда отступлю, оглядывая свое рукоделье. Но Роз, Роз — завершенный портрет, Роз готова. И вовсе не потому, что она для меня живей, больше значит, чем Хлоя с матерью, нет, конечно, просто мне легче ее рисовать. И, опять-таки, не потому, что она все еще тут, ибо версия, предстающая моим глазам, изменена почти до неузнаваемости. Та, в лодочках, черных брючках, рубашке с малиновым отливом — естественно, были у нее разные другие наряды, но именно так она одета почти во всех моих воспоминаниях — позирует среди всякого хлама, случайного реквизита студии: унылые драпировки, пыльная соломенная шляпа с цветком на ленте, край замшелой стены, слаженной, не исключено, из картона, и высоко в углу амбровый проем, и густые тени таинственным образом перетекают в золотисто-белое свеченье пустого дня. Она меня не пронимала так, как Хлоя и миссис Грейс, нет, ко-

1. Дуччо ди Буонисенья (ок. 1255–1319) — основоположник сиенской школы итальянской живописи.

нечно, но что-то в ней было такое, что-то было, ночная чернота волос, припудренная белизна щек, которую ни самое ярое солнце, ни самый крепкий ветер с моря, кажется, не могли затемнить.

Она была, думаю, тем, что в старые времена, еще более старые, чем те, о каких речь, называлось — гувернантка. Однако и у гувернантки тоже есть своя скромная сфера власти, но бедная Рози была совершенно беспомощна перед близнецами и беспечностью их родителей. Для Хлои с Майлзом она была явный враг, мишень самых жестоких шуток, вечный объект издевательств и насмешек. В обращении с ней они перемежали две манеры. То ее не замечали так упрямо, как будто она невидимка, а то вдруг, что она ни сделай, что ни скажи, любая мелочь подвергалась самому безжалостному расследованию, неотвязным расспросам. Они за ней ходили по дому, наступали на пятки, глаз с нее не спускали, следили за каждым жестом — ставит тарелку, подбирает книжку, отводит взгляд от зеркала — так, будто она делает что-то странное, неслыханное, чего они в жизни не видывали. Она на них не обращала внимания, пока могла терпеть, но в конце концов поворачивалась, красная как рак, вся тряслась и молила — ну пожалуйста, пожалуйста — ее оставить в покое, притом удерживая голос на истерическом шепоте, чтоб старшие Грейсы не слышали, как она сорвалась. Близнецам, естественно, только того и надо было, они с новой силой на нее напирали, жадно заглядывали в глаза, изображали недоумение, и Хлоя сыпала вопросами — а что было на тарелке? а книжка хорошая? и почему она в зеркало не хочет смотреться? — пока из глаз у нее не брызнут слезы, рот горестно не перекосится от бессильной ярости, и тогда эти двое в восторге несутся прочь, заливаясь хохотом, как бесенята.

Я разгадал тайну Роз как-то в субботу, придя в "Кедры" к Хлое. Когда я появился, Хлоя лезла в машину, чтоб ехать в город с отцом. Я застыл у калитки. Мы условились пойти играть в теннис — как же она могла такое забыть? Выходит, могла. Я был ужален в самое сердце; если тебя так бросают в субботний пустой день, это невыносимо обидно. Майлз, открывавший калитку для отцовской машины, заметил мое отчаяние и осклабился, злой бесенок. Мистер Грейс на меня глянул в зеркальце, наклонился к Хлое, сказал ей что-то, и он тоже усмехался. Уже весь день усмехался вокруг, истекал всеобщим злорадством. Мистер Грейс смачно нажал на акселератор, машина громко дрогнула задом и рванула вперед по гравию, я вынужден был отскочить — мой отец с Карло Грейсом, вообще-то совершенно разные люди, обладали одинаковым, опасно игривым чувством юмора, — и Хлоя через боковое окно, затуманенная стеклом, глянула на меня с изумлением, как будто только сейчас обнаружила, что я здесь стою, и кто ее знает, возможно, в самом деле только сейчас обнаружила. Я ей помахал рукой со всей беззаботностью, на какую был способен, а она улыбнулась, опустила уголки рта, изображая печаль, и, в качестве извинения, так пожала плечами, что они вздернулись до самых ушей. Машина затормозила, впуская Майлза, Хлоя прижала лицо к стеклу, что-то беззвучно выговорила и подняла левую руку в странно-ритуальном жесте, может, это она благословляла меня, и — что мне оставалось — я тоже пожал плечами, опять помахал, и ее уже уносило облако выхлопов, и, как бы отрубленная, голова Майлза злорадно скалилась в заднем окне.

У дома был покинутый вид. Я прошел мимо входа и дальше, туда, где деревья диагонально помечали конец сада. Дальше тянулось железнодо-

рожное полотно, устланное зубчатым синим сланцем, всегда вонючее от сажи и газа. Чересчур тесно стоявшие деревья были хилые, гнутые и махали спутанными верхними ветками, как в диком загуле воздетое множество рук. Что это было? Не дубы — смоковницы, может. Не соображая, что делаю, я уже лез на дерево посередке. Совсем на меня не похоже, я был совсем не лихой, совсем не храброго десятка, и я боялся высоты, как поныне боюсь. Но я лез, вверх, вверх, рука, нога, рука, нога, с сука на сук. Взбираться было волшебно легко, хотя листья возмущенно свистели вокруг, ветки мне влепляли пощечины, и скоро я подобрался так близко к макушке, как только можно было. Там я бесстрашно замер — храбрый моряк, оседлавший такелаж, и земля далеко-далеко внизу легонько качалась палубой, и мутно-пепельное небо было так низко, так близко, что кажется: протяни руку и тронь. Бриз на такой высоте был тугим воздушным потоком, и пахнул он берегом, дымом, землей, зверьем. Я видел городские крыши на горизонте, а еще дальше, еще выше, как мираж, крохотный кораблик влип неподвижно в бледный мазок моря. На сук села птичка, изумленно меня оглядела и поскорей улетела прочь, оскорбленно чирикнув. Я уже забыл о забывчивости Хлои, я торжествовал, ликовал, я был так высоко, так далеко от всего, и я не замечал стоявшую подо мною Роз, пока не услышал, как она плачет.

Она стояла под деревом рядом с тем, на котором я угнездился, задрав плечи, прижав локти к бокам, будто сама себя удерживала стоймя. Дрожащими пальцами она тискала мятый платок, но все до того напоминало сцену из пошлого романа, — как она стояла, рыдая под вздохи предвечернего воздуха, — что сперва я подумал, что в руках у нее не платок, а любовное скомканное письмо. Как же смешно она выглядела, сведенная к неправильному диску — плечи, голова, пробор, серовато-белый, как комок платка у нее в руках, — и, резко обернувшись на звук шагов сзади, она шатнулась, как кегля, задетая проскользнувшим шаром. Миссис Грейс шла по тропе, проторенной под бельевой веревкой, свесив голову, скрестив руки на расплющенной груди, пальцами стискивая оба плеча. Шла босиком, в шортах, в белой мужней рубашке, которая была лестно ей широка. Остановилась чуть поодаль от Роз и минутку стояла молча, слегка поворачиваясь из стороны в сторону, не отпуская пальцами плеч, будто и она тоже, как Роз, сама себя удерживала стоймя и, сама же ребенок, себя укачивала.

— Роз, — сказала она игриво, подлизываясь, — ох, ну Роз, в чем дело?

Роз, решительно отворотившая лицо к далеким полям, фыркнула без улыбки.

— В чем дело? — прокричала она, и голос взлетел на последнем слове и захлебнулся. — В чем дело?

Она грозно высморкалась в край скомканного платка и заключила этот процесс душераздирающим вздохом. Даже под таким углом я видел, что миссис Грейс улыбается и кусает губу. За мной, вдалеке, с уханьем прокатил свист. Дневной поезд из города, тускло-черный паровоз и полдюжины зеленых, деревянных вагончиков, полз по полям огромной, сумасшедшей игрушкой, выпуская луковичные звенья густого белого дыма. Миссис Грейс беззвучно шагнула к Роз, пальцем дотронулась до ее локтя, но Роз, как ошпаренная, отдернула руку. Налетел ветер, облепил тело миссис Грейс рубашкой, разоблачил жирный очерк грудей. "Ах, да ладно тебе, Рози", — снова проворковала она и на сей раз ухитри-

лась протиснуть руку под локоть Роз, потянула, подергала, повернула-таки, наконец, лицом к себе, как та ни сопротивлялась, и обе пошли под деревьями. Роз шла, спотыкаясь, и она говорила, говорила, а миссис Грейс, кажется, вообще не сказала ни слова; по наклону плеч, по припадающей походке я подозревал, что она подавляет смех. Из заикающихся, дрожащих слов Роз я разобрал только "любовь", и "глупость", и "мистер Грейс", а из ответов миссис Грейс только возглас "Карло?" с недоверчивым присвистом. А поезд был уже тут, и дерево дрожало у меня под коленками; мимо прокатывал паровоз, я заглянул в кабину, и как ясно сверкнул на меня белок глаза из-под лоснистого, от сажи черного лба. Когда я снова на них посмотрел, обе уже остановились, стояли лицом к лицу в высокой траве, миссис Грейс улыбалась, положив руку на плечо Роз, у той покраснели ноздри, и она метила обоими кулаками себе в заплаканные глаза, но тут слепящее облако паровозного дыма охлестнуло меня по лицу, а когда прояснело, обе уже удалялись по тропке к дому.

Вот такие дела. Роз без памяти втюрилась в отца доверенных ей детей. Да, старая история, — правда, не уверен, что она так уж была стара для меня в тогдашнем моем возрасте. Что я думал тогда, что чувствовал? До сих пор не отмеркло в душе: мятый платочек в руках у Роз, синее кружево зачаточных варикорзных вен на сильных голых икрах миссис Грейс. И, конечно, дым паровоза, который с лязгом остановился на станции и стоял, кипя, сопя, плюясь кипятком из своих восхитительно сложных недр, рвался опять в дорогу. Что такое живые существа по сравненью с незыблемой силой рукотворных вещей?

Роз и миссис Грейс ушли, я слез с дерева, что оказалось куда более трудным делом, чем на него взобраться, тихо прошел мимо немого, ослепшего дома и побрел по Станционной в оловянном свете пустого часа. Поезд уже рванул со станции, он был теперь в другом месте, в совсем другом месте.

Конечно, я, не теряя времени, доложил о своем открытии Хлое. Она к нему отнеслась совсем не так, как мне бы казалось естественным. Правда, сначала была вроде потрясена, но сразу же напустила на себя скептический вид и даже, кажется, разозлилась — то есть на меня, за то, что ей растрепал. Было ужасно неприятно. Я-то рассчитывал, что в ответ на мой рассказ о том, что происходило под деревом, она радостно хмыкнет, и тогда, в свою очередь, я смогу обратить всю эту историю в шутку, а тут приходилось ее рассматривать в куда более мрачном свете. В мрачном свете, представьте. Но почему в шутку? Потому что смех в детстве снимает напряжение, укрощает страхи? Роз, хоть чуть не вдвое нас старше, все-таки была по ту же сторону пропасти, нас отделявшей от мира больших. Хватало с меня раздумий о том, что тайком вытворяют они, настоящие взрослые, но представлять себе за такими занятиями Роз с человеком в годах Карло Грейса — это пузо, эти туго набитые шорты, эта шерсть на груди с блестками седины — было прямо непереносимо для моих столь тонких, столь еще неопытных чувств. Интересно, и она ему объяснилась в любви? И он ей ответил взаимностью? Образ бледной Роз, склоненной в хищных объятьях этого сатира, в равной мере подстегивал и пугал мою фантазию. И как же миссис Грейс? До чего спокойно она ответила на сбивчивую исповедь Роз, до чего легко и да-

же шутливо! Почему она ей не выцарапала глаза своими блестящими, кроваво-красными когтями?

Ну а сами любовники! Меня прямо поражало, как спокойно, с какой наглостью они скрывают свои отношения. Я догадался, что сама беззаботность Карло Грейса явно свидетельствует о преступных намерениях. Кто, как не гнусный соблазнитель, может так хохотать, так шутить, выставлять подбородок, хрустко расчесывать ногтями седеющую бородку? Тот факт, что на людях он оказывал не больше вниманья Роз, чем любому, случайно попавшемуся ему на глаза, был только лишнее доказательство лицемерия и коварства. Роз всего-навсего ему подавала газету, он ее принимал, но мой-то жадно-бдительный взгляд прозревал эти непристойные шашни. За ее тихой кротостью в его присутствии я угадывал скрытность разгульной монахини, теперь, когда я разоблачил ее тайный позор, а где-то, убегая за край сознанья, мерцали бледные формы Роз, грубо совокупленные с Грейсом, я слышал его приглушенный рев, ее задушенный стон гнусного восторга.

Но что заставило ее признаться, да еще кому — супруге возлюбленного? И каково было ей, бедной Рози, в первый раз увидеть формулу, которую Майлз мелом нацарапал на калитке и на дорожке за ней — Р В + К Г = любовь, — а рядом схематическое изображение женского торса, два кружочка с точками, два изгиба в качестве бедер, а внизу две скобки и внутри них короткий вертикальный надрез? Наверно, она покраснела, ох, сгорела, наверно, со стыда. Она решила, что это Хлоя, что это не я ее выследил. Но странно, власть Хлои над Роз нисколько не укрепилась, все, кажется, вышло совсем даже наоборот. Взгляд гувернантки теперь по-новому, посверкивая сталью, падал на девочку, а девочка, удивляя, даже поражая меня, явно терялась под этим взглядом, никогда раньше такого не было! Как вспомню их так вот, одна посверкивает, другая робеет, не могу удержаться от умозаключения, что все, что случилось в тот день странного прилива, было каким-то образом связано с разоблачением тайной страсти Рози. В конце концов, каждый автор мелодрам падок на эффектный заключительный штрих, чем я-то хуже?

Прилив затопил берег, до самых дюн, как будто море вылилось из берегов. Мы молча смотрели на ровное наступление воды, сидя рядом втроем, Хлоя, Майлз и я, спиной к серым облезлым доскам брошенной сторожки возле первой метки на гольфовом поле. Мы плавали, но перестали, нам надоел этот неотвязный прилив без волн, его спокойный, зловещий напор. Небо было мутно-белесое сплошь, и плоский бледно-золотой диск недвижно влеплен посредине. Кричали, метались чайки. Воздух застыл. Но нет, я же ясно помню, перед каждой пробившейся сквозь песок тростинкой был такой тоненький обруч и, значит, был ветер, был, ну хотя бы бриз. А может, это в другой день, совсем в другой день я заметил те обручи на песке. Хлоя была в купальнике, на плечи накинута белая кофточка. Волосы потемнели от воды, облепили голову. В голом молочном свете ее лицо как будто почти лишилось черт, и они с Майлзом были похожи, как два профиля на двух монетах. Пониже нас, во впадине дюн, Роз лежала навзничь на махровом полотенце, запрокинув руки за голову, — она как будто спала. Пенный край моря чуть ли не лизал ей пятки. Хлоя поглядела на нее, усмехнулась про себя. Сказала: "Так ее, глядишь, и смоет".

Это Майлз открыл дверь сторожки, вертел, вертел замок, пока дужка не вывернулась, не осталась у него в руке. Внутри была единственная комната, пустая, и воняло старой мочой. Вдоль одной стены была деревянная скамья, над нею окошко, рама целая, но давно выбито стекло. Хлоя встала на эту скамью коленками, локти уперла в подоконник. Я сидел рядом по одну сторону, Майлз по другую. И почему что-то египетское мне брезжит в том, как мы сидим, Хлоя на коленках, смотрит в окно, мы с Майлзом рядом и смотрим в комнату? Потому, что я составляю Книгу Мертвых? Она была — Сфинкс, мы — два сидячих жреца. И — тишина, только кричат чайки.

— Хоть бы она утонула, — сказала Хлоя в окно и остренько, по-своему, хихикнула. — Утонет, надеюсь, — хи-хи — я ее ненавижу.

Последние слова. Ранним-рано, перед рассветом, Анна пришла в сознание. Не могу сказать точно — то ли я не спал, то ли мне снилось, что не сплю. Ночи, когда я корячился в кресле рядом с ее постелью, были забиты странно-прозаическими галлюцинациями, полуснами, в которых я ей стряпал еду, или о ней разговаривал с кем-то, кого раньше в глаза не видывал, или просто мы ходили с ней вместе по тусклым, невнятным улицам, то есть ходил я, а она рядом лежала в коме, все же ухитряясь передвигаться, за мной поспевать, скользить по тяжелому воздуху к своему Тростниковому Полю. И вот вдруг она проснулась и, широко открыв глаза, меня разглядывала в подземном мерцании ночника, с настороженностью, со страхом. По-моему, она меня не узнала. Я застыл, меня парализовал ужас, какой накатывает при нежданной встрече один на один с диким зверем в лесу. Сердце колотилось жидкими, замедленными толчками, как бы плюхаясь через бесконечный ряд равных препятствий. Анна кашлянула, и звук был такой, будто гремели кости. Я знал: это конец. Я чувствовал, что не готов, не гожусь, мне хотелось кричать, звать на помощь. Няня, няня, сюда, скорей, моя жена от меня уходит! Мыслей не было, в голове рушилась кирпичная кладка. Но Анна все смотрела на меня, так же испуганно, все с тем же сомненьем. Где-то в коридоре кто-то невидимый что-то уронил с громким стуком, она услышала и, кажется, успокоилась. Может, подумала, что это я ей что-то сказал, решила, что поняла, потому что она кивнула — но раздраженно, в смысле: "Нет, ну что ты, какие глупости!" Протянула руку, сжала мне кисть. Та обезьянья хватка — все не отпускает меня. Я рванулся из кресла, бухнулся на колени возле постели, как верующий с обожаньем и ужасом повергается перед призраком ниц. Анна стискивала мое запястье. Свободную руку я положил ей на лоб и чувствовал, кажется, как бьется разум, лихорадочно силясь выработать свою последнюю мысль. Разве в жизни когда-нибудь я смотрел на нее так, с такой отчаянной сосредоточенностью, как сейчас на нее смотрел? Как будто этот взгляд может ее удержать, как будто она останется здесь, пока не смигну. Она дышала тихо, с усильем, как останавливающийся бегун, которому еще бежать и бежать. От нее шел чуть заметный, сухой запах, вроде завялых цветов. Я назвал ее по имени, но она только прикрыла глаза, недовольно, будто мне следовало знать, что уже она не Анна, уже она никто, потом снова открыла, глянула на меня, еще жестче, но теперь уже не с удивлением, а с повелительной строгостью, требовательно — чтоб я выслушал, постарался понять то, что сейчас будет сказано. Выпустила мою руку, повозила пальцами по постели, что-то нашаривая. Я взял ее за ру-

ку. У основания большого пальца метался пульс. Я что-то сказал, полную чушь — "Не покидай меня" или "Побудь со мной", — но опять она качнула головой, так раздраженно, за руку притянула меня к себе. "Там часы останавливают, — шепнула почти неслышно. — Я время остановила". И кивнула, торжественно, важно, и улыбнулась, да, клянусь, да, это была улыбка.

Если бы, стоя на коленках рядом со мной, Хлоя не повела быстро, ловко плечом, скидывая кофточку, я бы не сообразил, я бы не осмелился положить руку ей на бедро. Кожа у нее была холодная, вся в мурашках, но я чувствовал, как под моей ладонью горячо стучит кровь. Она совсем не замечала этой моей ладони, продолжала смотреть, уж не знаю, на что она там смотрела — на всю эту воду, наверно, на медленный, неодолимый потоп, — и, осторожно, я скользнул рукой кверху, кверху, пока пальцы не запнулись о тугой край купальника. Кофточка, оказавшаяся у меня на коленях, сползла и рухнула на пол, что-то напомнив — оброненный букет, падающую птицу. И ничего бы мне больше не надо — просто сидеть, держать руку у ней на задке, уперев взгляд в свиль на деревянной стене, пока сердце отбивает синкопы, если бы едва заметным толчком она не переместила по скамейке колено, подставив свой пах моим изумленным пальцам. Простеганный в шагу, взбухший морской водой, купальник меня обжег. Едва мои пальцы под него поднырнули, она сжала ноги, защемив мою руку. По ней как прошел электрический ток, она вывернулась, высвободилась от меня, я решил, что это всё, но тут я ошибся. Она быстро, на четвереньках, сползла со скамьи, села рядом со мной, подняла лицо, подставила мне холодные губы и жаркий рот. Бретельки купальника были завязаны сзади, на шее, и, не отнимая у меня своего рта, она подняла руку, развязала узел, по пояс выкрутилась из мокрой ткани. Целуя ее, одним глазом я смотрел на то, что мне открывалось у нее за ухом, — перелив позвонков, узкий задок, расщелинка цвета чистого стального ножа. Она схватила мою руку, прижала к чуть заметному взгорку с твердым холодным соском. По другую сторону от нее Майлз сидел, раскинув ноги, запрокинув голову к деревянной стене, закрыв глаза. Хлоя слепо нашарила его руку, вверх ладошкой лежавшую на скамье, стиснула, рот у нее затвердел, и я не услышал, скорей почувствовал тоненький стон у нее в горле.

Я не слышал, как скрипнула дверь, только отметил, что изменилось освещение в сторожке. Хлоя застыла, отвернула лицо, что-то быстро сказала, слово какое-то, я не расслышал. В дверях стояла Роз. В купальном костюме, все равно почему-то в лодочках, и длинные, белые, тощие ноги были у нее от этого еще длинней, еще белей, еще тоньше. Что-то она мне напомнила, сам не знаю: левая рука протянута по двери, правая на дверном косяке, и как будто два сильных ветра ее держат стоймя, один выдувает из сторожки, другой, снаружи, вжимает вовнутрь. Хлоя схватила бретельки, завязала сзади узлом, опять она тихо-тихо проговорила то слово, слово, которого я не расслышал, — просто Роз? ругательство? — быстро, как лисица, поднырнула под руку Роз, юркнула в дверь, за порог, вон. "Сейчас же вернитесь, мисс! — Роз кричала надтреснутым голосом. — Вернитесь немедленно!" Глянула на меня, скорей соболезнуя, мотнула головой, отвернулась и зашагала, как страус, на своих этих белых ходулях. Майлз, все еще развалясь на скамье, хрипло хохотнул. Я на него уставился. Почудилось, что он сказал что-то.

Все, что было дальше, вижу как бы в миниатюре, вроде камеи, вроде закругленного такого пейзажа, вид сверху, по периферии которого старые мастера любили выписывать стадии драмы в деталях тончайших, тающих в блеске золота и лазури, неба и волн. Я еще посидел на скамейке, чтоб отдышаться, Майлз на меня смотрел, ждал, что я стану делать. Я вышел наружу. Хлоя и Роз стояли на кружочке песка между дюнами и краем воды и кричали, кричали, готовые друг на дружку кинуться. Что кричали? Я не разобрал. Вот Хлоя отбежала, мелко-мелко закружилась, бешено топоча ногами, взбивая песок. Топтала гувернантки полотенце. Фантазия, сам понимаю, но так и вижу: мелкие волны жадно лижут ей пятки. Наконец она в последний раз вскрикнула, как-то чудно́ рубанула рукой воздух, повернулась, подступила к самой воде, остановилась, бросилась на песок и села, вжавшись грудью в коленки, их стиснув руками, подняв лицо к горизонту. Роз, подбочась, сверлила ее взглядом, но скоро поняла, что ничего не добьется, отвернулась и начала собирать вещички, полотенце, книгу, купальную шапочку, все бросая на согнутый локоть, как рыбачка в корзину. У себя за спиной я услышал Майлза, еще секунда, и он мелькнул мимо, он будто не бежал — катился. Добежал до Хлои, сел с ней рядом, обнял, голова к голове. Роз замерла, с сомнением поглядела на то, как они сидят, сплетясь, ко всему миру спиной. Потом, спокойно, они встали, и вошли в море, как по маслу вошли в тихую воду, и легли на нее, и поплыли, медленно, и две головы запрыгали на белой зыби, дальше, дальше.

Мы смотрели на них, мы с Роз, она прижимала к груди свои вещи, а я просто стоял, не знаю, о чем я думал, не помню, чтоб вообще я думал. Бывают минуты, когда мыслей нет совсем в голове. Они были уже далеко, стали двумя бледными пятнышками между бледным небом и еще более бледным морем, и вдруг одно пятнышко пропало. И потом все очень быстро кончилось, то есть то, что было видно нам. Всплеск, немного белой воды, белей, чем вокруг, и — ничего, равнодушно сомкнулся мир.

Кто-то кричал, мы с Роз оглянулись, увидели, как крупный краснолицый господин с седым бобриком к нам идет по дюнам, поспешает, комически высоко задирая ноги над зыбучим песком. В желтой рубашке, в штанах цвета хаки, в двуцветных туфлях, он размахивал клюшкой для гольфа. Туфли я, кажется, выдумал. Зато была перчатка, точно была, на правой руке, в которой он держал клюшку, такая бежевая, без пальцев, с круглыми дырочками, уж не знаю, почему она так меня зацепила. Он кричал, кричал, что надо бежать за полицией. И, кажется, сердился ужасно, и размахивал клюшкой, как зулусский воин дубинкой. Зулус — дубинкой? Вру, ладно, пусть будет копьем. Его кэдди тем временем, тощий безвозрастный недоросток в наглухо застегнутом твидовом пиджаке и твидовой кепке, издали наблюдал всю картину с сардоническим видом, небрежно пиная мешок с клюшками. Потом, откуда ни возьмись, как материализовался из воздуха, мускулистый юноша в тесных синих плавках разбежался, без предисловий бросился в воду и поплыл быстро, ловко рубя воду. Роз ходила взад-вперед вдоль края воды, три шажка туда, стоп, поворот, три шажка сюда, стоп, поворот, как бедная рехнувшаяся Ариадна на острове Наксос[1], и все прижимала к груди книгу, шапочку, полотен-

1. Ариадна, дочь Критского царя Миноса, спасла Тезея из лабиринта, тот обещал на ней жениться, но на пути в свои родные Афины бросил ее, сонную, на острове Наксос.

це. Скоро неудачный спаситель вышел из плоской воды, двинулся к нам трудной раскачкой пловца, тряся головой и отфыркиваясь. Бесполезно, он повторял, бесполезно. Роз вскрикнула, всхлипнула как-то и быстро-быстро затрясла головой, и тот, с клюшкой, внимательно на нее посмотрел. А потом они все уменьшаются, уменьшаются, потому что я бегу, я пытаюсь бежать, вдоль берега, в сторону Станционной, к "Кедрам". Почему я не срезал путь, не прошел по территории Гольфовой на дорогу, где куда бы легче было идти? Но я не хотел, чтоб было легче идти. Я не хотел приходить туда, куда шел. И теперь еще часто, во сне, снова я там, пробираюсь через песок, и он все неодолимей, упрямей, и ноги у меня тоже будто огромные, из зыбучей, сыпучей массы. Что я чувствовал? Сильней всего, кажется, ужас, то есть самому себе ужасался, — знал двух живых людей, и вот они вдруг, непостижимо, стали мертвыми. Но понимал ли я, что они умерли? У меня в душе они держались в огромном светлом пространстве, стоя, сплетясь руками, широко открыв глаза, твердо глядя перед собой в бескрайние глуби света.

Вот и зеленая калитка, машина на гравии, распахнутая, как водится, дверь. Все в доме тихо-спокойно. Я перемещался по комнатам, сам как из воздуха — летающий дух, Ариэль, свободный, потерянный. Миссис Грейс я нашел в гостиной. Она повернулась ко мне, приложила ладонь ко рту, и молочный свет падал на нее со спины. Все было тихо, только в окне сонно жужжало лето. Потом вошел Карло Грейс со словами: "Проклятая штуковина, кажется...", и он тоже смолк, и так мы и стояли, так и молчали, все трое.

Ну, каково?

Ночь, и все так тихо, как будто нет никого, даже меня нет. Я и моря не слышу, а в другие ночи оно грохочет, рычит, то близкое, резкое, то смутное, дальнее. Не хочу быть один, не хочу. Почему ты не вернулась, хоть призраком? Разве так уж я много прошу? И к чему это молчанье, день за днем, ночь за нескончаемой ночью? Оно как туман, твое это молчанье. Сперва только нависало над горизонтом, и вдруг мы в него вошли, ощупью, спотыкаясь, вцепившись друг в друга. А все в тот день началось, после визита к доктору Тодду, когда мы вышли из клиники на безлюдную парковку, и машины выстроились, скользкие, как дельфины, и ни звука, ни знака, и куда подевалась та девушка на высоких, цокающих каблуках. Потом наш дом онемел от ужаса, и сразу пошли немые коридоры больниц и притихшие палаты, приемные, и была та палата, последняя. Вышли свой призрак. Мучай меня, если хочешь. Греми цепями, разбрасывай по полу погребальные пелены, рыдай, как банши, делай что хочешь. Пусть будет призрак.

Где моя бутылка? Дайте мне мою большую детскую бутылочку. Мою соску.

Мисс Вавасур мне бросает жалостный взгляд. Я отвожу глаза. Она знает, какие вопросы хочу ей задать, умираю хочу задать с самого приезда, но не хватает храбрости. Сегодня утром, заметив, что я их про себя формулирую, опять она затрясла головой, впрочем, довольно милостиво. "Я ничем не могу вам помочь, — она улыбнулась. — И вы должны это знать". Что она имеет в виду, должен — при чем тут? Я ничего, ничего не знаю. Мы в салоне, сидим, как водится, у эркерного окна. День за стеклом яр-

кий, холодный, первый настоящий зимний денек. Это я повествование веду в настоящем времени. Мисс Вавасур чинит что-то, подозрительно смахивающее на старые носки полковника. У нее такая деревянная штучка, в виде гриба, она на ней расправляет пятку, чтобы дыру заштопать. Я успокаиваюсь, глядя на непреходящие эти труды. А успокоиться надо. Голова как мокрой ватой набита, едкий вкус блевоты во рту, и никакие упражнения мисс Вавасур со сплошным молоком в чае, никакие ухищрения с испытанными тончайшими тостами мне не помогут. Да еще пульсирует синяк на виске. Сижу рядом с мисс Вавасур, сокрушенно конфузясь. Как никогда себя чувствую скверным подростком.

Но что за день был вчера, что за ночь, и потом, прости Господи, что за утро. А как многообещающе все начиналось. По злой иронии случая, как оказалось в дальнейшем, дочь полковника обещала приехать, вместе с Губби и детками. Полковник вовсю выдавал небрежность, напускал на себя грубость — "Это ж прямо нашествие!" — но после завтрака руки у него дрожали так, что трясся стол и звякали чашки на блюдцах. Мисс Вавасур требовала, чтоб все семейство осталось обедать, она курочку зажарит, и какое дети предпочитают мороженое? "Ах, ну что вы, — бормотал полковник, — нет, ну правда, зачем!" Тем не менее было ясно, что он глубоко тронут, и глаза у него на мокром месте. Я, собственно, был скорее не прочь глянуть на эту дочь и ее роскошного мужика. Мысль о внуках, правда, не сильно прельщала; малые детки, боюсь, вообще во мне будят не столь уж крепко спящего Жиля де Ре[1].

Визит назначался на двенадцать, но прогудел полуденный колокол, подошло и минуло время обеда, а не слышно было ни шелеста шин на гравии, ни резвых выкриков Малышей. Полковник ходил взад-вперед, отдергивал манжету, задирал к глазам руку, укоризненно сверлил глазами часы. Мы с мисс Вавасур как на иголках, слово сказать боялись. Совсем уже вечером дребезг телефона в коридоре всех бросил в дрожь. Полковник склонял ухо к трубке, как горюющий в исповедальне священник. Разговор был короткий. Мы старались не слушать. Он вошел на кухню, прочистил горло. "Машина, — сказал он, ни на кого не глядя, — пришла в неисправность". Явно ему наврали, или он сам теперь врал. Повернулся к мисс Вавасур с ужасной улыбкой: "За курочку извините".

Я его подбивал пойти со мной выпить, но он отказался. Сказал, что устал немного, что-то голова заболела чуть-чуть. И удалился к себе в комнату. Как тяжело он ступал по лестнице, как осторожно прикрыл за собой дверь уборной. "О Господи", — вздохнула мисс Вавасур.

А я пошел в бар "На Молу" и надрался. Я не хотел, так вышло. Был один из тех заунывных осенних вечеров в прочерках позднего света, которые кажутся воспоминаньем о том, что когда-то, давным-давно, цвело ослепительным полднем. Дождь оставил по себе на дороге лужи, они были бледнее неба, в них догорали остатки дня. Ветер трепал полы пальто, они хлопали меня по ногам, как будто мои собственные малые детки молили папочку не ходить, не ходить в этот паб. Но я пошел. "На Молу" — безрадостное заведенье под председательством огромного телевизора, он близнец аппарата у мисс Вавасур и вечно включен, только вырублен звук. Хозяин — толстый, неповоротливый, немногословный. Какая-то у

1. Телохранитель Жанны д'Арк, так называемый Маршал Синяя Борода, отличавшийся редкой жестокостью, убивавший мальчиков и девочек.

него чудна́я фамилия, вдруг из головы выскочило. Я пил двойные бренди. Отдельные моменты проступают в памяти, ярко пушась, как фонари в тумане. Помню, полез в спор со стариком у стойки, или это, наоборот, он ко мне пристал, другой, гораздо моложе, сын его, внук, старался меня унять, я пихнул его, он грозился позвать полицию. Хозяин вмешался — Баррагри его фамилия, вот! — его я тоже пытался пихнуть, с хриплым криком нависая над стойкой. Ей-богу, это совсем на меня не похоже, не понимаю, в чем было дело, помимо того, в чем обычно бывает дело. Наконец меня угомонили, я мрачно отступил к безгласному телевизору, сел за столик в углу, разговаривая сам с собой и вздыхая. Эти пьяные вздохи, шипучие, судорожные, как похожи они на рыданья. Последний свет вечера, который я видел за незакрашенной полоской окна в кабаке, был того свирепо-фиолетового отлива, который меня покоряет, но и отталкивает: цвета самой зимы. Не то чтоб я имел что-то против зимы, да нет же, это мой самый любимый сезон после осени, но сиянье этого ноября мне показалось предвестием не только, не просто зимы, и я впал в горькую меланхолию. Предполагая облегчить сердце, я потребовал еще бренди, но Баррагри мне отказал, резонно, как теперь понимаю, и в бурном негодовании я бросился вон, верней хотел броситься, но кое-как вышел, шатаясь, и направился в "Кедры", к своей бутылке, которую ласково окрестил Маленький Капрал. На лестнице встретил полковника Бландена, имел с ним небольшую беседу. Точно не знаю о чем.

Была уже ночь, но вместо того чтоб остаться у себя в комнате и лечь в постель, я сунул бутылку под пальто и снова вышел. О том, что случилось дальше, у меня сохранились лишь рваные, темные клочья воспоминаний. Помню, стоял на ветру, под тряским сиянием фонаря, ожидая великого, всеобщего откровения, но потерял к нему интерес прежде, чем оно могло настать. Потом я был на берегу, в полной тьме, сидел на песке, выставив ноги, и колыхал на коленях почти пустую бутылку. Кажется, на море были огни, далеко-далеко от берега, они прыгали, качались, как огни рыбачьего флота, но они мне, конечно, помстились, нет в этих водах рыбачьих лодок. Я замерз, несмотря на пальто, оно у меня недостаточно плотное, не защитило мой зад от промозглой сырости песка, на который я сел. Однако не промозглая сырость меня таки заставила кое-как подняться, но решение подобраться к тем огням, их обследовать; была даже, видимо, идея войти в воду и к ним подплыть. Так или иначе, именно у края воды я потерял равновесие, рухнул и ударился виском о камень. Так я пролежал уж не знаю сколько, то приходя в себя, то снова проваливаясь, не желая или не будучи в состоянии шелохнуться. Хорошо еще был отлив. У меня ничего не болело, я даже не очень тужил. Просто мне представлялось совершенно естественным так вот валяться во тьме под взвихренным небом, глядеть на слабое свечение волн, которые ретиво приплескивали, опять отступали стайкой любопытных, но робких мышат, пока Маленький Капрал, надравшийся как будто не меньше меня самого, дробно раскатывался по гальке, вот так валяться и слушать, как шумит ветер и летит, летит надо мной по огромным незримым пустотам и воздушным воронкам.

Я, наверно, уснул, а то и потерял сознанье, потому что не помню, как меня обнаружил полковник, хоть он уверяет, что я совершенно разумно с ним разговаривал, помог ему меня поднять и доставить в "Кедры".

Так, похоже, оно и было, то есть, видно, отчасти я был в сознании, иначе у него, конечно, не хватило б силенок поднять меня на ноги, тем более отволочь в "Кедры", то ли взвалив на закорки, то ли таща за пятки. Но как он догадался, где меня надо искать? Кажется, в нашей беседе на лестнице – хоть "беседа" несколько не то слово, ибо это в основном был мой монолог, – я подробно остановился на известнейшем факте, известнейшем, да, и притом факте, согласно моей трактовке, что утопленник принимает самую легкую смерть, а потому, в поздний час не услышав моих шагов, он испугался, как бы я в пьяном виде действительно не покончил с собой, и решил пуститься на поиски. Ему пришлось долго обшаривать берег, и когда уже почти отчаялся, в луче луны или ярчайшей звезды он увидел мою распростертую на камнях фигуру. То и дело мы мешкали, спорили, останавливались ради моих рассуждений на всевозможные темы, но наконец добрались до "Кедров", и он помог мне взгромоздиться по лестнице и завел в мою комнату. Все это – с его слов, ибо из всего нашего трудного перехода я не помню, как уже сказано, ничего. Позже, услышав, как я, все еще у себя в комнате, громко блевал – не на ковер, рад сообщить, а в окно, на задний двор, – а затем с грохотом рухнул на пол, он взял на себя смелость войти ко мне в комнату, где и обнаружил меня второй раз за ночь, я лежал мешком, как говорится, в ногах постели, без памяти и, он сразу понял, остро нуждаясь в медицинской помощи.

Проснулся я в ранний час, еще в темноте, и увидел странную, малоприятную сцену, которую сначала принял за галлюцинацию. Полковник, как всегда с иголочки, сплошной твид и пике – он вообще не ложился, – хмуро мерял шагами комнату, и, что куда более невероятно, тут же была мисс Вавасур, которая, как потом разъяснится, услышала, скорей ощутила, как я до основания потряс старый дом, рухнув после своего блеванья из комнаты в сад. Она была в кимоно, волосы забраны сеточкой, каких я не видывал с самого детства. Сидела на стуле, чуть отодвинутом от меня, у стены, бочком, совершенно повторяя позу матери Уистлера, сложив на коленях руки, склонив лицо, так что глазницы казались двумя ямами пустой черноты. Лампа, которую я принял за свечу, горела перед ней на столе, шаром тусклого света обнимая сцену, и все это вместе – тускло светящийся круг с сидящей женщиной и вышагивающим мужчиной – было как ноктюрн Жерико или де ла Тура. Озадаченный, бросив все попытки понять, что происходит и каким образом эти двое здесь оказались, я снова заснул, или я снова отключился.

Когда я опять проснулся, шторы были раздвинуты и был день. Комната имела, по-моему, пристыженный вид, вся бледная, стертая, как утреннее женское лицо без косметики. Снаружи, над самой крышей, хмуро застыло ровно-белое небо. События прошлой ночи робко пробивались в мое стреноженное сознанье. Белье на постели было скручено, смято, как после дебоша, и сильно воняло рвотой. Я поднял руку, и боль прострелила мне голову, когда пальцы попали в мягкое вздутие на виске, которым я стукнулся о камень. И тут только, вздрогнув так, что взвизгнула постель, я увидел, что на моем стуле сидит молодой человек, налегши грудью на мой стол, и читает книгу, распластанную перед ним на моем кожаном бюваре. Очки в стальной оправе, высокий лоб в залысинах, жидкие волосенки неопределенного цвета. Одежда тоже неопределенная, сплошь какой-то потертый вельвет. Услышав, что я шеве-

люсь, он повернул голову, преспокойно меня оглядел, даже улыбнулся, впрочем не особенно весело, и осведомился, как я себя чувствую. Ошарашенный — иначе не скажешь, — я стал приподниматься в постели, причем она заколыхалась подо мной, будто наполненная густой вязкой жидкостью, и окинул его, как мне представлялось, грозно-вопросительным взором. Он, однако, нимало не смутился и продолжал спокойно меня разглядывать. Доктор, он сообщил таким тоном, будто на свете существует один только доктор, меня навестил и осмотрел, когда я был вовне — *был вовне*, так несколько странно он выразился, я даже секунду судорожно соображал, не выходил ли я снова на берег, сам того не зная, — и сказал, что у меня, кажется, сотрясение мозга, осложненное тяжелым, хоть и недолгим алкогольным отравлением. Кажется? Кажется?

— Нас доставила Клэр, — сказал он. — Сейчас она спит.

Джером! Влюбленный антропос без подбородка! Тут я его узнал. Но как ему удалось снова втереться в доверие к моей дочери? Или она никого другого не могла найти среди ночи, когда полковник, мисс Вавасур, ну не знаю кто, позвонил ей и сообщил о последней истории, в которую вляпался папаша? Если так, значит, сам виноват, хоть в чем моя вина, я сознавал не вполне. Как я себя клял, распростертый на этом шикарном ложе, тупой, похмельный, не имея сил вскочить, схватить негодяя за шиворот и снова спустить с лестницы. Но меня ожидало кое-что и похлеще. Он отправился посмотреть, не проснулась ли Клэр, и она явилась с ним вместе, осунувшаяся, с красными глазами, в дождевике поверх лифчика, и мне объявила, будто с разбега бросаясь в воду, что они приняли решение. Осоловелый, я секунду не мог понять, о чем речь — какое решение? — и этой секунды ей, как оказалось, было достаточно, чтоб меня разгромить наголову. Я не смог опять поднять эту тему, и теперь с каждым мигом только закрепляется ее победа надо мной. Вот так, в мгновение ока, теряются и выигрываются сраженья. Читайте де Местра о войне[1].

Но ей и этого мало было: вдохновленная первой победой, пользуясь преимуществом, которое ей давала временная моя немощь, она продолжала командовать, в переносном смысле слова подбочась, — я немедленно пакую вещички, я покидаю "Кедры", я ей предоставляю меня отвезти домой — домой, она говорит! — где она станет заботиться обо мне, каковая забота, мне дается понять, будет включать запрет на все алкогольные стимуляторы и снотворные, покуда доктор — опять этот доктор — не найдет меня годным для того-то, сего-то — одним словом, надо думать, для жизни. Что делать? Как оказывать сопротивление? Она говорит, что мне пора всерьез взяться за работу. "Он пишет, — поясняет она суженому не без дочерней гордости, — большую книгу о Боннаре". У меня не хватило духу ей признаться, что моя Большая Книга о Боннаре — можно подумать, томина, которым впору кокосы сшибать, — не пошла дальше середины намечаемой первой главы да блокнота худосочных, непропеченных заметок. Ну и что. Можно другим заняться. В Париж поехать, писать картины. Или уйти в монастырь, влачить свои дни в тихом созерцании бесконечного, а то состряпать трактат о мертвых, уже прямо вижу, как сижу у себя в келье, длиннобородый, с гуси-

1. Ксавье де Местр (1763–1852) — французский писатель, ученый, военный деятель.

ным пером, с ручным львом, а в окне, вдали, малюсенькие крестьяне ворошат сено, и над челом у меня витает сизокрылый голубь. Ах, да мало ли есть в жизни возможностей.

Наверно, мне теперь и дом продать не дадут.

Мисс Вавасур говорит, что будет по мне скучать, но я, пожалуй, правильно поступаю. Отъезд из "Кедров" едва ли можно считать моим поступком, я ей говорю, меня к этому принуждают. На это она отвечает с улыбкой: "Ах, Макс, по-моему, вы не тот человек, которого можно к чему-то принудить". Тут я немею, и причиной не эта дань моей силе воли, но тот с легкой оторопью мной отмеченный факт, что она впервые меня назвала по имени. Все же не думаю, что могу теперь назвать ее Роз. Известная дистанция необходима для поддержания милых отношений, которые мы создали, воссоздали, за несколько последних недель. Однако при этом беглом знаке интимности старые, незаданные вопросы снова роятся у меня в голове. Хорошо бы спросить, винит ли она себя в смерти Хлои — почему-то, бездоказательно, я уверен, что Хлоя первой ушла под воду, а Майлз бросился следом, ее спасать, — или, может, она считает, что оба утонули вследствие несчастного случая, и много, много чего еще хорошо бы спросить. Она бы ответила. Она не скрытная. Прямо все выболтала про Грейсов, Карло и Конни — "Их жизнь была разбита, разбита", — и они тоже вскоре ушли вслед за близнецами. Карло ушел первый, от аневризмы, потом и Конни, в автомобильной катастрофе. Я спрашиваю — что за катастрофа, она бросает мне выразительный взгляд. "Конни была не из тех, кто с собой кончает", — и у нее чуть дрожат губы.

Они с ней потом обходились идеально, идеально, она говорит, ни упрека, никаких таких обвинений, что, мол, не исполнила долг. И они ее пристроили в "Кедры", знали родителей Пышки, вот их и уговорили, чтоб взяли ее за домом присматривать. "И я здесь до сих пор, — она говорит, — а сколько лет уж прошло".

Полковник наверху шевелится, производит скромные, но выразительные шумы; рад, что я отчаливаю, никакого сомненья. Я его поблагодарил за ночную вчерашнюю помощь. "Вы, возможно, спасли мне жизнь", — сказал я и вдруг понял, что так оно, возможно, и было. Он пыхтит, сопит, откашливается — "Ах, сэр, да ну, сэр, это ж был мой долг, и больше ничего!" — и крепко, быстро стискивает мое предплечье. Он даже вручил мне прощальный дар, вечное перо, "Сван", старый, наверно, как сам он, все еще в коробочке, на пожелтелой папиросной бумаге. Эти самые слова, кстати, им чеканю, очень хорошо работает, так и бежит, так и скользит, ну, иногда, может, кляксой брызнет. И где он им раздобылся, вот что интересно? Я не находил слов. "Не стоит благодарности, — заверил меня полковник. — Мне без надобности, а вы найдете употребленье, писать будете, все такое". И метнулся из комнаты, потирая старые, сухие, белые руки. Отмечаю: несмотря на будний день, он в своем желтом жилете. Так теперь и не узнать никогда, он правда старый армеец или обманщик. Еще один вопрос, который никак не могу задать мисс Вавасур.

— Это по ней я скучаю, — она говорит, — по Конни.

Я, наверно, вылупился на нее, опять она на меня бросает этот свой жалеющий взгляд.

— Он для меня был никто, — она говорит. — Неожиданность? Да?

Я вспомнил, как она стояла тогда подо мной, под деревом, и плакала, и голова лежала на сплющенном блюде плеч, и в руке был мятый, мокрый платок.

— Нет-нет, — она говорит. — Он мне был даром не нужен.

И еще я вспомнил тот пикник и как она сидела за мной на траве и смотрела туда, куда жадно смотрел я и видел то, что мне совсем не предназначалось.

Анна умерла перед рассветом. Если честно, меня при ней не было, когда это случилось. Я вышел на больничное крыльцо — вдохнуть всей грудью черный, блестящий воздух. И в ту минуту, тихую, страшную, я вспомнил другую минуту, давным-давно, в море, тем летом в Баллилессе. Я плавал один, почему не знаю, не знаю, куда подевались Хлоя с Майлзом; может, поехали куда-то с родителями, в один из последних разов поехали, может, в самый последний. Небо висело мутное, ни один ветерок не ерошил поверхность моря, только по краю бились мелкие волны, набегали унылой грядкой, снова, снова, как подол, без конца подрубаемый сонной швеей. На берегу почти никого не было, да и те далеко, и застывший густой воздух глушил голоса, как туманил далью. Я стоял по пояс в воде, совершенно прозрачной, видел ребристый песок на дне, ракушки, оторванные клешни, собственные ноги, белые и чужие, как экспонаты под стеклом. Так я стоял, и вдруг, нет, не вдруг, с усильем, море взбухло — это не волна была, нет, мягкий накат, вздох из самой глуби, взмыв с самого дна, — и подняло меня, пронесло чуть поближе к берегу и там снова опустило, снова поставило на ноги, будто ничего не случилось. А ведь и правда ничего не случилось, ничего, ничего, просто огромный мир опять равнодушно пожал плечами.

Сиделка пришла за мной, я повернулся и вошел за ней в дверь, и было так, будто я вхожу в море.

Збигнев Ментцель

Все языки мира

Повесть

Перевод с польского К. Старосельской

Смерть и жизнь во власти языка,
и любящие его вкусят от плодов его.

Книга притчей Соломоновых. 18:22

1
Пробуждение

СОН был страшный.

Поначалу я не мог в нем разобраться, не понимал, что мне, собственно, снится, чего я боюсь, что это за куски сырого мяса, которые, расплющенные в кровавое месиво, еще подают признаки жизни.

Только погодя, когда картина, выпутавшись из хаоса, приблизилась, стала отчетливой, я увидел несметное множество человеческих языков, вырванных у живых или мертвых, — языков, из которых чьи-то невидимые руки возводили огромное сооружение в форме пирамиды, а может быть, достигающий небес жертвенный костер.

Я с ужасом смотрел, как гора языков — бурых, темно-синих, почти черных — растет, и мне казалось, что кто-то все еще ими управляет, ибо даже сцепляясь, слипаясь в бесформенную массу, служившую строительным материалом, — даже тогда они ни на секунду не замирали, а продолжали корчиться в судорожных пароксизмах, будто все безжалостно изувеченное человечество, весь мир — наш мир — взывал о помощи?.. о чем-то вопрошал?.. проклинал?.. молился?.. просил о милосердии?

© by Zbigniew Mentzel
© К. Старосельская. Перевод, 2006
Повесть будет опубликована в московском издательстве НЛО.

Любопытно: несмотря на этот кошмар, я не вскочил с тревожным криком, испуганный, мокрый от смертного пота. Просто открыл глаза и лежал в постели; дышал глубоко, ровно, врожденный порок сердца не давал о себе знать; спокойным, очень спокойным было мое пробуждение.

Я находился в Варшаве, моем родном городе, в квартире на втором этаже невысокого дома на улице Генрика Семирадского, художника, сто лет назад рисовавшего символические сцены на огромном холсте — самом большом в Европе театральном занавесе.

Зимний день не спешил заниматься, было темно, и я только по памяти мог читать названия книг, которые окружали меня со всех сторон. Я поднял голову, чтобы посмотреть на башенку настольных часов марки "Сони". Электронное табло показывало шесть ноль-ноль, хотя на самом деле было пять. После перемены времени я еще не переставил часы.

С минуту я пытался припомнить, как называется зимнее время, на которое мы осенью перешли с летнего: восточно-, западно- или среднеевропейское? Мне казалось, что восточно-, но я мог и ошибаться. Или все-таки западно-? Впрочем, какая разница.

С тех пор, как Дух сошел и обновил облик Земли — нашей Земли, — с тех пор, как коммунисты потеряли власть, как рухнули стены и распалась империя, объявлявшиеся дважды в год изменения времени уже не имели для меня того значения, которое я с ребячьей наивностью когда-то им придавал.

Было пять часов. Пять ноль-три.

Я знал, что уже скоро, как только завершится последний час ночной тишины, возле старого дома напротив, где просторный чердак переоборудовали под мансарды для сотрудников американского банка, с грохотом заработает бетономешалка, а грузовой лифт, скрежеща, начнет ездить туда-обратно в стальной шахте, подбадриваемый окриками:

Майна!

Вира!

Майна!

Вира!

Ма-а-айна!

Ви-и-ира!

Я еще по крайней мере два часа мог бы поспать, но спать не хотелось. Я лежал с открытыми глазами, слушал, как бьется сердце в груди, впервые за долгое время не ощущая даже малейших нарушений его ритма, и думал, что́ принесет мне день, который вот-вот начнется.

В этот день мой отец на восемьдесят втором году жизни должен был в последний раз пойти на работу в аптеку городской инфекционной больницы, а я обещал, что помогу ему отвезти торт и печенье для участников скромного прощального торжества.

Воспитанник кадетского корпуса, подпоручик пехоты, в сентябре тридцать девятого попавший в немецкий плен, он после пятилетнего пребывания в лагере в Вольденберге вернулся в Польшу — другую Польшу, распрощался с мундиром, женился, стал фармацевтом, начал работать в аптеке своего тестя, а когда коммунисты отобрали аптеки у частных владельцев, поступил на государственную службу и пытался как-то сводить концы с концами.

В городской инфекционной больнице, которая до войны принадлежала семейству Бауманов, отец не пропустил ни одного рабочего дня и

ни разу не опоздал. Работал. Работал так хорошо, как только мог, и через двадцать пять лет на Первомайский праздник трудящихся получил Бронзовый крест за заслуги и портфель из поддельной свиной кожи. В газете профсоюза работников здравоохранения по этому случаю поместили о нем статью с фотографией.

Когда мать взяла газету и увидела, как назвали статью об отце, она истерически расхохоталась.

Название "От сабли до пилюли" и мне вначале показалось очень смешным.

– Ну нет... подумать только... От сабли до пилюли... – мать изумленно качала головой и, смеясь сквозь слезы, читала статью вслух.

Быть может, в его походном ранце дремал маршальский жезл, но Рудольф Хинтц занял другой ответственный пост на службе отечеству, Польской Народной Республике.

Она дочитала до конца. Замерла на мгновение с открытым ртом, будто онемела на полуслове, а потом с яростью швырнула газету на пол и принялась топтать. Я увидел, как рвется в клочья фото отца в белом халате.

– Сволочи! Сволочи! – от газеты осталась куча обрывков. – В жизни не читала большего идиотизма. Почему они не написали, сколько он зарабатывает и как на эти гроши можно содержать семью?

Я подумал, что сейчас в нашем доме произойдет что-то ужасное. Отец, стиснув зубы, смотрел на мать и пытался сложить разорванную газету.

Сколько себя помню, родители никогда не жили в согласии.

2
Древняя ономатопея

Мать долго считала меня удачным ребенком, больше того: свято верила, что из всей нашей семьи именно я в жизни далеко пойду и сделаю карьеру, *настоящую* карьеру, прославившись сперва на всю Польшу, а затем и на весь мир. Тогда я уеду за границу, обзаведусь там семьей, куплю квартиру или дом, буду присылать матери посылки, возможно даже, как-нибудь приглашу ее в Вену или в Париж.

– Карьера, карьера... – говорила она, закрывая глаза, и по лицу ее блуждала загадочная улыбка: казалось, она слышит щелчки камер окруживших меня в аэропорту фоторепортеров и возбужденные голоса журналисток, упрашивающих дать интервью для дюжины телекомпаний.

Я соглашаюсь. Даю интервью. Свободно говорю на иностранных языках.

"Если я чего-то и достиг в жизни, этим я в первую очередь обязан своей матери".

Журналистки в восторге.

"Thank you, mister Hintz. Thank you very much!"

"Vielen Dank".

"Merci beacoup".

– Карьера, о, карьера... – совсем по-иному произносила мать это слово десять и двадцать лет спустя. Мечтательная улыбка на ее лице гас-

ла, исчезала, сменялась гримасой разочарования и обиды. Время шло, а я все еще не осуществил возлагавшихся на меня надежд.

— Ты даже не знаешь иностранных языков, — укоряла меня мать. — Никуда ты отсюда не уедешь, никогда не отправишься за границу и, даже если уедешь, ни с кем не познакомишься, потому что ни с кем не сумеешь объясниться.

Хотя я долго учил немецкий, английский, французский — не считая русского, который обязан был учить в школе, — ни на одном из этих языков я все еще не мог *говорить*.

Когда мне исполнилось тридцать лет и я ни разу не выступил даже по польскому телевидению, мать сочла, что на моей карьере можно поставить крест. Да. Это уже конец, повторяла она. Никогда, никогда я не буду тем, кем должен быть, а должен я *не быть своим отцом*, должен быть *личностью*, человеком известным, вызывающим восхищение; к сожалению, я впустую потратил лучшие годы и один как перст, без жены, без детей, качусь по наклонной плоскости, падаю, лечу на дно...

— Вира! Вира! Проснись! Ви-и-ира! — пронзительный крик вышвырнул меня из кровати.

Я выглянул в окно. На крыше дома напротив, между красными черепицами кровли, появилась голова рабочего, который кричал:

— Вира! Ви-и-ира!

Я посмотрел вниз. Заспанный паренек в шапочке с ярким помпоном очнулся, нажал рычаг, и грузовой лифт наконец пополз вверх.

В эту же минуту отозвалась бетономешалка.

Было шесть часов.

В доме напротив люди начинали собираться на работу. Прямо против моего окна, в сером воздухе, среди голых ветвей грецкого ореха маячила белая статуя Божьей Матери, повернутая ко мне спиной, рядом рабочий в бешеном темпе закидывал лопатой в бетономешалку песок и цемент. В черном комбинезоне и черном шлеме с прорезями только для глаз, носа и рта, он походил на черта с картин Иеронима Босха или Питера Брейгеля.

Но как он работал! Восхищаясь его плавными слаженными движениями, я смотрел, как он раз за разом зачерпывает лопатой из мешка цемент, как бросает его в горловину машины, а потом втыкает лопату в груду песка — не слишком глубоко, ровно настолько, чтобы черенок чуть погодя начал клониться под собственной тяжестью. Я смотрел, как он левой рукой хватает ведро, а правой — резиновый шланг, наливает полведра воды, заливает воду во вращающийся барабан, выпускает ручку ведра и, словно нехотя, подставляет ладонь, на которую точно в этот момент ложится деревянный конец черенка лопаты, и тогда рабочий подсыпает в барабан песок и немедленно повторяет все манипуляции снова.

Если бы ад был на земле, а вместо бетономешалки на этом месте находился котел с кипящей смолой, у поджаривающихся грешников не было бы ни минуты покоя.

Серый висленский песок, поливаемый водой, смешивался с портландским цементом, и из глубины бетономешалки до меня доходило бульканье и чавканье, в которых скрывалась какая-то древняя ономатопея: б-л, б-л, б-л; б-лал, б-лал, б-лал; ба-лал, ба-лал, ба-лал...

— Балал? — услышал я собственный голос, зажег свет и во внезапном озарении, будто вспомнив что-то важное, что мне давно хотелось вспомнить, подошел к набитым книгами полкам, снял Библию, открыл Ветхий Завет, отыскал комментарий к одиннадцатой главе "Бытия" и узнал, что в рассказе о Вавилонской башне имеет место... языковая игра, построенная на буквах "б" и "л", наиболее отчетливо проявляющаяся в слове "балал", то есть "смешал".

— Балал... — повторил я, с изумлением осознавая, что первым словом, которое я в этот день произнес вслух, было слово древнееврейское.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало семь двадцать, однако на самом деле было двадцать минут седьмого.

Мне захотелось перечитать историю Вавилонской башни, и я уже собрался открыть Библию в переводе Вуека, как вдруг вспомнил, что двадцать лет назад... да, ровно двадцать лет назад ныне уже покойный литературный критик, с которым я тогда познакомился, опубликовал новый, современный перевод "Бытия" в книге, озаглавленной "Бог, Сатана, Мессия и...?"[1].

Я взял этот перевод, отыскал нужный фрагмент и начал читать:

1. У всех людей был один язык и одно наречие.

2. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.

3. И сказали друг другу: "Налепим кирпичей и обожжем огнем". И стали им кирпичи камнями, а смола известью.

4. И сказали они: "Построим город и башню, вершиной достигающую небес, и прославим имя свое, прежде нежели рассеемся по всей земле".

5. И сошел Господь, дабы оглядеть город и башню, которые строили люди.

6. И сказал Господь: "Вот один народ, и язык у всех один. А это лишь начало их дела: отныне, что бы они ни задумали, ничего невозможного для них не будет.

7. Так сойдем же и взболтаем им языки, чтобы один не понимал речи другого".

8. И рассеял их Господь по всему свету, и перестали они строить город.

9. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь языки всех людей и рассеял их по всей земле.

Что-то в переводе резануло мне слух. Я посмотрел на третью строфу. "Налепим?" Забавно, но никуда не годится. В этом месте критик как переводчик Священного Писания себя скомпрометировал. И глагол "взболтаем", хоть тут и присутствует построенная на звуках "б" и "л" языковая игра, тоже придуман не слишком удачно, куда лучше старый классический вариант "смешаем". Зато поразительно меткими показались мне слова, с помощью которых в ключевых строфах — четвертой и шестой — переводчик воспроизвел то, что сказали люди и Бог. Любопытно, что в переводе критика материалом, который использовали строители, была не глина, как в хорошо мне известной Гданьской библии[2], а просто смола.

1. Речь идет о книге прозаика, эссеиста, литературного критика Артура Сандауэра (1913—1989), опубликованной в 1977 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Гданьская библия — изданный в 1632 г. перевод Библии, ставший основой для многих последующих изданий.

Господи, как же, должно быть, пахла эта башня!

— Майна! Ма-а-айна! — раздалось за окном.

Я посмотрел наверх. Между красных черепиц крыши дома напротив опять торчала голова рабочего, который, разъяренный, орал:

— Ма-а-йна! Твою мать!

Грузовой лифт пошел вниз. Ровно в ту же минуту, когда он остановился над землей, прекратила работать бетономешалка.

В оглушительной тишине, которая воцарилась вокруг, я услыхал свои мысли, услыхал так явственно, будто это не я думал, а кто-то во мне говорил или зачитывал все, что мне написано на роду.

А думал я, что сегодня отец пойдет на работу последний раз в жизни. Думал, что по этому случаю следовало бы что-нибудь ему подарить. Думал о смерти матери и о том, что хотела она мне сказать за несколько дней до смерти. Думал о Вавилонской башне и смешении языков. Думал о книгах, которых все еще не написал. Думал об акциях, которые накануне купил на бирже. Думал, что, если мои мысли будут мчаться одна за другой с такой скоростью, язык за ними не поспеет... Нет, думал, я не прав, там, где есть мысли, должен быть и язык, а там, где языка нет, не может быть мыслей.

Я оделся и пошел за газетами.

День был погожий. Семь градусов мороза. На барометре — тысяча двадцать один гектопаскаль. В блеске восходящего солнца на секунду мне показалось, будто все, что я вижу, нарисовано на огромном холсте, самом большом на свете театральном занавесе, и я подумал, что, возможно, однажды занавес раздвинется передо мной, и тогда я пойму, зачем живу.

— Добрый день, — я поклонился дворничихе, которая вышла из дома напротив с круглой корзиной, полной свежевыстиранного белья. Несмотря на минус семь, на ней была только майка, из которой выпирало ее белое тело. Корзину она крепко прижимала к себе обеими руками и была похожа на борца, схватившегося с достойным противником.

— Добрый день, добрый день... — Дворничиха поставила курящуюся корзину на землю, заслонила ладонью глаза от солнца, посмотрела на окно третьего этажа, где сидела, устремив неподвижный взгляд в непроницаемое будущее, парализованная после инсульта женщина, и, указав выразительным жестом сперва на женщину, а затем на белье, сказала печально:

— Смерть высматривает, а у меня *постирушка*...

Я кивнул и пошел дальше.

Каждый день, выходя из дома за газетами, я встречал за углом двух мужчин, которые в это время выводили на прогулку своих собак.

С обоими я был едва знаком. Когда коммунисты отменили военное положение[1], тот, что помоложе, организовал мероприятие под названием "Цепь людских сердец". Помню, как он через мегафон призывал прохожих в назначенный день выйти на улицы, взяться за руки и цепью окружить весь наш город. Мероприятие удалось. Милиция следила за

1. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. в Польше было введено военное положение с целью подавления оппозиционного общественного движения "Солидарность"; отменено 22 июля 1983 г.

порядком, но не разгоняла собравшихся, и только кое-кому в толпе помяли бока. Организатор, выступая по телевидению, торжественно пообещал, что вскоре оплетет цепью людских сердец всю Польшу, затем всю Европу и, наконец, весь мир, однако до этого пока не дошло.

Второй, пожилой, был замминистра культуры в коммунистическом правительстве, а до того — многолетним главным редактором сатирического журнала. Чем он занимался после падения правительства? Не знаю. Говорят, перевел с немецкого биографию Геббельса и под псевдонимом пописывает театральные рецензии для "Трибуны".

Оба уже сильно лысели — младший собирал остатки волос на затылке в конский хвост, старший предпочитал "заём". За первым тащились две облезлые суки неопределенной породы, рядом со вторым шествовала огромная немецкая овчарка — он выводил ее без намордника и не на поводке, а держа за ошейник у самого загривка. Однажды пес начал рычать и рваться к сукам, и тогда младший не выдержал и рявкнул:

— Такую скотину нельзя выводить во двор без намордника! Вам что, закон не писан?!

Старший побледнел и крепко сжал зубы, будто на кончике языка у него вертелись заключительные слова русской повести "Верный Руслан": "Фас!.. Фас!"

Я повернул налево — интересно, что я увижу за углом сегодня, — но вспомнил, что иду за газетами гораздо раньше обычного. Мужчин с собаками не было. Зато у входа в Главное училище офицеров пожарной службы мелькнула фигура знакомого архитектора, который мечтал написать книгу о самых красивых мостах мира. Что он там делал? Может, я принял за него кого-то другого?

Я перешел оживленную улицу Словацкого, внимательно поглядев влево и вправо, поскольку на переходе, хоть и обозначенном "зеброй", не было светофора и очень часто водители, пренебрегающие железным правилом, отдающим преимущество пешеходам, кого-нибудь сбивали.

Киоск, в котором я покупал газеты, был одновременно и цветочным. В тесной каморке, на пяти квадратных метрах, сын пани Терезы, Гжегож, изготавливал венок к чьим-то похоронам и, прикрепляя тонкой проволокой красные розы к основе из свежих пихтовых веток, попутно обслуживал клиентов.

— Выборку, житуху, супер-дупер, попрош-ш... — сказал стоящий передо мной известный прокурор.

Пан Гжегож, не задумавшись, протянул ему "Газету выборчу", "Жице Варшавы" и "Супер-экспресс".

— И бутерброд, — попросил прокурор, веселый в тот день, как канарейка, и пан Гжегож, успевший вынуть изо рта кусочек проволоки и наколоть на него очередную розу, мгновенно положил на прилавок пачку "Мальборо лайт".

— Мое почтение, — любезно приветствовал он меня. В киоске я считался хорошим клиентом, так как всегда покупал много газет: почти все ежедневные плюс еженедельники и даже глянцевые журналы для женщин. — Мое почтение, приветствую вас, прекрасную погоду вы нам на сегодня заказали, — продолжал он с притворным, но хорошо ему удающимся энтузиазмом и с ходу начал рассказывать о чем-то, приключившемся с ним накануне, но я, занятый своими мыслями, слушал его впо-

луха, помню только, что он все время повторял: "Ну и болтался, как еврей в пустой лавке".

Я заплатил за газеты и вышел на улицу.

Перед домом я ощутил в воздухе знакомый запах стирального порошка "Ариэль". В окне на третьем этаже дома напротив женщина, парализованная после инсульта, не двигалась с места. "Смерть высматривает, а у меня постирушка..." Глядя на женщину, я подумал о своей жизни.

Почему, хотя я так долго учил немецкий, английский, французский — не считая русского, который обязан был учить в школе, — я до сих пор не могу говорить ни на одном из этих языков?

Почему я не говорю на иностранных языках? — думал я, открывая дверь квартиры и не зная, что через несколько часов найду ответ на этот вопрос, и это будет важным, очень важным, но, пожалуй, не самым важным основанием для того, чтобы только что начавшийся день я запомнил лучше, чем все прочие дни, какие до сих пор прожил.

3
Пишущая машинка

Однокомнатную квартиру — двадцать четыре квадратных метра — я купил за самую ценную семейную реликвию: золотые часы с черным рельефом на крышке, траурные часы, заказанные прабабушкой после разгрома Январского восстания[1].

Часы дала мне мать через три месяца после того, как коммунисты ввели в Польше военное положение.

В тот год мне исполнилось тридцать, и я все чаще задавал себе вопрос: приобретет ли наконец моя жизнь более глубокий смысл, чего пока ей, как мне казалось, недоставало.

Я тогда еще жил с родителями.

Чтобы подработать к отцовской зарплате, мать организовала частный детский сад. В моей комнате каждый божий день с утра резвились на полу десять ребятишек, с криком вырывая друг у дружки дудки, барабан, оловянных солдатиков, паровоз, деревянного клоуна, кубики, плюшевую обезьяну, уже лишившуюся обеих нижних конечностей, и множество других поломанных игрушек, которые в нашей семье переходили из поколения в поколение.

В три часа дня заканчивала работу пани Зеня, нанятая матерью *подсобная сила*, и тогда дети переходили на мое попечение, а я, дабы укротить орущую команду, пугал их пишущей машинкой — старой немецкой машинкой марки "Рейнметалл", на которую все они смотрели с суеверным ужасом с тех пор, как четырехлетний Куба, нажав табулятор, чуть не потерял палец.

Последних дошколят забирали около пяти, и я, будто Гулливер в неожиданно покинутой жителями стране лилипутов, оставался один в комнате среди разбросанных повсюду маленьких фанерных стульчиков и столиков. Я собирал их, прятал в сундук игрушки, выносил весь этот хлам на балкон, потом долго проветривал комнату, откидывал от стены служив-

1. Национально-освободительное восстание 1863–1864 гг.

шую мне письменным столом доску и ставил на нее пишущую машинку, чтобы наконец сесть и приняться за работу над книгой, которую никак не мог даже начать.

Старая немецкая пишущая машинка, которую перед войной мать получила в подарок на свое двадцатилетие, всегда меня интриговала и одновременно почему-то подавляла. В ее массивных формах крылось что-то на редкость мрачное, прямо-таки траурное. Огромная, тяжелая, уснащенная серебристо поблескивающими ручками и рычагами, с выведенным готическими буквами названием фирмы "Рейнметалл" на каретке, она смахивала на пышно изукрашенный саркофаг либо какое-нибудь иное столь же вычурное место вечного упокоения, а похожий на откидную крышу пролетки черный шуршащий чехол еще добавлял ей кладбищенской величавости.

Долгие годы, до самой смерти, дед поддерживал машинку в идеальном состоянии, раз в год уделяя по многу часов ее тщательному осмотру и чистке. Затаив дыхание, я наблюдал, как, стянув с машинки чехол, он поднимает катушки, проверяет ленту, протирает валик тряпочкой, смоченной спиртом, а затем смазывает под ним рельсы растительным маслом и долго чистит каждую металлическую букву старой зубной щеткой с наполовину состриженной специально для этой цели щетиной.

Мать когда-то училась печатать слепым способом и охотно демонстрировала мне, каких успехов добилась за несколько недель интенсивных упражнений. Вставив в машинку лист бумаги, она выравнивала его, чтобы затем установить надлежащую ширину полей, я же завязывал ей глаза лиловым шарфиком, не забывая удостовериться, что она ничего не видит.

— Всё? — спрашивала она, поднимая ладони над клавиатурой, как пианистка, которая вот-вот возьмет первые ноты.

— Всё! — отвечал я, и в ту же секунду металлические буквы начинали с характерным треском колотить по валику:

марьяж витраж пассаж
сюжет бюджет манжет
грабеж пожарник пассажир
джунгли кожух макияж

Печатала мать с головокружительной быстротой и после слова "макияж" снимала с глаз повязку.

— Видишь: ни одной ошибки! — с торжеством показывала мне она.

Ошеломленной беглостью ее пальцев, я прочитывал поочередно все слова, напоминавшие то ли детскую считалку, то ли непонятный стих поэта "второго авангарда"[1].

В молодости мать сама писала стихи, и якобы Казимеж Вежинский[2], которого она ставила выше всех тогдашних поэтов, не мог ею нахвалиться.

— Он прочел, — рассказывала она. — Прочел и *три раза* поцеловал мне руку. Пани Янка, — он просто таял от восторга, — пани Янка, у вас

1. Термином "второй авангард" определяли новые тенденции в польской поэзии 30-х гг. XX века.
2. Казимеж Вежинский (1894–1969) — польский поэт, прозаик, эссеист.

талант, такой талант нельзя загубить, с таким талантом вы можете достичь вершин...

Иногда мне казалось, что мать втайне от всех продолжает писать стихи и именно поэтому так часто запирается с машинкой в столовой. Но когда я украдкой открывал ящики, где лежали ее бумаги, то вместо стихов находил официальную переписку, которую она годами вела с жилотделом: заявления, обращения, бессчетные копии, бескрайний океан стыда. Жалобы. Жалобы на соседку, которую к нам подселили и от которой мы тщетно пытались избавиться.

У меня до сих пор сохранились в памяти те отчаянные письма:

4 декабря с. г. гр-ка Ольчак Ванда привела в нашу квартиру двоих посторонних (по-видимому, супружескую пару), показывая им расположение комнат, а на мой вопрос, с какой целью прибывшие осматривают квартиру, незнакомый мужчина нагло заявил, что займет одну комнату после ее освобождения гр-кой Ольчак. В связи с хамским поведением гр-ки Ольчак за весь период ее проживания и постоянными скандалами, которые подорвали здоровье моей старой матери, а также меня саму довели до тяжелого невроза, убедительно прошу Жилотдел предоставить нам право выбрать жильца самим. Особа, которую мы хотели бы поселить в своей квартире, занимает угол в проходной комнате, является работником умственного труда, а ее спокойный характер и врожденная культура дают полную гарантию мирного совместного проживания... (Подпись)

После долгих кошмарных лет, на протяжении которых гр-ка Ольчак Ванда оскорбляла всех членов нашей семьи, неоднократно повторяя, что поселит на свое место того, кто покажет нам, где раки зимуют, мы мечтаем, когда она съедет, наконец-то обрести столь необходимый нам покой. Отмечу, что мой муж, находясь в лагере для военнопленных офицеров в Вольденберге, был зверски избит немецким охранником (особенно сильный удар он получил прикладом винтовки по голове) и с тех пор страдает повышенной возбудимостью, мигренями, его мучают страхи и бессонница. Принимая вышесказанное во внимание, настоятельно прошу Жилотдел предоставить мужу дополнительную жилплощадь и не выдавать ордеров лицам, указанным гр-кой Ольчак Вандой... (Подпись)

Хотя в детстве мне не позволяли без ведома старших даже прикасаться к машинке, я частенько нарушал запрет, осторожно просовывал руку под чехол и — чтобы услышать, как металлическая буковка с треском ударяет по валику, — наугад нажимал клавишу. Однажды мать застала меня над машинкой, когда я, перебирая в воздухе пальцами, делал вид, что печатаю. Это забавное зрелище неожиданно растрогало ее до слез.

Я перешел во второй класс, когда еженедельный журнал для детей старшего школьного возраста "Огонек" объявил конкурс "Опиши свою родину". Всем желающим предлагалось отправить на адрес редакции краткое описание Польской Народной Республики, чтоб советские космонавты смогли захватить его в запаянной капсуле на Марс, Венеру или другую планету. Свое сочинение размером в одну страницу я сначала написал от руки, а затем двумя пальцами перепечатал на машинке — избежать ошибок мне удалось только на одиннадцатый раз.

Хотя я не получил даже поощрительной награды ("Слава богу, — сказал отец, — ты бы еще в "Трибуну люду" написал!"), мать сочла, что я сделал шаг в правильном направлении, и с тех пор позволяла мне брать машинку без спросу.

Однажды я нашел дома старый учебник машинописи и решил, что буду поочередно выполнять помещенные там упражнения, пока не научусь печатать всеми десятью пальцами, как мама.

"Агентство ТАСС передает интересные сообщения" — выстукивал я на машинке марки "Рейнметалл" и, согласно рекомендациям авторов учебника, повторял упражнение три раза:

Агентство ТАСС передает интересные сообщения
Агентство ТАСС передает интересные сообщения
Агентство ТАСС передает интересные сообщения

Наш великий труд не пропал втуне
Наш великий труд не пропал втуне
Наш великий труд не пропал втуне

На территории Люблинского воеводства успешно выращивают хмель
На территории Люблинского воеводства успешно выращивают хмель
На территории Люблинского воеводства успешно выращивают хмель

Когда я проделал примерно половину упражнений, с машинкой случилось что-то неладное. Время от времени, стоило мне ударить по наиболее часто повторяющейся гласной "а", раздавался глухой неприятный звук, какой обычно издает вышедшая из строя клавиша. Каретка не передвигалась автоматически, и — чтобы следующая буква не попала на то же место — ее приходилось слегка подталкивать.

Вскоре потом начал барахлить механизм перемотки ленты, а сама лента, которую по причине нестандартной ширины (четырнадцать миллиметров) не удавалось заменить лентой из тех, что продавались в канцелярских магазинах, истрепалась до дыр и вечно цеплялась за рычажок, пачкая бумагу.

Когда мать почти потеряла надежду на то, что я — удачный ребенок — единственный из всей нашей семьи далеко пойду, машинке потребовался срочный капитальный ремонт, однако решение, в какую из мастерских на Вильчей ее отвезти, из-за отсутствия денег откладывалось из месяца в месяц.

Пользуясь машинкой каждый день, я пытался заранее угадать момент, когда в ней что-нибудь выйдет из повиновения, но, несмотря на все мои старания, устранение неполадок, мытье рук и исправление ошибок занимало по меньшей мере половину отведенного на работу времени.

После множества неудачных попыток написать сборник рассказов под названием "Нечистоты", театральную пьесу "Перемена времени" и цикл эссе о современной польской прозе (рабочее название "Якобы косвенная речь") я приступил к работе над очередной книгой.

Заглавие у меня уже было: "Репетитор". Сюжет в общих чертах тоже обрисовался: начинающий писатель, не имея средств к существованию, учит иностранцев польскому языку, попутно объясняя им на забавных

примерах, чем жизнь в управляемой коммунистами Польше отличается от жизни в других, нормальных странах.

Идея была весьма недурна, но и тут у меня ничего не вышло. Однако названием "Репетитор" я так гордился, что даже перевел его на несколько языков. Больше всего мне понравилось немецкое "Der Einpauker"!

Я вставлял в машинку бумагу, поджимал разболтавшиеся детали, мыл руки, выстукивал одну фразу, отцеплял зацепившуюся за рычажок ленту, мыл руки, печатал вторую фразу, передвигая валик вручную, если застревала клавиша с буквой "а", и когда что-нибудь невесть в который раз заедало, снимал катушки, после чего долго разглядывал на свет поблекшую черную ленту со следами сотен тысяч букв, накопившимися за долгие годы, словно пытался наворожить себе лучшее будущее.

Смеркалось. В столовой за стеной мать накрывала к ужину стол, а отец ловил "Свободную Европу" и, измученный адским шумом глушилок, вертел во все стороны приемник марки "Татры", заклиная ферритовую антенну поймать самую важную передачу дня "Факты, события, мнения".

— Я все предвидел, все предвидел... — поминутно повторял он, пока его любимый диктор Юзеф Птачек низким загробным голосом зачитывал последние известия.

— О да... — саркастически замечала мать. — Ты у нас ясновидящий. Жаль только, не предвидел, сколько будешь зарабатывать. Жаль, что не предупредил меня до того, как я за тебя вышла. Жаль, что не...

Отец крутил регулятор настройки, пуская радио на полную громкость, и последние слова матери заглушал голос Юзефа Птачека, заглушаемый глушилками. Я колотил кулаком по стене и кричал:

— Тише! Я не могу работать! Тише! Тише!

4
Черная бижутерия[1]

После ужина я спешил уйти из дома. На мои многочисленные, как правило кратковременные, знакомства с женщинами родители отзывались красноречивым молчанием, и только последний, довольно долгий роман с бывшей студенткой теологии, которая, бросив учебу, работала фотомоделью, позируя для снимков в настенных календарях, был встречен бурным протестом.

— Долго ты еще намерен путаться с этой шлюхой? — спрашивала мать и, не дожидаясь ответа, заводила свое: мол, дом для меня не дом, а гостиница или камера хранения багажа, за которую вдобавок я не плачу ни гроша.

— Ты отлично знаешь, что не в деньгах дело, — обижалась она, когда я предлагал давать ей каждый месяц определенную сумму. — Ты отлично знаешь, что меня волнует исключительно твое будущее. Тебе тридцать лет! Сколько еще времени ты собираешься тратить впустую?!

С фотомоделью, высокой, остриженной чуть ли не наголо девушкой, мы встречались каждый вечер в ее однокомнатной квартирке на Старом Мясте. Домой я возвращался поздно ночью и, хотя старался входить как

1. Ювелирные изделия (обычно недорогие), которые польские патриоты носили в знак национального траура после поражения Январского восстания.

можно тише, достаточно было повернуть в замке ключ, как у матери в комнате немедленно зажигался свет.

Живя под одной крышей, мы всё больше друг от друга уставали, но о том, чтобы разменять квартиру на две поменьше, отец не желал и слышать.

— Старые деревья не пересаживают, — повторял он в ответ на уговоры матери, которая мечтала еще об одном, последнем в жизни переезде и, в надежде, что вдруг подвернется потрясающий обмен, каждый день изучала объявления в газетах.

Я прекрасно помню тот вечер, когда мать ворвалась в мою комнату с таким сияющим лицом, будто минуту назад ей объявили Благую Весть. В торжествующе воздетой вверх руке она держала "Жице Варшавы".

— Читай! — она сунула мне под нос газету. На странице с мелкими объявлениями, в рубрике "Квартиры" одно из объявлений было обведено красным карандашом.

Комнату с кухней, 24 метра, на Старом Жолибоже продаю срочно. Тишина, зелень, телефон. Без посредников. 33-37-23.

Я пожал плечами. Старый Жолибож издавна считался в Варшаве районом с самыми дорогими квартирами.

— Меня сразу как ударило... — голос у матери тоже был торжествующий, — сразу, как только увидела это объявление. Телефон был беспрерывно занят, но в конце концов я дозвонилась. Знаешь, сколько времени я разговаривала с хозяином? Полчаса. Какой-то инженер, представь себе, очень культурный человек. А теперь угадай, на какой улице эта квартира. Не угадаешь. Скажу сразу. На Семирадского! Понимаешь?! На улице *Генрика Семирадского*!

Я не мог взять в толк, почему мать так разволновалась и что, по ее мнению, я должен понимать.

— Поразительное стечение обстоятельств! — мать продолжала как в трансе. — Ведь с Генриком Семирадским наша семья испокон веку в родстве. Только не говори, что впервые об этом слышишь, — опередила она мой вопрос. — Я сто раз тебе рассказывала. Если б ты пожелал услышать, услышал бы, но тебе, видно, даже на своих родных наплевать.

— К чему ты, собственно, клонишь, мама? — с раздражением перебил я ее.

— К чему клоню? К тому, что ты должен купить эту квартиру. Я чувствую: это рука судьбы.

Когда мать начинала говорить о руке судьбы, это означало, что она готова настоять на своем любой ценой.

— Ты слышишь, что я говорю? Ты должен купить эту квартиру!

— С превеликим удовольствием, — пожал я плечами. — Интересно только, на какие шиши?.. Ты хоть знаешь, сколько она стоит?

— Знаю. Сто пятьдесят долларов за квадратный метр, — голос матери неожиданно зазвучал очень деловито. — Совсем недорого для такого района. Старый Жолибож! Тишина, зелень. Идеальные условия, я б сама хотела там жить. Впрочем, хозяин, скорее всего, немного уступит. Раз написал, что продает *срочно*...

— Сто пятьдесят за метр... — я быстро прикинул в уме. — Итого больше трех с половиной тысяч. Я могу купить метра четыре. На это моих сбережений хватит.

Мать театральным жестом извлекла из кармана передника какой-то предмет.

— У тебя есть еще кое-что, — она положила передо мной черный черепаховый футляр. — Такую вещь можно хорошо продать. Предпочитаю, чтоб ты это сделал сейчас, а не после моей смерти.

Я взял футляр и осторожно открыл. Внутри на атласной подушечке лежали золотые часы с черным рельефом на крышке. Последний раз я видел их в детстве. Мать много лет распродавала семейные реликвии, и я был уверен, что она давным-давно избавилась и от этих часов.

— Подлинный Патек[1]. Червонное золото. Три тысячи долларов за них наверняка можно получить. Честно говоря... — мать положила часы на ладонь и на минуту задумалась, — честно говоря, я их никогда не любила. Твоя прабабушка носила эти часы в знак траура. Оттого они такие грустные.

— Откуда ты знаешь, что их можно продать за три тысячи? — спросил я. — Откуда ты знаешь, что их вообще кто-нибудь купит?

— Я знаю только одно: надо поторопиться, — сказала мать. — Первонаперво ты должен посмотреть эту квартиру. Позвони. Поезжай. Поговори с человеком.

Я позвонил. Мы договорились встретиться в квартире на Семирадского. Хозяин был моего возраста или чуть постарше. Невысокого роста, коренастый, в очках с толстыми стеклами, он выглядел добродушным и, должно быть, вызывал у людей доверие. Меня с первых же минут утомила его разговорчивость. Прежде чем мы перешли к делу (квартира мне очень понравилась), он успел рассказать всю свою жизнь.

Последние четыре года он занимался бизнесом в Нигерии. Миллион долларов якобы уже почти лежал у него в кармане, но компаньон из местных его облапошил, и он не заработал ни цента.

— Трудная страна, — говорил он, а я из вежливости поддакивал: "Очень, очень трудная" — хотя о Нигерии не имел ни малейшего представления и множество вещей узнал только из лекции, которую он не преминул мне прочитать.

Господи, думал я, он уже никогда не закончит! Озеро Чад, муссоны, тропический климат, пора дождей, саванна, засуха, баобаб, красное дерево, шоколадное дерево, двести языков и диалектов, племена ибо, хауса и йоруба, генерал Бабагида, то ли Бабангида...

— Мне просто чертовски не повезло, — говорил он, — вы только подумайте: вернуться из страны, где военные перевороты происходят чуть ли не каждый год, за месяц до введения военного положения. Из огня да в полымя, из огня в полымя...

Когда мне удалось наконец вставить слово и я сказал, что охотно купил бы квартиру, но у меня слишком мало наличности, поэтому при расчете я мог бы предложить памятные часы Патека, только не знаю точно, сколько они стоят, — хозяин не раздумывая, с места в карьер, предложил поехать со мной к лучшему варшавскому специалисту. Заремба, должно быть, я слышал? Вот-вот. Его оценке безусловно можно доверять.

1. Антоний Патек (1811–1877) — польский часовщик, участник национально-освободительного Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., эмигрировал в Женеву, где вместе с другим варшавским часовщиком Франтишеком Чапеком (чехом по происхождению) организовал производство часов, а затем, расставшись с Чапеком, с французским часовщиком Адрианом Филиппом наладил выпуск карманных часов с заводной головкой.

Мы поехали на следующий же день. Никогда в жизни я не видел на двери частной квартиры столько замков. На медной табличке изысканным шрифтом было выгравировано:

ВАВЖИНЕЦ МАРИЯ АЛЕКСАНДР ЗАРЕМБСКИЙ
Эксперт

Дверь открыл седоватый мужчина в шелковом полосатом шлафроке. Набитая антиквариатом комната, куда он нас ввел, походила на салон "Десы"[1]. Мы сели за овальный стол.

– Чем могу служить? – спросил эксперт, и его взгляд скользнул по черепаховому футляру, который я держал в руке.

– Мы хотели попросить вас оценить часы. – Я положил футляр на стол.

Эксперт вставил в глаз увеличительное стекло, осторожно вынул из футляра часы и, сняв нижнюю крышку, стал молча разглядывать механизм.

– Это семейная реликвия? – спросил он наконец.

– Да, – я кивнул. – Часы принадлежали моей прабабушке.

– Вы хотите их продать? Не жалко? – В голосе эксперта прозвучало осуждение, пожалуй даже оскорбительное.

– Понимаете ли... – начал я.

Он перебил меня на полуслове:

– Прошу прощения за чрезмерное любопытство. Не следовало бы задавать такие вопросы. Это отменная черная бижутерия. Настоящий Чапек. Часы явно сделаны по заказу сразу после Январского восстания.

– Извините, – не удержался я, – если я не ослышался, вы сказали "Чапек". Вероятно, вы имели в виду Патека?

– Нет, нет, – возразил эксперт с подчеркнутой вежливостью человека, не сомневающегося в своей правоте. – Я сказал "Чапек" и имел в виду Чапека. Патек и Чапек – разные люди. У вас какое образование? – неожиданно спросил он.

– Филологическое, – неуверенно ответил я, хотя это соответствовало действительности. – Я закончил польское отделение филфака Варшавского университета.

– Ну, раз вы филолог... – Эксперт отложил увеличительное стекло и поглядел на меня иронически. – Вам наверняка известно, кто в Швейцарии ссужал Мицкевича деньгами, чтобы тот мог уехать в Париж.

Я понятия не имел.

– Может быть, Чапек? – попытался я угадать. – Или Патек?

– Оба. Они тогда еще были компаньонами. Оба эмигрировали в Женеву после Ноябрьского восстания. И вдвоем основали фирму. Но когда Филипп изобрел новый способ завода часов без помощи ключика, и изобретение произвело в мире фурор...

– Филипп? – машинально повторил я.

– Да. Адриан Филипп. Будущий зять Патека. Теперь понимаете? У Филиппа был патент, а у Патека – дочка. Кажется, очень привлекательная. Зять с тестем основали новую фирму. Которая существует по сей день. "Патек-Филипп". Чапеку повезло меньше. Хотя поначалу, остав-

1. Деса (Dzieła Sztuki i Antyki) – художественные произведения и предметы антиквариата .

шись без компаньона, он тоже преуспевал. Открыл в Женеве один салон, в Варшаве второй. Краковское Пшедместье, четыреста одиннадцать. По-видимому, именно там ваша прабабушка заказала часы.

— Простите... — владелец квартиры на Семирадского уже начал терять терпение, — а какова стоимость этих часов сегодня?

— Какова стоимость этих часов сегодня? — повторил вопрос эксперт. — Это зависит... Смотря кто их захочет приобрести. В государственном ювелирном магазине какой-нибудь кретин сошлется на распоряжение другого кретина и купит у вас часы на вес, как лом. За гроши, разумеется. Вам не хуже моего известно, что в этой стране полно кретинов.

— А сколько заплатил бы частный коллекционер? — спросил я.

— Это тоже зависит, — развел руками эксперт. — Для частных коллекционеров черная бижутерия времен Январского восстания обладает музейной ценностью. А часы и вправду прекрасные. На рубиновых камнях. Изящная линия стрелок. Двойной корпус. Ну и этот рельеф с Богоматерью Благодатной на черной эмали... Тонкая работа. На аукционе в Лондоне подобные часы Патека с портретом Тадеуша Костюшко[1] ушли за три тысячи фунтов. В Канаде некий поляк, мультимиллионер, скупает часы Чапека, но только если фабричный номер меньше семи тысяч. Для него цена наверняка не имеет значения.

— А у этих часов какой номер? — спросил я.

Эксперт снова вставил в глаз увеличительное стекло.

— Четыре тысячи четыреста двадцать один, — прочитал он. — Сорок четыре и очко. Очень счастливый номер.

Когда мы вышли от эксперта, владелец квартиры на Семирадского объявил, протягивая на прощание руку:

— Решено. Я беру часы. Завтра можем пойти к нотариусу.

5
Отец и Натан Ротшильд

У старого дома напротив снова бормотала по-своему бетономешалка: б-л, б-л, б-л... Висленский песок, поливаемый водой, смешивался с портландским цементом. Б-лал, б-лал, б-лал...

Не впервые в тот день у меня возникло ощущение, что в такт с вырывающимися из глубины бетономешалки звуками — размеренным ритмом древней ономатопеи — мои мысли мчатся одна за другой все быстрее.

С отцом мы договорились на двенадцать. Он три раза меня предупреждал, что если я опоздаю больше чем на минуту, то уже его не застану. Когда-когда, повторял он, а в такой день он не может позволить себе опоздать. Не позже часа *должен* быть на месте, чтобы спокойно все приготовить. Если двенадцать по каким-то причинам меня не устраивает — что ж, ничего не поделаешь. Он прекрасно обойдется и без моей помощи. Право, пустяки, не о чем и говорить.

Я знал, что дорога до больницы займет у нас максимум пятнадцать минут, то есть времени хватит с лихвой, даже если я приеду в половине первого, но когда я пытался втолковать это отцу, он с раздражением по-

1. Тадеуш Костюшко (1746–1817) — руководитель национально-освободительного восстания 1794 г.

вышал голос и настаивал на двенадцати. А вдруг по дороге сломается машина, и что тогда? А вдруг мы застрянем в пробке? А вдруг мост окажется по всей длине забит и уже от круга придется идти пешком?

Когда он в третий раз повторил: "Помни, человек должен быть готов к любым неожиданностям", я спросил, почему же тогда сам он всегда готовится только к худшему?

Он махнул рукой.

Кстати, интересно, почему я проснулся в пять? Это ведь отец со времен кадетского корпуса каждое утро вставал ровно в пять, будто у него внутри был хронометр.

— Вот что делает с человеком армия, — говорила мать, презрительно кривя губы. — Всю жизнь как автомат. Всю жизнь всё по команде. Лечь! Встать! Лечь! Встать! Боже, как я ненавижу армию.

Мать возненавидела армию после того, как немцы убили на войне человека, которого она любила. Когда мне исполнился двадцать один год, я впервые увидел их вдвоем на снимке.

— Ему было столько же лет, сколько сейчас тебе, когда он погиб, — сказала мать, показывая мне фотографию, где на обороте было написано: *Бал в Гражданском собрании, Варшава 1939*. На фотографии очень молодой мужчина в мундире подхорунжего[1] держал мать на руках, а она, в белом бальном платье, радостно смеясь, крепко обнимала его за шею. Сколько бы потом я ни разглядывал этот снимок, всякий раз мне казалось, что с отцом такой счастливой я ее никогда не видел.

После смерти матери я нашел другую фотографию этого мужчины. Он выглядел как мертвец, а может, и правда был мертв, и мне стало неловко, потому что первым делом мелькнула мысль, что отцу мундир шел больше.

Я посмотрел на часы. Восемь ноль-девять.

Поскольку у отца я должен быть ровно в двенадцать, из дому на всякий случай надо выйти часом раньше. Ужасно неподходящее время. В одиннадцать на бирже начинается сессия. Я знал, что, даже если успею узнать курсы при открытии, доигрывания уже не увижу, а оно сегодня обещало быть захватывающим.

Последние несколько лет на Варшавской бирже упорно не прекращалась бесса[2]. Цены упали так низко, что стоимость акций большинства компаний достигла исторического минимума. Хотя акции на бирже никогда не дешевеют настолько, чтобы не могли подешеветь еще больше, я чувствовал, что приближается знаменательный "поворотный момент" и курсы, неизменно шедшие вниз, наконец двинутся вверх. На графике главного биржевого индекса уже пару недель формировалось тройное дно, что в любом учебнике технического анализа считается предзнаменованием скорого изменения конъюнктуры.

Я взялся за газеты, чтобы познакомиться с биржевыми комментариями двух опытнейших рыночных аналитиков: Вальдемара Гембуся и Себастьяна Бучека.

Себастьян Бучек в своем комментарии, озаглавленном "Медведь держит путь на юг", утверждал, что, хотя сейчас середина зимы, мед-

1. Подхорунжий — в межвоенной Польше (1918–1939) курсант офицерского училища.
2. Резкое падение курса ценных бумаг.

ведь (аллегория бессы) не спит и еще нам покажет. Бучек повторял предостережение японского маклера: "Не пытайтесь поймать падающий нож!", а в заключение добавлял: "Trend is your Friend[1]. Не советую бороться с трендом, особенно если он ведет к понижению".

Мнение Вальдемара Гембуся на этот счет было совершенно противоположным. В комментарии под названием "Поймать падающий нож!" он писал, что, поскольку большинство инвесторов не верит в скорое окончание бессы, это наилучшее доказательство тому, что приближается хосса[2]. Гембусь цитировал Натана Ротшильда, который на вопрос, существует ли способ заработать на бирже, ответил: "Безусловно. Лично я никогда не покупаю по самым низким ценам и всегда продаю слишком рано". Инвестор должен быть готов к любым неожиданностям, заканчивал Гембусь. Иначе говоря, даже во время бессы надлежит готовиться к лучшему.

Я внимательно все прочитал. Сам я целиком и полностью разделял мнение Гембуся и Ротшильда. Но если прав окажется Бучек... Об этом я предпочитал не думать. Обратного хода не было. Накануне я поймал падающий нож. Купил акции. Не только за наличные, но и в кредит, который взял под залог акций. Если бы курсы продолжали снижаться, я терял бы все больше и больше, но начни они наконец расти, кредитный домкрат помог бы мне умножить прибыль.

За пятнадцать лет, проведенных в квартире на Семирадского, мое жизненное пространство с каждым месяцем сокращалось. Книги прибывали в таком темпе, что давно уже перестали помещаться на полках. Я укладывал их на полу стопками, которые непрестанно росли и уже подпирали потолок, как стойки в штреках. К потолку приближались и кипы старых газет, из которых я не успел сделать вырезки. Много раз я торжественно обещал себе делать вырезки не откладывая, но никогда не выполнял обещания: самым старым газетам, лежащим внизу каждой кипы, было уже семь лет от роду. Я спал на раскладном диване посреди комнаты, опасаясь, что однажды ночью горы бумаг погребут меня, спящего, под собой. Раз уже случилось, что лавина газет с самой высокой кучи вдруг обрушилась на пол в двух шагах от меня. Когда облако пыли рассеялось, я увидел грязную стену, а на ней гравюру Эрика Дальберга[3] и забытую фотографию в рамке.

На гравюре был изображен город Закрочим и форсирование реки Вислы, через которую во время войны с Польшей, третьего, четвертого, пятого и шестого марта 1657 года, с правого берега на левый переправлялись по понтонному мосту шведы под водительством маршала Стеенбока, венгры под командованием князя Ракоши и казаки, которых вел Антон Зданович.

Prospectus oppidi SAKROZIN[4] — прочитал я начало латинской надписи, выравнивая на стене гравюру, немного покосившуюся влево.

1. Тренд — твой друг (*англ.*). Тренд — прочная продолжительная тенденция.
2. Повышение курса ценных бумаг; биржевая игра на повышение.
3. Эрик Йонсон Дальберг (1625—1703) — шведский дипломат, офицер, военный инженер, архитектор, график. Во время польско-шведской войны (1655—1660) служил в армии квартирмейстером и отражал в рисунках ход военных действий.
4. Вид укрепления Сакрозин (*лат.*). Сакрозин — латинское название Закрочима.

Висевшую рядом фотографию мне прислала из Владивостока девушка, с которой я когда-то встречался. Было это давно. Я знал, что вскоре после нашего разрыва она вышла замуж за министра строительства коммунистического правительства. Через пару лет они развелись, девушка уехала из Польши, а министра посадили за финансовые махинации. Не помню уже где, но я точно читал, что он получил от одного из зарубежных партнеров в качестве взятки клыки индийского слона и депонировал их в швейцарском банке.

Что делала моя бывшая девушка во Владивостоке? Я понятия не имел. Я даже не представлял, как она теперь выглядит. На фотографии, которую она мне прислала, был только старый телефон-автомат советского производства, висящий на голой дощатой стене. На металлическом корпусе автомата в нескольких местах отчетливо виднелись вмятины, как будто люди со зла, что не могут никуда дозвониться, в сердцах молотили по нему кулаками.

На маленькой табличке, прикрепленной к автомату, виднелись надписи на русском языке:

БЕСПЛАТНО ВЫЗЫВАЮТСЯ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 01
МИЛИЦИЯ 02
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03
СЛУЖБА ГАЗА 04

Внимательно разглядывая фотографию, я заметил, что на дощатой стене нацарапана еще одна надпись, которая поначалу показалась мне неразборчивой: буквы напоминали то ли египетские иероглифы, то ли алфавит протоболгар, недавно расшифрованный дядей Эдвардом.

С помощью сильной лупы я обнаружил, что надпись сделана на чистом русском языке, но кто-то, пожелавший ее уничтожить, обвел каждую букву квадратиком и еще дважды перечеркнул квадратики по диагоналям. Я почувствовал себя Шампольоном[1], когда минут через пятнадцать сумел прочитать весь текст:

КТО ХОЧЕТ ПОЕБАТЬСЯ – 763406 – ГАЛЯ

Как-то я выпил две бутылки красного вина, а когда у меня уже изрядно зашумело в голове, позвонил в справочную и спросил код Владивостока. Не знаю, почему мне казалось, что разница во времени между Варшавой и Владивостоком составляет без малого сутки, то есть и у нас, и там час должен быть примерно один и тот же.

Я позвонил.

Телефон был занят.

Я позвонил через пять минут.

Никто не взял трубку.

1. Жан Франсуа Шампольон (1790–1832) – французский египтолог, разработавший основные принципы дешифровки древнеегипетского иероглифического письма.

6
Говорите? Говорю! Говорю! Говорю!

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало девять двадцать, было, однако, двадцать минут восьмого.

Самое время восполнить недостаток калия в организме.

Врожденный порок сердца вынуждал меня принимать лекарства.

Эналаприл, сектраль, калипоз пролонгатум с ионами калия...

Калий, вероятно, был очень важен, потому что на его недостаток сердце неизменно реагировало нарушением ритма. К частым отдельным перебоям я за много лет успел привыкнуть. Хоть и неприятные, они уже меня не пугали. Страх наваливался, только когда перебои — по три-четыре, а то и десятка полтора за раз — следовали один за другим, соединяясь в длинную череду, называемую кардиологами *фибрилляцией*.

Я пошел на кухню, чтобы запить лекарства водой, и посмотрел на паука, который поселился там осенью. Однажды, перед самой переменой летнего времени на зимнее, я обнаружил в кухне свежую паутину, растянувшуюся между потолком и лежащим на подоконнике утюгом. Паутина серебристо поблескивала в лучах солнца и была соткана так искусно, что уничтожить это чудо природы мне показалось кощунством.

Я когда-то читал, что нить паутины по своей прочности значительно превосходит стальные волокна той же толщины и, хотя сама чрезвычайно легкая, может выдержать паука, который весит в четыре тысячи раз больше. Якобы пауки, которым долго не удается изловить ни одной жертвы, с голодухи съедают собственную паутину, чтобы со временем соткать новую, но чуть поменьше.

Мой паук с голодухи съедал паутину много раз. Мухам зимой взяться неоткуда, а до крошек ржаного хлеба, которыми я пробовал его кормить, он не дотрагивался.

"Сеть паук в ничто развесил, чтобы тень поймать той тени"[1] — вспомнились мне слова поэта. Ровно в эту минуту паук, который поначалу показался мне мертвым, дрогнул, выпустил из себя длинную нитку и, как по канату, молниеносно спустился по ней вниз.

— Вира! Ви-и-ира! — услышал я за окном.

На крыше дома напротив рабочий, высунув голову между красными черепицами кровли, кричал:

— Вира! Ви-и-ира!

Я посмотрел вниз. Заспанный паренек в шапочке с ярким помпоном забыл перевести рычаг грузового лифта, засмотревшись на дворничиху, которая что-то говорила управляющему бетономешалкой рабочему и, размахивая руками, указывала ему на статую Божьей Матери, повернутую ко мне спиной. Что ей было нужно? Наверно, заметила, что бетономешалка, работая, обдает Богоматерь брызгами цемента.

Рабочий бросил лопату на землю, перепрыгнул через ограду, окружающую статую, взобрался на постамент из серого камня и, глянув Божьей Матери прямо в лицо, принялся вытирать ее рукавом.

1. Строка из стихотворения Болеслава Лесьмяна (1877–1937) "Безлюдная баллада" (перевод Л. Богдановского).

— Оставь! Не трогай! — крикнула дворничиха и, схватив рабочего за ноги, стащила его с постамента. — Шапку сними! — приказала она. — Небось не знаешь, перед кем стоишь.

Рабочий отступил на шаг, поднял с земли лопату и загородился от дворничихи черенком. Шапку он снять не мог, потому что таковой не имел. В черном комбинезоне и черном шлеме с прорезями только для рта, носа и глаз, он походил на Мефистофеля с иллюстраций к балладе Мицкевича.

В комнате зазвонил телефон. Я заколебался: подходить или не подходить. В эту пору чаще всего случались ошибки, но мог звонить и отец. Я немного подождал и после четвертого звонка снял трубку.

— Да, слушаю.

— Это я, — прозвучало в трубке. — Ты меня слышишь?

Голос был таким слабым, будто отец звонил из Владивостока.

— Слышу, но очень плохо.

— Может, перезвонить?

— Не надо, пап. Я слушаю. Говори.

— Погоди, я поправлю провод. Контакт барахлит...

В трубке раздался пронзительный треск. Уже много месяцев у отца был неисправен аппарат и, хотя я привез ему два новых, он не решался заменить ни одним из них старый. И мастера, чтобы исправить повреждение, вызывать тоже не хотел.

— Алло! — услыхал я. — Теперь лучше? Слышишь?

— Слышу. Говори, папа. Как дела?

— А-а, не спрашивай. Ночь была ужасная.

— Что случилось?

— Ничего. Не мог заснуть. До пяти глаз не сомкнул. Только под утро немного вздремнул.

— Спокойно, пап... — я не знал, что сказать, чтобы успокоить отца.

— "Пап, пап"... — рассердился он. — Сколько раз я просил так меня не называть. Ты же знаешь, я терпеть этого не могу.

— А как прикажешь к тебе обращаться? "Отец" и на вы? Я ведь мать тоже всегда называл "мам".

— Называй, как хочешь. Теперь мне уже все равно.

Всякий раз, когда отец брал меня в профсоюзный дом отдыха, из года в год в одно и то же место на Висле (пятьсот шестьдесят шестой километр вниз по течению, если считать от истока), мы каждые два-три дня ходили на почту в Голавин и заказывали междугородний разговор с Варшавой.

Хотя почту от нашего дома отделяли всего каких-нибудь сорок километров, ждать соединения приходилось долго. Заведующий почтой крутил ручку аппарата, соединялся с телефонной станцией, называл заказанный номер, пока, наконец, через час, если на линии не было повреждений, отец входил в кабину, снимал со стены трубку и начинал разговаривать с матерью. Иногда между ними повисало молчание, и тогда телефонистка, которая, видно, где-то на станции все время контролировала связь, кричала в трубку:

— Говорите? Говорите?

— Говорю! Прошу не прерывать! — злился отец, но через минуту в трубке снова отзывался голос телефонистки, еще более настойчивый:

— Говорите? Говорите?

— Говорю! — орал отец, багровея от злости. — Говорю! Говорю!

— Алло, — услышал я отца. — Ты здесь?

— Здесь. Говори. Я слушаю.

— У меня к тебе просьба.

— Какая?

— Ничего особенного, — отец, по своему обыкновению, не говорил прямо.

— Что тебе нужно, пап? Скажи.

— Что мне нужно? Чтобы ты перед уходом хорошенько почистил обувь. И чтоб не опоздал.

— Хорошо, — сказал я. — Буду у тебя ровно в двенадцать.

Чистка обуви, укладывание чемоданов... За всю жизнь я не встречал человека, который бы укладывал чемоданы лучше моего отца.

Первое правило, втолковывал он матери, всегда брать с собой как можно меньше вещей.

Мать не желала придерживаться подобных правил. Перед каждым отъездом в санаторий, где она лечила верхние дыхательные пути, она набирала столько вещей, что нечего было и думать о том, чтобы вместить их в один чемодан.

— Это уже всё? — спрашивал отец, глядя на гору одежды, высящуюся на полу рядом с раскрытым чемоданом.

— Всё, — говорила мать и немедленно добавляла к груде очередное платье.

— Теперь на минутку оставьте меня одного, — просил отец и, словно намереваясь исполнить в одиночестве какой-то таинственный обряд, запирался в комнате.

Спустя полчаса он открывал дверь и предъявлял нам упакованный чемодан, который был таким тяжелым, что носильщику приходилось вносить его в вагон на спине.

Чистка обуви, укладывание чемоданов... Меня долго не покидало ощущение, что на самом деле отцу хорошо удавалось в жизни только это.

Две пары туфель, черные и вишневые, служили ему пятьдесят лет. На них бессчетное количество раз меняли подметки, набивали железные косячки, и они до сих пор стояли под табуретом на распорках, неизменно начищенные до глянца.

Мать утверждала, что, если бы дедушка в нужный момент сумел продать кому-нибудь два своих рецепта на изготовление безотказной сапожной ваксы — "обыкновенной" и "с моментальным глянцем", — у нас бы денег куры не клевали.

Вакса обыкновенная:
1,5 кг костяной черни
9 кг сажи
1 кг измельченной гуттаперчи
0,5 кг стеарина
2 кг сенегальской камеди
нитробензол

Вакса с моментальным глянцем:
1 кг рафинированного шеллака
1 кг спирта
1,5 кг венецианского скипидара
бересклетовое масло

Отец никогда не пользовался ваксой. По правде сказать, он и гуталином "Киви" никогда не пользовался. Для чистки обуви ему служило самое обыкновенное молоко, по стакану которого он — для здоровья — выпивал также утром и вечером.

Глядя на сверкающие, пропитанные молоком туфли, стоящие в прихожей, я все чаще думал о том, что, когда отец умрет, черная пара отправится с ним в могилу, вишневая останется на распорках под табуретом, а я не буду знать, что с нею делать.

7
Первая буква алфавита

Когда мне исполнилось девять лет, мать начала терять терпение. Самое время, повторяла она, мне наконец сказать свое "а". Самое время двинуться в *надлежащем направлении*. А уж она попробует меня подтолкнуть. Предназначению нужно помочь.

В тот год в Риме проходили Олимпийские игры, и отец купил телевизор марки "Висла". Телевизор был черно-белый, но, когда побеждали поляки и на самой высокой мачте взвивался наш флаг, мне казалось, что я вижу все в цвете. На Олимпиаде мы завоевали четыре золотые медали. Четыре раза в нашу честь в Риме играли "Мазурку Домбровского"[1]. Всякий раз отец, растроганный до слез, стоя навытяжку перед телевизором, пел гимн:

Вперед, вперед, Домбровский,
С итальянской земли в Польшу...

Когда в беге на три тысячи метров с препятствиями Здзислав Кшишковяк победил двух лучших стайеров Советского Союза, Ржищина и Соколова, я пел вместе с отцом. Бег был потрясающий. Мы, затаив дыхание, следили, как на последнем круге, перед самым рвом с водой, Кшишковяк, сделав внезапный рывок, обходит Ржищина, а на последней прямой легко отрывается от Соколова и первым пересекает линию финиша.

— Урааааа! — кричали мы. — Урааа!

Мать смотрела на нас как на ненормальных. Она терпеть не могла спорт и хотя, в порядке исключения, позволила уговорить себя погля-

1. Марш (Мазурка) Домбровского — патриотическая песня (1797), марш Польских легионов, после подавления восстания 1794 г. сформированных в Италии по инициативе участника восстания, генерала Яна Генрика Домбровского (1755–1818); с 1926 г. — польский государственный гимн.

деть на Кшишковяка, ей стало так скучно, что через пять минут она повернулась к экрану спиной.

— Носиться, как кошка, задравши хвост... — пробормотала она, когда Кшишковяк совершал по стадиону круг почета. — Какой в этом смысл?

— Как это — какой? — разволновался отец. — Знаешь, сколько труда надо вложить, чтобы получить золотую олимпийскую медаль? Знаешь, какое требуется самопожертвование, чтобы победить сильнейших? Кшишковяк победил, потому что долгие годы упорно работал над собой.

— Кто победил? — спросила мать.

— Кшишковяк! — хором крикнули мы с отцом. — Поляк! Поляк выиграл! Победил русских! Понимаешь? У нас золотая медаль!

— Ну и что с того? — мать пожала плечами. — Скажите мне, много ли толку, что какой-то Кшишковяк гоняет наперегонки с другими по стадиону? Сегодня выиграл, завтра проиграет, и все о нем забудут.

— Я никогда не забуду Кшишковяка, — сказал отец. — И он будет помнить! — ткнул он в мою сторону пальцем. — Увидишь. Он даже Ржищина будет помнить.

Хотя я мог по первой просьбе перечислить фамилии всех победителей римской Олимпиады и даже результаты, которые каждый из них показал в полуфинале и финале, спорт не был моим предназначением. В школе на физкультуру я не ходил. Врач выписывал мне освобождение сразу на целый год. У меня был врожденный порок сердца, пониженный иммунитет, часто шла кровь из носа. Ватные тампоны и ляписные палочки для прижиганий были разбросаны по всему дому, а на подзеркальнике в жестяной коробочке всегда лежал наготове шарик из пергамента, который при кровотечении я должен был как можно быстрее засунуть под язык.

Мать без конца мне напоминала, чтобы я ходил с высоко поднятой головой, поскольку, стоит ее опустить, из носа тут же потечет кровь. Даже парикмахер Рышард в салоне на Инженерской вынужден был стричь меня не так, как всех, и мать за труды всегда давала ему сверх положенного.

Боже, как я стеснялся ходить в парикмахерскую! Какие муки, дожидаясь своей очереди, переживал. Всякий нормальный мальчик, садившийся в кресло, как только ему на плечи набрасывали белую простыню, низко наклонял голову и, с обнаженным затылком, обретал торжественный вид жертвы, предназначенной на заклание, я же торчал как чурбан на двух подложенных мне под задницу подушках и пялился на свое отражение в зеркале.

Парикмахер Рышард, ровняя волосы у меня на затылке, присаживался на корточки.

— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спрашивал он, щелкая ножницами и бесцеремонно задирая мой подбородок, когда я, пунцовый от стыда, пытался хоть на секунду опустить голову. — Может быть, парикмахером? Нравится тебе здесь? Пойдешь ко мне в ученики?

Кем я хочу стать, когда вырасту? Я понятия не имел. Мне исполнилось девять лет, и даже мать, свято верившая, что из всей нашей семьи именно я дальше всех пойду в жизни, еще не решила, в каком направлении меня подтолкнуть.

Дома, кроме старой немецкой пишущей машинки марки "Рейнметалл", меня больше всего интересовали книги из дедушкиной библиотеки. Я мог часами изучать "Энциклопедию" Тшаски, Эверта и Михальского или "Домашнего врача" — компендиум знаний о медицине со множеством цветных таблиц, где в изобилии были изображены страдальцы, пораженные всеми болезнями мира. Одних только кожных я насчитал несколько десятков. Названия, однажды прочитанные, уже не удавалось забыть: фурункулы и угревая сыпь, ихтиоз и фолликулиты, стригущий лишай и наследственная крапивница, косолапость и хондродисплазия, слоновость на Самоа, азиатская проказа...

— Не знаю, право не знаю, подходящее ли это для него чтение, — качал головой отец, но мать, видя, с каким увлечением я штудирую медицинский справочник, считала это доказательством тому, что я развит не по годам, и радовалась, что у меня такие неординарные интересы.

Во втором классе из-за частых простуд и кровотечений из носа я пропустил сто сорок семь учебных дней, и наша классная руководительница, пани Шаламаха, сказала, что впервые в жизни у нее ученик с такой низкой посещаемостью.

Со школьной программой я тем не менее справлялся легко. Моя одноклассница и лучшая подружка, китаянка Цзу, каждый день сообщала мне, что задано, и безотказно давала тетради по любому предмету. Я быстро делал уроки и возвращался к своим любимым книгам.

Однажды я решил переписать от начала до конца всю "Энциклопедию" Тшаски, Эверта и Михальского, но терпения мне хватило только на несколько первых страниц. Я переписывал их в старый гроссбух из дедушкиной аптеки и мысленно повторял содержание каждой статьи, на секунду захлопывая книгу тем же характерным движением, каким моя старшая сестра захлопывала тетрадь со словами, когда изучала русский язык.

Меня тогда сразу поразило, что среди слов на букву "А" в энциклопедии немало таких, которые начинаются на "Аа": Ааре, Ааюн... Эти удвоенные буквы обладали силой заклятия. Благодаря им, благодаря "Аа", названия швейцарской реки и города в Западной Сахаре, фамилия норвежского писателя и имя александрийского медика переносили меня в древние времена сотворения мира. "Аарон, первый иудейский первосвященник..." — писал я, изо всех сил сжимая вечное перо, испытывая такое волнение, будто меня допустили к величайшей тайне.

Спустя несколько лет я с изумлением обнаружил, что мелкие объявления в газетах часто начинаются с повторяющейся раз пять, а то и десять-пятнадцать, буквы "А":

ААААА Авторемонтная мастерская...
ААААААА Антенны устанавливаю...
АААААААА Абитуриенты, внимание!..

Мне объяснили, что каждая такая "А" стоит денег. Тот, кто хочет, чтобы его объявление выделялось, должен, соответственно, больше заплатить.

Вот, значит, оно как, думал я, первую букву алфавита, этот символ Начала, можно покупать пучками, как редиску.

Систематически изучая мелкие объявления, я заметил, что все больше "А" покупает какой-то торговец бонами ПКО[1], упорно сражающийся с конкурентами.

ААААААААААА Абсолютно надежно – боны...

Со дня на день объявления торговца разрастались, уподобляясь солитеру, зловредному паразиту, достигающему метра с лишним в длину. Однажды ночью мне приснилось, что солитер атаковал "Энциклопедию" Тшаски, Эверта и Михальского и на моих глазах пожирает поочередно все слова. Нет уже Аарона, брата Моисея, первого иудейского первосвященника, нет рек, морских портов, врачей, филологов. Я пытаюсь читать "Энциклопедию" вслух, но изо рта, будто я от рождения немой, вырывается только жалобное ааа... ааа... ааа...

По причине огромного количества пропусков (не на все из ста сорока семи пропущенных учебных дней у меня были справки) мне снизили оценку по поведению, но в следующий класс я перешел с наградой в виде книги – в табеле, если не считать одной четверки, у меня были только пятерки.

Мать обрадовалась не так сильно, как я надеялся.

– Теперь всем дают награды – и что с того? Даже Стемпень получил, а он ведь дебил, – сказала она, и стало ясно, что от меня мама ждет чего-то такого, чего другим никогда не добиться.

Начались каникулы. В середине июля отец взял меня в профсоюзный дом отдыха – как всегда в то же самое место на берегу Вислы (пятьсот шестьдесят шестой километр вниз по течению, если считать от истока), а когда через две недели мы вернулись в Варшаву, мать уже знала, в каком направлении меня подтолкнуть.

Поскольку в доме есть пианино, я должен научиться на нем играть!

– Ну... рано пришел конец твоей лафе, – подмигнул мне отец и заслонился воскресной "Жице Варшавы", но не успел просмотреть даже пары страниц, как мать велела ему наконец оторвать нос от газеты и потрудиться *хотя бы* слазить на антресоли за крутящимся табуретом, который надо будет подставить к инструменту.

Давать мне раз в неделю уроки игры на пианино согласилась пани Буйно, учительница из музыкальной школы на Виленской. Мать, правда, вначале мечтала о профессоре консерватории – педагоге гораздо более квалифицированном, но быстро умерила аппетит. Платить за час пятнадцать злотых, а то и больше? Нет, этого мы никак не потянем.

Пани Буйно мне сразу не понравилась. Она звала меня Збышко, красила редкие волосы в рыжий цвет и ходила в пропотевшем под мышками платье с очень короткими рукавами.

На первом уроке, проверив, хорошо ли настроен инструмент, она начала играть венские вальсы и играла так долго, что встревоженная мать под каким-то предлогом заглянула в комнату. "Сегодня мы собирались начать. Такой был уговор, верно?" – говорил ее взгляд.

Учительница с разгона сыграла еще несколько тактов и провела по клавишам ногтем, изобразив эффектное glissando.

1. Всеобщая сберегательная касса (Powszechna kasa oszczędności; *польск.*).

— Это тетя *куавиатура*, — сказала она, указывая на клавиши. — Видишь, Збышко?

Урок начался. Я сидел на крутящемся табурете, толстые руки пани Буйно летали над моей головой, от резкого запаха пота меня мутило, я слушал, как она говорит, что белые клавиши — киски, а черные — мышки, и мы должны потрудиться, чтобы они немножко побегали...

— Дай ручки! — Учительница схватила меня за руки и принялась устанавливать пальцы на клавиатуре так, чтобы каждый был согнут в суставе под определенным углом. — *Уокти* ближе к себе, *уокти* ближе, — командовала она. — Понятно, Збышко?

На втором уроке у меня пошла носом кровь, на третьем случилось то же самое, гаммы, пассажи и экзерсисы нагоняли на меня тоску, я не справлялся с заданиями, и мать пришла к выводу, что продолжать учебу не имеет смысла.

— Неизвестно, будет ли он играть в дальнейшем, но, по крайней мере, мальчик чуть-чуть прикоснулся к музыке, и это самое важное, — объясняла она родным.

Несколько месяцев спустя она решила подтолкнуть меня в совершенно другом направлении.

Я должен был стать чтецом-декламатором.

Перед войной, еще пансионеркой, мать принимала участие в нескольких конкурсах чтецов и однажды даже получила третью премию. Она декламировала стихотворение "Два ветра" Юлиана Тувима, которого — после Вежинского — ставила выше всех тогдашних польских поэтов.

Я стояла посреди сцены, рассказывала она, а Юлиан Тувим сидел в зрительном зале в первом ряду. Потом он *три раза* поцеловал мне руку. Пани Янка, — он просто таял от восторга, — пани Янка, у вас талант, какой встречается раз на сто тысяч, такой талант нельзя загубить, с таким талантом вы произведете фурор!

Когда наша классная руководительница, пани Шаламаха, начала составлять программу торжественного собрания, посвященного Дню учителя, мать сразу предложила, что я прочту стихотворение Юлиана Тувима. Предложение было принято, но пани Шаламаха полагала, что такие стихи, как "Два ветра", в школе следует читать *по ролям*. Если я буду Первый Ветер, Вторым Ветром должен быть кто-то другой.

— Чепуха. Полная чепуха, — разозлилась мать и отправилась к пани Шаламахе, чтобы *лично* поговорить с ней на эту тему, однако классная руководительница своего мнения не изменила.

"Два ветра" мне предстояло читать на пару с Марианом Стемпенем.

— Все равно у тебя получится лучше, чем у этого идиота. — Мать сумела разделить стихотворение так, чтобы мне досталась бóльшая его часть. — Слушай и повторяй за мной:

Один ветер в поле дул,
Другой ветер к саду льнул:
Песню ладил, травы гладил,
Шебуршил, ворошил.
Уснул[1].

1. Перевод Д. Самойлова.

Меня ужасно смешило, что слово "уснул" мать всякий раз произносит так, будто сама вот-вот упадет и уснет. Я согласился ей подражать, но при условии, что она не будет на меня смотреть, и, забившись в угол, повторял строчка за строчкой все стихотворение, помирая со смеху.

Накануне празднества я заболел, подхватив ангину, а через неделю мать получила от пани Стемпень письмо.

Очень некрасиво с вашей стороны, что вы постоянно везде пихаете своего сына, чтоб он был самый главный. Прямо беда, что он заболел на День учителя, потому что вы исхитрились дать ему из одного стихотворения целых два куплета, да еще конец последнего куплета, из которого Мариан читал только две строчки, хотя должен бы прочитать весь. И еще это очень некрасиво с вашей стороны, потому что и другие дети могли бы прочитать, которые вообще не читали. Наверно, пани Шаламаха ничего б на это не сказала, пускай у них и не такой выговор, как у вашего сына, они ведь третьеклассники, а не поэты.

— Безграмотная невежда, — буркнула мать и в клочки изорвала письмо.

8
Живые картины

Полгода спустя на школьном торжестве по случаю Первомайского праздника трудящихся Тадеуш Вышомирский, первый ученик из 7-го А, декламировал стихотворение под названием "Рабочие". В белой рубашке, с красной бархатной ленточкой под накрахмаленным воротничком, прямой как струна, он стоял на возвышении в физкультурном зале и читал очень громко, подчеркивая каждую рифму:

День начался рабочий.
Молот несем, кирку и лом.
Молот в руках грохочет —
строим за домом дом.

Забиваем снова и снова
сваи в глубину рек,
разжигаем уголь Домбровы
в машинах, движущих век.

Воздвигаем железные своды,
строим храмы без богов, без слез,
запрягаем гений народов
в сверкающий звездный Воз.

Расправляем крылья в походе,
вихрем улиц вперед идем,
прорезаем тучи над Лодзью
красных зарев ножом.

Мосты на Запад и на Восток!
И дальше, не зная прѐпон!

В горизонт
молотом бьем!

Последний подходит срок!
Мы куем,
кузнецы, –
нас миллион.

Молния. Гром. Мощная песня
в груди пылает пожаром.
Железная цепь треснет
под нашим тяжелым ударом.

В буфера кровь вместо масла влив,
путь расчищаем своими руками.
Вперед, истории локомотив!
Котлы разожжем своими сердцами[1].

– Дикция у него, надо признать, превосходная, – похвалила первого ученика мать. – Видишь? И ты бы так мог! Но это дьявольская поэзия. Прямо мурашки по коже бегут, как подумаешь... Сердцами разжигать котлы? Так и разит смолой!

Я с матерью и отцом стоял в физкультурном зале, радуясь, что мое выступление уже позади. Стихи мне и на этот раз читать не пришлось, потому что по программе младшие классы не декламировали, а показывали живые картины.

Целую неделю на уроках пения, польского языка и во время классного часа мы под руководством пани Шаламахи репетировали живую картину, чтобы наша, МИЛИЦИОНЕР – ДРУГ ДЕТЕЙ, получилась самой лучшей.

Вначале дежурный мелом рисовал на полу мостовую и "зебры" – пешеходные переходы, а затем, по списку (Авдеенко, Банецкая, Бербецкая...), каждый из нас изображал попеременно то ребенка, переходящего улицу, то милиционера, следящего, чтобы дети переходили дорогу только в специально обозначенных местах.

Всякий раз, когда ребенок ступал на "зебру", милиционер, одобрительно кивая, показывал ему табличку, на которой крупными буквами было написано только одно слово: ХОРОШО. Если ребенок, игнорируя "зебру", пытался перейти улицу в недозволенном месте, милиционер немедленно заступал ему дорогу, размахивая табличкой с надписью ПЛОХО.

Два наших второгодника, Збойна и Климкевич, принесли в школу невесть где раздобытый настоящий милицейский свисток. Когда один из нас становился милиционером и должен был показать ребенку, что тот поступил ПЛОХО, он первым делом что было силы свистел в свисток. С тех пор, даже переходя улицу где положено, я замирал от страха, что вот-вот услышу над ухом пронзительный свист.

Живые картины не понравились ни отцу, ни матери.

1. Стихотворение Владислава Броневского (1897–1962), перевод М. Живова.

— Слава богу, вам хоть не велели друг дружку штрафовать. Этого бы еще не хватало! Кстати, мне показалось, ты очень волнуешься. Волновался ведь, правда? — допытывался отец, а мать, презрительно кривя губы, говорила, что о живых картинах — *настоящих* живых картинах — никто из тех, кто учит меня в школе, понятия не имеет.

Хотя в первую минуту слова матери не произвели на меня особого впечатления, они запали мне в память, и впоследствии я часто над ними раздумывал.

"Настоящие живые картины" — что, собственно, это значит?

Однажды, когда я в театральный бинокль бабушки Стаси наблюдал из окна, как в подворотне дома напротив трое угольщиков пьют из майонезных баночек водку, поднося баночку ко рту и быстро запрокидывая голову, как лошадь, если ее потянуть за узду, меня вдруг осенило: живые картины, *настоящие* живые картины, это ведь... мы. Мы сами! Мы, люди и животные!

Ошеломленный, восхищенный своим открытием, я вышел на балкон, посмотрел в бинокль вниз и увидел на улице множество живых картин, которые на моих глазах появлялись и исчезали, уступая место новым, точь-в-точь как в калейдоскопе, где из разноцветных стеклышек и камушков, отражаемых зеркальцами, складываются тысячи, миллионы узоров, каждый из которых чем-то отличается от других.

Я ложился на кровать, закрывал глаза, и живые картины приходили ко мне наяву и во сне.

Отец возвращается с работы домой. Снимает туфли. Бросает на стол портфель. На нем, как всегда, пепельно-серый пиджак, коричневый пуловер, галстук и голубая рубашка, которая, похоже, по крайней мере на размер ему мала, потому что воротничок так плотно обхватывает шею, что на ней вздуваются толстые фиолетовые жилы. Кажется, отца вот-вот хватит удар, он с трудом ловит ртом воздух, задыхается, глаза вылезают из орбит. Дернув галстук, он ослабляет узел, теребит пуговичку тесного воротничка, наконец расстегивает ее, высвобождает шею из безжалостных тисков, засовывает два пальца за ворот под самым кадыком и вертит головой направо и налево, а по его лицу разливается просто неописуемое облегчение.

Мы с матерью на базаре. У ограды деревенские бабы, закутанные в платки, продают прямо из корзин масло, творог и яйца. Одна только что зарезала петуха, на куче мусора лежит отрубленная голова с красным гребешком. Возле ларьков со старьем однорукий инвалид громко расхваливает приспособление для мытья стекол. Перед собой на конструкции из железных прутьев, точно на подрамнике, он повесил квадратное зеркало и возит по нему куском сала, на котором видны остатки свиной щетины. Когда поверхность зеркала уже покрыта густым слоем жира, инвалид смачивает ее мыльной водой. "Внимание, внимание! — кричит он, хватая своей единственной рукой какой-то предмет. — Внимание, внимание, берем аппаратик в ручку! — Аппарат для мытья стекол имеет форму буквы "Т". К верхней перекладине приклеена полоска резины. — Внимание, внимание, не нужно особого образования!" — Инвалид прижимает резину к стеклу, резко проводит рукой сверху вниз и, мастерски изображая изумление, будто не верит, что отраже-

ние его лица может быть таким отчетливым, смотрит на себя в чистое зеркало.

Рождество. У нас дома гости. Очень шумно, все говорят одновременно. Отец с графином в руке обходит стол, разливая по рюмкам лимонную настойку. "Почему никто ничего не ест?" — поминутно спрашивает мать, хотя мы едим уже не первый час. Мне интересно, изменит ли дядя Толек одно слово в колядке, как это делает каждый год; я жду не дождусь, когда же он, наконец, начнет. — "Тихой ночью Ангел громко возгласил...", — запевает отец, но дядя Толек как назло рассказывает что-то про евреев, и пение обрывается. "Перестань, Толюсь, — просит дядю мать, выразительным жестом указывая на меня. — Ты валяешь дурака, а он потом при людях будет повторять эту чушь". — "Тихой ночью Ангел громко возгласил: пастухи, вставайте, в мир грядет Господь", — снова затягивает отец, и на этот раз дядя поднимается со стула. Я весь обращаюсь в слух: "Поскорее *раздевайтесь*, к Вифлеему поспешайте..." — поет дядя Толек, в такт размахивая рюмкой. "Толюсь, Толюсь..." — бабушка Стася грозит дяде пальцем, дядя целует ей руки и повторяет свое, растягивая, сколько хватает духу, последний слог: " Поскорее *раздевайтесь*, к Вифлеему поспешайте, славьте Гос-по-да-а-а-а...", а потом замирает с открытым ртом.

Живые картины. Настоящие живые картины!

Наконец-то! Наконец-то я понял, каково мое предназначение. Мир открылся мне заново — невыразимо прекрасным. Близятся заветные дни. Я буду показывать живые картины! Настоящие живые картины! — обещал я себе и чувствовал себя счастливым как никогда.

Хотя в семье никто, кроме дяди Яся, не относился к моим фантазиям всерьез, мать согласилась, чтобы к бриллиантовой свадьбе дедушки с бабушкой я подготовил свою первую живую картину и выступил с ней перед гостями, приглашенными на пышный прием.

История, которую я собирался представить, произошла перед войной, задолго до моего появления на свет. Мать не раз рассказывала ее в назидание домашним, и, хотя каждая очередная версия несколько отличалась от предыдущей, начало и конец всегда совпадали: родной мамин брат, дядя Роман, самый молодой юрисконсульт министерства иностранных дел, влюбился в русскую женщину, на пятнадцать лет старше его, и, несмотря на просьбы и угрозы родителей, ушел из дома, чтобы поселиться с ней под одной крышей. Мать утверждала, что русская была обыкновенной проституткой; она охмурила дядю Романа до такой степени, что он в ее руках превратился в безвольную куклу. Однажды (по словам матери, во время пьянки в каком-то притоне) дядя отравился колбасным ядом и свалился полуживой с температурой сорок. Русская и два санитара "Скорой помощи" доставили его на носилках к родителям в ужасном состоянии, полностью обезвоженным. Бабушка Стася согласилась принять сына, но русской, которая — как особо подчеркивала мать — еще имела наглость как ни в чем не бывало вломиться в квартиру, сказала только два слова и указала на дверь.

— Только два слова? — допытывался я. — Больше ничего?

— Ничего, — уверяла мать. — К счастью, этого оказалось достаточно.

Я без конца воображал себе эту сцену. Лежал ли дядя Роман на носилках одетым? Плакала ли русская? Неужели никто ее не пожалел?

До чего же прекрасная должна получиться живая картина!

Я начал готовиться к выступлению. На самом деле требовались трое участников, однако, поразмыслив, я пришел к заключению, что дядю Романа, как безвольную и вдобавок полностью обезвоженную куклу, может с успехом заменить валик с дедушкиной оттоманки. Моя закадычная подружка, китаянка Цзу, согласилась изображать русскую. В роли бабушки Стаси должен был выступить я сам.

– Я слыхал, ты хочешь устроить театр? – поинтересовался дядя Ясь. Часом раньше он пришел нас навестить, и пепельница, стоявшая перед ним на столе, уже была полна окурков. С тех пор как дядя загубил себе поджелудочную железу, он бросил пить, но каждый день выкуривал не меньше шестидесяти "Экстра крепких".

– Никакой не театр, – возразил я. – Зачем мне театр? Я хочу показывать живые картины.

– Это что же такое, дружок? – не понял дядя. – Пантомима?

– Что такое пантонима?

– Не пантонима, а пантомима. Как бы тебе попроще объяснить... – Дядя Ясь загасил окурок в пепельнице и тут же извлек из пачки следующую сигарету. – Пантомима – это театр без слов. Театр, в котором не говорят.

– Мне нужно сказать два слова, дядя. Всего два.

– Два слова это уже на два слишком много. В пантомиме нельзя произносить ни одного.

– Да не хочу я показывать пантомиму. Это будет живая картина, – упрямо повторил я.

– Ну хорошо, хорошо, дружок, – согласился дядя. – Делай как знаешь. А про что будет эта картина?

– Про нас, – сказал я. – Про бабушку Стасю и дядю Романа, а в следующий раз, может, и про тебя.

– Про меня? – удивился дядя и посмотрел на свои пожелтевшие от никотина пальцы. – Интересно, как ты меня покажешь.

– По правде. Как в жизни, – сказал я и вдруг сообразил, что у дяди Яся очень печальное лицо.

– Попробуй, – буркнул он. – Хотелось бы и мне так...

Большой прием по случаю бриллиантовой свадьбы дедушки с бабушкой продолжался уже несколько часов. Я заметил, что, поглядывая на меня, гости заговорщически перемигиваются, словно хотят сказать: "Мы уже знаем. Знаем и ждем..."

Все были предупреждены о моем выступлении.

В распахнутой настежь трехстворчатой двери, отделявшей прихожую от столовой, висел занавес из простыни. В комнате рядами, как в театре, были расставлены стулья и табуретки. Два почетных места в середине я отвел дедушке и бабушке. Супруги Пое, полковничиха Сливовская и адвокат Крукович, самые главные гости, должны были сидеть рядом с юбилярами в первом ряду.

Я раздвинул занавес. В прихожей царил полумрак. За открытой дверью на лестницу стояла раскладушка с закутанным в одеяло валиком – безвольная кукла дяди Романа, отравленного колбасным ядом. Китаянка Цзу, изображающая русскую, замерла у изголовья. Я – в бабушкином

платье с кружевным жабо, сколотым у ворота янтарной брошкой, – сурово взирал на происходящее. Минуту спустя я зажег лампу. Ослепительный свет лампочки в двести свечей, самой сильной, какая у нас нашлась – отец берег ее для особых случаев, – залил прихожую. Я кашлянул, и по этому условному знаку китаянка Цзу, изображающая русскую, шагнула вперед и остановилась на пороге квартиры. Я вытянул руку и, указывая китаянке на дверь, громко и отчетливо произнес по-русски два слова:

– *Пошла вон!*

Пробежавший по зрительному залу шумок меня ободрил. Я повернулся к сидящим, посмотрел на пани Пое, которая подавала мне какие-то отчаянные знаки, и, дабы усилить эффект, повторил еще громче:

– *Пошла вон!*

– Что это значит?! – отец первый вскочил со стула. – Что это значит?! – кинулся он ко мне. – Как ты выражаешься при старших?

– Оставь его! – немедленно пришла мне на помощь мать. – Оставь, у него кровь пойдет из носа.

Отец споткнулся о раскладушку. Валик с дедушкиной оттоманки – несчастное чучело дяди Романа – покатился мне под ноги.

Китаянка Цзу скривилась, явно собираясь заплакать.

В этот момент сидящий на табуретке дядя Ясь вдруг громко зааплодировал.

– Браво! – воскликнул он. – Браво, бис! Возвращение блудного сына. Так я бы это назвал. Ему, – прицелился он в меня указательным пальцем, – следует и дальше идти в этом направлении.

Мать посмотрела на дядю Яся с благодарностью, лицо ее на секунду просияло и тут же омрачилось. В молодости дядя Ясь обещал стать выдающимся художником, но загубил талант, начал пить, все свои картины, даже автопортрет маслом, которым якобы восхищались в Академии, сжег в печке и, работая обыкновенным чертежником на государственной службе, едва сводил концы с концами.

Можно ли было ему поверить?

И в каком, собственно, направлении мне следует идти?

9
Мать и Шарль Бодлер

На третий день после бриллиантовой свадьбы мать долго сидела в шкафу в коридоре. Задняя стенка у шкафа отсутствовала: достаточно было залезть внутрь, протиснуться между висящими на деревянной перекладине толстыми зимними пальто и приложить ухо к стене, чтобы услышать, что происходит в комнате нашей соседки, Ванды Ольчак.

Соседка была не замужем и жила одна. Я знал, что в Варшаву она приехала из деревни и родных у нее в городе нет. По вечерам к ней с некоторых пор зачастил сослуживец, главный бухгалтер, которого мы называли Старый Хрыч. Небольшого роста, седой как лунь, в тяжелом ортопедическом башмаке на правой ноге; было ему, наверно, под семьдесят, и когда их с Вандой Ольчак видели вместе, ее можно было принять за его дочку.

— Старый хрыч. Омерзительный, сластолюбивый старикан. Только такой и мог на нее польститься... — с мстительным злорадством говорила мать, но в голосе ее таилась тревога. Что ни говори, она не могла не считаться с человеком, который по будням ходил в парадном костюме, с чиновничьим портфелем и всем своим поведением давал понять, что обладает невесть какими возможностями.

Всякий раз, когда соседка оставляла Старого Хрыча ужинать, разогревая ему что-то на плитке у себя в комнате, мать залезала в шкаф в коридоре, запиралась изнутри и подслушивала. В кромешной темноте, приложив ухо к холодной стене, она могла просидеть так и часа полтора.

Я умирал со страху, что однажды ей не хватит воздуха, что она задохнется между пальто или отравится, надышавшись мерзкого запаха нафталина.

— Не понимаю! Как можно заниматься такими вещами? — Отец смотрел на мать и укоризненно качал головой. — Подслушивать? В шкафу?! Скажи, неужели тебе не стыдно? Это же низко. Унизительно.

— Ты знаешь, с каких пор я чувствую себя униженной... — ледяным тоном отвечала мать. — Я настолько унижена, что дальше уже некуда. И ты еще говоришь мне об унижении? Да по какому праву? Столько лет на твоих глазах хамка, которой только навоз вилами ворошить, меня изводит, все нервы истрепала, а ты даже пальцем не пошевелишь...

— А что прикажешь делать? — Отец беспомощно разводил руками. — Не убивать же ее. Разве я виноват, что ее сюда вселили, потому что у нас *излишки метража*? Я, что ли, придумал такой жилищный закон? Ничего не попишешь. Надо еще немного потерпеть. Теперь, когда она кого-то себе нашла, наверняка уже скоро съедет.

— Знаешь, что сказал твой лучший друг, с которым вы вместе служили в армии? — Мать иронически смотрела на отца. — Он сказал: "Я всегда ценил Рудека за его просто обезоруживающую наивность!" Ты правда не понимаешь, что, собираясь от нас съехать, она вселит вместо себя каких-нибудь бандитов? И что мы тогда станем делать? До конца жизни не сможем отсюда никуда двинуться. Я должна узнать, что она замышляет. Она и этот ее *хахаль*.

Тяжелый ортопедический башмак на правой ноге Старого Хрыча снился мне по ночам. Я ждал, что у нас в доме, как в сказке про волшебную лампу Аладдина, наконец произойдет что-то, что должно произойти, случится то, что должно случиться.

Я надолго запомнил, как на следующий день после ужасного скандала, который мать закатила соседке за то, что та нанесла в квартиру грязь, Старый Хрыч подошел в кухне к отцу и впервые с ним заговорил:

— Я очень жалею, что меня вчера тут не было.

— Простите, — поднял брови отец. — Вы, кажется, еще не представились.

— ...ончек, — невнятно произнес Старый Хрыч и смерил отца язвительным взглядом из-за очков в тонкой позолоченной оправе. — Я жалею, что меня вчера тут не было, — повторил он. — Будь я здесь... я б вам показал, можете не сомневаться.

— О чем, собственно, речь? — Брови на отцовском лбу поднялись еще выше. — Вы бы мне *показали*? Что именно?

— Боксерское мастерство, вот что! — Старый Хрыч с достоинством расправил плечи. — Боксерское мастерство, какого вы еще не видывали.

Отец махнул рукой и попытался презрительно рассмеяться, но ему это не очень-то удалось.

— Папа, — спросил я позже, — ты его боишься?

— Кого? — отец притворился, что не понимает.

— Старого Хрыча.

— С какой стати мне его бояться?

— Тогда скажи, кто бы кому врезал? — продолжал я расспросы. — Он тебе или ты ему?

— *Врезал?* — Отец вытаращил глаза. — О чем ты говоришь?

— Ну, если бы вы подрались... — объяснил я. — Если б в конце концов бросились друг на друга с кулаками.

— Я? На него? С кулаками? Прекрати молоть чепуху. Как ты вообще себе это представляешь? — Отец повысил голос. — Он же старый человек. Думаешь, я позволил бы себя спровоцировать? Ударил бы его?

— А если б он первый тебя ударил? Тогда что? Скажи, пап, ты бы ему врезал?

— Я сказал: прекрати.

— Врезал бы? — не сдавался я.

— Врезал, врезал... — успокоил меня наконец отец.

А минуту погодя пробормотал:

— Врезал бы, несмотря на его боксерское мастерство.

Когда из дома напротив выезжали Сивики, мать стояла у окна и плакала. Большой фургон с надписью ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ подъехал к самому подъезду, и грузчики в зеленых комбинезонах сносили с третьего этажа мебель и перекрикивались на лестнице.

— Ааа... ааа... ааа... — гудела Хеленка с первого этажа, немая от рождения, со страхом глядя, как раскачивается в воздухе огромный гданьский буфет, который грузчики несли на ремнях, а круглая деревянная ручка, оторвавшаяся от его центральной дверцы, катится по тротуару прямо в черную пасть канализационного колодца.

Мать стояла у окна и плакала. Проходили недели, месяцы, фургон с надписью ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ все чаще приезжал к нашим соседям, но к нам приехать не мог. Коммунальную квартиру мы не смогли бы разменять даже с потерей площади.

— Я сойду с ума. Увидите, здесь я скоро сойду с ума, — повторяла мать и все чаще вела себя так, будто и вправду была близка к помешательству.

Когда соседка возвращалась с работы и запиралась у себя в комнате, оставив в коридоре тошнотворный запах пота и советского одеколона, мать бежала за флакончиком французских духов и, пытаясь вытрясти из него остатки давно уже не существующего содержимого, точно экзорцист, изгоняющий могучего демона, кричала:

— Chat Noir! Chat Noir! Chat Noir![1]

1. Черный кот (*франц.*) — зд.: марка французских духов.

Однажды вечером, надев свое самое красивое платье, она подошла к дверям комнаты Ванды Ольчак, встала в позу, будто готовясь к выступлению на конкурсе чтецов-декламаторов, и, полузакрыв глаза, заговорила по-французски:

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Я не понимал ни слова, но чувствовал, что стихотворение, которое читает мать, очень грустное:

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

В комнате у соседки оборвалась музыка. Ванда Ольчак выключила радио. На молочном стекле, вставленном в дверь, появилась ее большая тень.

В полной тишине мать прочитала последнюю строфу "Альбатроса" — неизвестного мне тогда стихотворения Шарля Бодлера:

Так, поэт, ты паришь над грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе[1].

После слов "мешают тебе" мать умолкла и, опустив голову, стояла не шевелясь до тех пор, пока дверь соседкиной комнаты не открылась и Ванда Ольчак вышла в коридор в розовом стеганом халате, из-под которого торчали голые ноги в домашних туфлях, украшенных фиолетовыми помпонами.

— Ты закончила? — спросила она.

Я посмотрел на мать, мать на меня. Возможно ли, что мы оба ослышались? Ванда Ольчак никогда раньше не позволяла себе такой фамильярности.

— Что вы сказали? — мать отступила на шаг. — Что *вы* сказали? Повторите еще раз.

— Ты закончила? — повторила соседка.

— "Ты"? "Ты"? — Лицо матери исказила ужасная гримаса. — Ты со мной на "ты"?.. Да ты, наверно, не знаешь, перед кем стоишь.

1. Перевод В. Левика.

– Прекрасно знаю. – Ванда Ольчак презрительно засмеялась. – Я стою перед тобой. И обращаюсь к тебе. А ты можешь поцеловать меня в одно место!

– Ты... хамка... Ты, шлюха... Ты, свинья... – После каждого слова мать захлебывалась, будто ей не хватало воздуха.

– Свинья? – Соседка резко повернулась к матери спиной, задрала халат, под которым ничего не было, и, выпятив тяжелую белую задницу, произнесла отчетливо: – Свинья свинье жопу лижет!

Мать побледнела как полотно. Я не на шутку испугался.

– Рудек! Рудек! – закричала она не своим голосом, но отец не пришел к ней на помощь. Может, его не было дома?

Соседка заперлась в комнате, хлопнув за собой дверью с такой силой, что на пол посыпалась штукатурка.

Мы долго стояли молча. Я подумал, что в нашем доме, как в сказке о волшебной лампе Аладдина, наконец произошло то, что должно было произойти, случилось то, что должно было случиться.

– Ну чего ты стоишь... Поди, поищи своего отца, – приказала мне мать.

Я пошел в столовую. Меня мутило, будто я залпом выпил флакон французских духов. Перед глазами все еще маячили тяжелые ягодицы Ванды Ольчак и ее белые ляжки.

Впервые в жизни я видел голую женщину.

10
Центральная опора моста

– Почта! – услышал я знакомый голос.

В квартире подо мной как обезумевшая залаяла собака, царапая когтями дверь.

– Почта! – снова услышал я, и в эту минуту кто-то из жильцов впустил почтальона в подъезд.

– Спасибо!

Боже, почему он так орет!

Звякнули ключи, заскрежетал замок.

Сколько уже лет одни и те же звуки в одно и то же время.

Почтальон открыл изъеденный ржавчиной почтовый ящик и, не успел я сосчитать до десяти, с грохотом его захлопнул.

Может быть, он поднимется наверх? Я подождал минутку. Не поднялся. Пес продолжал лаять, но уже тише.

Я сбежал вниз по лестнице проверить, нет ли чего для меня.

Есть... Чепуха. Я сразу узнал штамп на конверте: Общество польско-нигерийской дружбы. Предыдущему владельцу квартиры на Семирадского все еще приходили оттуда приглашения. Я какое-то время их хранил, а потом выбрасывал на помойку. Связь с этим человеком давно оборвалась, хотя при желании я, вероятно, мог бы узнать, где он живет.

Я вскрыл конверт. В ближайший четверг известный профессор, доктор наук прочтет лекцию "Диалекты забытых нигерийских племен". Идея воспользоваться приглашением, пойти послушать профессора, а

потом еще остаться на обсуждение и фуршет в первый момент даже показалась мне привлекательной, однако я быстро убедил себя в полной ее абсурдности.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало девять двадцать, но было двадцать минут девятого.

Я подумал, что надо наконец отрегулировать время, дальше тянуть глупо. Чтобы переставить часы на час назад, достаточно было изменить в окошечке башенки одну цифру, но я не знал, как это сделать. Пришлось заглянуть в инструкцию.

Когда я покупал часы, фирма "Сони" только еще входила на польский рынок, и к электронной продукции этой фирмы прилагались инструкции исключительно на иностранных языках: английском, французском, итальянском и японском.

1. Press CLOCK SET
1. Appuyer sur CLOCK SET
1. Pressione CLOCK SET

Я прочитал первый пункт на трех языках и посмотрел на помещенный рядом рисунок, изображающий женский палец с ухоженным ногтем. Палец нажимал кнопку с надписью CLOCK SET. Хотя по-японски я не мог прочитать ни слова, даже на этом языке указание было мне совершенно понятно.

Я нажал кнопку с надписью CLOCK SET, а затем, пункт за пунктом, выполнил три последующие указания. В окошечке цифра "9" сменилась цифрой "8", и мою квартиру начало заполнять зимнее время, правильное название которого: восточно-, западно-, а может быть, центрально-европейское — снова вылетело у меня из головы.

Согласно инструкции, я должен был выполнить еще одно, пятое указание, вероятно, не менее важное, чем предыдущие, а то и еще важнее.

5. Press MEMORY
5. Appuyer MEMORY
5. Pressione MEMORY

На рисунке женский палец нажимал кнопку, обозначенную словом MEMORY, которое напоминало польское "мемуары", то есть, как объясняется в старом толковом словаре, "житейские записки, события, описанные очевидцем, современником".

Я выполнил указание и, пряча инструкцию в стол, машинально выдвинул один из нижних ящиков. Сверху там лежала картонная папка, перевязанная темно-синей лентой.

В папке хранился дневник моей прабабушки, а точнее: сто тридцать одна пронумерованная страница дневника, который дядя Эдвард переписал на машинке с уже почти не читабельной рукописи.

Папка была снабжена дарственной надписью:

Текст переписан в период с 29 ноября 1970 по 30 июня 1980 года (IV экземпляр) и передан внучке Автора, Янине Хинтц, урожденной Черской, в день ее именин с низким поклоном и наилучшими пожеланиями.

Я помню, что мать растрогалась, принимая презент, однако дядину идею совместными усилиями опубликовать дневник сочла бессмысленной.

— Кто станет это читать, Эдек, в нынешние-то времена? — пожала она плечами. — Кого это заинтересует — ведь даже ему уже неинтересно, — она выразительным жестом указала на меня, но дядю Эдварда ее слова, похоже, не убедили, и он упрямо повторял:

— Ну, не знаю, не знаю... я бы не был так уж в этом уверен.

Дневник начинался с описания переезда. Осенью 1858 года автор, тогда пятнадцатилетняя барышня, после смерти отца и продажи родового деревенского имения, перебралась с матерью и сестрами в Варшаву, где в детстве уже прожила несколько месяцев.

Варшава, Варшава... Я воображала ее себе такой красивой, такой приятной, мечтала о ней, хотела бы птицей преодолеть расстояние, отделяющее меня от столицы... В деревне мама занята хозяйством, вся в хлопотах, не заводит никаких знакомств, у нас кроме нескольких близких знакомых никто не бывает, а в Варшаве — дядя, двоюродные сестры и братья, неужто жизнь с ними не станет веселее?

Наконец после двух дней пути мы въехали в Иерусалимские Аллеи; сердце мое сильно забилось, мне не терпелось как можно скорее увидеть дорогих мне людей, а тут лошади еле плетутся...

В первый раз я не дочитал дневник даже до середины. Через полтора десятка страниц мне наскучила однообразная история семейной жизни (все эти крестины, именины, приемы, визиты, ответные визиты...), я застрял на каком-то месте и оставшиеся страницы быстро пролистал, задержавшись только на записях 1862 года. В Варшаве по приказу царского наместника тогда было введено военное положение.

Уже одиннадцатый день карнавала[1], — писала прабабушка. — Варшава на редкость тихая, спокойная, жизнь однообразная, никаких развлечений, да и кому в такое время захочется развлекаться, Цитадель[2] переполнена, аресты продолжаются...

Нас пугают, что мы можем не получить процентов, страшно подумать, что тогда будет...

Скудного нашего дохода едва хватает на самое насущное, почти каждый квартал мы залезаем в долги, которые выплачиваем в начале следующего квартала, и потому к концу опять вырастает долг...

Читая еженедельный журнал, который мама выписывает, я нашла помещаемую там поэзию скверной, но один стишок невесть почему остался у меня в памяти, и я постоянно его себе повторяю:

1. Католическая масленица, зимний период балов и увеселений.
2. Крепость, сооруженная в Варшаве в 1832–1834 гг. после разгрома Ноябрьского восстания; на протяжении почти ста лет там держали и казнили участников этого и последующих восстаний и деятелей рабочего движения.

Буря сулит покой —
Но и он обещает бурю...

Несчастье! Влодек арестован! Жандармы повезли его в крепость в Модлине. Кажется, там лучше, чем в Цитадели, но говорят, что теперь его, даже если и скоро выпустят, могут забрить в рекруты и Академии он не закончит...

Около шести часов люди обступили фигуру Божьей Матери, позажигали свечи и, пав на колени, начали петь "Боже, что Польшу..."[1].

Костелы закрыты. Ксендз Бялобжеский[2] осужден на год заключения в одной из крепостей. Архиепископом должен стать Фелинский, он уже утвержден папой...

Вчера у нас была госпожа Вайценблют, ее сын сидит вместе с Влодеком. Она говорит, что намерение поехать в Модлин может не осуществиться, возникают трудности: нужно выправить паспорт и получить разрешение от самого наместника...

Рассказывают, что, когда увозили ксендза Бялобжеского и женщины с плачем с ним прощались, он, обернувшись к ним, сказал: "Не плачьте, ведь когда жандарм везет священника, есть надежда, что он вернется, но если священник везет жандарма, тот уже не вернется никогда..."

Видеться с узником в крепости нельзя без разрешения наместника, принимает он раз в неделю, в субботу, но когда мама пошла в Замок[3], ей сообщили, что наместник уехал, а прошение можно подать только в письменном виде...

После открытия костелов я была в храме всего один раз, там полно осведомителей, и очень мало кто приходит послушать слово Божье...

Ко дню коронации ожидаются новые послабления, даже сейчас уже кое-что сделано — разрешено ходить без фонариков аж до одиннадцати вечера! Если и прочие милости будут подобного рода, мы не сможем отрицать, что монарх наш великодушен и печется о благе своих подданных...

В Комиссии казначейства однажды утром, когда чиновники едва успели прийти в канцелярию и только еще затопили печи, вбегает один из курьеров и говорит, что едет обер-полицмейстер во главе вооруженных солдат, вероятно с ревизией. Чиновники, услыхав это, вскакивают со стульев, каждый бросается к своему столу и все, что только находит, кидает в печь...

"Здесь работает господин Б.?" — спрашивает обер-полицмейстер. "О нет, — отвечает этот самый господин Б., — кажется, он в другом зале". Обер-полицмей-

1. Начало польской патриотической песни, написанной в 1816 г.
2. Антоний Бялобжеский (1793–1867) — варшавский прелат, во время патриотических манифестаций 1861 г. распорядился о закрытии костелов, чтобы преградить туда доступ российским солдатам и казакам.
3. Королевский замок в Варшаве (начал строиться в XIII в.), с 1526 до 1795 г. — резиденция польских королей, в первой половине XIX в. — резиденция царских наместников, с 1927 г. — президента Речи Посполитой. В 1944 г. взорван гитлеровцами, после восстановления (1971–1984) функционирует как государственное учреждение, открыт для посетителей.

стер идет дальше, взгляд его падает на пальто, лежащее на стуле. "Чье это пальто?" – спрашивает он. "Господина Б.", – отвечает кто-то. Он берет пальто, лезет в один, в другой карман, из третьего вынимает какую-то бумагу, разворачивает ее и читает следующую надпись: "Будущий план организации Речи Посполитой Польши".

Жалкая эта моя писанина. Я просмотрела записи за последние три года, и понравилась мне только одна фраза: "Влодек сегодня почему-то грустный, Наполеон приехал в Варшаву, строится мост на Висле ".

Когда тринадцать лет спустя, приводя после смерти матери в порядок ее бумаги, я нашел дневник и заново его перечитал, на этот раз целиком, он показался мне гораздо более интересным, чем представлялось раньше.

Прабабушка была влюблена в своего двоюродного брата Влодека, студента Медико-хирургической академии, который в день покушения на царского наместника Берга пропал без вести. Больше всего меня заинтересовало то, что история их несчастной любви была неким образом связана с историей моста через Вислу, строившегося тогда в Варшаве.

Мост по проекту инженера Станислава Кербедзя сперва строился очень быстро, и прежде чем с началом Январского восстания работы были прерваны, прабабушка загадала, что, когда мост будет готов, она соединится с любимым раз и навсегда.

Дневник заканчивался описанием сна. Прабабушке приснилось, что после покушения на царского наместника Влодек был схвачен в доме на Краковском Пшедместье; ночью жандармы увезли его на строительство моста и замуровали живьем в центральной опоре.

Сон был страшный! – читал я последние фразы. – Я проснулась с криком ужаса, вся в холодном поту, и села в постели. Боже, неужели это правда, неужели это может быть правдой? Да, ответило что-то во мне. Он там – в мосту...

Проглядывая машинописные страницы, я с изумлением обнаружил, что это никак не может быть "IV экземпляр", который "внучке автора" подарил на именины дядя Эдвард, поскольку текст был напечатан на прекрасно мне известной пишущей машинке марки "Рейнметалл" с поврежденным механизмом прокручивания ленты и непослушной клавишей, соответствующей наиболее часто употребляемой гласной "а".

Повторяющиеся на каждой странице характерные ошибки неоспоримо это доказывали.

Я ни секунды не думал, что мать, захотев иметь еще одну копию, просто перепечатала текст, ранее перепечатанный дядей Эдвардом. Скорее уж, заподозрил я, она, на основании оригинала, сочинила апокриф дневника – собственную, полностью или частично вымышленную версию событий, описанных ее бабушкой.

Действительно ли она это сделала? И если да, то по какой причине?

Хотела что-то утаить?

Чего-то стыдилась?

11
Пустые календари

У старого дома напротив бетономешалка продолжала выплевывать одно и то же слово: б-л, б-л, б-л... Висленский песок, поливаемый водой, смешивался с портландским цементом: б-лал, б-лал, б-лал...

Я смотрел в окно. Рабочий, управлявший бетономешалкой, залез на лестницу, приставленную к фигуре Божьей Матери, вытащил из-за пазухи черный полиэтиленовый мешочек, надел его Богоматери на голову, затем тщательно обернул полиэтиленом всю статую и крепко обвязал веревкой.

В сером воздухе среди голых ветвей грецкого ореха Божья Матерь выглядела как жертва убийства, которая будет похоронена в безымянной могиле.

До выхода из дома оставалось не так-то уж много времени.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало девять сорок.

Я подумал, что отец, наверно, получит в больнице много цветов. Случай на этот раз был исключительный, а ведь даже на именины сестры и санитарки из всех отделений каждый год дарили ему столько роз, гвоздик, тюльпанов и гербер, что их не могли вместить и бесчисленные мамины вазы.

Из-за цветов, которые отец приносил домой из больницы, мать всегда ужасно ему завидовала и, хотя старалась этого не показывать, выражение лица выдавало ее истинные чувства. Сама она, когда у нее был частный детский сад для десяти ребятишек, никогда столько цветов не получала.

Много лет подряд, в каждую годовщину свадьбы — семнадцатого января — отец покупал ей альпийскую фиалку в горшке, обернутом белой гофрированной бумагой. Однажды он перепутал дату, а может быть, вспомнил о годовщине с опозданием на один день, и, хотя поспешил принести из цветочного магазина традиционный подарок, мать, чтобы наказать его, выставила горшок на балкон.

Ночью ударил сильный мороз.

Бессмертная альпийская фиалка замерзла.

Я достал из шкафа черные туфли фирмы "Рэйвел", лучшие из тех, что у меня были, купленные в Лондоне за сорок фунтов. Приберегаемые для особых случаев, они служили мне уже одиннадцать лет.

Хорошенько начистить туфли!

Не опоздать!

Отец, в общем-то, немногого от меня ждал.

Я приступил к делу.

Той зимой в лучших своих туфлях я выходил из дома только один раз, но соль, которой в городе полно было в тающем снеге, успела над ними поиздеваться. С белым налетом и следами потеков на подъеме, туфли выглядели отвратительно.

Когда отец брал в руки какой-нибудь башмак, он сперва с минуту взвешивал его на ладони, а затем переворачивал и суставом указатель-

ного пальца трижды стучал по подошве. Не успев подумать, что подражаю ему, я сделал в точности то же самое.

Нехорошо...

Баночка с остатками черного гуталина "Киви", видимо, долго пролежала незакрытой, потому что гуталин высох и так затвердел, что я не мог подцепить его щеткой. Несколько комочков упали на пол, а когда я попытался их подобрать, размазались, оставив черные следы.

Я вспомнил, что в сундуке на балконе у меня должна быть другая баночка, кажется, еще полная.

Сундук я купил на барахолке сразу после переезда на Семирадского. Торговец, который свозил в Варшаву мебель с Западных земель[1], понятия не имел, кому сундук принадлежал раньше. Он только показал мне, что внутри есть тайник для бумаг и что там лежит несколько открыток с поздравлениями к Рождеству. Открытки были написаны по-немецки женщиной по имени Ханна. Заметив, что адресат мой однофамилец, я купил сундук, даже особо не торгуясь.

Перст судьбы? Конрад Хинтц... Вдруг какой-то дальний родственник? Отец почти никогда мне не рассказывал о своей семье. Может быть, я не хотел его слушать?

Я вышел на балкон. Сундук долго не желал открываться, задвижка на холоде крепко примерзла к скобе, но когда я несколько раз что было сил ее дернул, заржавевший металл поддался.

Я поднял крышку и... замер.

В сундуке на самом верху лежала кипа карманных календарей. Сколько же их там было? Тридцать? Сорок? Пожалуй, не больше, но в первый момент я не мог отделаться от впечатления, что их бессчетное множество и они заполняют весь сундук, так что, засунь я внутрь руки, они бы погрузились в эту груду по самые локти.

Я так и не выбросил старые календари и, хотя меня не раз злило, что я храню их неизвестно зачем, без конца перекладывая из угла в угол, не решился от них избавиться даже после переезда.

Сколько себя помню, в сочельник я всегда находил свои любимые календари под елкой.

Дедушка неизменно получал в подарок настенный календарь издательства "Ксёнжка и ведза". Целый год он каждое утро срывал по одному листку. Я любил гадать, что он сделает, прочитав листок: выбросит в мусор или отложит на письменный стол. Календарь обычно знакомил с жизнеописаниями коммунистических деятелей и вождей, а также напоминал о важнейших годовщинах из истории рабочего движения в Польше и в мире, но когда случались дни без годовщин и жизнеописаний, на страничках можно было обнаружить кулинарные рецепты, которые бабушка Стася собирала, или практические советы: чем вывести пятно с шелковой блузки, как прогнать крота с садового участка, как вытащить провалившуюся в бутылку пробку.

Мать облюбовала календарики "Орбиса"[2], отдавая предпочтение миниатюрным ежедневникам, которые не занимали много места в сумочке. Каждый год она старательно заполняла графы на первой стра-

1. Западные территории, до Второй мировой войны принадлежавшие Германии и по окончании войны включенные в состав польского государства.
2. "Орбис" – польское бюро путешествий.

нице, вписывая "данные владельца": имя, фамилию, адрес, телефон, группу крови. Я заметил, что одну из граф — "Сообщать в экстренных случаях" — она пропускает, оставляет пустой. Еще мать непременно помечала две даты маленькими значками, из которых один был похож на крестик, а второй — на восклицательный знак. Восклицательный знак появлялся всегда рядом с каким-нибудь из июньских дней. Крестик — возле 12 сентября. Незадолго до смерти матери я узнал, что мужчина, которого она любила, был убит немцами на войне именно в этот день.

Мой любимый календарь — Карманный справочник Дома книги — был сущим кладезем знаний; количество и разнообразие информации, помещаемой туда каждый год, когда-то меня просто-таки ошеломляли.

Греческий алфавит и таблица Менделеева, календарь на целое столетие и номограмма тригонометрических функций, реестр памятников старины мирового значения и почтовые тарифы, список коммуникационных линий и наиболее распространенные корректорские знаки, размеры печатных шрифтов и прогнозируемые курсы валют, результаты международных турниров по бриджу и охотничий календарь, перечень океанов вкупе с прилегающими морями и основные данные о солнечной системе. Целая вселенная...

Я проверял по календарю, действительно ли родился в пятницу, как говорила мать, и получалось, что так оно и есть. Еще календарь на столетие позволял узнать, каким днем недели был или будет любой день века, например, первое января двухтысячного года — дата столь далекая, что казалась мне невообразимой: вряд ли до нее удастся дожить.

Я вынул из сундука все календари, перенес в комнату и принялся раскладывать на полу по годам, быстро перелистывая каждый.

Календарей было тридцать пять; самый старый — за тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Мне тогда шел одиннадцатый год, больше всего на свете я любил удить рыбу и неизменно, вернувшись с рыбалки, записывал в календарик все, что рекомендовали записывать справочники рыболова: название водоема, атмосферные условия, способ лова, применяемые наживки, количество пойманных рыб, прочие заметки и наблюдения.

Запись от 17 июля:

Река Висла (пятьсот шестьдесят шестой километр, считая от истока).

Безоблачно, безветренно, температура 30 градусов, давление 990 гектопаскалей.

Донка с поплавком.

Личинки мясной синей мухи, смесь: картошка, пшеничный хлеб, шафран.

Рыб — 0.

Очень низкий уровень воды, Висла пересыхает.

Календарь на тысяча девятьсот девяносто пятый. Сорок четыре года и новая страсть — биржа ценных бумаг. Записи после каждой сделки: покупка или продажа, акции, количество, курс, комиссионные, потеря, прибыль.

Запись от 21 октября:

Покупка – "Торговый банк" 50 штук по 247 злотых.
Комиссионные – 100 злотых.
Продажа – "Рафако" 300 штук по 25 злотых.
Комиссионные – 120 злотых.
Прибыль – 370 злотых.

В большинстве календарей странички были пустые. Иногда, раз в несколько недель или месяцев, появлялся какой-то адрес, фамилия, номер телефона или пара слов, которые спустя годы, как правило, уже ничего мне не говорили.

Но когда в ежедневнике за тысяча девятьсот восемьдесят первый год мелькнула запись от середины декабря:

"Босиком и на коленях..." (Мать восхищена)

– я сразу вспомнил, о чем речь.

В первые дни военного положения мать находилась под огромным впечатлением от проповеди, которую примас Польши произнес в одном из варшавских костелов. Отпечатанный на стеклографе текст я нашел на улице, шрифт был такой бледный, что мать не могла ничего разобрать даже в очках. Проповедь целиком она уже выслушала раньше по радио "Свободная Европа", но попросила один фрагмент прочитать ей вслух.

Я начал сначала:

Дорогие Братья и Сестры!

"Военное положение" застигло нас, ошеломленных, сегодня на рассвете, к вечеру мы убеждаемся: это что-то грозное, и спрашиваем: что будет дальше, что будет завтра? Как нам себя вести?

Следует смиренно признать, что только Бог, который есть Властелин грядущих времен, в точности знает, что будет с каждым из нас завтра, через неделю, через год.

Военное положение вводит новые суровые законы, отменяющие прежние гражданские свободы. Невыполнение приказов властей может привести к жестким карательным мерам, вплоть до кровопролития, поскольку власти...

– Это пропусти! – нетерпеливо перебила меня мать. – Читай про то, как он собирался молить босиком и на коленях.

– Погоди, мам, сейчас я до этого дойду...

Фрагмент, которого она не могла дождаться, как раз начинался:

Церковь защищает каждую человеческую жизнь, то есть и при военном положении будет где только можно призывать к недопущению братоубийства. Нет ценности большей, чем жизнь человека. Потому я сам буду взывать к рассудку, даже если обреку себя на оскорбления, и буду, даже если мне придется идти босиком и на коленях, молить, просить: сделайте все, чтобы поляк не поднял руку на поляка.

— А знаешь, мам, что написал Куронь[1]? — сказал я, откладывая листовку с проповедью. — Он написал, что в Польше ждать уже нечего. Остается одно — восстание.

— Куронь не мог такое написать. Это исключено, — решительно заявила мать.

— Не мог? — я достал из кармана последний номер подпольного еженедельника "Тыгодник Мазовше" с письмом Яцека Куроня, тайком переданным из тюрьмы в Бялоленке. — Не мог? Однако же написал! Не выдержал. Видать, и у него сдали нервы. Послушай:

На протяжении долгих лет своей оппозиционной деятельности я призывал избегать всяческого насилия. Поэтому считаю себя обязанным поднять голос и заявить, что сейчас свержение оккупационного режима общими силами мне представляется меньшим злом.

— Господи Иисусе! — мать схватилась за голову. — Может быть, это фальшивка?

"Босиком и на коленях..." (Мать восхищена)...

Дальше до конца года только чистые страницы.

Мне вспомнилось стихотворение о пустых карманных календарях, которые старый человек заботливо хранит неизвестно зачем...

— точно стреляные гильзы
график абсурдной болезни
— точно дневник погрома[2]

Я вернулся на балкон, отыскал в сундуке баночку черного гуталина "Киви", а затем бросил внутрь охапку календарей и захлопнул крышку.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало десять двадцать.

Не опоздать!

Хорошенько начистить туфли!

Надо поторопиться.

12
Бог Солнца

Мороз немного ослаб. Столбик ртути в термометре за окном кухни стоял на минус пяти. На безоблачном небе солнце светило ярко, как в разгар жаркого лета.

Я подумал, что еще не так давно отец пользовался каждым удобным моментом, чтобы ухватить чуточку солнца. Загар не сходил у него с лица круглый год.

1. Яцек Куронь (1934 — 2004) — общественный и политический деятель, публицист, один из основателей Комитета защиты рабочих, советник руководителей "Солидарности", министр труда и социальной политики в первом демократическом правительстве.
2. Строки из стихотворения Збигнева Херберта (1924—1998) "Календари господина Когито".

— Как вы этого добиваетесь, пан Рудек? — допытывались соседки, безуспешно обнажающие на солнце свои анемичные тела.

Мать говорила, что отец в больнице часами поджаривается под кварцевой лампой, — вот в чем его секрет.

— Я? Под кварцевой лампой? На работе? Чепуха... — возмущался он и объяснял, что просто у него смуглая кожа; у людей с большим количеством пигмента в коже загар всегда держится очень долго.

Когда, уже ранней весной, отец всерьез принимался загорать, все необходимые манипуляции он проделывал с едва ли не маниакальным педантизмом.

Каждое солнечное воскресенье, ровно в полдень, открыв выходящее на юг окно, раздевшись до плавок, тщательно натершись маслом для грудных младенцев, он примащивался на подоконнике и загорал с часами в руке, каждые десять минут меняя положение, пока солнце не пряталось за соседний дом.

Масло для грудных младенцев... По мнению отца, ничто, даже какаовое масло, так не способствовало загару.

В тот год, когда метеосводки пообещали нам лето столетия, в мае в Польшу пожаловал солнечный азорский циклон и много месяцев отказывался ее покидать.

В середине июля мы с отцом, как обычно, собрались на две недели в профсоюзный дом отдыха.

Пятнадцать раз подряд я ездил с ним в одно и то же место на Висле (пятьсот шестьдесят шестой километр вниз по течению, если считать от истока), в дом отдыха профсоюза работников здравоохранения, расположенный в деревне с таким непристойным названием, что мы даже стеснялись его произносить.

В первый раз с нами поехала мать, и уже через несколько дней стало ясно, что больше ноги ее тут не будет. В доме отдыха мать раздражало все: кормежка и общество, мухи и летящие на свет ночные бабочки, скрипучий сенник на кровати и выщербленный таз вместо умывальника, слабый чай марки "Уулунг" и гнущиеся алюминиевые чайные ложки.

— Прости, но к *таким* условиям я не привыкла, — повторяла она. — Куда ты нас привез, скажи на милость? Грязь, вонь и кровавый понос!

— А, чушь собачья... — махал рукой отец. — Фешенебельный курорт мне не по карману. Чего ты хочешь за эти гроши! Здесь не так уж плохо. Воздух, тишина, покой. Идеальные условия для отдыха. Знаешь, сколько было желающих на одно место? Слава богу, что мне вообще дали путевку на троих. В следующий раз это может оказаться чертовски трудно.

Так называемые "чертовские трудности" с получением путевки даже для двоих — для нас с отцом — возникали якобы каждый год, но в последний момент каким-то чудом их удавалось преодолеть.

Провести часть каникул с отцом, отправиться на Вислу удить рыбу — много лет ни о чем больше я так не мечтал.

Пятнадцать раз подряд мы ездили в одно и то же место, пятнадцать раз подряд я две недели с утра до вечера рыбачил как одержимый.

Завтрак — и на рыбалку. Обед — и на рыбалку. Ужин — и на рыбалку. Навьюченный рыболовными снастями, я спускался по еловой аллее к реке и приветствовал ее, высоко вскидывая руку.

На пятьсот шестьдесят шестом километре от истока Висла была широкая, дикая и необыкновенно красивая. Я шел туда, где лучше всего клевало, и, пока устанавливал удочки, руки у меня тряслись от волнения. Река непрерывно мне что-то рассказывала на неведомом языке, без устали неся свои воды и с бульканьем прорываясь сквозь проломы в дамбах, распадавшихся от старости.

Все, что я каждый день видел и слышал на реке, ночью возвращалось ко мне во сне: удилища, воткнутые в берег и поддерживаемые подпорками, натянутая как струна леска, тарахтенье катушки, изящные поплавки из тополиной коры, колокольчики на донках, оповещающие, что рыба клюет, пахнущие смолой лодки, привязанные к валунам, красные буйки на реке перед мелью, экскурсионные пароходы "Дзержинский" и "Мархлевский", громко молотящие колесами по воде, обрывки колючей проволоки и старые железяки, которые можно было выловить из воды в тех местах, где проходила линия фронта, но прежде всего усачи — сильные недоступные усачи, которые в особенно душные дни демонстрировали свои серебряные тела где-то посередине реки, на моих глазах выскакивая из воды с шумом, напоминающим хлопанье крыльев взлетающей с земли куропатки...

Рыбу мы с отцом отдавали женщине из соседней деревни, которая работала в доме отдыха судомойкой. Она была немой от рождения, но слышала и понимала все, что ей говорили. С сеткой, полной плотвы, тарани и окуней, мы спускались по лесенке в кухонный подвал, пропитанный запахом затхлости, огурцов и квашеной капусты.

Стоявшая у огромной раковины над грудой кастрюль и тарелок немая приветствовала нас радостным "ааа... ааа... ааа...", завидев рыбу, гладила себя по животу, вытирала руки о фартук и знаками спрашивала, сколько она нам должна.

— Нисколько. Исключено. Ни гроша. Да что вы! — традиционно возмущался отец, и тогда немая, бормоча свое "ааа... ааа... ааа...", бросала рыбу в жестяную миску и возвращала нам, сполоснув под краном, сетку, в которой я почти всегда находил потом лишенные век глаза.

В то лето столетия, когда страна задыхалась от рекордной жары, сообщения о состоянии воды в главных польских реках пробуждали во мне дурные предчувствия. В конце мая уровень воды в Висле держался близ нижней границы среднестатистических данных и каждый день опускался на два-три, а то и на десять-пятнадцать сантиметров. За весь июнь не выпало ни капли дождя, и Висла пересыхала, мало-помалу обнажая опоры мостов и песчаные отмели, на которые слетались водоплавающие птицы.

"В Завихосте двести двадцать четыре, за последние сутки уровень понизился на девятнадцать, в Пулавах двести семьдесят, за последние сутки уровень понизился на тридцать три..." Передаваемые по радио в полдень, сразу после хейнала[1] с башни Марьяцкого костела, сообщения становились все более тревожными.

1. Хейнал — сигнал времени, каждый час передаваемый по радио и обрывающийся на середине ноты. По легенде во время нашествия татар трубач с башни краковского Марьяцкого собора предупредил горожан о появлении неприятеля, но был сражен вражеской стрелой и не сумел доиграть мелодию.

Я чувствовал, что при таком низком уровне воды в Висле ловить рыбу с правого берега будет делом нелегким, и, когда мы с отцом в июле приехали в профсоюзный дом отдыха, в первый же день в этом убедился. Все лучшие места превратились в отмели, и даже в знаменитом омуте в излучине реки вода едва доставала мне до пояса. Проваливаясь в ил, я бродил по мелководью, забирался на камни и забрасывал удочки как только мог далеко, но глубина все равно была недостаточной, поплавки плашмя лежали на воде, а течение с каждым днем отдалялось к недоступному левому берегу.

Страшная жара свирепствовала целый июль. Отец чувствовал себя в своей стихии. Я был уже не ребенок, постоянного присмотра не требовал, оба мы ходили своими путями. Каждый день после завтрака отец, прихватив одеяло, куда-то исчезал и возвращался к обеду до такой степени обожженный солнцем, что его кожа казалась мне темно-синей.

В тот день зной лился с неба, как обычно, с самого утра. Я сидел на берегу с одной только удочкой и, хотя пробовал забрасывать ее в разные места, меняя наживки, рыба не желала клевать. Время приближалось к двенадцати, жара становилась нестерпимой. Сидеть и смотреть на поплавок, который даже ни разу не шелохнулся, не имело смысла. Я свернул удочку, собрал сумку и направился по берегу в сторону обрыва, к врытому в землю столбу с табличкой, на которой черной краской были выведены большие цифры: пятерка и две шестерки — пятьсот шестьдесят шестой километр реки, считая от истока.

Я слыхал, что в отдельные дни, при исключительно хорошей видимости, с обрыва можно разглядеть мост под Вышогродом — самый длинный деревянный мост в Европе.

Я взбирался наверх по крутой тропке, цепляясь за ветки деревьев и, когда земля осыпáлась из-под ног, опираясь на удилище. Уже почти добравшись до цели, я услышал мужской голос. Осторожно прошел еще несколько шагов и вдруг увидел отца. В синих шерстяных купальных трусах, подвернутых на животе и закатанных на бедрах, чтобы как можно больше тела оставалось открытым, отец стоял на самом солнцепеке и что-то возбужденно говорил, обращаясь неизвестно к кому.

Спрятавшись за кустом боярышника, я следил за каждым его движением. Отец вел себя так странно, что поначалу я испугался, не хватил ли его солнечный удар. Повернувшись лицом к молодым сосенкам, ровными рядами выстроившимся на краю обрыва, он громко говорил по-немецки, попеременно резко взмахивая руками и ногами.

До меня не сразу дошло, что отец проводит воображаемые занятия по строевой подготовке. Сосны — солдаты, он же, их командир, отдает приказы и затем сам же их выполняет. Но почему он говорит не по-польски, а по-немецки? Этого я понять не мог.

— Achtung! Rührt euch! Achtung! Rührt euch![1] — раз за разом выкрикивал он и вытягивался по стойке "смирно", чтобы через минуту поменять позицию на "вольно".

— Gewehr abnehmen! Gewehr umhängen![2] — кричал он и приставлял к ноге несуществующую винтовку, чтобы тут же взять ее наизготовку.

1. Внимание! Пошевеливайтесь! (*нем.*)
2. Оружие снять! Оружие на плечо! (*нем.*)

— Augen... rechts![1] — воскликнул он, выполнил команду — я уже ждал, что за ней последует новая, — но внезапно прервал муштру и уставился в небо, прислушиваясь к чему-то, что по ошибке можно было принять за далекий раскат грома.

Я знал, что над обрывом пролегает воздушный коридор, по которому несколько раз в день на большой высоте проносятся пассажирские реактивные самолеты.

Мы с отцом любили смотреть, как самолет чертит на небе серебряную линию, которая на глазах постепенно расширяется, распухает и, приобретя наконец совсем уж расплывчатые очертания, будто подгоняемое ветром кучевое облако, исчезает где-то за горизонтом.

Ровно в полдень вместо советских машин Ту-114 или Ту-134, которые мы видели чаще всего, над обрывом пролетала французская "каравелла" — по мнению отца, самый красивый из пассажирских самолетов.

Рев двигателей приближался. Я подумал, что, когда "каравелла" наконец появится над обрывом, отец скомандует по-немецки "Воздух! Ложись!" — и упадет на землю, закрывая голову, но ничего подобного не произошло. Напротив: отец, всматриваясь в небо, терпеливо подождал еще с полминуты и, увидав самолет, высоко поднял обе руки и стал ими размахивать, словно пытаясь помочь пилоту, сбившемуся с пути.

Французский самолет плыл по воздуху медленно и величаво, как альбатрос. Я не мог отделаться от впечатления, что пилот видит отца и, подчиняясь его указаниям, корректирует курс, чтобы безопасно провести машину над рекой.

Отец, торжествующе улыбаясь, не опускал рук, пока самолет не скрылся за горизонтом, — он будто прощался с "каравеллой", хотя, возможно, просто подставлял руки солнцу, чтобы они загорели равномерно со всех сторон.

В военной пилотке, лоснящийся от масла для грудничков, он походил на статую с обложки старинной книги о жрецах египетского бога Солнца.

13
Как стать полиглотом?

Всякий раз, когда мать давала мне прочитать вырезанные из газет статьи об известнейших полиглотах мира, я чувствовал, что должен как можно скорее что-то в своей жизни изменить.

Уже одиннадцатилетним мальчиком он самостоятельно овладел...

В возрасте двенадцати лет поражал беглым знанием...

Его феноменальная память и просто поразительное для тринадцатилетнего подростка трудолюбие...

Я читал это со стыдом. Мать украдкой за мной наблюдала, а когда я молча отдавал ей вырезки, произносила свое знаменитое: "Видишь! И ты бы так мог!"

1. Равнение направо! (*нем.*)

Мог бы, мог бы... Мог бы, если б только захотел. Но смог ли бы?

Мне исполнился двадцать один год, и вереница полиглотов, которую открывал Шампольон, а замыкали дядя Эдвард и моя старшая сестра, порождала во мне все более глубокие комплексы.

Жан Франсуа Шампольон пятилетним ребенком без запинки читал наизусть на латыни по десятку страниц молитвенника. На восьмом году жизни, молниеносно овладев древнееврейским языком, чтобы читать в подлиннике Ветхий Завет, он незамедлительно приступил к изучению арабского, сирийского, халдейского, выучил санскрит и затем коптский язык, будучи убежден, что последний откроет путь к расшифровке египетских иероглифов, что ученый в конце концов и осуществил, предварительно совершив важные открытия в области клинописи...

"Ходячая Вавилонская башня" Эмиль Кребс на семинаре восточных языков в Берлине изучал все языки, которые там преподавались, и, когда подал заявку на вакантное место переводчика при немецком посольстве в Пекине, кроме китайского уже хорошо знал сирийский, амхарский, новогреческий, грузинский, персидский, афганский, армянский, японский и языки народов Индии: урду, хинди и гуджарати. Одержимый лингвистической страстью, он не прерывал обучения, занимаясь ежедневно до трех часов ночи, и по возвращении из Китая, будучи самым молодым сотрудником информационного центра по странам Востока, выступил с ходатайством о прибавке жалованья за знание шестидесяти языков...

Анджей Гавронский на вопрос о том, сколькими языками он владеет, скромно отвечал, что не подсчитывал, но в конце концов признался, что говорит и пишет на сорока, а понимает и читает еще на сотне языков, в сущности же он, пожалуй, знал все языки мира, как живые, так и мертвые. Ему было совершенно все равно, на каком языке говорить: по-фински или по-бенгальски, по-гречески или на санскрите, а мертвыми кельтскими диалектами он пользовался с не меньшей свободой, чем современным английским...

— Видишь! И ты бы так мог!

Мог бы, мог бы... Мог бы, если б только захотел. Но смог ли бы?

Первым иностранным языком, которым мне надлежало овладеть в школе, был русский. Преподавательница русского языка, однако, вообще нас не учила, и такое положение вещей в силу неписаного уговора сторон сохранялось до окончания школы.

Говоря "вообще не учила", я совсем не хочу сказать, что она ничему не могла нас научить, что отсутствие педагогических способностей не позволяло ей установить с нами контакт, что у нее были низкие, слишком низкие требования. Нет, не в том дело. Школьная учительница русского языка не учила нас *вообще* — в самом прямом смысле слова.

Правда, уроки в соответствии с расписанием проходили два раза в неделю, но это была фикция. Сразу после звонка учительница входила

в класс, садилась за учительский стол, проверяла по списку присутствующих, но, едва закрыв журнал, погружалась в сонное оцепенение, своего рода летаргию, от которой время от времени пробуждалась исключительно для того, чтобы полистать какой-нибудь еженедельник, записать что-то на листочке или лениво порыться в сумке.

Пользуясь тем, что целый час мы *свободны*, на уроках русского языка мы делали домашние задания по математике и другим предметам, а потом отдыхали, играя в "слова" или "морской бой". "Урок" протекал в спокойствии, которое мы никоим образом не пытались нарушить. Безыскусность и нескрываемое бесстыдство, с которым учительница уклонялась от исполнения своих профессиональных обязанностей, изумляли нас, но и вызывали уважение. Неужели она сознательно занимается саботажем, в чем ее подозревал Кшись Авдеенко? Мы на свой лад сочувствовали этой вечно усталой женщине с добрым лицом, охотно выполняя единственное условие, которое она нам ставила: в конце года каждый должен был прочитать по-русски ее любимое стихотворение Михаила Лермонтова:

— Белеет парус одинокий в тумане моря голубом... — декламировал я то же, что и все остальные, чтобы — как все — получить по русскому языку отличную годовую оценку.

По сравнению с учительницей русского наш "немец", герр Полиффка, мог показаться чудовищем — отчасти из-за своей внешности. Грузный, приземистый, с мясистым багровым лицом, выпученными глазами и "займом" на голове, он постоянно требовал от учеников подтверждения, что просто поразительно похож на актера Роджера Мура, который играл Саймона Темплара в знаменитом телесериале "Святой" и слыл кумиром женщин.

Всех без исключения девочек герр Полиффка называл Франтишками, а мальчиков — Алоизиями. Вызывая ученика к доске, бросал тому прямо в лицо презрительное "Давай, бубни!" На его уроках соблюдалась образцовая дисциплина, и любое, даже малейшее ее нарушение каралось с безудержной яростью. Лютый враг новейших педагогических методов, учитель требовал одного: зубрежки, зубрежки и еще раз зубрежки. И мы зазубривали неправильные глаголы и заучивали наизусть его любимые тексты из хрестоматии о приключениях великана по имени Бодо. Я знал, что даже посреди ночи, как бы крепко ни спал, разбуженный вопросом: "Wer war Bodo?" (Кем был Бодо?), не задумываясь отвечу: "Bodo war ein Riese" (Бодо был великаном).

В приливе хорошего настроения герр Полиффка спорил на плитку горького шоколада со всяким, кто выражал желание поспрашивать у него немецкие слова (источник: Большой немецко-польский — или польско-немецкий — словарь), и я не помню случая, чтобы он проиграл.

— Hintz und Diesendorff, — плотоядно произносил он две фамилии: мою и моей одноклассницы Малгожаты.

— Hintz und Diesendorff — zu mir! (Хинтц и Дизендорф — ко мне!) — по этому приказу мы срывались со скамеек, подбегали к учительскому столу и становились по обеим его сторонам: Малгожата справа, я слева.

— Nein! Diesendorff und Hintz! — командовал герр Полиффка, показывая, что мне надлежит встать справа, а Малгожате — слева. Когда же мы послушно выполняли команду, снова изменял задание и потом еще

много раз повторял, все убыстряя темп: "Hintz und Diesendorff!", "Nein! Diesendorff und Hintz!", "Hintz und Diesendorff!", "Nein! Nein! Diesendorff und Hintz!" – вынуждая нас бегать вокруг стола.

Не помню точно, сколько раз мать скрепя сердце решалась оплачивать мои частные уроки английского, немецкого, французского, зато помню, что всякий раз обучение приходилось прерывать из-за осложнений финансового порядка.

Репетитор, найденный по объявлению, которое висело возле нашего дома на автобусной остановке ("Английский язык – дешево, быстро, результативно, на любом уровне"), поблагодарил, когда мать заявила, что платить будет *задним числом* в конце месяца, и больше мы его не видели.

С соседкой, которая до войны жила в Париже и французский знала якобы превосходно, я целый месяц встречался дважды в неделю, однако, когда мать рассудила, что "с нашими возможностями это многовато", соседке работа *перестала окупаться*.

Дольше всего – два месяца – меня обучал студент-германист, нервный тощий верзила, который, когда я обратился к нему "пан Рысек", сказал: "Паны давно перемерли, называй меня просто Рысек". Мать платила студенту задним числом, но когда захотела вычесть за урок, который мы отменили, тот обиделся и учить меня отказался.

– Давали тебе что-нибудь эти уроки? – спрашивала она меня всякий раз, когда же я бормотал в ответ что-то невнятное, с явным облегчением говорила: – Я чувствовала. Я чувствовала, что дольше тянуть незачем.

Когда мать пришла к заключению, что я зря потратил свои лучшие годы и качусь по наклонной плоскости, падаю, лечу на дно, я решил изучать иностранные языки самостоятельно.

Совет, который мы получили в школе от герра Полиффки, несмотря ни на что показался мне убедительным: "Когда вам будут говорить, что изучать язык легко и приятно, когда вас будут завлекать современными методами обучения – в игре или во сне, не верьте: это чепуха! Языку можно научиться только одним способом: зубрежкой!"

Я начал с зазубривания слов, установив себе норму: вначале сорок, а затем пятьдесят в день. Слова, чтобы лучше запоминались, я переписывал в тетрадь и до бесконечности повторял значение каждого:

der Aal – угорь
der Aar – орел
das Aas – падаль, мертвечина

За полтора месяца я освоил "Немецко-польский карманный словарь", содержащий две тысячи основных слов, и взялся за "Малый польско-немецкий словарь", в котором их было в десять раз больше. Через три месяца я увеличил норму до шестидесяти слов в день и, отдавая обучению все больше времени, самозабвенно зубрил, зубрил, зубрил...

Хотя силы у меня частенько иссякали, хотя не всегда хватало терпения, труды мои приносили результат, и запас слов – поначалу только немецких, а потом и английских, и французских – с каждым месяцем возрас-

тал. Я знал, как будет по-английски "кровяная колбаса", по-немецки "баобаб", по-французски "алебарда"; три иностранные армии слов, состоящие из сотен дивизий и тысяч батальонов, без устали маршировали в моем мозгу. Если бы обитатели всех стран мира, подобно малышам из частного детского сада моей матери, чаще всего задавали вопрос "Что это?":

Was ist das?
What is this?
Qu'est-ce que c'est? — я бы уже смог без особого напряжения объясниться по меньшей мере с половиной человечества.

Не забывая систематически пополнять запас слов ("малые" словари вскоре были заменены "большими"), я начал заучивать наизусть обороты речи, выражения и целые фразы.

К числу моих любимых книг из дедушкиной библиотеки относилось "Новое руководство для ведения современных бесед на французском, немецком и польском языках, или Обычные и доверительные беседы, дополненные беседами о путешествиях, железных дорогах, пароходах, в помощь путешественникам или особам, посвятившим себя изучению одного из этих языков".

Хотя я отнюдь не предполагал, что когда-нибудь заведу с немцем или французом обычную либо доверительную беседу на одну из включенных в "Руководство" тем, я не мог отказать себе в удовольствии повторять на трех языках:

Извозчик! Во сколько обойдется поездка с тремя предметами багажа?
Будь любезен, распишись в гостевой книге.
Нет на моем столе огнива.
Ты желаешь иметь эти книги сброшюрованными или в переплете?
Сколько стоит метр этого сукна? Назови последнюю цену.
Я позволил себе вызвать тебя, чтобы ты снял с меня мерку для сюртука.
Где я смогу приобрести добротные резиновые сапоги?
Я не в состоянии ходить в этих туфлях. Почему ты сделал их такими узконосыми? Ради моды я не хочу страдать.
Почтальон, можно я сяду к тебе на облучок?

"Руководство для ведения современных бесед..." напоминало мне нынешние "Разговорники" — из серии давно собираемых мною самоучителей издательства "Ведза повшехна", предлагавших выезжающим за границу полякам темы для интересных и полезных бесед с жителями зарубежных стран:

Какие пенсии получают у вас инвалиды?
Много ли детей рабочих и крестьян учатся в университетах?
Принимают ли у вас женщины участие в профсоюзном движении?
В Польше можно получить ссуду на строительство собственного домика. А у вас?
Хватает ли вам продуктов питания?
В Польше я часто слушаю по радио трансляции опер из "Ла Скалы". У вас есть такая возможность?

Смогу я найти в ваших магазинах мужские перчатки из светло-желтой свиной кожи?

Есть ли у вашей коммунистической партии своя газета?

Моя старшая сестра, выпускница института иностранных языков, смотрела на меня как на ненормального.

– Брат! Выброси все это дерьмо, – говорила она. – И не жаль тебе времени? Почему не взять какой-нибудь приличный учебник? Почему бы не поговорить с Мацеем?

Мацей, жених сестры, преподавал английский язык в Варшавском университете и пользовался исключительно новейшими дидактическими пособиями, привозимыми с Запада. В последнее время он рекомендовал своим студентам учебники Александра – якобы потрясающие. Один из них, "FIRST THINGS FIRST. An Integrated Course for Beginners"[1], я получил от него в подарок.

– Если хочешь, можешь ходить ко мне на занятия, – предложил он. – В группе как раз освободилось одно место.

Я пошел. Занятия проводились аудиовизуальным методом в оборудованной по последнему слову лаборатории. Студенты в наушниках сидели в закрытых застекленных кабинах, а преподаватель стоял на возвышении за пультом и мог в любой момент соединиться с каждым по отдельности или со всеми сразу.

Я занял место в кабине, которую указал мне Мацей, и надел наушники, сильно сомневаясь, что пойму хоть малую часть из того, о чем пойдет речь.

– Lesson seventy five, – через минуту услышал я энергичный голос с пленки.

Я понял. Урок семьдесят пять. С начала года студенты уже успели пройти половину учебника.

Я поправил наушники, чтобы плотнее прилегали к ушам, открыл Александра на нужной странице и посмотрел на Мацея, который подбадривающе мне кивнул.

– Have you any shoes like these? (У вас есть такие туфли?) – раздалось в наушниках.

Текст семьдесят пятого урока представлял собой диалог между продавцом обувного магазина и покупательницей. Преподаватель попеременно вселялся в образ то одного, то другого персонажа, ловко используя заранее заготовленные реквизиты.

Я сразу понял, почему жених моей сестры пять раз подряд выигрывал конкурс на самого любимого студентами преподавателя. Он был прирожденный педагог. На уроке выкладывался полностью.

Как же он работал! Я восхищался его плавными, слаженными движениями, наблюдая, как он управляется с магнитофоном, перематывая пленку ровно на столько, на сколько нужно – не дальше и не ближе, – чтобы каждая фраза, которую нам следовало повторить, начиналась в надлежащем месте.

– Have you any shoes like these? – повторили мы вопрос покупательницы, а преподаватель, как иллюзионист, вытаскивающий кролика из

1. "НАЧНИ С САМОГО НАЧАЛА. Комплексный курс для начинающих" (*англ.*).

цилиндра, внезапно извлек из-под пульта дамские лодочки, в которых я узнал уже сильно поношенные туфли моей сестры.

– What size? – Size five. – What colour? – Black (Какой размер? Пять. Какой цвет? Черный), – выспрашивал продавец, чтобы в конце концов с непритворным сожалением сообщить, что, хотя месяц назад у него были именно такие туфли, сейчас их уже нет.

– Can you get a pair for me please? (Вы сможете заказать для меня одну пару?) – клиентка явно не теряла надежды рано или поздно приобрести в этом магазине черные лодочки пятого размера.

– I'm afraid that I can't (Боюсь, что не смогу), – разводил руками продавец и объяснял, что полюбившиеся клиентке туфли, модные целых два сезона, недавно вышли из моды, и заказать их уже никак не удастся.

Диалог неуклонно стремился к эффектному завершению.

– These shoes are in fashion now (Сейчас в моде такие туфли), – раздался в наушниках голос продавца, и в ту же секунду Мацей показал нам умопомрачительные красные туфельки на высоченном тонком каблуке. Где он, черт побери, такие раздобыл? Я просто диву давался.

– They look very uncomfortable (Они выглядят очень неудобными), – растерянно произнесла покупательница, и эту реплику нам пришлось выслушать с магнитофонной ленты трижды.

Я чувствовал, что вот-вот произойдет самое важное.

– They look very uncomfortable, – в четвертый раз повторил уже Мацей, высоко поднял указательный палец, выдержал для пущего эффекта довольно долгую паузу и, нажав какую-то клавишу, пустил на полную громкость ответ продавца:

– They *are* very uncomfortable. But women always wear uncomfortable shoes! (Они *очень* неудобные. Но женщины всегда носят неудобную обувь).

Когда через минуту я вместе со всей группой под управлением Мацея ритмично, раскачиваясь как в трансе, повторял раз за разом: "They look very uncomfortable. They *are* very uncomfortable", можно было подумать, что еще несколько уроков по учебнику Александра, и я наконец *заговорю* по-английски. Скажу, кем я был, кто я есть и что в своей жизни должен незамедлительно изменить.

Месяц спустя один знакомый неожиданно предложил мне поехать в Лондон. Квартира и работа – разумеется, "по-черному" – мне были гарантированы. Заработок? Четыре фунта в час. Очень приличная ставка. Я подсчитал, что, трудясь по шесть часов в день, смогу за три месяца заработать три с лишним тысячи фунтов! Больше, чем сумма, за которую я хотел продать самую ценную семейную реликвию – золотые часы с черным рельефом на крышке, траурные часы, заказанные прабабушкой после разгрома Январского восстания.

Вначале поездка не казалась мне реальной.

Чтобы получить заграничный паспорт и визу, нужно было иметь приглашение.

Откуда его взять?

На знакомого тут рассчитывать не приходилось.

14
Speak to me...

Помочь с приглашением я попросил отца. Он обещал *посмотреть*, что сумеет сделать. Когда? Трудно сказать. Надо набраться терпения. В свое время я все узнаю.

"Трудно сказать", "набраться терпения"... Ничего хорошего это не сулило. Почему нельзя сразу взяться за дело? Мать говорила, что, хотя отец никогда в жизни ничего не устроил, именно то, о чем я попросил, в виде исключения отвечало его возможностям.

Приглашение в Англию? Да ведь достаточно просто позвонить Радванскому. Неужели так сложно поднять трубку и набрать номер? Уж кто-кто, а Радванский — тот человек, к которому отец может обратиться без стеснения.

Стефан Радванский давно жил в Англии. Лучший друг отца, еще по кадетскому корпусу! На войне они в тридцать девятом оба попали в плен к немцам, пять лет провели бок о бок в лагере для польских офицеров в Вольденберге. "Лагерь", "барак", "нары" — когда отец рассказывал о Радванском, эти три слова, в особенности "нары", повторялись непрестанно: "на одних нарах", "двухэтажные нары", "соседние нары".

После освобождения из лагеря Радванский, в отличие от отца, не захотел возвращаться в Польшу. "Почему? Потому что был не дурак. Сразу почуял, чем дело пахнет", — объясняла мать. Он поехал в Англию и, хотя поначалу, похоже, бедствовал, потом, видимо, прочно встал на ноги, поскольку купил дом в Лондоне. Отцу он впервые написал только через десять лет. С тех пор из года в год, на каждое Рождество, Радванский присылал нам поздравительные открытки. И не простые: стоило раскрыть открытку, раздавались первые такты "Ночь тиха...", "Поспешают к Вифлеему пастушки..." или еще какой-нибудь известной колядки. Мать тогда радовалась как дитя. Музыкальная открытка! В Польше долго еще нельзя было достать ничего подобного.

Я заметил, что несколько лет подряд открытка из Лондона приходила в незаклеенном конверте, который кто-то — я не знал, кто, где и когда — вкладывал в прозрачный полиэтиленовый мешочек. Возле марки с головой английской королевы или на обратной стороне конверта красовался штемпель с надписью: "Внимание! Почтовое отправление поступило из-за границы в поврежденном виде!"

— Смотри и учись: вот так в Польше обстоит дело с тайной переписки, — повторял отец и объяснял мне, что все письма и бандероли с Запада у нас контролируются. — Этим мерзавцам, — говорил он, — которые вскрывают чужие письма, роются в них, читают, ищут доллары, отправленные бедным родственникам и знакомым, часто неохота снова заклеивать конверты, но ведь нужно соблюсти приличия, вот их и упаковывают в полиэтилен и ставят штемпель — без тени стыда вбивают людям в голову, будто это не наша, а зарубежная, *западная* почта работает спустя рукава, и во благо польских граждан приходится компенсировать ее вопиющую небрежность.

Мне было двадцать лет, когда Стефан Радванский с женой, шведкой, на целую неделю приехали в Польшу. Они приплыли на пароме, захва-

тив с собой автомобиль. "Ваукссхолл" с автоматической коробкой передач — никогда раньше я не видал машин этой марки. Руль справа, желтые номерные знаки, наклейка с буквами "GB"[1] на заднем стекле — будь то даже не "ваукссхолл", а польский "фиат", все равно на варшавских улицах он бы сразу привлек внимание. Я сам видел, как на Краковском Пшедместье около гостиницы "Европейская", где остановились Радванские, народ со всех сторон обступил их машину, заглядывая внутрь.

Мать, желая принять гостей *на уровне*, продала в "Десе" серебряный подносик — еще одну чудом сохранившуюся семейную реликвию. На покупки в "Деликатесах" и на рынке у нее ушел целый день. На следующий день она с утра готовила ужин. Холодные закуски: селедка под майонезом, селедка с яблоками, маринованная селедка, ветчина, шейка, карбонад в малаге; затем суп из сушеных белых грибов, зразы с гречневой кашей и красной капустой, а на десерт клубника со сливками и — гордость матери — темный кофейный торт, пропитанный спиртом, так называемый "негр".

Радванские пришли ровно в шесть. Мне сразу бросилось в глаза, что у обоих очень белые зубы и что они беспрерывно широко улыбаются, и не думая прикрывать рот рукой.

Они принесли подарки: пачку чая "Липтон" и маленькую зеленую коробочку с мятными шоколадками "After Eight".

Радванскому в нашей квартире ужасно понравился паркет.

— Дуб? — спросил он и с видом знатока провел носком ботинка по нескольким половицам.

Отец отрицательно замотал головой. Накануне он дважды на корточках намазывал мастикой пол, а потом долго натирал его до блеска суконкой.

— Ясень? — продолжал допытываться гость из Лондона.

— Сосна, — сообщил отец.

— Сосна? Подумать только! А я был уверен, что дуб, — не мог надивиться Радванский и минуту спустя добавил, что в Англии паркет в таком превосходном состоянии — сущая роскошь.

Мать вмешалась в разговор и сказала, что в нашей бывшей, довоенной, квартире — в доме старой постройки — был дубовый паркет такого высокого качества, что в него можно было смотреться как в зеркало, да что толку: соседка, которую к нам подселили, моментально испоганила пол.

Шведка, которая совсем недурно говорила по-польски, спросила, что значит выражение "соседка, которую к нам подселили". Отец начал разъяснять ей принципы жилищной политики коммунистов, говорил долго и сбивчиво и под конец совершенно запутался в своих рассуждениях, так что мать попросила его замолчать.

— Объяснять это бессмысленно, — сказала она, — человеку, живущему в нормальном мире, таких вещей никогда не понять.

— Почему ты так думаешь? — шведка явно почувствовала себя задетой. — Почему ты считаешь, что мы не способны чего-то понять? Ведь Рудек минуту назад прекрасно все объяснил. Варшава после войны была разрушена, верно?

1. Сокр. от Great Britain — Великобритания (*англ.*).

— Да, — кивнула мать.

— На восстановление требовалось много времени, верно?

— Верно.

— Правительство хотело, чтобы люди с большими квартирами помогли тем, кому вообще негде жить, верно?

— Ну, допустим... — мать саркастически усмехнулась.

— Если б у меня была большая квартира, например, четырехкомнатная, я могла бы уступить одну комнату какой-нибудь женщине. Соседке.

— *Какой-нибудь женщине? Уступить?* — мать иронически смотрела на жену Радванского. — А на каких условиях? И на какой срок?

— Смотря по обстоятельствам, — сказала шведка. — Наверно, если б она мне не понравилась, ей бы сразу пришлось съехать.

Мать беспомощно развела руками. Ее взгляд говорил нам: "Ну вот, теперь сами видите".

Прежде чем отец связался по телефону с Радванским, прошло три недели. Якобы он много раз пытался, но никого не заставал дома. Я не слышал, что́ он говорил, когда наконец дозвонился, но наверняка разговор был для него мукой.

Во-первых, он звонил из дома, а стало быть, думал об оплате, волновался, что телефонный разговор с Англией дорого обойдется, что счетчик отбивает каждую минуту, — но нельзя ведь с места в карьер приступить к делу, сперва нужно спросить, как Радванский себя чувствует, как жена, дети и тому подобное.

Во-вторых, всякий разговор, когда отцу приходилось кого-то о чем-то просить, был для него ужасно тягостным. Скорее всего, он без конца повторял: "Правда, мне б не хотелось тебя утруждать", "Помни, если это слишком большие хлопоты..." и еще что-нибудь в этом роде.

Я объяснял отцу, что приглашение — простая формальность, что если Радванский напишет бумагу и заверит ее в консульстве, его это абсолютно ни к чему не обяжет; по приезде я возмещу ему все расходы, а моего присутствия он никоим образом не ощутит, поскольку в Лондоне мне уже гарантировано жилье, работа, вообще все.

Все, кроме приглашения. Если бы мне его прислал знакомый, у которого я собирался жить, вряд ли я получил бы паспорт. Когда в Польше коммунисты ввели военное положение, Войтек как раз находился в Лондоне. Он давно мечтал перебраться на Запад, а тут подвернулся исключительный случай. Ему мгновенно продлили визу, да и с разрешением на постоянную работу не возникло особых затруднений.

Я познакомился с Войтеком несколькими годами раньше, когда учился водить машину. Мы вместе занимались на курсах и даже экзамен сдавали вместе. Войтек работал в Министерстве культуры, референтом в Главном управлении по делам кинематографии. Работу свою он терпеть не мог, считал ее бессмысленной и вообще не видел на родине перспектив на будущее. Права он хотел получить, чтобы бросить службу и на машине отца, в одночасье скончавшегося от инфаркта, ездить по городу и левачить. В Варшаве все еще не хватало такси, на стоянках в час пик выстраивались длинные очереди, и такое — естественно, нелегальное — занятие могло приносить немалый доход.

Однажды, после занятий на курсах, Войтек ни с того ни с сего спросил, есть ли у меня "Мысли" Паскаля и не могу ли я ненадолго дать ему

эту книгу. Я дал. Он вернул ее через две недели. Сказал, что книга потрясающая и что он хотел бы обсудить со мной одну проблему, которая не дает ему покоя. Как я считаю: что, собственно, случилось в тот вечер, 23 ноября 1654 года, когда между десятью тридцатью и половиной первого Паскаль окончательно убедился, что Бог существует?

Вопрос Войтека в первый момент показался мне таким странным и удивительным, что я подумал, уж не шутит ли он. Однако, похоже, это его в самом деле интересовало, и он искал, с кем бы поговорить. А может, я ему просто нравился?

Прожив несколько лет на Западе, Войтек занялся предпринимательской деятельностью, и небезуспешно. В Лондоне он руководил строительной фирмой — именно там я мог бы поработать три месяца. Звонить мне домой он не хотел — боялся, что телефон прослушивается, — и предложил, чтобы я сам ему позвонил поздним вечером из какого-нибудь безопасного места.

Я позвонил из уличного автомата на Брацкой около "Детского мира"; было тогда в городе несколько автоматов, за два злотых соединявших с любым городом за границей: брось монету и разговаривай с Парижем, Лондоном или Мюнхеном сколько влезет. У автомата всегда стояла очередь посвященных, и, хотя почти каждый говорил очень подолгу, как правило, никто никого не подгонял.

Когда Стефан Радванский прислал мне приглашение, я приступил к самому трудному.

С паспортом — о чудо! — возни оказалось гораздо меньше, чем с визой. Британское посольство мне правда не отказало, но я был приглашен в консульский отдел для беседы. Опытные друзья посоветовали, чтобы я заранее, лучше всего на английском, подготовил ответы на все вопросы, которые мне наверняка будут заданы. Подобных вопросов следовало ожидать и в лондонском аэропорту. Если у тамошнего чиновника возникнут подозрения, что со мной что-то нечисто, меня могут отправить обратно в Польшу.

Какова цель моего визита в Великобританию?

Исключительно туристическая.

Сколько я собираюсь там пробыть?

Три месяца. Авиабилет я куплю в оба конца.

Кто меня пригласил в Великобританию?

Стефан Радванский.

Год рождения...

1915-й.

Адрес? Номер телефона?

26 Templeton Place, London S.W. 5; 370-69-44.

Кем мне приходится мистер Радванский — родственник, знакомый?

Лучший друг отца.

Как давно они знакомы?

С восемнадцати лет. Во время Второй мировой войны мой отец спас жизнь мистеру Радванскому, вытащив его, тяжело раненного, на своих плечах из-под обстрела. Попав к немцам в плен, они пять лет провели в

лагере для польских офицеров в Вольденберге, где спали на соседних нарах.

С каких пор мистер Радванский проживает в Великобритании?

С 1945 года.

Собираюсь ли я во время пребывания в Великобритании работать или учиться?

Нет. Как я сказал, цель моего визита исключительно туристическая.

Кто я по профессии? Где работаю? Получил ли на службе отпуск на три месяца?

Нет, мне не понадобилось брать отпуск. Я человек свободной профессии. Пишу... Публиковался во многих журналах.

А книги у меня тоже есть?

Пока нет. Первую я как раз готовлю к печати.

Когда она выйдет?

Надеюсь, что скоро.

Не все тут было неправдой — я действительно занимался литературным трудом. В течение трех лет, до тринадцатого декабря достопамятного года[1], я даже работал на полной ставке в редакции популярного еженедельника. В первый год работы я опубликовал на его страницах тридцать восемь текстов, не считая заметок, подписанных только инициалами; в следующем году количество публикаций сократилось почти вдвое, а на третий год не превысило даже десятка.

— Опять ничего твоего не было, — с упреком говорила мать, привыкшая, что фамилия Хинтц регулярно появляется в печати, а редакционные коллеги замучили меня вопросами, как случилось, что я утратил легкость пера.

Как это случилось? Легкости пера я утратить не мог, поскольку никогда таковой не обладал. Но писать мне действительно становилось все труднее, и, когда после введения военного положения выпуск еженедельника был приостановлен, я почувствовал истинное облегчение.

Почему я *не мог писать*? Почему на каждую вымученную страницу смотрел с отвращением, чувствуя, что *это не то*? Причиной тут вряд ли была цензура. Когда в Польше коммунисты потеряли власть и цензура перестала существовать, мне это нисколько не помогло. Почему же в таком случае я не занялся чем-нибудь другим? Почему по-прежнему хотел писать и надеялся, что когда-нибудь *смогу*? Почему все мои попытки оставались бесплодными?

Вот это было самое удивительное.

Беседа в консульском отделе прошла совсем неплохо. Я получил визу. Купил билет на самолет в оба конца. И полетел в Лондон.

Войтек встречал меня в аэропорту Хитроу. Я сразу увидел, что он какой-то вздрюченный. Неприятности на работе? Увы, да. Он потерял кучу денег — из-за паркетчика. В овальном салоне, где они меняли паркет, тот слишком тесно уложил дубовые плашки, и через двадцать четыре часа весь паркет вздыбился.

1. 13 декабря 1981 г. — день введения военного положения.

— Знаешь, на что это было похоже? — рассказывал Войтек по дороге из аэропорта. — На шатер визиря.

Я слушал, стараясь показать, как горячо я ему сочувствую.

Для поляка, приехавшего в Англию работать "по-черному", условия в квартире у Войтека были просто-таки роскошные.

Одно меня только заботило: справлюсь ли я. Мне никогда не приходилось работать на стройке, и занятие физическим трудом по двенадцать часов в день при моем пороке сердца могло оказаться делом рискованным. Войтек пообещал на первых порах дать мне что-нибудь полегче.

Мы работали в фешенебельном районе — в Челси. Сын египетского мультимиллионера купил там дом, и бригада Войтека осуществляла капитальный ремонт. Мне поручили покраску *проемов* — дверей и окон. Дом был четырехэтажный, и проемы, которых на каждом этаже было не счесть, я мог красить до конца своего пребывания в британской столице.

По понедельникам и пятницам, около полудня, владелец дома появлялся на стройке в сопровождении девицы вызывающего вида, и вместе они обходили все этажи, проверяя, идет ли работа как положено.

Я заметил, что у хозяина дома есть пунктик: он обращает особое внимание на то, закрыты ли навески окон и дверей специальной бумагой, чтоб ни одна капля краски не попала в щели.

Всякий раз, когда наступало время инспекции, парень, который красил стены в одном помещении со мной, провожая девицу взглядом, повторял сквозь стиснутые зубы: "Как бы я ее отшворил, как бы я ее отшворил", а я, вооружившись рулоном бумаги, с превеликим тщанием маскировал петли. Сын мультимиллионера однажды меня похвалил и даже распорядился выдать мне премию — пятьдесят фунтов.

Три месяца промелькнули совершенно незаметно. Каждый день после двенадцати часов работы и разговоров с Войтеком за бутылкой виски я валился на кровать и спал как убитый.

Последние три дня в Англии у меня были свободны. Я решил отправиться за покупками, приобрести кое-что для родных и для себя. Список я составил заранее: по воскресеньям бродил в центре по магазинам и все уже присмотрел. В детстве у нас с отцом была любимая игра: мы подходили к магазину с инструментами или канцтоварами, и каждый выбирал на витрине одну вещь, которую купил бы, будь у него деньги. Я запомнил, что отец однажды выбрал приспособление для прочистки канализационного стояка.

Туфли марки "Рэйвел" из фирменного магазина на Хаммерсмит значились в первых строках моего списка. Я много раз останавливался перед витриной и много раз заходил внутрь, прежде чем в конце концов выбрал подходящую пару.

Когда-то я уже покупал туфли за границей, в Вене. Эта было мое первое серьезное приобретение на Западе. Я вошел в шикарный магазин и, указав продавщице на приглянувшуюся пару, сказал по-немецки: "Ich möchte diese Schuhe kaufen"[1]. Хотя я изо всех сил старался, чтобы это прозвучало непринужденно, продавщица, вероятно, уловила в моем го-

1. Я бы хотел купить эти туфли (*нем.*).

лосе неуверенность, а то и страх, потому что, поглядев на меня сочувственно, ответила как врач, желающий успокоить крайне нервного пациента: "Aber kein Problem. Bitte, nehmen Sie Platz!"[1].

Войдя в фирменный магазин "Рэйвел" на Хаммерсмит, я заметил в дамском отделе двух девушек, которые, рассматривая туфли, громко переговаривались между собой по-английски. Мое внимание привлекла одна из них: высокая шатенка с красивым лицом, на котором выделялись чувственный рот и густые, сросшиеся на переносице брови. Наши взгляды на мгновение встретились. Я быстро отвернулся, но присутствие девушки с этой минуты не давало мне покоя.

Я украдкой наблюдал, как, собираясь примерить модные коричневые туфли на высоком каблуке, она разглаживает колготки, характерным жестом проводя ладонями от щиколоток до колен и чуть выше, а затем, закидывая ногу на ногу, поочередно надевает туфли, подходит к зеркалу и, выгибая в подъеме то одну, то другую ногу, поворачивает их, чтобы посмотреть, как туфли выглядят с разных сторон.

Вторая девушка, коротко стриженная блондинка, смотрела на подругу весьма критически.

– They look very uncomfortable, – вдруг донеслась до меня знакомая фраза, и, неожиданно для самого себя, я, точно собака Павлова, произнес вслух:

– They *are* very uncomfortable. But women always wear uncomfortable shoes.

– Pardon? – сказала "моя".

– They *are* very uncomfortable, – повторил я уже менее уверенно.

Блондинка расхохоталась.

– Я вижу, ты учился по Александру? – сказала она по-польски.

Землячка! Землячка пришла мне на помощь! Я почувствовал облегчение, но и некоторое разочарование. Однако радость моя была недолгой. Вторая девушка, та, что так меня притягивала, не знала польского. Ее странный акцент выдавал иностранное происхождение. Она была американкой. Обе, как оказалось, работали на Хаммерсмит в кафе.

Я набрался смелости и, временно отложив покупку обуви, пригласил девушек выпить по коктейлю.

Поначалу я обращался к обеим – тут мне пригодилось знание нескольких английских анекдотов и поговорок, – но чуть погодя, исчерпав весь свой запас, перешел исключительно на польский.

– Так как же все-таки обстоит дело с твоим английским? – спросила полька.

– Могу объясниться, – уклончиво ответил я.

– Точно? Спроси у меня, умею ли я плавать.

– Что?

– Спроси, умею ли я плавать.

– Can you swim?

– На воде держусь, – ответила она по-польски. – Знаешь, что это значит? Это значит, что я плаваю как топор. И через минуту пойду ко дну. Утону.

1. Никаких проблем. Присядьте, пожалуйста! (*нем.*)

Американка, которая не могла понять, о чем идет речь, вдруг взяла меня за руку.

– Speak to me... – с нажимом сказала она.

– What? What about? – выдавил я.

– About *you*. Your country. Your job. Your life. Who are you?[1] – выпалила она.

– Ну же, поговори с ней, – подбадривала меня полька. – Ты ведь кое-как объясняешься по-английски. Можешь, наверно, сказать, кто ты и чем занимаешься. Не видишь, что ты ей понравился? Неизвестно, впрочем, почему, – язвительно добавила она.

Американка продолжала держать меня за руку.

– Speak to me, please! – повторила она.

Армия английских слов, квартирующая у меня в голове, моментально бросилась врассыпную.

Полька попала в точку.

Я чувствовал, что иду ко дну. Тону.

Я молчал.

15
Числа Фибоначчи[2]

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало десять сорок пять.

Я включил телевизор. Биржевая сессия должна была начаться через пятнадцать минут. Правда, из-за аварии центрального компьютера три дня подряд объявление котировок запаздывало на час, однако компьютер, кажется, починили, и я надеялся, что на этот раз открытие произойдет вовремя.

Я посмотрел в окно. На крыше дома напротив, между красными черепицами кровли, появилась голова рабочего. Я подумал, что, если он, вызывая лифт, крикнет: "Вира!", это будет предсказанием улучшения конъюнктуры.

– Майна! Ма-а-йна! – раздался крик.

Майна. Вниз. Судьба явно наказывала меня за суеверность. Может, не следовало накануне покупать акции? "Не пытайтесь поймать падающий нож" – мелькнуло у меня в голове.

Слишком поздно. Это случилось. Я поймал падающий нож. К черту суеверия!

По второй программе телевидения шла передача о современном польском языке. Известный языковед объяснял, как делятся сложные слова. Я смотрел на него с интересом. Надо признать, что каждое выступление перед камерой он умел превращать в захватывающий спектакль.

1. Поговори со мной... – О чем?.. – О себе. О своей стране. О своей работе. О своей жизни. Кто ты? (*англ.*)

2. Фибоначчи (Леонардо Пизанский, 1180–1240) – итальянский математик, первым систематически изложивший достижения арабской математики; открытая им последовательность чисел используется на бирже для изучения динамики цен – расчета уровней откатов и отскоков.

Землетрясение
Водорез
Громоотвод

— со свойственной ему напыщенностью прочитал языковед написанные на доске слова, чтобы в следующую минуту поделить их правильно, то есть в месте соединения:

Земле-трясение
Водо-рез
Громо-отвод

— повторял я за ним, невольно воспроизводя движения его губ, а когда он закончил, нажал на кнопку пульта. Языковед исчез. Я набрал нужную цифру, чтобы открыть биржевую страницу Телегазеты.

Через минуту страница возникла на экране. Пока еще пустая. Только на полях слева в алфавитном порядке (от "Агроса" до "Универсала") располагались названия биржевых компаний. Я знал их наизусть и мог бы с закрытыми глазами перечислить все подряд, как фамилии своих одноклассников, которые учителя средней школы номер 89 сотни раз зачитывали по журналу, проверяя присутствующих (Авдеенко, Банецкая, Бербецкая...).

Десять пятьдесят девять.

Я надел начищенные до глянца туфли и еще раз смахнул с них тряпочкой невидимую пыль.

В одиннадцать я должен выйти из дому, но даже если выйду на четверть часа позже, все равно не опоздаю к отцу.

Я сел перед телевизором — за спиной у меня высилась самая большая груда старых газет, из которых я так и не успел ничего вырезать, — и с растущим нетерпением вглядывался в пустой экран.

Какой цвет появится на черном фоне?

Зеленый? Курсы пойдут вверх.

Красный? Курсы пойдут вниз.

Синий? Курсы останутся неизменными.

Кроме актуального дневного курса, который специалист брокер устанавливал для каждой компании, и выраженного в процентах изменения курса по сравнению с предыдущим днем, биржа давала в Телегазете информацию о том, сколько акций по текущему курсу можно купить и продать во время доигрывания.

В период бессы охотников покупать биржевые бумаги находилось очень немного и крупные предложения продаж до самого конца доигрываний обычно оставались невостребованными. Однако же иногда случалось, что предложения, значительно превышающие спрос, в мгновение ока неожиданно снимались с торгов и спрос, в свою очередь, брал верх над предложением — до того момента, пока не делалось десять-пятнадцать заказов и преимущество вновь не оказывалось на стороне продавцов. Борьба спроса и предложения последнее время становилась все более занимательной.

Неужто и вправду приближается хосса?

Каждый день, когда на бирже начинались котировки, я усаживался перед телевизором и всматривался в заполненный колонками цифр экран в надежде, что их язык выдаст мне какой-то важный секрет, который еще никому не удавалось у них вырвать.

Уже несколько недель доигрывание в заключительной фазе происходило весьма своеобразно. За полчаса до закрытия сессии в игру вступали... маньяки нумерологи. Предложения купли и продажи внезапно менялись весьма специфическим образом – так, чтобы фигурирующее в них количество акций выражалось числом, состоящим из одной цифры, повторенной от трех-четырех до полутора десятков раз.

Вместо предложения покупки девятнадцати тысяч ста семидесяти пяти акций "Универсала" (К 19175) появлялось предложение покупки двадцати двух тысяч двухсот двадцати двух акций той же самой компании (К 22222), вместо выставленных на продажу восьмисот тридцати шести акций Силезского банка (П 836) минуту спустя уже предлагали восемьсот восемьдесят восемь акций (П 888) и так далее.

Сколько было этих нумероманьяков и составляли ли они организованную группу, никто не знал. Поначалу биржевые комментаторы предполагали, будто кто-то так глупо развлекается, что на рынок, разумеется, никак не влияет. Однако уже вскоре "забавами" маньяков всерьез занялся Совет биржи, издав специальное постановление, строго-настрого запрещающее подобную практику.

Я заподозрил, что среди нумероманьяков есть исключительно хитроумные спекулянты, которые изобрели способ сообщать друг другу, какими бумагами, по какой цене и в каком количестве они намерены торговать на очередных сессиях. Нумеромания, думал я, своего рода заговор – у них есть шифр, который можно взломать!

– Для меня все это – черная магия, – говорил отец, когда я пытался рассказывать ему про биржу. – Впрочем, и без того, похоже, все летит в тартарары. Признайся, ты уже много потерял?

– Много, – отвечал я. – Но заработаю больше. Попомни мои слова.

Прибыль и потери. Вира и майна. Как это началось? Очень просто. Я вошел в брокерскую контору рядом со зданием, где при коммунистах – еще недавно – был их Центральный комитет, открыл счет и отдал первые распоряжения по покупке акций. В тот день индекс варшавской биржи после не прекращавшегося около года роста достиг исторического максимума на уровне 20760 пунктов, остановился и начал падать.

Спокойно, спокойно, скоро он опять начнет расти, – повторял я себе, а когда падение продолжилось, стал утешать себя любимой фразой крупных инвесторов: "Начало у меня было прекрасное – я много потерял".

Прошло полгода, год, полтора, бесса не прекращалась, и тогда я вспомнил слова инструктора, учившего меня водить машину. На первом же уроке, когда я сел за руль, он велел мне выехать на оживленный перекресток в центре города, резко затормозить и выключить мотор. Я сделал, как он сказал, немедленно парализовав движение на перекрестке. Минуту спустя, оглушенный ревом клаксонов, обливаемый потоками брани из уст других водителей, я испуганно спросил инструктора, что мне делать.

– Ничего, – флегматично ответил он, – ничего. Просто сиди и осваивайся со сложной ситуацией на перекрестке.

Из специальных книг, которые я начал покупать, неоспоримо следовало, что на бирже иных, нежели сложные, ситуаций не бывает. Я с жадностью набросился на эти книги – точно так же в детстве я читал пособия по рыболовству – и убедился, что в тех и других есть много общего.

Проистекают ли изменения биржевой конъюнктуры из хаоса и случайностей или в них можно усмотреть некий порядок, гармонию, целенаправленность? Большинство авторов, во всем мире признаваемых авторитетами в своей области, приходили к выводу, что покупка и продажа акций миллионами людей на свете имеет свой ритм. Ритм, который обнаруживается не только в иных проявлениях человеческого существования, но и везде в природе – его можно уловить в цикличности возникновения пятен на солнце, удачных периодов ловли атлантического лосося, миграции угрей и аистов, в регулярности великих сражений, создания литературных шедевров и бог весть в чем еще.

Больше всего я любил читать про Фибоначчи. Открытая гением из Пизы последовательность цифр и вытекающий из нее коэффициент, который никогда не удается вычислить до конца... Это иррациональное число 1,618..., называемое "коэффициентом вращающихся квадратов", "божественной пропорцией" или "золотым сечением" и обозначаемое двадцать первой буквой греческого алфавита "пи", является математической основой фигур, которые возникают на графиках изменения цен акций, – оно же определяет форму ракушек, сосновых шишек, рогов животных, океанских волн, штормовых туч, сетей, сотканных пауками.

Почему? Этого никто не умел объяснить.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало одиннадцать четырнадцать. Экран телевизора оставался черным. Начало котировок снова задерживалось.

В комнате зазвонил телефон. Я не поднял трубки. Наверняка отец проверял, вышел ли я из дома. После пяти звонков включился автоответчик. Я услышал свой голос:

– Это номер три три три семь два три, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала.

Кто-то повесил трубку.

Я уже собрался выключить телевизор, но прежде чем успел нажать на кнопку, мертвый экран ожил и стал заполняться колонками цифр.

Господствовал синий цвет. Курс большинства компаний с предыдущей котировки не изменился.

Не было роста, не было падения.

Равновесие.

Unch[1].

Преобладали предложения на продажу, но доигрывание могло сразу все изменить. Я решил подождать еще минуту.

Наконец-то! Началось. Господь всемогущий! Я увидел, как сто тысяч акций пивоваренного завода "Окоцим", которые кто-то хотел продать, одним распоряжением о покупке были сняты с торгов и...

Больше медлить и правда было нельзя.

1. Биржевой термин, *сокр.* от unchanged – неизменившийся (*англ.*).

16
Жизнь под мостом

Выходя из квартиры, я наткнулся на дворничиху.

Она стояла под дверью с листком бумаги в руке. Как раз собиралась позвонить, когда я открыл дверь.

– О! Вот он! Уходит? А я к нему. Слыхал уже? – спросила она, как всегда обращаясь ко мне в третьем лице. – *Матерь Божью* у нас забирают.

Опоздаю, мелькнуло у меня в голове, но я сказал:

– Что?

– Матерь Божью у нас забирают. На скверик. Или к одиннадцатому. Если не согласен, надо расписаться, – она подсунула мне листок с протестом жильцов и авторучку.

Я расписался.

У старого дома напротив белая статуя Богоматери стояла, кажется, семьдесят лет. Кому понадобилось ее переносить? И зачем? У меня не было времени это обсуждать.

Дворничиха через мое плечо заглянула в квартиру. Груда книг у стены против двери опасно кренилась вправо.

– Извините. – Я закрыл дверь. – Я очень спешу к отцу.

– Книжек у него много. Воздух сжирают.

Ключ в нижнем замке как назло не желал поворачиваться.

– Что делать... – вздохнул я.

– *Засадить всех* в подвал, – посоветовала дворничиха. – И замкнуть.

Я сбежал по лестнице вниз.

Машина стояла под деревом в нескольких шагах от дома. Вездеход "нива" советского производства, в Англии называемая "казаком". В Варшаве мало у кого были такие автомобили. В трудных условиях, на снегу и размокшем грунте, "нива" проявляла себя очень даже неплохо. Правда, толстые шины при езде производили ужасный шум, но я уже успел к этому привыкнуть.

"Ниву" я купил случайно, по объявлению. Какой-то инженер, работавший на стройке во Владивостоке, привез ее сыну в подарок, но парень мечтал о японском джипе, и ему понадобились деньги. Кстати, Владивосток в очередной раз появился в моей жизни.

Подходя к машине, я заметил, что на капоте что-то лежит. Будильник? Я проверил. Действительно. Дешевенький будильник в красном пластмассовом корпусе. Я взял его в руки: будильник стоял. Стрелки застыли на пяти часах. Рядом лежала пустая бутылка из-под водки. БЫЧЬЯ – прочитал я на этикетке неизвестное мне название. Бык, символ хоссы. Может, это хороший знак? Я открыл машину и бросил будильник и бутылку в багажник.

Мотор заработал с первого поворота ключа.

"Помни, человек должен быть готов..."

Кажется, мне начинало передаваться волнение отца. Не хотелось бы каркать, но "казак" был не в лучшей форме. Несколько дней назад на перекрестке я не смог тронуться на зеленый свет. Заклинило передний тормозной цилиндр. На редкость неприятная поломка – машина стоит

как вкопанная, и невозможно ни отогнать ее на обочину, ни взять на буксир. Выход один — дожидаться эвакуатора.

Я направился вниз по Потоцкой к Вислостраде. По какому мосту поехать? Я выбрал Шлёнско-Домбровский. Мой любимый мост. В детстве я донимал отца просьбами как можно чаще меня туда водить. Мы шли на Вислу, останавливались под первым пролетом и, задрав головы, смотрели на мост снизу. Даже в самые жаркие дни там было прохладно.

— Погляди, какие у него потроха, — говорил отец, указывая на клубок кабелей и труб, с которых капала вода. Когда поверху проезжал трамвай, мост гудел и дрожал, как рассвирепевший великан Бодо из немецкой хрестоматии.

— Увидите, если и дальше так пойдет, все мы в конце концов окажемся под мостом, — не раз говорила мать, и хотя она очень старалась, чтобы это звучало как страшное пророчество, предсказание неотвратимой катастрофы, которая рано или поздно нас постигнет по вине отца, я ни капельки не пугался. Наоборот, радовался. Перспектива провести остаток жизни под первым с пражской стороны пролетом Шлёнско-Домбровского моста чрезвычайно меня привлекала.

Если бы мы поселились на старой барже, пришвартованной неподалеку от берега, я бы мог, не выходя из дома, ловить в Висле рыбу. В будущем я бы нанялся в охранники, сторожил бы мост днем и ночью и за небольшое вознаграждение рассказывал всем желающим связанные с ним истории. Шлёнско-Домбровский мост на самом деле был гораздо старше, чем могло показаться с первого взгляда. Его построили на опорах моста Кербедзя — старого, разрушенного во время войны, — а ведь мостовые быки, как говорил дядя Ясь, это основа, быки даже гораздо важнее пролетов.

Да, именно здесь, рассказывал бы я, именно здесь, на Висле, мост Кербедзя должен был соединить Восток с Западом. Две железнодорожные линии, Петербургско-Варшавская и Варшавско-Венская, с обеих берегов реки тянулись навстречу одна другой, но им не дано было сойтись, потому что ширина колеи Петербургско-Варшавской железной дороги составляла тысячу пятьсот двадцать четыре миллиметра, а колея Варшавско-Венской дороги была, как на всем европейском континенте, на восемьдесят девять миллиметров у́же.

Наступил тысяча восемьсот шестидесятый год, продолжал бы я и рассказывал, как в октябре этого года Александр II вместе со своим сыном, будущим императором Александром III, приехал в Варшаву, чтобы заложить краеугольный камень в фундамент строящегося моста, как туда положили запаянную капсулу, полную серебряных монет, отчеканенных специально по этому случаю, как главный инженер Кербедзь вручил царю мастерок и маленький прямоугольный кусок гранита, как подполковник Смоликовский подал ему строительный раствор и царь плеснул раствор на фундамент, а каменщики выровняли поверхность и установили на ней большой гранитный блок, да, да, тот самый, который вы сейчас видите.

Я въехал на виадук. Толстые автомобильные шины катились по мокрой брусчатке с негромким чавканьем, и мне вдруг показалось, что я слышу работающую бетономешалку: б-л, б-л, б-л, б-лал, б-лал, б-лал...

На мосту мне пришлось сбавить скорость. Пробка. Два ряда машин передо мной ползли как черепахи. Далеко впереди я увидел знак "Сужение проезжей части", а еще дальше – фургон дорожной службы с желтым маячком на крыше. Фургон загораживал правую полосу, и все машины съезжали с нее влево, образуя затор. Я посмотрел на часы. Одиннадцать сорок. У меня осталось двадцать минут. Спокойно, спокойно, успеваю.

Посреди моста мне вспомнился прабабушкин дневник. Центральная мостовая опора! Неужели и вправду в центральном быке моста Кербедзя живьем замуровали мятежников, поднявших руку на царского наместника? Возможно ли такое?

– Все возможно, но как раз это маловероятно, – сказал мне знакомый архитектор, который мечтал написать книгу о самых красивых мостах мира. – Если в мостовом быке кого-то замуровали, значит там должно было быть некое подобие склепа. Как ты себе это представляешь? Ведь быки сооружали из больших гранитных блоков, – продолжал он и, сыпля профессиональными терминами типа: "гидравлический строительный раствор", "аркозовый песчаник" или "оцинкованные анкеры", объяснял мне, что отдельные блоки должны быть подогнаны друг к другу вплотную. – Иное дело цилиндры под быками, – читая свою лекцию, он все больше распалялся. – Цилиндры с диаметром до пяти метров, из листового проката. Под каждым быком таких было четыре. Да. В цилиндры запросто можно бы покидать много людей и забетонировать.

– Если так оно и было, – сказал я, – нельзя исключить, что они там до сих пор.

Место, где мостовая сужалась, наконец осталось позади, но машины передо мной еле ползли. На перекрестке возле больницы Преображения я пережил несколько страшных минут. Когда на светофоре зажегся зеленый, а мой "казак" не пожелал тронуться с места, я решил, что опять заклинило тормозной цилиндр. Я включил заднюю передачу и отпустил сцепление, в шасси заскрежетало, но, когда я с задней скорости перешел на первую, "нива" как ни в чем не бывало покатила вперед. Уффф.

Без четверти двенадцать я был уже в районе Виленской площади и миновал памятник Братства по оружию, прозванный в народе памятником Четырех спящих братьев. Монумент установили в тысяча девятьсот сорок пятом году в честь воинов победоносной Красной армии; по неизвестной причине головы четырех окаменелых солдат были низко опущены. Я посмотрел вверх, на могучего красноармейца в шинели, который, широко размахнувшись, собирался кинуть из-за спины тяжелую ручную гранату. Если бы он ее кинул, граната прямиком угодила бы в стоящую неподалеку церковь Св. Марии Магдалины и вдребезги разнесла один из ее позолоченных византийских куполов.

Я свернул в Тарговую. Движение на улице было небольшое. Притормозить пришлось только один раз, на углу Кемпной, где два мужика вытаскивали из фургона-холодильника, перегородившего мостовую, контейнер с мясными тушами. Я вспомнил сон, приснившийся мне сегодня ночью, и подумал, что его толкование могло бы войти в книгу, которую я все еще не написал. Это бессчетное множество человеческих языков, вырванных у живых или мертвых... Языков, которые, ни на секунду не

замирая, корчились в судорожных пароксизмах, будто все безжалостно изувеченное человечество, весь мир — наш мир — взывал о помощи?.. о чем-то вопрошал?.. проклинал?.. молился?.. просил о милосердии?

Что хотела мне сказать мать за несколько дней до смерти? Я знал, что она звонила мне из больницы — именно тогда, когда я к ней ехал.

— Ты прослушал мое сообщение? — спросила она. — Я записала на автоответчик.

— Я не мог прослушать, я уже вышел из дома.

— Тогда не слушай. Не хочу, чтобы ты это услышал.

— Почему, мама?

— Потому что я очень тебя прошу. Обещаешь?

Я пообещал. Когда я вернулся домой, на телефоне мигал красный огонек автоответчика. Я не стал слушать сообщение. Перемотал пленку, вынул из аппарата кассету, положил ее в конверт и спрятал в письменный стол.

Одиннадцать пятьдесят девять.

Я припарковал машину и бегом бросился к отцу.

На третьем этаже из-за дверей квартиры, в которой глухая как пень старушка с утра включала радио на полную громкость, я услышал сигнал времени.

Двенадцать.

17
Выслуга лет

Отец, готовый в дорогу, ждал меня на пороге открытой двери.

— Наконец-то! — сказал он. — Слава богу. Я уж думал, ты опоздаешь.

Я потопал ногами, стряхивая с туфель снег. Запыхался, пока бежал, и должен был отдышаться.

— Почему ты так думал? Я ведь сказал, что буду ровно в двенадцать.

— Сказать всякое можно... — отец махнул рукой.

После бессонной ночи выглядел он ужасно. На бледном, с запавшими щеками лице проступили красные прожилки. Глаза, обведенные темными кругами, лихорадочно блестели. Он часто дышал, шумно втягивая ртом воздух.

— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил я.

— Превосходно. А с чего бы мне чувствовать себя плохо?

— Вид у тебя не бог весть... Может, стоит все это перенести?

— Перенести?! Да ты с ума сошел, — лицо отца моментально побагровело. — Перестань, наконец, действовать мне на нервы! Хотя бы в такой день.

— Спокойно, пап, — сказал я.

Отец посмотрелся в зеркало. Поправил галстук с эмблемой кадетского корпуса — половинкой солнечного диска. Металлической расческой провел по волосам, а потом проверил, взял ли ключи и бумажник. На лацкане его пиджака я заметил миниатюрную копию Креста за заслуги.

— Пошли! Чего ты ждешь? — Он снял с вешалки пальто.

Я вошел в прихожую — помочь ему взять пакеты.

В квартире висел запах горелого. Вероятно, отец до поздней ночи пек в электрическом чуде печенье. Чудо с незапамятных времен было испорчено, но отец не позволял его выбросить и всякий раз перед использованием раскручивал крышку, чтобы поправить спираль, которая вылезала из защитных асбестовых бусинок, отчего происходило короткое замыкание либо чудо раскалялось докрасна.

— Возьми это! — указал он мне на фирменную коробку с тортом, купленным у Бликле[1]. — Только осторожно. Эй! Так он у тебя сразу выпадет. Поддерживай снизу. Я б хотел довезти его в целости.

— Может, я еще что-нибудь возьму?

— Достаточно. Оставь, — отец схватил в охапку две коробки с печеньем. — Я сказал, оставь! — Он не позволил мне взять даже маленькую коробку. — Идем! — пропустил он меня вперед.

Выходя, я посмотрел на черные туфли, стоявшие на распорках под табуретом.

Вишневые были у отца на ногах.

Мы спустились по лестнице.

— Далеко у тебя машина?

— Близко.

Я не впервые подумал, что к старости отец как-то съежился и становится все меньше. Я перерос его на пару сантиметров, но когда мы шли рядом, мне казалось, что он ниже меня по крайней мере на полголовы.

— Слишком мало печенья, — сказал он. — Из-за этого проклятого чуда половину пришлось выбросить.

— Хватит. Ты ведь не прием устраиваешь. Сам говорил, что хочешь, чтобы было как можно скромнее.

— Говорил. Но надо же чем-то угостить людей.

Дом, в котором я до тридцати лет жил с родителями, как и все остальные дома по соседству, построенные во времена Владислава Гомулки, бесстыдно обнажал свое убожество.

Собственно, уже через два года нашей квартире потребовался ремонт. Раньше всего вышли из строя окна. Всякий раз, когда шел дождь, потоки воды лились на пол, и мы не поспевали расставлять в нужных местах кастрюли. Отец много лет боролся с домоуправлением, безуспешно добиваясь возмещения ущерба.

В конце жизни мать опять заговорила о переезде. Еще за год до смерти она надеялась, что это будет не последний ее адрес. Если бы я сделал карьеру, о какой она мечтала, *настоящую* карьеру, поначалу прославившись на всю Польшу, а затем и на весь мир, я купил бы квартиру или дом, где б ей только захотелось.

— Кажется, Генек снова вышел из тюрьмы. Ты его видел? — спросил отец.

Вышел? Я думал, его приговорили к пожизненному и на этот раз он уже никогда не выйдет. Сроки, которые Генек получал за налеты и кражи со взломом, всё удлинялись. Он садился в тюрьму, выходил, садился, выходил, садился... и так двадцать лет. Когда он, наголо обритый, появ-

1. Известная варшавская кондитерская Бликле, открытая в 1869 г.

лялся внезапно перед Рождеством, мы знали, что его отпустили на праздники.

Генек жил в соседнем доме, как и мы, на четвертом этаже. Окно моей комнаты глядело прямо на его балкон. Когда я сидел за пишущей машинкой, а он стоял на балконе, нас разделяло не более тридцати метров, и мне всегда казалось, что он на меня смотрит.

– Эй, ты! – крикнул он однажды.

Я притворился, что не слышу.

– Эй, ты! – крикнул он снова. – Я тебя вижу!

Я съежился на стуле. Ответить? Но что? Чего он, собственно, от меня хочет?

– Эй, ты! – крикнул он в третий раз и протянул в мою сторону алюминиевую кружку, в которой помешивал чайной ложкой. – Я сварил кисель!

Он меня просто потряс. Сварил кисель! И едва ли не с торжеством объявляет мне об этом с балкона! С ума сойти. "Я сварил кисель", – мысленно повторил я несколько раз. Простота и определенность этой фразы меня поразили. Мог ли я с такой же убежденностью сказать ему что-нибудь о себе?

– Нет, я уже очень давно не видел Генека.

Я помог отцу сесть в машину. Пристегнуться ремнем он не сумел – из-за боли в позвоночнике. Коробки с печеньем положил на колени. Поминутно поглядывал на часы, нервно зевая.

Мы тронулись.

– Интересно, получишь ты какую-нибудь награду?

– Это еще за что?

– За то, что проработал в одной больнице сорок лет без перерыва.

– Сорок шесть, – уточнил он. – Ровно столько, сколько ты живешь на свете.

– А правда, что за все эти годы ты не пропустил ни одного дня?

– Правда.

– И ни разу не опоздал на работу?

– Ни разу.

– И никогда не болел?

– Болел.

– И тогда что?

– Ничего. Работал. С любой болезнью можно справиться.

– Ну, значит, получишь медаль за выслугу лет.

– Нет такой медали. Да и не нужно мне ничего. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы все это уже закончилось и я мог лечь спать.

Ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилась фраза из отцовской биографии, опубликованной в ежеквартальнике "Речь Посполитая подхорунжих": "По окончании кадетского корпуса номер 1 во Львове Рудольф Хинтц выбрал род войск: пехоту".

– Ну хорошо, – сказал я, помолчав минуту, – я только одного не понимаю...

– Только одного? – Впервые в тот день я увидел на лице у отца улыбку. – Мне кажется, ты еще очень многого не понимаешь.

– Я не понимаю, – продолжал я, – почему ты всегда выходил из дому на час раньше, чем нужно.

– Как почему? Чтоб не опоздать!

– Да ты бы не опоздал, даже если бы выходил в половине восьмого. А ты каждый день – в половине седьмого!

– Я тыщу раз тебе говорил: человек должен быть готов к любым неожиданностям.

– Ну ладно, – не сдавался я. – А если б ты и в самом деле опоздал раз или два? Что бы случилось? Большая беда?

– Я бы не расписался в табеле.

– Ну и что?

– Пришлось бы идти в отдел кадров.

– Ну и пошел бы.

– Еще чего! Спасибо за такое удовольствие. Знаешь, какие у нас были кадровички? Я трех помню. Кошмарные бабы. Все шибко партийные.

– Неужели ты боялся? Но чего, собственно? Что тебя выгонят с работы? Вычтут половину зарплаты? За одно опоздание? Что они могли тебе сделать?

– Ничего, – покачал отец головой, – ничего особенного. Могли только *поставить на вид*. А я этого не желал. Понимаешь?

– Понимаю, – помолчав, сказал я.

– Боюсь, что нет.

В четверть первого мы были на месте. Около больницы припарковаться не удалось. Я объехал площадь и остановился у вокзала. Оттуда до подземного перехода было рукой подать.

До того как Дух сошел и обновил облик земли – нашей земли, – до того как коммунисты потеряли власть, рухнули стены и распалась империя, в подземельях Центрального вокзала работал один продовольственный магазин и два газетных киоска. Пустынные, залитые мертвенным светом коридоры вели в огромную бетонную пещеру, где гуляли ледяные сквозняки. На толстых столбах, поддерживающих свод, висели таблички с надписями ТОРГОВЛЯ В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ ЗАПРЕЩЕНА. Женщины неопределенного возраста продавали там цветы, раскладывая товар на грязных подстилках. Всякий раз, когда из-за угла неторопливым шагом лунатика выплывал милицейский патруль, женщины в мгновение ока собирали цветы, закидывали подстилки за спину и бесследно куда-то исчезали, чтобы через минуту, едва минует опасность, вернуться на прежнее место.

Бог знает что тянуло меня в эти катакомбы. Много лет чуть ли не через день я спускался вниз и совершал ритуальный обход закоулков вокзала, что занимало по меньшей мере час. Слабая надежда, что сейчас на меня снизойдет озарение, так никогда и не сбылась, а живые картины, которые я наблюдал, сами по себе не казались достойными описания.

Толстый бродяга Здислав, добродушный великан с лицом младенца, с трудом прилаживал к ногам картонные башмаки собственного изготовления и оборачивал их полиэтиленовой пленкой.

Педераст с теннисной ракеткой под мышкой дежурил около туалета, держа на поводке стриженого карликового пуделька.

Старая горбатая проститутка маленькими кулачками охаживала по голове алкаша с расстегнутой ширинкой, крича во всю глотку: "Моя рожа не писсуар!"

Продавец игрушек демонстрировал пауков из черной клейкой массы – будучи брошены на терразитовую стену, пауки прилипали к ней с мягким чавканьем, чтобы через минуту, как живые, поползти сверху вниз.

— Не уверен, что мы правильно идем, — сказал я отцу. С тех пор как вокзальные катакомбы превратились в торговый центр, мне не раз случалось терять дорогу среди сотен магазинов, магазинчиков, баров, обменных пунктов и киосков.

— Не бойся. Со мной ты здесь не пропадешь, — успокоил меня отец, но по ошибке свернул направо, и через несколько минут, описав по подземелью круг, мы оказались там же, откуда пришли.

Отец не признал, что ошибся.

— Я одного не понимаю, — сказал он раздраженно. — Почему ты идешь со мной *не в ногу*? Неужели это так трудно? Сразу видно, что ты не служил в армии.

Я посмотрел на отцовские ноги и попытался шагать в том же, что и он, ритме, но через минуту сбился.

Возле лотка, на котором продавали календари, отец на секунду остановился.

— У меня нет нового календаря. Может, уже не стоит покупать? Как ты считаешь?

— Почему не стоит? Погоди. Я тебе куплю. Смотри, какой у них выбор! — Я наклонился над лотком. — Может быть, этот? — Я показал отцу на ежедневник издательства "Святой Павел".

— Нет, — замотал он головой. — Слишком большой.

И выбрал самый маленький и самый дешевый.

Я заплатил, но отец немедленно вытащил кошелек.

— Исключено, пап, — придержал я его руку. — Полагаю, я могу подарить тебе календарь. Тем более в такой день.

В больницу мы вошли через приемный покой.

Вахтер, увидев отца, вышел из дежурки.

— Мое почтение, пан магистр! Вас уже ждут.

— Последний раз, — сказал отец. — Всему приходит конец.

— Последний? — возмутился вахтер. — Почему это — последний? Вы у нас всегда будете дорогим гостем.

Я положил на скамейку коробку с тортом.

— Можешь уже идти, — сказал отец. — Спасибо тебе за все.

— За тобой точно не надо приезжать? — спросил я. — Ты же получишь массу цветов.

— Точно. Меня отвезет Свирский. Разве что я потом еще кое о чем тебя попрошу.

— Сын? — спросил вахтер.

— Сын, — подтвердил отец.

Они вместе вошли в лифт.

Вахтер захлопнул дверь.

Я подождал, пока лифт тронется вверх.

18
Человек двуязычный

— Сколько это еще продлится... — скорее утвердительно, нежели вопросительно сказал инженер Шумский, владелец ксерографической мастерской "Дельта" на улице Словацкого. Из ксерокса новейшей кон-

струкции плавно выползали копии моего свидетельства о рождении. — Сто, от силы сто двадцать лет.

— Уже так скоро конец? — сказал я. — Вы уверены?

— Да вы что! — возмутился он.

Интонация знатока. После такого "Да вы что!" у меня не должно было остаться ни малейших сомнений. Инженер Шумский не впервые давал мне понять, что хорошо знает, о чем говорит. Крах западной цивилизации был его коньком. Он уже все проанализировал. Все подсчитал. Все проверил. Когда он начинал лекцию на свою любимую тему, я никоим образом не мог его прервать. В прошлый раз он полчаса убеждал меня, что Содом и Гоморра существовали на самом деле, а смешение языков строителей Вавилонской башни было не только наказанием за грех гордыни, но также и шансом — да, шансом, которым последующие поколения не сумели воспользоваться.

Я давно уже смотрел на инженера Шумского как на литературный персонаж. В его внешности было что-то демоническое: белые волосы, падающие с затылка на воротник, умные выразительные глаза, характерный жест, которым он крутил на пальце большой золотой перстень. Кого-то он мне напоминал. Уж не Воланда ли из "Мастера и Маргариты"? Да. Воланд вполне мог бы так выглядеть. Когда Шумский разглагольствовал о событиях, изложенных в Ветхом и Новом Завете, меня не покидало впечатление, что еще минута, и он, наклонившись ко мне, доверительно прошепчет: "Дело в том... что я лично присутствовал при всем этом... но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс!"

— Не задумывались ли вы, — инженер Шумский барабанил пальцами по ксероксу, — не задумывались ли вы когда-нибудь, в чем чудо Пятидесятницы? Сошествия Духа Святого? Обретения иных языков?

— Я постоянно об этом думаю, — ответил я.

— Ну видите. А я думаю о том, что́ мы, народ, сделали с даром речи. С даром изъясняться даже не на иных языках, а на своем собственном. Вы считаете, что мы продолжаем *говорить*, что еще способны говорить? Нет, думая так, вы заблуждаетесь. Нашей речи пришел конец, мы уже только издаем звуки, произносим слова, содержащие все меньше и меньше смысла. Этот страшный ор вокруг нас — тишина, это море слов — пустыня. Мы как...

— Болтливые немые, — подхватил я.

— Вот именно! — Инженер Шумский протянул мне готовые ксерокопии. — И цена будет страшной. Страшную цену придется нам заплатить. Да вы и сами прекрасно это знаете, я за вами наблюдаю. Повторяю: сто, от силы сто двадцать лет, и все будет кончено.

Я поблагодарил, расплатился.

Инженер Шумский проводил меня до двери.

— Я одного только не понимаю, — сказал я еще на прощанье. — Почему вы назвали свою мастерскую "Дельта"?

— В математике дельта означает приращение. Пусть у меня прирастает, — с улыбкой объяснил он.

Прямо из мастерской инженера Шумского я отправился в столовую районной управы — райсовета, как я ее называл подобно многим другим

обитателям Старого Жолибожа. В столовке райсовета я уже лет пятнадцать обедал по будням.

В тот день заведующий столовой пан Чеслав, солидный мужчина, страдающий гипертонией, был в на редкость хорошем настроении.

– Что с ней случилось, как вы думаете? – заговорил он со мной, вставляя бумажный ролик в кассу. – Что с ней дальше могло случиться?

– С кем? – не понял я.

– Как – с кем? С *Мадам*[1]! – пан Чеслав извлек из-под стойки нашумевший роман писателя, который у него столовался. На обложке мелькнула знакомая картина Пикассо – "Жаклин с поджатыми ногами".

– Спросите у автора. Он сегодня уже приходил?

– Последнее время он приходит все позже.

Я заказал протертый суп, филе минтая без картошки и салат из квашеной капусты.

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало тринадцать двадцать.

Доигрывание на биржевой сессии особых изменений не принесло. Спрос не сильно превышал предложение. Предложение – спрос.

Равновесие.

Unch.

Нумероманьяки снова дали о себе знать. "Универсал" выступил с предложением купли семидесяти семи тысяч семисот семи акций (К 77777).

Я посмотрел на горы загромождающих комнату газет и невесть в который раз подумал, что, если б только захотел, мог бы за месяц от всех от них избавиться. При одном условии: я посвящаю им не менее двух часов в день.

Делать вырезки из газет – у нас семейное. Дед с матерью долгие годы увлеченно этим занимались.

Дедушку, сколько я помню, интересовали стихийные катастрофы. Он вырезал из газет информацию об ураганах, наводнениях, землетрясениях и прочих катаклизмах на суше, в воде и воздухе. Каждое воскресенье он просматривал скопившуюся порцию и подводил еженедельный баланс потерь. Человеческие жертвы: отдельно погибшие, отдельно раненые, отдельно потерявшие крышу над головой и лишившиеся всего своего добра... Потом размышлял над этой статистикой, сверялся с Новым Заветом и качал головой, как будто бы все сходилось:

"Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела..."[2]

Из множества вырезок, сделанных моей матерью, сохранились только две. Я нашел их в конверте с надписью "Любовь и смерть".

Первая вырезка была записью беседы корреспондентки журнала "Пари матч" с французской киноактрисой. Тема беседы – любовь к одному мужчине, любовь на всю жизнь.

1. Речь идет о романе Антония Либеры "Мадам".
2. Откр. 8:7.

"Любовь, подобно религии, везде находит смысл и всему его придает", — сказала актриса, и эту фразу мать дважды подчеркнула и рядом поставила восклицательный знак.

Вторая вырезка была фрагментом репортажа о шахтере, который, когда в шахте случился обвал, чудом выжил, проведя в засыпанном отсеке семь дней, пока его не вытащили из-под земли спасатели. У него была лопата, и он каждый день съедал кусочек деревянного черенка. Репортеру он признался, что его спасла мать, которая умерла, когда он был ребенком, но отказался ответить на вопрос, каким образом она это сделала и как он просил ее о помощи. "Этого я вам не скажу. Об этом вообще нельзя рассказать словами" — эти фразы моя мать тоже подчеркнула дважды и снабдила вопросительным знаком.

В конверте с надписью "Любовь и смерть," кроме двух газетных вырезок, я нашел еще кое-что: расписку, выданную матери мастерской "БЕТОННЫЕ РАБОТЫ — Казимеж Неговский и Ежи Децик, Зелёнка, Длугая ул., 41".

> 26 июня 86
> Получен аванс на изготовление терразитовой плиты и букв.
> Сумму 13200 (тринадцать тысяч двести злотых) получил
> Поспишиль

Я знал, что на кальвинистском кладбище на Житной улице мать установила плиту на могиле мужчины, которого любила. Но почему плита была изготовлена в мастерской БЕТОННЫЕ РАБОТЫ в Зелёнке? Возможно, это не имело значения.

Я расчистил место на письменном столе, достал из ящика ножницы и картонную папку для вырезок, а потом подошел к самой высокой груде, снял с нее верхнюю стопку газет, на глаз сантиметров сорок толщиной, и с твердой уверенностью, что на этот раз мне достанет терпения, приступил к делу.

Несколько лет назад мне пришла в голову идея: раз уж я не могу написать книгу о жизни в Польской Народной Республике, попробую прибегнуть к помощи ножниц и клея — составлю текст из газетных вырезок.

Уже гораздо позже я узнал, что о подобной книге мечтала Лизавета Николаевна в "Бесах" Достоевского.

Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем, если бы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, <...> то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год. <...> Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожа-

луй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходима для справок! Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год.

Я с жаром принялся за работу, но справиться с обилием материала оказалось не так-то просто. Собрав с полсотни папок с вырезками, я вынужден был признать свое поражение. Впрочем, идея не перестала меня привлекать. Иногда я воображал, что книга опубликована и получила похвальные рецензии, а самую интересную, в "Тыгоднике повшехном", блестящий фельетонист завершил замечательной фразой:

Различие между Хинтцем и Лизаветой Николаевной в том, что он не ограничился намерениями и скомпоновал произведение, много говорящее о духовной, нравственной и внутренней жизни Польши последних лет.

Кстати, любопытно, что выбросить однажды уже прочитанную газету до того как, вооружившись ножницами, я просмотрю ее второй раз, у меня не поднималась рука. Случалось, конечно, что во внезапном приступе отчаяния я начинал запихивать газеты в полиэтиленовые мешки с твердым намерением выкинуть их на помойку, но мне никогда не хватало решимости сделать этот последний шаг. Я не мог избавиться от ощущения, что, поступив так, лишусь чего-то, что в будущем может оказаться для меня крайне важным.

Взять хотя бы фрагмент репортажа из России — каких-то несколько строк о психически больном человеке, который задумал изобрести новый язык и выразить на нем невыразимое.

Если бы кто-то подобный стал героем моей книги, он бы изучал в Москве теорию Николая Марра[1], знатока кавказских языков, который силился создать марксистскую лингвистику и, до того как был раскритикован Сталиным, считался в Советском Союзе высочайшим авторитетом в своей области. Марр утверждал, что живая речь — черта обществ, разделенных на классы, и в будущем бесклассовом обществе живой язык отомрет, а на смену ему придет единый всемирный умственный язык. Герой моей книги подозревал бы, что теория Марра вовсе не бред, как принято считать, и доказывал, что у Сталина были основания ее опасаться.

В папке с газетными вырезками, которую я озаглавил "Язык", собралось уже много прелюбопытнейших материалов — например, заметка из какого-то медицинского журнала о необъяснимом случае излечения врожденной немоты или статья о победителе конкурса на чтение от конца к началу, молодом ирландце, который на два часа сорок минут улучшил собственный мировой рекорд, а его подвиг было предложено внести в Книгу рекордов Гиннесса.

1. Николай Яковлевич Марр (1864–1934) — востоковед и лингвист, автор научно не обоснованной яфетической теории языка ("Новое учение о языке"), вначале получившей поддержку Сталина, а в 50-е гг. им же резко раскритикованной.

Я внимательно просматривал газету за газетой, а закончив, снял с груды вторую стопку, сантиметров эдак в двадцать толщиной. После того как я справился и с нею и вынес обработанные газеты в прихожую, на столе осталась одна небольшая вырезка — заметка из "Супер-экспресса", заглавие которой было набрано крупным шрифтом:

ХОЧЕШЬ БЫТЬ МОДНЫМ? СТАНЬ ЧЕЛОВЕКОМ ДВУЯЗЫЧНЫМ!

Серьги и татуировка уже не производят впечатления — сегодня, если хочешь обратить на себя внимание, ты должен разрезать себе язык. Между тем некоторые считают, что новая мода, обретающая все большую популярность, есть не что иное, как нанесение себе телесного повреждения.

Законодательные власти Иллинойса собираются ввести запрет на подобные практики. С начала нынешнего года этот запрет кое-где уже действует.

Офицеры с военно-воздушной базы в Северной Каролине рассказывают, что в феврале один солдат вынужден был заново сшить язык, поскольку иначе его бы уволили с военной службы.

Некоторые из тех, кто решается надвое разрезать язык, утверждают, что это колоссальное удобство, другие — что это духовное переживание, а есть и такие, которые говорят, что делают это, дабы шокировать окружающих.

Я дважды прочитал заметку и, нисколько не сомневаясь, что рано или поздно она мне пригодится, спрятал вырезку в папку.

В комнате зазвонил телефон. Я подождал и после четвертого звонка снял трубку.

— Да, я слушаю.

— Это я, — раздался голос отца, куда более твердый, чем утром. — Ты меня слышишь?

— Прекрасно слышу. Как дела? Хорошо прошло?

— А-а, ерунда! Директор сказал пару слов. Не о чем говорить. Послушай, у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Я получил немного цветов. Надо с ними что-то сделать. Если б ты мог приехать... Но, может, тебе не с руки?

— С руки, пап, с руки, — сказал я. — Я приеду самое позднее через полчаса.

19
Молчание

— Заходи!

Отец торжественно ввел меня в столовую и, хотя в квартире было еще светло, зажег верхний свет.

— Ну и ну... — пробормотал я.

На полу лежали — по колено отцу — четыре охапки цветов.

Розы, гвоздики, тюльпаны, герберы, ветки белой сирени, ирисы, гиацинты, фрезии.

Сестры и санитарки на этот раз превзошли самих себя.

— Ну и ну... — повторил я. — И это называется "немного" цветов?

— Скажу тебе честно: такого количества я не ожидал. Они совсем с ума посходили! — Отец смотрел на меня, смущенный и гордый. — Кстати, чувствуешь себя, как на собственных похоронах. Вот тебе! Награда за выслугу лет!

— Перестань, пап. — Запах горелого, несколько часов назад витавший в квартире, уже полностью уступил место душному сладковатому аромату — так пахнут цветы в костелах. — Скажи, что ты хочешь с ними сделать?

— Я подумал... — отец на мгновенье умолк и закончил вдруг странно изменившимся голосом: — Я подумал, может, ты отвезешь это все на могилу матери.

Я кивнул.

Мы молчали.

Первым нарушил молчание отец.

— Через два часа будет уже темно. Надо поспешить, если хочешь успеть.

— Успею, — я посмотрел на часы. — Не знаю только, заберу ли я за раз такую уйму.

— Заберешь. Это уж моя забота.

Из стенного шкафа в коридоре отец достал чистую белую простыню. Развернул ее, встряхнул и расстелил на полу рядом с цветами.

— Оставь на минутку меня одного, — попросил он.

Мне сразу вспомнилось всё: сборы матери в санаторий, нервная предотъездная суета, хлопанье дверок шкафа, гора одежды на полу, пустой чемодан, куда невозможно всю эту гору вместить, спокойствие и уверенность, с которыми отец приступал к укладыванию.

— Позови меня, когда закончишь, — сказал я.

Вышел и закрыл за собой дверь.

Мамина комната, *моя* бывшая комната, где когда-то возились на полу десять малышей и где я каждый день, откинув деревянную доску, ставил на нее пишущую машинку, чтобы наконец сесть и приняться за работу над книгой, которую никак не мог даже начать.

Вешая на стену в своей комнате все, что ей только хотелось повесить: картины, фотографии, вывеску дедушкиной аптеки, ринграф[1], фарфоровые тарелочки, панно, засушенные цветы, гравюру на дереве, алебастрового ангелочка, — мать пользовалась тяжелым сапожным молотком, которым можно было не только забивать, но и вытаскивать из стены гвозди.

Я помогал ей, хотя терпения мне хватало ненадолго. Держа над головой в одной руке китайский веер, а в другой — гипсовую маску Нефертити, я медленно, сантиметр за сантиметром, передвигал по стене оба предмета, а мать от дверей возбужденно командовала:

— Выше! — кричала она. — Выше! Слышишь? Еще выше! Правее! Правее, я сказала. Не знаешь, где у тебя правая рука? Хватит! Погоди. Влево! Выше! Ниже! Стоп!

1. Металлический нагрудный знак в форме щита или полумесяца, обычно с выгравированным либо нарисованным изображением Богоматери или святого, который рыцари носили поверх доспехов; подобный знак с изображением герба был на мундирах офицеров польской пехоты.

При слове "стоп" я замирал, широко раскинутые руки немели от напряжения, я ждал, пока мать подойдет ко мне, отметит на стене надлежащее место для маски и веера, а затем начнет вбивать гвозди молотком, который своею формой пробуждал во мне страх: отлитая из металла рукоятка книзу сужалась, сплющивалась и искривлялась, как бессильная ножка ребенка, пораженного детским параличом.

Стена в комнате матери, твердая бетонная стена, принимающая только стальные гвозди, которые покупались в торговых павильонах на Крулевской, была площадкой для бесконечных творческих экспериментов, за которыми отец наблюдал, храня красноречивое молчание. Любые перемены в комнате казались ему ненужными; мать жила с ощущением необходимости перемен.

Каждый месяц, каждую неделю, а бывало, и чаще, снедаемая неизбывным беспокойством, она снимала со стены все, что повесила в прошлый раз, а потом вытаскивала гвозди и забивала их в другие места, так, чтобы картины, фотографии, ринграф, алебастровый ангелочек сложились в новое созвездие, создали новый порядок, о котором было известно, что все равно он ее не удовлетворит.

Тяжелый сапожный молоток не раз отказывал матери в повиновении, штукатурка с истерзанной стены отваливалась целыми кусками, дырок от гвоздей становилось так много, что их уже не удавалось заслонять, денег на ремонт квартиры не было, так что, когда мать окончательно обезображивала свою комнату, отец покупал несколько килограммов гипса, одалживал у дворника лестницу, раздевался до трусов, надевал на голову бумажную пилотку и затем долго латал и — как говорил специалист из бригады Войтека — "причесывал" стену, что с каждым разом давалось ему все с большим трудом.

Я стоял у стены в комнате матери и смотрел на ее старое кресло-кровать, которое, когда его раскладывали на ночь, проваливалось при каждом неосторожном движении, если мать заранее не запихивала в деревянный ящик для постели все свои альбомы и коробки с фотографиями.

На прикроватном столике под лампой, рядом с очками в потрескавшейся и не раз склеивавшейся оправе, лежали две книги, с которыми мать не хотела расставаться.

"Избранные стихотворения" Казимежа Вежинского и роман чешского писателя "Ромео, Джульетта и тьма". Стихи я подарил матери на Рождество, последнее Рождество, которое мы провели вместе. Роман она купила себе сама, когда я был еще маленький. Фамилия автора упорно ассоциировалась с молитвой "Отче наш", но было в ней и что-то забавное: Отченашек. Ян Отченашек.

Всякий раз, когда мать читала роман, она не могла удержаться от слез — впрочем, даже и не старалась. У меня создалось впечатление, что она читает Отченашека специально для того, чтобы поплакать, а плакала она над этой книгой так горько, что я долго боялся даже туда заглянуть. Когда впервые осмелился, мне было двенадцать лет. Я ничего не понял. Почему Джульетту зовут вовсе не Джульетта, а Эстер? Почему она часами сидит в шкафу и не выходит во двор с мужчиной, который ее полюбил? И почему люди из дома, где она живет, хотят, чтобы она оттуда убралась?

Однажды, когда я взял в руки роман Отченашека, из него что-то высыпалось. Мать засушивала в книгах полевые цветы, и в первый момент мне показалось, что это лютики или васильки, но, нагнувшись, чтобы их подобрать, я увидел маленькие бумажные звезды с одним написанным посередине словом – JUDE[1].

Есть ли они еще в книге? Я проверил. Есть.

И тут меня позвал отец.

Я вошел в столовую.

На полу, в кругу яркого света от люстры лежал белый тюк, по форме напоминающий человеческую мумию.

Отец стягивал края простыни и скалывал их английскими булавками.

– Еще одно, – сказал он. – Посмотри, что было в сегодняшней почте. – Он указал на конверт на столе.

Я взял письмо, напечатанное на официальном бланке, и прочитал: министерство национальной обороны сообщало, что подпоручику Рудольфу Хинтцу присвоено звание поручика.

– Потрясающе! Всё в один день!

– Такое уж стечение обстоятельств.

– Поздравляю, пан поручик, – сказал я.

– Вспомнили про нас наконец. Самое время, – отец махнул рукой. – Тебе пора ехать. Будь осторожен.

Я надел куртку, взял тюк с цветами, прижал к себе и ощутил в груди хрупкую тяжесть.

Старая довоенная фотография с бала в Гражданском собрании. На фотографии очень молодой человек в мундире подхорунжего держит на руках мать, а мать, с распущенными волосами, в белом бальном платье, крепко обнимает его за шею и счастливо смеется. Я вспомнил эту фотографию во всех подробностях, и вдруг на нее наложилась другая картина...

В тот день мать увезли в больницу. Я звонил каждые полчаса и спрашивал, почему "скорая" все не приезжает. Всякий раз мне говорили, что уже едет, но доехала она лишь спустя несколько часов после вызова. Мать не могла спуститься с четвертого этажа самостоятельно. У санитаров были носилки, но когда они ее увидели, даже не подумали их раскладывать.

– Вы еще что-нибудь весите? – пошутил старший из санитаров, поднатужился и взял мать на руки. Она вскрикнула, обхватила его за шею и закрыла глаза, но, когда санитар выносил ее из комнаты, повернула голову, взглядом попрощалась со столом, стульями, лампой и уже за порогом вдруг произнесла только одно слово:

– La maison[2].

Отец открыл передо мной дверь. Поправил хрупкий груз у меня в руках. Мне казалось, я несу мертвого альбатроса, которому кто-то сломал крылья.

Я подошел к машине, положил белый тюк на заднее сиденье и поехал на кладбище.

1. Еврей (*нем.*).
2. Дом (*франц.*).

Сообщение на автоответчике... Что сказала мне мать за несколько дней до смерти? Я знал, что она давно уже хочет сказать что-то важное. Три раза просила сесть рядом с ней и послушать, три раза вздыхала: "Если бы ты знал... если бы ты знал...", а потом умолкала, качая головой, или рассказывала какую-то семейную историю – далеко не самую важную, и мы оба это понимали.

– Теперь ты! – говорила она, возможно надеясь, что я первый наберусь смелости и скажу ей что-то очень важное, чего не говорил еще никому.

Я молчал.

Молчал по нескольким причинам.

Во-первых, я не был уверен, на самом ли деле важно то, что я ей мог бы сказать.

Во-вторых, я не знал, смог ли бы вообще кому-нибудь это сказать.

В-третьих, я сомневался, должен ли об этом говорить, даже если смогу.

Почему, везя отцовские цветы на могилу матери, я вместо того, чтобы сразу поехать на Повонзки[1], вначале заехал на маленькое кальвинистское кладбище на Житной улице?

Почему я это сделал? Почему стал искать другую могилу? Что увидел, когда ее нашел, или что, почудилось мне, я там вижу?

Должен ли я об этом говорить, даже если смогу?

Нет. Пожалуй, нет. Но – почему нет?

Когда, держа в руках белый тюк, я уже уходил с кладбища, возле маленького домика, где помещалась контора, какая-то женщина, посмотрев на меня удивленно, спросила:

– Что вы несете?

– Цветы на могилу матери, – ответил я, а она покачала головой и сказала: "А-а", как будто это было в порядке вещей: неся цветы на могилу, человек не идет на кладбище, а его покидает.

Интересно, что только после смерти матери я перестал блуждать, отыскивая семейную могилу.

– Не понимаю, как можно не найти свою могилу, – недоумевала мать. – Это ведь так просто, я уже сто раз тебе объясняла: входишь в четвертые ворота, идешь вдоль ограды, видишь каменного ангела с отломанным крылом, сворачиваешь направо, потом, за склепом монахинь, налево, проходишь мимо водопроводного крана, и все.

Я точно следовал ее указаниям, но не мог попасть куда надо. А ведь мать была права, это и впрямь было просто: четвертые ворота, ограда, ангел с отломанным крылом, склеп монахинь, водопроводный кран...

Когда я пришел на могилу матери, начинало темнеть. Я собрал догоревшие лампадки и остатки увядших хризантем, которые лежали там со Дня поминовения, а потом развязал тюк и стал раскладывать на могиле свежие цветы. Среди цветов я увидел бессмертную альпийскую фиалку,

1. Район Варшавы, где находится несколько кладбищ.

которую раньше не заметил. И сразу вспомнил, что сегодня семнадцатое января.

Годовщина свадьбы родителей!

Я зажег лампадку.

К простыне пристало несколько красных лепестков.

Я трижды встряхнул белый прямоугольник и сложил вдвое.

Потом еще раз.

И еще.

И еще.

20
Фибрилляция

Электронное табло на башенке часов марки "Сони" показывало шестнадцать двадцать.

Буквально минуту назад я сообразил, что уже знаю: зимнее время в Польше — центральноевропейское.

Я подошел к окну своей квартиры на втором этаже невысокого дома на улице Генрика Семирадского, художника, который сто лет назад на огромном холсте — самом большом занавесе театральной Европы — рисовал, как Вдохновение объединяет Красоту с Истиной.

На дворе уже стемнело, но стройку напротив освещали люминесцентные фонари. В их резком свете, между голыми ветвями грецкого ореха, где ранним утром еще маячила белая фигура Божьей Матери, повернутая ко мне спиной, я увидел пустой постамент из серого камня. Статуи не было.

Рабочий в черном комбинезоне и черном шлеме с прорезями для глаз, носа и рта, стоя по пояс в глубокой яме, размеренными движениями выкидывал наверх землю.

— Вира! Ви-и-ира! — знакомый голос с крыши отчаянно призывал лифт.

"Путь вверх и вниз один и тот же", — вспомнился мне афоризм Гераклита Эфесского.

Уже добрых четверть часа меня что-то тревожило. Врожденный порок сердца давал о себе знать. Перебои повторялись с равными промежутками, нарушая сердечный ритм. Неужели опять не хватает калия?

Б-л, б-л, б-л... — у старого дома напротив висленский песок, поливаемый водой, смешивался с портландским цементом; если бы бетономешалка работала как мое сердце, барабан каждые десять секунд совершал бы дополнительный оборот:

б-л, б-л, б-ла-лал;
б-л, б-л, б-ла-лал;
б-л, б-л, б-ла-лал...

В прихожей зазвонил домофон.

— Да, слушаю, — сказал я.

— Добрый вечер, — хором произнесли два голоса, показавшиеся мне знакомыми.

— Добрый вечер. Слушаю вас.

— Вы бы не могли нас впустить? Мы к вам с радостной вестью. Близится...

— Простите, я сейчас не могу разговаривать.

— Может, нам прийти попозже? — свидетели Иеговы не сдавались.

— Простите, — повторил я, — я правда не могу разговаривать.

Свидетелям Иеговы мне всегда трудно было дать решительный отпор — все-таки я был похож на отца. Они, вероятно, это чувствовали и постоянно оставляли у меня под дверью свои журналы с цветными картинками, напоминающими иллюстрации к старым соцреалистическим романам.

Однажды, будучи в хорошем настроении, а может, из чистого любопытства я впустил свидетеля Иеговы в квартиру. Он сказал, что хочет поговорить о Священном Писании. В прихожей, прежде чем я успел ему помешать, он разулся, достал из портфеля домашние туфли со стоптанными задниками и надел их. Это совершенно вывело меня из равновесия. Я смотрел на его омерзительные тапки и полосатые носки, а он читал что-то из Библии.

Иегова в шлепанцах!

Я ходил по квартире и не мог найти себе места. В окне на третьем этаже дома напротив мелькнуло лицо женщины, парализованной после инсульта.

"Смерть высматривает, а у меня постирушка".

Я подошел к книжным полкам и поглядел на словари иностранных языков: "карманные", "малые", "большие". Всего их в доме было около полусотни. Я уже давно не заучивал новые слова, но те, которые успел выучить, не вылетели из памяти, прочно там угнездились, дожидаясь, пока я найду им применение.

der Aal — угорь
der Aar — орел
der Aas — падаль, мертвечина — тихонько бубнил я.

Почему, хотя я так долго учил немецкий, английский, французский — не считая русского, который обязан был учить в школе, — ни на одном из этих языков я все еще не мог *говорить*?

Почему я не говорю на иностранных языках?

Часто, слушая музыку или засыпая — в последнее время и под доносившееся снизу ритмичное бормотанье бетономешалки, — я чувствовал, как река чужих слов течет во мне все быстрее и быстрее, но не находит выхода, бурлит, пенится, возвращается вспять, широко разливается и постепенно пересыхает.

Я брожу по мелководью.

Speak to me...
What?
What about?

Внезапно до меня с пугающей ясностью дошло: если бы девушка в фирменном магазине "Рэйвел" на лондонской Хаммерсмит попросила

сказать ей *по-польски*, кто я и кем мечтаю стать, я бы все равно промолчал или отшутился. И я подумал: раз не могу говорить об этом на родном языке, незачем изучать иностранные.

Кто бы сумел мне помочь?

Мать?

Я открыл ящик письменного стола. Конверт с кассетой из автоответчика лежал там, куда я его положил. Кассета марки "Панасоник", меньше спичечного коробка. Я проверил, перемотана ли пленка. Сообщение, оставленное матерью, находилось в самом начале.

Прослушать?

Я поменял кассеты в автоответчике. Теперь оставалось только нажать клавишу PLAY.

Я это сделал.

Пленка пошла.

— Это номер три три три семь два три, — услышал я свой голос.

Я нажал STOP.

Иногда автоответчик, прежде чем воспроизвести записанные на нем сообщения, повторял то, что я наговорил.

Я перемотал пленку назад и еще раз нажал PLAY.

— Это номер три три три семь два три, пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала... Биии!

Громкость была максимальная.

Я наклонился к самому аппарату и в полной тишине услышал записанное на пленку дыхание матери.

— Я не могу... — начала она. Голос у нее дрожал от волнения, замирал, срывался на каждом слове. — Я не могу... говорить... после сигнала... Сейчас ты... — сказала она.

И — тишина.

"Говорите? Говорю! Говорю! Говорю!" — мысленно повторял я, как заклятие.

— Я не могу говорить после сигнала. Сейчас ты...

И ни слова больше.

Но мать все еще была рядом. Я слышал, как она дышит. Пленка крутилась. Соединение не прерывалось.

Прошло еще секунд пятнадцать. Мать вздохнула. Я почувствовал, что сейчас она положит трубку. Клала она ее медленно. Очень медленно.

Я нажал STOP.

"Я не могу говорить после сигнала. Сейчас ты..."

Я закрыл глаза и крепко зажмурился.

Золотые часы с черным рельефом на крышке, траурные часы, заказанные бабушкой в фирме Чапека на Краковском Пшедместье, открылись передо мной настежь. Я увидел их золотой механизм. Золотое зубчатое колесико ритмично вращалось. Кто-то — я не знал кто и почему — вставил в венчик колесика иголку. Часы *ходили*, хотя *стояли*.

Нет, это не часы. Это в моем левом желудочке слились воедино полтора десятка сильных сокращений — кардиологи такую штуку называют *фибрилляцией*.

Я почувствовал, что меня клонит в сон.

Лег на раскладной диван посреди комнаты, погасил свет и теперь уже только по памяти мог читать названия книг, окружавших меня со всех сторон.

Тысячи слов мешались в голове и застывали, как портландский цемент, выплескивающийся из бетономешалки: б-л, б-л, б-л... Аарон, первосвященник Израиля... выбрал род войск: пехоту... даже если бы мне пришлось идти босиком и на коленях молить... поди, поищи своего отца... спокойно, спокойно... уже пятилетним ребенком... я все предвидел, все предвидел... Diesendorff *und* Hintz!? *Nein!* Hintz *und* Diesendorff! *Nein! Nein!* Diesendorff *und* Hintz... сейчас ты... сейчас ты... сейчас ты...

Я чувствовал, что засыпаю.

21
Сон

Сон был чудесный.

Поначалу я не мог в нем разобраться, не понимал, что мне, собственно, снится, чему я радуюсь, откуда мне знакомо это огромное сооружение в форме пирамиды, а может быть, достигающий небес горный массив.

Только погодя, когда картина, выпутавшись из хаоса, приблизилась, стала отчетливой, я увидел обрыв над Вислой и врытый в землю у подножья обрыва столб с табличкой, на которой черной краской были выведены большие цифры: пятерка и две шестерки — пятьсот шестьдесят шестой километр реки, считая от истока.

Высоко вверху, на самом краю обрыва я увидел — себя. Я стоял лицом к молодым сосенкам, которые росли ровными рядами, стоял именно там, где когда-то в сиянии солнца явился мне отец.

Внизу текла река, кишащая рыбой. Воздух был таким прозрачным, что линия горизонта казалась бесконечной. Я увидел деревянный мост под Вышогродом, самый большой деревянный мост в Европе, а потом все другие мосты, какие за века были построены на Висле: даже мост Кербедзя, по которому шла прабабушка.

Минуту спустя я услышал голос, который мог принадлежать мужчине, женщине или им обоим:

— Говори!

— Что говорить? — спросил я и тут же получил ответ.

— Говори, что хочешь. Только говори правду. Не бойся. Не стесняйся.

"Сейчас ты" — вспомнились мне слова матери.

— Я?

— Да.

На этот раз...

Я набрал воздуху в легкие и... начал говорить.

Я говорил о том, что принес мне день — сегодняшний день, когда я заснул в пять часов пополудни, — а возможно, также о том, что принесла мне вся жизнь.

Я говорил, что мой отец, поручик Рудольф Хинтц, на восемьдесят втором году жизни в последний раз пошел на работу в аптеку городской

инфекционной больницы, а я помог ему отвезти туда торт и печенье, которыми он угостил участников скромного прощального торжества.

Я говорил, что в больнице, которая до войны принадлежала семейству Бауманов, отец не пропустил ни одного рабочего дня и ни разу не опоздал. Он работал. Работал так хорошо, как мог, и спустя двадцать пять лет по случаю Первомайского праздника труда получил Бронзовый крест за заслуги и портфель из поддельной свиной кожи, а в газете профсоюза работников здравоохранения поместили о нем статью с фотографией.

Я говорил все быстрее, потому что мною овладел страх, что кто-нибудь меня перебьет и я не успею сказать всего, что хочу, но никто меня не перебивал.

Я мог продолжать говорить.

Я говорил, что моя мать Янина Хинтц, в девичестве Черская, долго считала меня удачным ребенком, больше того: свято верила, что из всей нашей семьи именно я в жизни пойду далеко и сделаю карьеру, настоящую карьеру, и прославлюсь поначалу на всю Польшу, а затем и на весь мир. Тогда я уеду за границу, обзаведусь там семьей, куплю квартиру или дом, буду посылать матери посылки, возможно даже, приглашу ее когда-нибудь в Вену или в Париж.

Когда мне исполнилось тридцать лет и я ни разу не выступил даже по польскому телевидению, мать сочла, что на моей карьере можно поставить крест. Да. Это уже конец, повторяла она. Никогда, никогда я не буду тем, кем должен быть, а должен я *не быть* своим отцом, должен быть личностью, человеком известным, вызывающим восхищение, к сожалению, я впустую потратил лучшие годы и один как перст, без жены, без детей качусь по наклонной плоскости, падаю, лечу на дно...

Я говорил.

Я говорил, удивляясь, что столько говорю, что *могу* столько говорить.

Река слов во мне нашла выход.

Я говорил по-польски.

Я говорил на родном языке, и все же... все же словно бы говорил на всех языках мира.

Испанские пословицы и поговорки

Перевод с испанского и вступление · Павла Грушко

Павел Грушко – это бренд. Для тех, кто привык воспринимать его как переводчика испанских и латиноамериканских поэтов, в разное время становилось сюрпризом его обращение к поэзии Англии и США, к драматургии, к испаноязычной прозе. Казенное словосочетание "поэт-переводчик" не вязалось бы с его именем, даже если бы он не был автором нескольких поэтических книг и если бы его самого не переводили в Испании, Перу, Мексике, на Кубе. Не вязалось бы, потому что Павел Грушко – поэт.

Одной из главных вех на его творческом пути стала, как и для меня, тоже выпускника Иняза, "Иностранная литература", и я благодарен редакции за предложение поздравить на страницах журнала своего коллегу и друга с семидесятипятилетием и пожелать читателям новых встреч со свидетельствами его неувядаемого таланта.

Евгений Солонович

Правильно спетая мысль не много требует слов

1

Художественное действие подбивает на многословие. Противоположное ему стремление к краткости ведёт к безмолвию. Язык *так и чешется*, разум упрекает его в болтливости, просит *держаться за зубами* — мается в желании высказаться как можно кратче. Если согласиться с тютчевской максимой, что любая "мысль изреченная есть ложь", то поговорка, выходит, наименее лжива в силу своей ёмкости, способности не изрекать избыточно.

Переводить испанские пословицы побуждает некое замешательство, когда в переводных произведениях встречаешь их русские подобия, и какой-нибудь испанский идальго, к примеру, начинает изъясняться по-нижегородски. Конечно, в ряде случаев можно найти почти нейтральный, что ли, русский аналог испанской пословицы, тем более что и те и другие зачастую ведут начало от одного и того же древнего или более позднего источника. Однако даже очень похожая на свою испанскую подругу русская поговорка выглядит чужеземкой, *пахнет Русью*. Даже во вненациональной лексике она выдаст себя своей просодией, оборотом речи, особо присущими русскому языку. Одно дело *Язык до Киева доведёт*, и совсем другое *У кого есть рот — до Рима добредёт*. Можно написать в переводе с испанского и *Язык до Киева доведёт*, так ведь кто из Испании отправлялся пешим ходом в Евразию? Эта русская на вид поговорка сама пришла издалека и была приноровлена к русской топографии. Почему и себе не позволить подобное?

Тут и возникает всегдашняя переводческая проблема — должен ли переведённый текст выглядеть так, как если бы он был написан по-русски? Наш язык,

© Павел Грушко. Перевод, вступление, 2006
© Евгений Солонович, 2006

пластичный и гостеприимный, может многое, но и сверх того — сохранять запах заморских плодов, вместо того чтобы превращать их в клюкву. Разумеется, запах этих плодов должен быть едва уловимым.

Испанские пословицы в подавляющем своём большинстве хорошо организованы метрически, почти всегда оперены рифмами, чаще всего ассонансными[1]. В своих опытах я стараюсь держаться формы русской пословицы, сохраняя по мере возможности своеобразие испанских смыслов. И рифмую даже в тех случаях, когда в оригинале рифма отсутствует, дабы не вызывать подозрений в том, что переводчик не углядел рифму в оригинале и пишет подстрочник, — маслом кашу не испортишь.

Может ли этот эксперимент принести пользу переводчикам? Ведь художественный текст, в котором встречается народное речение, в каждом случае ставит особую задачу, решать которую переводчики должны сами. Этот же художественный текст, в роли контекста по отношению к поговорке, проясняет последнюю, порой весьма туманную по смыслу для неиспанца, и обнаруживает свой скрытый смысл именно тогда, когда в тексте она *к месту*.

При том, что переведённые поговорки могут пригодиться коллегам (я, конечно, был бы им признателен за упоминание моего авторства в сносках), опыт мой имеет и побудительный характер — это призыв смело пересказывать дивные миниатюры испанского народного творчества[2].

2

Лишь один раз, при переводе романа мексиканской писательницы Лауры Эскивель "Шоколад на крутом кипятке" ("Como el agua para chocolate"), эпиграф-поговорка к этому роману перевелась, что называется, сама: *A la mesa y a la cama sólo se llama — К столу и в кровать стоит лишь позвать*. Редкий случай, когда испанские рифмы *cama — llama* магическим образом совпали с русскими *позвать — кровать*. (Не знаю, как другие, а я в детстве думал, что стихи действительно переводятся сами в рифму, — таким и бывает ощущение, когда встречаешь мастерский перевод.) Заглавие упомянутого романа — "Como el agua para chocolate" — также поговорка, и могло быть переведено фразой "На точке кипения" (приблизительный её смысл), но потеряло бы мексиканскую смуглость, что ли. И дословный перевод не выручил бы: вода тут не просто вода, а кипяток, которым заваривают не твердый шоколад, каким обычно представляется этот продукт у нас, а — молотый, для какао. То же и поговорка *Chocolate frío, / échalo al río*, — волей-неволей приходится шоколад заменить чаем: *Холодный чаёк — да и в ручеёк*.

Над каждой пословицей и поговоркой приходится ломать голову, творя то, что я назвал в своей недавней лекции в Бостонском университете *ложью во спа-*

1. Ассонанс (к примеру, *hogar-umbral* или *cera-iglesia*) на испанский слух воспринимается как полнозвучная рифма. Испанский язык, относящийся к романской группе языков, – язык вокальный, с яркой функцией не редуцирующихся гласных, в отличие от русского – консонансного строя речи, где более ощутимы звуки согласные, образующие полную рифму. Для испанского ассонанса вполне достаточно, чтобы в рифмующейся *двойчатке* (так назвал рифму О. Мандельштам) совпадали лишь ударные и заударные гласные. Ассонансным стихом (да еще на одной сквозной монорифме – *monorima*) написан чуть ли не весь Романсеро и бесчисленное множество стихов в самой Испании и в двух десятках стран испанского языка. В этих странах рифма в нашем понимании называется *rima moderna*, то есть *современная рифма*. Из-за отсутствия "испанского слуха" у некоторых русских переводчиков недавнего прошлого не повезло многим стихам, написанным ассонансами, – они переводились белым стихом, – и Лопе, и Кальдерон, и Гарсиа Лорка.

2. Не забывая, разумеется, о казусах незабвенного героя шишковской "Угрюм-реки", сыпавшего такими, скажем, перлами, как "Без рубашки ближе к телу".

сение. Ведь в целом, по печальной обмолвке Гумбольдта, не синонимичны сами языки. Что уж говорить о переводе этих многосмысленных миниатюр, — речь тут идёт разве что о посильном переводе.

Б

Без достатка жить не сладко.
Безмозглая башка куда как легка.
Безмужняя девица сама с собой ложится.
Без смелости не быть в целости.
Безумцу и урагану перечить не стану.
Без фитиля лампада, кому её надо.
Бешеный пёс стоит хозяину слёз.
Бога проси, но и сам коси.
Богатый жадюга — ни родственника, ни друга.
Бог-то даст, а на что сам горазд?
Болезнь осенняя либо долгая, либо последняя.
Ботфорты, плащ, а жизнь хоть плачь.
Была бы кобылица, а жеребёнок родится.
Был бы в сытости живот, а молва не в счёт[1].
Был ворьём, стал корчмарём.
Были дни я́сны, стали ненастны.

В

В декабре побольше дров, спи-сопи и будь здоров.
В доме вражьем сперва жену уважим.
В доме плясуна вся семья плясать должна.
В доме своём — король королём.
Верить всем хуже нет, а никому — себе во вред.
В жаркий день тёплое поддень.
В мае льёт — хлеб на весь год.
Волосы длинные, а мозги куриные.
Волк наестся мяса и в монахи подастся.
Воробьи и монахи — никудышные птахи.
Всего-то и жизни было — крещенье, свадьба, могила.
Все земли хороши, ты их знай паши.
Всё Бог да Бог, сам бы себе помог.
Всё бы льнуть языку к болящему зубку.
Всё хотел загрести, а поместилось в горсти.
Всего, что от Бога, пусть будет много.
Всяка радость в сладость.
Всяк над мертвецом плачет о своём.
В тихих водах спаси, Иисус, а в бурных и сам спасусь.
Вылечил Бог, а деньги врач уволок.
В ясный день и у мухи есть тень.

1. Из Луиса де Гонгора-и-Арготе. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Г

Где берут и не кладут, ничего и не найдут.
Где отец пьёт, там дитя мрёт.
Где чадим, там и дым.
Глаз хозяйский для коня много лучше ячменя.
Глупой рыбе враг — наживка, а не рыбак.
Говорит котлу кастрюля: на себя взгляни, грязнуля.
Голова белым-бела, а ума не нажила.
Голод в брюхе — рад и чёрствой краюхе.
Голодной волчице на месте не сидится.
Господь увечит, Господь и лечит.
Груши всем на загляденье, да немногим на съеденье.

Д

Давно разбиты мавры, а всё гремят литавры.
Дал миндаля Всевышний, да жаль, все зубы вышли.
Дамам место в горах, а мужьям при дворах.
Дарила мёдом пчела да и померла.
Два дня в счастье, сто — в напасти.
Девица и вдовица — сие не долго длится.
Девица и парень хороши в паре.
Девица, пока не проговорится.
Делись с муженьком, да не всем пирожком.
День за днём, день за днём, вот ума и наживём.
День не прочь, еще не ночь.
Для злодея и крота всего лучше темнота.
Для королевства и мошны приятели не нужны.
Для парада денег надо.
Добрая девица в девках не засидится.
Дойдёт до измены — слышат даже стены.
Долог день, коли трудиться лень.
Дом без жёнки что стол без солонки.
Дом без запора — приманка для вора.
Доход хорош, да плох делёж.
Друг-ханжа опасней ножа.
Думают юнцы, что все вокруг слепцы.
Души в тебе не чаю, а денег не обещаю.

Е

Еда без вина — грош ей цена.
Ежели босяк, повесят за пустяк.
Есть в доме хозяин — бедности не знаем.
Есть враги — спать не моги.

Ж

Жарко́е хоть какое.
Жена, когда одна, мыслями дурна.
Жена напомадится — муж к другой не повадится.
Жена слепца у зеркала без конца.
Женщина что курица: дай пинка — и образумится.
Женщина что ослица — без палки не угомонится.

З

За женщиной и огнем следи ночью и днём.
Законов свод, а мы в обход.
За крепкие штаны заломи хоть три цены.
Затеют воры дебош, тут краденое и найдёшь.
Знает всяк, где жмет башмак.
Знай уминает, а чьё — не знает.
Золотые удила не для старого осла.

И

И без грима неотразима.
И в дрянной книжке сыщутся мыслишки.
Из ружья без пули не убить косули.
Из хорошего дома хороша и солома.
Имей зависть цвет — почернел бы весь свет.
Иной курьёз берут всерьёз.
Испанец поёт, когда злится или банкрот.

К

Кабана и тестя по́решить бы вместе.
Какая хота, коли жрать охота.
Как ни крась, проступит грязь.
Как разливал масло, по рукам ясно.
Коли не врёт — не из господ.
Корчмарь бурдюк продаёт, когда рваный либо гниёт.
Красивая плутовка повяжет, как верёвка.
Краб сонлив — унесёт отлив.
Кто безгласен, тот согласен.
Кто боится могилы, живёт вполсилы.
Кто везде, тот нигде.
Кто встаёт затемно, тому удача дадена.
Кто заспится, тому весь день торопиться.
Кто любит спех — позади всех.
Кто первым прибыл, того и прибыль.
Кто смерти боится, тому и мёд — что горчица.

Л

Легка страда, коли есть еда.
Легче лёгкого бревно, коли надобно оно.
Лису ищи в леске, а шлюху в кабаке.
Ловит лиса кузнечика — значит, в норе есть нечего.
Ложь вруна на лбу видна.
Лучше свои батоги, чем твои пироги.
Любой путь за разговором покажется скорым.
Любые чудеса — на два-три часа.

М

Мала причина, а друзей разлучила.
Мало да дивно, велико да противно.
Мачеха из сахара, а падчерица ахала.
Мельница — покуда мелется.
Молву о банкире дели на четыре.
Молчи — дающий, говори — берущий.
Монаха, родной, обходи стороной.
Мучает изжога — съешь ещё немного.

Н

Набивай кишку — ей носить башку.
Набивай, корзинка, цену для рынка.
Навоз не с неба, а с ним больше хлеба.
Над бровью мушка — вот и не старушка.
На охоте кто прытче — не останется без дичи.
Наседка у соседки лучше моей наседки.
Насосался сосунок, вот и спит без задних ног.
Начал идти — одолел полпути.
Начал тихо — кончил лихо.
На улитке все пожитки.
Не бывает, чтобы враз спать и сторожить лабаз.
Не всякая гора на душицу щедра.
Не до сна — хлебни вина.
Недоумки и дети правдивей всех на свете.
Не захотел Бог — и святой не помог.
Не иголкой одной пробавляется портной.
Не коси осот там, где хлеб растёт.
Не пой, петух, с утра, дождёшься топора.
Не по сути судит улица, а как заблагорассудится.
Нет плохих нив, коли не ленив.
Не пройдет ста лет, а нас уж нет.
Не сват и не брат, а помыкать рад.
Не силой — милый.
Не суди ежа строго, и он от Бога.
Не суй в заводь руку, вытащишь щуку.

Нет деньжат — сунь в печку зад.
Не шумит река, коли глубока.
Ни жены, ни винограда без хозяйского пригляда.
Никудышный кочет всех заклевать хочет.
Ни от юнца подсказки, ни от шлюхи ласки.
Ни разу не ошибёшься — ничего не добьёшься.
Новый врач — полдеревни в плач.
Ночную возню видать на дню.
Нынче полны закрома, а завтра сума.
Нынче сила, завтра могила.

О

Общая невзгода слаще мёда.
Объелся дьявол мяса да и надел рясу.
О врагах мнение: было б их поменее.
Одна маслина — злато, вторая — серебро, а третья — колики в ребро.
Одна рубаха — живёшь без страха.
Одним гвоздём другой сковырнём.
Омут тих, да полон лих.
Особа — до гроба.
От дедовой опеки внуки что калеки.
От женщин, что от вина, несусветица одна.
От золы сбежал да угодил в жар.
От молока и винца старик — юноша с лица.
От слова до дела голова поседела.
От старого пня больше огня.
От трех мужей вдовица — желанней не приснится.
Охрип от крика — вот и улика.

П

Пахарь в камзоле — не работник в поле.
"Пашем!" — жужжит муха с воловьего уха.
Перед сном ужин, вот и недужим.
Писарь, мэр и прокурор — на воре вор.
Плач вдовца до крыльца.
Плохой арбалетчик своих калечит.
Плохой огород уродит в свой год.
Повелитель всех земель — Дон Кошель[1].
Под хорошим плащом любой грех прощён.
Позвал зятя на обед, глядь — а уж обеда нет.
Под петрушкой вкусны что кролики, что каплуны.
Под потолком окорока, а голодней бедняка.
Под рваной одёжей человек хороший.
Пока тихоня мнётся, дурак всего добьётся.
По корзинке судят о рынке.

1. Из Франсиско Кеведо-и-Вильегаса.

Поле и море — не каждому подспорье.
Положишься на соседа — останешься без обеда.
По любви жениться — с горем породниться.
Помирает супруг, а уж в дверях друг.
Пообещаешь зря — отвернутся друзья.
Попутал бес, вот в карман и залез.
По ручке ложки крадется мышь к плошке.
Построил дом через силу да и прыг в могилу.
Потаскуха, врач и слуга — три платных врага.
Потаскуха сегодня, а завтра сводня.
По хохоту издалека распознаешь дурака.
Поцелуи и объятья — недалеко до зачатья.
По чести живу, да только в хлеву.
При выборе невесты советчики неуместны.
Приодетая жена и дурная не дурна.
При охоте на зайца барабан исключается.
Прическа да пение — вот и всё умение.
При шпорах сосед, а коня-то и нет.
Пропади все зубы, не пропасть уму бы.
Пропала лисица, коли шубой гордится.
Проси у Бога, да не так много.
Пчелам труд, а мед мухи жрут.
Пылящее стадо для волка привада.

Р

Рогоносец о сплетне узнаёт последний.
Руки в мозолях не опозорят.
Рыл петух сор, да и отрыл топор.

С

Сам из бедноты, а завещанье в три версты.
Сам на эшафот никто не пойдёт.
Сам себе господин, и пляшу один.
Сапожник запанибрата — прелая кожа, гнилая дратва.
Секрет друга храни, а ему свой — ни-ни.
Сила прет — закон мрёт.
Сказал Блас речь, и не перечь.
Сколь хлебнул, столь и сболтнул.
Слабые ноги крепнут в дороге.
Слепец поводырём — костей не соберём.
Слова хороши, когда от души.
Служанка у аббата не варит, а пузата.
Смерть не ищи, а пришла — не взыщи.
Спас от пучины Бог, а от старой шлюхи не смог.
Сперва горячка, а после спячка.
Сперва яства, потом лекарства.

С перепугу хромой быстрей гончей самой.
Сразу дуть и вдыхать — о таком не слыхать.
Стал богатым купцом — позабыл мать с отцом.
Стал знаменит — память шалит.
Сто кумушек у гумна, а песенка одна.
Стол накрыт, подметен пол, рады, кто бы ни пришёл.
Столько одёж на одну ложь.
Супротив судьбы все слабы.
Сухо в глотке — не спеть и нотки.

Т

Таи от чужих глаз, на что горазд.
Там, где денег груда, не дружба, а остуда.
Те кивают этим, а дом всё не подметён.
Тиха заводь — берегись плавать.
Тих монашек, а обхитрит всех наших.
То безделье, то гульба — вот уж славная судьба.
Только дурья голова покупает в дождь дрова.
То молоко, что от вымени недалеко.
То не затрещина, что лишь обещана.
Торговец-простак купит втридорога, продаст за так.
То-то дьявол хохотал — голодный сытому подал.
Тот утку подзывает, а этот убивает.
Тот хирург хорош, кто крепко держит нож.
Тот, что часто женится, быть мужем ленится.
Тридцать у стола, так еще бабка родила.

У

Убегающему врагу сам бежать помогу.
У бездетного аббата причиндалов маловато.
У врача на уме — что в твоей суме.
Узнаешь, болея, кто любит сильнее.
У каждого муравья злость своя.
У кого дома нет — всей улице сосед.
У кого есть рот — до Рима добредёт.
У кого на душе грех — говорит больше всех.
У коня на уме овес, а хозяин седло принёс.
У матери-хозяйки дочери лентяйки.
У набитого живота прыть не та.
У охочей до мужчин лицо долго без морщин.
У пряхи оплошка, а стегают кошку.
Уронит кобыла, кого невзлюбила.
Усталый, коли нет рысака, сядет и на ишака.
У чужого стола еда не мила.
У юбок больше побед, чем у френчей и эполет.

Х

Хитёр лис, а и до него добрались.
Ходи в гости к соседу, но не каждую среду.
Хозяин скуп, да слуга не глуп.
Холодный чаёк — да и в ручеёк.
Хорошая еда, плохая еда — вино пей всегда.
Хороши отцы с дедáми, а хороши ли сами?
Хорош наряд, да сам плоховат.
Хоть и лысый в сто лет, а сметливее нет.
Хоть мала иголка, а укол болит долго.
Хуже всех бед, когда денег нет.

Ч

Чем больше доход, тем больше хлопот.
Чем тумаки крепче, тем в жизни легче.
Черная земля — будут кренделя.
Чист как на духу — спишь как на пуху.
Чтоб девица да беременна, не бывает одновре́менно.
Что бедняк, что кардинал — один финал.
Что дыня, что жена — сразу не видна.
Что за белый свет: на хлеб есть, а на вино нет.
Что известно троим, то и всем остальным.
Что лошадь, что жена — забота им нужна.
Что зрячий, что слепой ошибаются тропой.
Что наяву мнится, то ночью снится.
Что не так — подскажет враг.
Что один бросит, то другой просит.
Что ранние цветочки, что нескромные дочки.
Чужое горюшко легче пёрышка.
Чужую жену, как котлету, два раза куснул — и нас нету.

Ш

Шелково одеянье, а рыло обезьянье.
Ширинка врозь, да не плоха гроздь.
Широкая душа — в кармане ни гроша.
Шустрому юнцу поскорей бы к венцу.

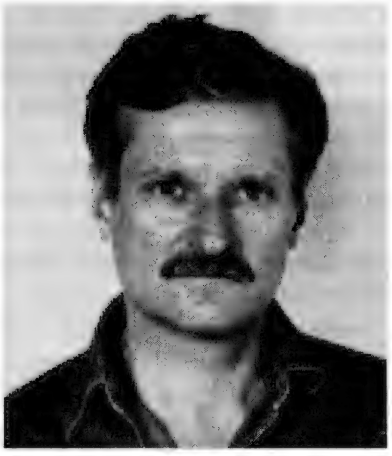
Щ

Щедрая мзда — прощай, вражда.

Я

Я помыкаю котом, а кот хвостом.

Джон Эшбери



Антон Нестеров

Джон Эшбери: поэзия сложности

Когда несколько лет назад известного критика Харольда Блума спросили о состоянии современной американской поэзии, он ответил: "Джон Эшбери жив — а значит, жива поэзия"[1]. Сегодня Эшбери — едва ли не самый именитый из американских поэтов. Нет ни одной солидной поэтической премии, которую бы ему не присудили. Он — канцлер Американской академии поэтов, лауреат Пулицеровской и Болингеновской премий, премии Национальной ассоциации критиков, Национальной книжной премии...

Джона Эшбери часто называют поэтом "темным" и "герметичным". Тут же в сознании публики возникает образ человека не от мира сего, магистра игры в бисер... Но у Эдуарда Лимонова среди его зарисовок о жизни в Америке есть и рассказик о вечере в нью-йоркском клубе, где в одной программе должны были выступать поэты — Аллен Гинзберг, Филипп Орловский, Тед Борриган, Джон Эшбери — и панк-музыканты — "B-52", Элвис Костелло и другие. Учитывая, что любители панка не очень-то жалуют поэзию, а клуб — музыкальный, расклад изначально был не в пользу литераторов. После выступления очередного поэта публика стала агрессивно требовать, чтобы со стишками завязывали и дали наконец оттянуться. И тогда устроители выпустили на сцену Эшбери.

© Антон Нестеров, 2006
1. The Paris Review, 2000, № 154. P. 372.

"Джон Ашбери[1] вышел в вязаной лыжной шапочке на голове, сухой и худой, как после тяжелой болезни. Высокий. В линялых джинсах и рубашке. Он посмотрел в зал и улыбнулся. 'Хотите группы?' — спросил он насмешливо.

Зал ответил одобрительным ревом и свистом. Несколько панк-ребят вскочили на столы. <...>

— Будут группы. Через несколько минут. — Джон Ашбери вынул микрофон из гнезда и выпрямился. — А сейчас я хочу вам прочесть мой перевод стихотворения одного русского поэта, который был 'панк' своего времени. Может быть, первый 'панк' вообще... Очень крутой был человек.

Публика, заинтригованная необычным сообщением, чуть притихла.

— Стихотворение Владимира Маяковского 'Левый марш!' — Ашбери поправил шапочку и врубился...

Они слушали, разинув рты. Когда Ашбери дошел до слов: 'Тише ораторы! Ваше слово — комрад Маузер!' — зал зааплодировал. <...>

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой! —

скандировал со сцены Джон Ашбери. Он содрал с головы шапочку и теперь, зажав ее в руке, отмахивал шапочкой ритм.

Я видел, как ребята Лоуэр Ист-Сайда вскочили. Как, разинув рот, они что-то кричали. Как девочки Лоуэр Ист-Сайда визжали и шлепали ладонями о столы. Даже гуд американ бойс возбудились и, вскочив, кричали что-то нечленораздельное. Сырую дыру СиБиДжиБи наполнила яркая вспышка радости. <...>

'А сейчас, — сказал Джон Ашбери, когда шум стих, — я прочту вам несколько своих стихотворений. Конечно, я не так крут, как Маяковский...' Зал дружелюбно рассмеялся"[2].

"Высоколобому" Эшбери, питомцу Гарварда и Колумбийского университета, пишущему "заумные стихи" и живущему на гонорары от критических статей о современном искусстве, оказалось проще найти язык с этой аудиторией, чем демократичным битникам Гинзбергу и Орловскому или "заслуженному хиппи" Теду Борригану... Может быть, еще и потому, что Эшбери — ярко выраженный поэт-одиночка, иронично относящийся к любым "присягам" и "правилам", привыкший рассчитывать только на себя и долгое время не избалованный успехом...

***

Джон Эшбери родился в 1927 году. Семья жила на небольшой ферме в Рочестере — и этот период своей жизни Эшбери не любит вспоминать: с раннего детства у него не сложились отношения с отцом, и когда он уехал из дома, поступив в Гарвард, то почувствовал настоящее освобождение. Собственно, и Гарвард был своего рода "выбором отчаявшегося": с детства Эшбери мечтал о том, чтобы стать живописцем, с одиннадцати до пятнадцати лет ходил в художественную школу, а потом понял, что у него нет настоящего таланта рисовальщика... Гарвард же был выбран потому, что, среди прочего, там был поэтический класс (в те годы в американских университетах редкость), а Эшбери пробовал писать стихи... Одновременно с Эшбери в те годы в Гарварде учились Кеннет Кох, Фрэнк О'Хара, Роберт Блай, Адриан-

1. Именно такую огласовку его фамилии использует в рассказе Э. Лимонов.
2. Эдуард Лимонов. Первый панк / Портфель: Литературный сборник / Редактор-составитель Александр Сумеркин. – Ardis, 1996. С. 220–221.

на Рич. Сегодня ни одна антология американской поэзии не обходится без этих имен. А тогда... "Мы и помыслить не могли — по крайней мере я, они-то, может, что-то такое и думали, — что станем знамениты, — говорил Эшбери в одном из интервью. <...> — То, что мир узнает мои стихи, — мне это даже в голову не приходило. Ну да, была группа писателей, и я как-то к ней принадлежал. Может быть, Кеннет Кох и я — мы были своего рода сообществом всего из двух человек, построенном на взаимном приятии того, что мы делаем, и этого хватало, чтобы найти поддержку против всего мира... ну, например, против Роберта Блая, который все, что мы делаем, критиковал..." Проучившись несколько лет в Гарварде, Эшбери перешел в Колумбийский университет. От Гарварда остались лишь несколько дружб — с Кеннетом Кохом, О'Харой... К концу университетского курса Эшбери — тогда ему казалось окончательно — бросил писать стихи. Года полтора он не писал ни строчки. А потом случилось так, что О'Хара позвал его на свое совместное выступление с композитором Джоном Кейджем[1]. "Это было как откровение. Для меня в поэзии открылись какие-то совершенно новые, необъятные возможности, я начал писать крайне экспериментальные стихи — большинство из них я, по счастью, не опубликовал, но главное, я начал вновь писать", — говорил Эшбери много лет спустя.

В 1956 году издательство Йельского университета в очередной раз объявило конкурс на право издать книгу в "Йельской поэтической серии". Председателем жюри был в те годы У. Х. Оден, которого Эшбери немного знал. Может, это повлияло на решение молодого поэта, а может, сказался пример Фрэнка О'Хары, надумавшего принять в конкурсе участие, но Эшбери посылает свои стихи в Йель. Согласно правилам, рукописи поступали в издательство, проходили там первичный отбор, и самое интересное пересылалось Одену, а тексты-неудачники сразу возвращались авторам. И Эшбери, и О'Хара оказались в числе тех, чьи рукописи были отклонены еще на первом этапе. Оден же, получив тексты, отобранные издательством, остался недоволен тем, что увидел, и склонялся к тому, чтобы не присуждать премию никому, но выяснилось, что две рукописи — Эшбери и О'Хары — к нему на стол не попали. Эшбери и О'Хара послали стихи еще раз Одену — напрямую, на остров Иския, где тот проводил лето. Оден выбрал Эшбери, но попросил его снять несколько стихотворений, показавшихся грубоватыми. Эшбери согласился. К зиме книга вышла... И была встречена холодным равнодушием критики. Как говорит сам Эшбери, "на нее появилось... всего несколько рецензий, при этом единственная одобрительная из них была написана Фрэнком О'Харой — это было так благородно с его стороны... Мне казалось, что книга просто упала в какой-то бездонный колодец, в пустоту — и теперь у меня уже никогда не будет возможности издать что-либо еще".

К моменту выхода первого сборника Эшбери переехал жить во Францию. Возможно, именно это помогло ему справиться с чувством провала. "Я подумал что-то вроде: 'Что ж, если меня никто не слушает, почему бы не двинуться дальше и не попробовать говорить для самого себя — а потом посмотреть, что из этого выйдет'", — вспоминает сам Эшбери об этом времени.

В 1962 году он решается на еще одну попытку и издает следующую книгу стихов — "Клятва в Зале для игры в мяч". Само название этой книги содержит отсылку к одноименной оде Андре Шенье и знаменитому эпизоду Французской революции: когда 20 июня 1789 года король Людовик XVI попытался распустить Национальное собрание, депутаты пришли в Зал для игры в мяч на улице Св. Фран-

1. Джон Кейдж (1912–1992) – ученик Шёнберга, много экспериментировавший с атональной и минималистской музыкой, автор знаменитой композиции "4.33" (1952), во время исполнения которой пианист выходит на сцену, садится за рояль и 4 минуты 33 секунды не производит никаких звуков, встает и уходит за кулисы, а "музыка" складывается из шепота зрителей, скрипа стульев, покашливанья и т. д. Для музыкантов эта композиция является примерно тем же, чем "Черный квадрат" К. Малевича – для живописцев.

циска в Париже и поклялись не расходиться до тех пор, пока не выработают конституцию. Для Эшбери этот крайне экспериментальный сборник был чем-то вроде декларации своей поэтической свободы, готовности писать, не заискивая перед критиками и читателями, не делая никаких уступок публике. Что ж, критика вполне оценила его жест: рецензий на второй сборник было еще меньше, чем на первый, и они были еще враждебнее. Так, поэт Сэмюэл Морс — редактор посмертного издания стихов Уоллеса Стивенса, одного из любимейших поэтов Эшбери, — заметил в связи с "Клятвой в Зале для игры в мяч", что автор обманывает читателя, предлагая ему камни вместо хлеба, а критик Джон Саймон процитировал строчку из стихотворения "Европа": "по ошибке книжку свою принял за мусор" и патетически заявил — "если поэт сам признает это, что же хотите вы от рецензента?"

Сам Эшбери говорил, что в "Клятве в Зале для игры в мяч" он "пользовался словами так, как художник-абстракционист пользуется красками". Примерно в это же время Эшбери начинает активно сотрудничать с художественным журналом "Art News". Позже, когда критики изобрели понятие "нью-йоркская школа поэзии", "поставив во главе ее" Эшбери и Фрэнка О'Хару (Эшбери с иронией говорит, что "сами мы в те годы и не подозревали, что мы — Нью-Йоркская школа поэзии: просто иногда встречались и читали друг другу стихи"), появилось множество спекуляций о влиянии на "нью-йоркцев" абстрактного экспрессионизма Поллока[1] и Раушенберга[2]. В реальности все было иначе: вернувшись в Америку из Парижа, Эшбери нуждался в деньгах, а писание рецензий на выставки было каким-никаким заработком. Но постепенно это "случайное" занятие обернулось для Эшбери долгой и успешной карьерой — он писал об искусстве многие годы. Позже часть этих статей вошла в том "Отчет о достопримечательностях: хроники искусства, 1957—1987" ("Reported Sightings: Art Chronicles 1957—1987"), увидевший свет в 1991 году. В книге почти 500 страниц, около 100 небольших очерков: об Иве Танги[3] и Пармиджанино[4], символистах и Боннаре[5], Микеланджело Пистолето[6] и абстрактных импрессионистах, Одилоне Редоне[7] и Жорже Браке[8], Иве Кляйне[9] и Фрэнсисе Бэконе[10], Максе Клингере[11] и Ларри Риверсе[12]... Друг поэта, романист Гарри Мэтьюс, пошутил, что "карьера блистательного искусствоведа была навязана Эшбери помимо его воли".

1. Джексон Поллок (1912—1956) — американский художник, один из создателей абстрактного экспрессионизма.
2. Роберт Раушенберг (р. 1925) — американский художник, один из пионеров поп-арта.
3. Ив Танги (1900—1955) — французский художник, близкий к сюрреализму.
4. Франческо Пармиджанино (наст. фамилия Маццола; 1503—1540) — итальянский художник-маньерист.
5. Пьер Боннар (1867—1947) — французский художник-модернист, тесно связанный с импрессионизмом.
6. Микеланджело Пистолето (р. 1933) — один из лидеров так называемого итальянского "бедного искусства" (arte povera), известен своими работами на зеркальной поверхности, когда отражение зрителя оказывается в одном пространстве с предметом изображения. Статья о Пистолето в сборнике "Отчет о достопримечательностях" генетически связана с поэмой Эшбери "Автопортрет в сферическом зеркале".
7. Одилон Редон (1840—1916) — французский художник и критик, один из зачинателей символизма. Часто его называют "Сезанном подсознания".
8. Жорж Брак (1882—1963) — французский художник-кубист.
9. Ив Кляйн (1928—1962) — французский художник, один из основателей монохромной живописи, создавал рельефы, выполненные из натуральных губок, пропитанных пигментом; среди циклов его работ — "Антропометрии" — синие, розовые или золотые отпечатки человеческих тел; "Космогонии", созданные с помощью следов, оставленных ветром и дождем на холстах; "Живопись огнем", где роль кисти играло пламя.
10. Фрэнсис Бэкон (1902—1992) — английский художник, один из ярчайших представителей так называемой новой фигуративной живописи.
11. Макс Клингер (1857—1920) — немецкий художник, один из предтеч экспрессионизма.
12. Ларри Риверс (наст. имя Ицрох Лойза Гроссберг; 1923—2002) — американский художник, один из основоположников поп-арта.

В 1966 году выходит третий сборник Эшбери — "Реки и горы", на который последовал какой-то отклик критики, причем, наконец-то, не только отрицательный. (На отрицательные рецензии у Эшбери к этому времени выработался стойкий иммунитет — он научился их просто не замечать; с другой стороны, критики постепенно привыкли к манере поэта и начали осознавать, что перед ними — некое новое явление, о котором стоит задуматься.) Но понадобилось еще целых десять лет — и три изданных за это время сборника стихов, — чтобы к поэту пришел успех. И есть какая-то особая ирония в том, что не последнюю роль в этом успехе сыграли интерес Эшбери к живописи и его работа арт-обозревателя.

В 1975 году Эшбери публикует поэму "Автопортрет в сферическом зеркале", написанную как размышление над знаменитым автопортретом Пармиджанино и давшую начало одноименному сборнику. Поэма и книга получают все три крупнейшие литературные премии года: Пулицеровскую, Национальную книжную премию и Национальную премию критики — случай уникальнейший.

Вазари рассказывает, что Франческо Пармиджанино еще в юном возрасте, когда ему был всего лишь 21 год, начал "писать самого себя, глядясь в зеркало, состоящее из двух полушарий, какие бывают у цирюльников. Занимаясь этим, он обратил внимание на несообразности, которые образуются из-за круглости зеркала... И потому, заказав точеный деревянный шар и расколов его пополам, он на одном из полушарий, равном по величине зеркалу, с большим искусством начал воспроизводить все, что видел в зеркале, и в особенности самого себя, так близко к натуре, что и оценить это и поверить этому было бы невозможно, а так как все предметы, приближающиеся к зеркалу, увеличиваются, а удаляющиеся уменьшаются, он изобразил рисующую руку несколько более крупной, как видно в зеркале, и настолько хорошо, что она казалась совсем настоящей. А так как Франческо был очень красив и лицо его и наружность были очень изящными, скорее ангельскими, чем человеческими, то и изображение его в этом шаре казалось божественным"[1]. Портрет этот был показан Папе Клименту VII — и столь ему понравился, что Франческо был несказанно обласкан при папском дворе и получил большой заказ на работу. Ему благоволят, его сравнивают с Рафаэлем... Но этот счастливый период продолжался недолго. Пармиджанино впадает в меланхолию, отказывается от звания придворного художника, отходит от суеты света, увлекается тайными науками — магией и алхимией, раз за разом пренебрегает обязательствами перед заказчиками, попадает в тюрьму, откуда ему удается бежать лишь благодаря поддержке друзей. Через год он умирает в возрасте 37 лет, завещав похоронить себя обнаженным, с кипарисовым епископским крестом в руках. Незадолго до смерти он успевает закончить другой автопортрет — на нем мы видим изможденного всклокоченного старика с совершенно потухшим взором. Возможно, именно в этой истории, донесенной до нас Вазари, Уайльд увидел сюжет, легший в основу "Портрета Дориана Грея"...

1. Дж. Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Под ред. А. Г. Габричевского; Перев. А. И. Венедиктовой и А. Г. Габричевского. Т. 3. – М., 2001. С. 436–437.

"Автопортрет в сферическом зеркале" Эшбери начинается как экфразис, описание некоего объекта. Жанр этот восходит к рассказу о щите Ахилла в "Илиаде" Гомера, Эшбери же обращается к нему, держа в памяти знаменитое стихотворение "Щит Ахилла" Уистена Хью Одена, — так поэма становится данью памяти английского поэта, умершего в 1973 году. Тень Одена явственно присутствует в поэме: по мере движения текст все больше становится размышлением о зависимости человека от истории — постоянный мотив, звучавший у Одена на протяжении всей его жизни, — об ответственности человека за себя и других, о функциях искусства, отношениях художника и его произведения, о связи с традицией, благодатной и разрушающей одновременно.

В поздних портретах,
Таких, как "Благородный господин" из галереи Уффици,
"Молодой прелат" из галереи Боргезе
И неапольская "Антея", заметна неестественность в духе
Маньеризма, но в этом портрете, по наблюдению Фридберга,
Удивление и неестественность скрыты
В идее, а не в воплощении.
Гармония Высокого Возрождения ощутима, хотя
Искажена, — новизна заключается в кропотливой
Передаче стремлений отражающей круглой поверхности
(Это первый автопортрет в зеркале) —
Это может на миг тебя одурачить, пока не поймешь,
Что отражение — не твое...

Перевод Я. Пробштейна

Лирика[1] и медитация сплавлены здесь с историософией и трактатом об ars poetica, с газетными клише и прямым цитированием искусствоведческих трактатов, со ссылками на исторические анекдоты.

Ветерок, словно шелест страницы,
Возвращает твое лицо: мгновенье
Отгрызает огромный кусок
От зыбкой мглы интуиции, следом идущей.
В пространстве замкнуться — есть "смерть сама",
Как сказал Берг о фразе из "Девятой симфонии" Малера,
Или Имоджин в "Цимбелине": "Даже смерти
Не нанести острей удара", — ибо,
Пускай для упражнений или из
Тактических соображений, такой уход в себе несет
Миг осуждения того, что сам же созидал.

Перевод Я. Пробштейна

Так поэма становится сильнейшим интеллектуальным раздражителем, толчком к размышлению, к построению каких-то не существовавших до того отношений с миром. Для русскоязычного читателя поэзии утверждение: "Сегодня весь

1. Она явственнее зазвучит для русскоязычного читателя, если сравнить эту поэму Эшбери со стихотворением Ходасевича "Перед зеркалом": Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот – это я? / Разве мама любила такого, / Желто-серого, полуседого / И всезнающего, как змея?.. // Да, меня не пантера прыжками / На парижский чердак загнала. / И Виргилия нет за плечами – / Только есть одиночество – в раме / Говорящего правду стекла.

вечер думал над стихотворением N...” прозвучит странно, тогда как для англоязычной поэтической традиции после Элиота и Паунда это вполне естественно. Заметим, что последние строки поэмы Эшбери:

Рука не держит мела,
И целое, на части распадаясь,
О знании своем не знает, разве что
Догадывается иногда, нащупав что-то
В холодных выстуженных карманах
Своих воспоминаний, в шепоте вневременном...

Перевод Я. Пробштейна

недвусмысленно отсылают к Элиоту, его “Шепоткам бессмертия”.

“Портрет в сферическом зеркале” Эшбери был действительно открытием, привнесением в поэзию чего-то качественно нового, серьезнейшей инновацией.

Но, собственно, это характерно для каждого сборника Эшбери — с выходом очередной книги этот поэт опять и опять предстает иным и новым. В сборнике “Как мы знаем” (1979) Эшбери удивил критиков и читателей большой поэмой “Литания”, о которой долго спорили. “Литания” — это два параллельных столбца текста, которым предпослано уведомление поэта о том, что “предполагается читать их как два одновременных, друг от друга независимых монолога”:

Для таких как я
Простые вещи
Съесть бутерброд
Сходить в церковь
Стоят рядом
Глотнув вина и сыром закусив
Отцы города
Ссут элегантно избегая
познания
Отныне навсегда. А
львиный зев растрачен ветром:
огонь и ярость — дальше дальше
По улицам до самого конца...

Должна быть прореха
В тучах
Пропуск или ловушка
Лишь тень отброшенная
Млеком очарования
Над этим городишком
Его пейзажами, где бы то ни
Было
У живых изгородей
Смутного знания, что окрыляет.
Темные линии преобладают
в опыте секса

Перевод А. Нестерова

С “параллельными текстами” поэты экспериментировали и до Эшбери (достаточно указать на “Балладу лжеца” из “Шествия” Иосифа Бродского, написанного в 1961 году), новаторство же Эшбери заключалось в требовании, чтобы два текста *звучали* одновременно.

Сборник “Тень поезда” (1981) состоял исключительно из стихотворений по 16 строк, сборник “Ты слышишь ли, птица” (1995) был выстроен по принципу азбуки — стихотворения шли в алфавитном порядке, от A к Z — и в сумме давали тревожную и достаточно абсурдную картину нашего мира; в “Бегущих девочках” (1999) стихи были написаны по мотивам рисунков сумасшедшего художника Генри Дагера, рисовавшего только маленьких девочек, занятых странными играми, и т. д.

Чтение Эшбери требует от читателя определенной “настройки слуха”. Критик Хелен Вендлер как-то заметила, что чтение стихотворения Эшбери “подобно игре в прятки в огромном загородном доме, построенном по чертежам М. Эшера”. Прихотливая, ассоциативная ткань его стихов напомнит о странной логике сти-

хов раннего Пастернака[1], где царствует "произвол" поэта, оборачивающийся единственно возможной подлинностью для записи этого опыта, о Заболоцком времен "Столбцов". Однако ключ к пониманию того, что делает Эшбери, надо искать у Джойса, в его "Улиссе", в технике "потока сознания". То, что Джойс открыл для прозы (собственно, не открыл — выделил в концентрированном виде из опыта предшественников, как выделяют пенициллин из плесени), Эшбери перенес на поэзию. Поверхность такого потока сознания никогда не бывает ровным зеркалом, но дрожит и волнуется, ибо над потоком дует ветер — та взвихренность эмоций, которая дала толчок стихотворению.

Наше сознание — слоисто; пользуясь формулой французского поэта Пьера Тильмана:

> во мне всего понемногу
> витрины служба и мы с тобой в постели
> и тысяча всяких
> пустяковых вещей...
>
> *Перевод* Н. Стрижевской

Но эти слои особым образом взаимодействуют у Эшбери. Это не поэтика случайности, как у сюрреалистов, а поэтика растревоженного сознания, которое "выдает" образы — как сердце гонит кровь — толчками. Именно так устроено стихотворение "Апрельские галеоны", давшее и название одноименному сборнику Эшбери, вышедшему в 1979 году. Первое чтение этого стихотворения, возможно, заставит читателя подумать: "красиво, но непонятно", однако стоит сделать усилие — и "смутные", тревожные образы встают на свои места, подобно кусочкам картинки-паззла.

Само название, "Апрельские галеоны", отсылает к испанским морским караванам с золотом, специями и китайским фарфором, что бороздили Атлантику, связуя порты Филиппин, через которые осуществлялась торговля с Японией и Китаем, испанских колоний в Америке и Кадис. Атлантика лишь несколько месяцев в году благоприятна для мореплавателей, рискнувших выйти в дальний путь под парусом: зима в Северной Атлантике — время жестоких штормов, а с июля по октябрь в Южной Атлантике бушуют ураганы. Поэтому торговый караван — два большегрузных тяжеловооруженных галеона, несколько небольших купеческих кораблей и конвой — выходил из Испании в апреле, чтобы успеть доплыть до Манилы, взять там груз фарфора и специй, загрузиться в Америке золотом и серебром и в сентябре, через Кубу, тронуться обратно в Кадис. Множество из "золотых галеонов" так и не вернулось в Испанию. Лишь небольшой список потерь: "Сан Мартин" — затонул в 1578 году с богатейшим грузом серебра, "Сан Франциско" — затонул в 1608 году, груженный золотом и серебром, "Сантиссима Тринидад" — затонул в 1616 году, стоимость груза оценивалась в 3 000 000 песо серебром, "Иисус Мария" и "Санта Анна" затонули в 1620 году, оценочная стоимость груза — 2 000 000 песо серебром, "Сан Амбросио" — 1639 год, 2 000 000 песо серебром...

Стихотворение Эшбери — рассказ об истории любви, и его "Апрельские галеоны" — это караван надежд, которым суждено потерпеть крушение. История эта разыгрывается "на нескольких планах". Упоминание в начале стихотворения "завоевателей с лилиями в гербе", а потом "сырых гобеленов с инициалами преды-

1. Заметим, что одному из стихотворений в первом сборнике Эшбери, "Деревья" ("Some Trees"), предпослан эпиграф из Пастернака. "Нью-Йоркская школа" в 50-е годы многое сделала для пропаганды поэзии Пастернака в англоязычном мире; одним из активнейших почитателей Пастернака был Фрэнк О'Хара.

дущих владельцев" отсылает к знаменитым французским королевским гобеленам с изображенными на них сценами рыцарских времен и "обязательными" королевскими лилиями. Через них тянется ниточка к "Тристану и Изольде" — "идеальному образу" трагической любви, — и вот в конце стихотворения появляются прокаженные — те самые, которым король Марк отдает Изольду. "Наслаждения открытого моря", упоминаемые в середине стихотворения, — отсылка к "Пьяному кораблю" Рембо, чье плаванье начинается в Америке:

Между тем как несло меня вниз по теченью,
Краснокожие кинулись к бичевщикам,
Всех раздев догола, забавлялись мишенью,
Пригвоздили их намертво к пестрым столбам...

и о котором сказано:

Сто раз крученый-верченый насмерть в мальштреме,
Захлебнувшийся в свадебных плясках морей,
Я, прядильщик туманов, бредущий сквозь время,
О Европе тоскую, о древней моей...

Перевод Павла Антокольского

Все эти темы у Эшбери проникают друг в друга, мерцают одна сквозь другую, звуча подобно контрапункту многоголосой ракоходной фуги. Ракоходной — потому, что часто стихотворение у Эшбери как бы опрокинуто вспять, оно длится в ретроспективу, когда первые "такты" — рассказ о конце той "истории", из которой вырос данный текст, а развертывание текста — стремление вернуться к истоку соответствующей ситуации, вспомнить, что же было в начале.

Эта сложность и многослойность поэтики Эшбери в 70-х годах привлекает к нему пристальнейшее внимание критики, в глазах которой он постепенно становится "идеальным поэтом". В немалой степени популяризации Эшбери способствовали усилия Харольда Блума и Марджори Перлофф, много и заинтересованно писавших о поэте.

Не в последнюю очередь благодаря им после 80-х годов Эшбери "выходит из тени" и постепенно занимает место "живого поэта-классика".

В 1980 году Эшбери избирают членом Американской академии искусств и литературы. Еще через два года он становится членом Американской академии поэтов (1982), а с 1988 по 1999 годы занимает пост ее канцлера. В 1983 году Эшбери избирают членом Американской академии гуманитарных и точных наук. В том же году он получает премию Джерома Дж. Шестака, присуждаемую журналом "American Poetry Review" и очень ценимую американскими поэтами. В 1985 году Эшбери присуждается Боллингеновская премия, и тогда же Йейлский университет присуждает ему стипендию имени Уоллеса Стивенса. Годом позже Эшбери награждают премией Британского содружества в области литературы. В 1993 году Министерство образования и культуры Франции награждает Эшбери Орденом искусств и литературы, в 1995 году поэту вручают медаль Роберта Фроста. В 1996 году он становится первым англоязычным автором, получившим Гран-при Международного поэтического биеннале в Брюсселе, в 1997-м получает Золотую медаль поэта, которой награждает Американская академия поэтов. В 2001 году та же Академия вручает ему премию Уоллеса Стивенса. В 2002 году Эшбери становится кавалером французского ордена Почетного легиона.

Джон Эшбери

Стихи

Переводы с английского

Из поэмы "Конькобежцы"

IV

Ветер крошит скорлупу кленовых семян
И весь их сверкающий рой обрушивается к земле.

Пошел четырнадцатый год как я губернатор провинции Ц.
Когда сюда прибыл впервые, был ненамного взрослее юнца.
Ныне я стар, однако стал едва ли мудрее.
Как мало для мудрости значат седина и морщины на лбу!

Медленно себя поднимать, перебирая руками,
Подтягивая кверху свой вес:
Чтобы забыть о возможности еще одного
поворота политической мысли. О том, что свобода,
отвага, круг милых друзей — все могло состояться.
Однако оставалось всегда позади.

И прежние тяжбы: острый ветер в верхах

растрепанных ветвей эвкалиптов.

Сегодня я записал: "Весна запаздывает в этом году.
Инеем одеваются на рассвете заливные луга.
А на тракте гололедом подернуты следы от колес".

День к перчаткам.

Как далеко от своих утверждений
О времени и обо льдах — отстранилась природа.

Вот о чем речь. По истечении лет
Находишь подступы к перечню,
И завтра как раз намерено стать
Той критической точкой невольного утверждения
Себя самого, начавшись
В унижении, в фальшивом покое непредставимо давно

© John Ashbery. Poems, 1964, 1966, 1987, 1995, 1997
© Аркадий Драгомощенко. Перевод, 2006
© Антон Нестеров. Перевод, 2006
© Александр Уланов. Перевод, 2006
© Ян Пробштейн. Перевод, интервью, 2006
© Ирина Ковалева. Перевод, 2006

Неистов песок в песочных часах.
Но есть еще время
Изменить и до основания разрушить
Образ чрезмерно знакомый на краю зеркала,
Ежеутренне смеющийся за стеклом.

Поезд так и не тронулся с места.
Тебе лишь казалось, что он на полном ходу.

На горной дороге З несколько путников.
Из-за ставен за ними наблюдает пара темных зрачков.
Это — глаза жены П, директора школы.

На ветру трещит дверная циновка, ряд прутьев исчез.
Мы оглядываемся на дом.
Его бы надо еще раз покрасить,
Увы, я не слишком богат кого-то нанять.
Есть все у меня, чтобы вместе содержать душу и тело.
Но скоро даже эта задача окажется не по силам.

Прекрасную шутку тогда ты сыграл с другими гостями.
Шутку молчания.

Каждому хочется остановить эти мгновения,
Когда они наступают, но не в силах в счастье поверить
Или довериться чрезмерно любви и своим опасениям,
Даже по отношению к себе.
Невзирая на мягкость, весна пронизана сыростью.
После полудня пускал мыльные пузыри,
Осознавая с долей восторга, что
Совершенно один в смутных потемках.
На мраморный тротуар, поросший бурьяном,
Осыпáлись почки берез,
И кольцо дыма сияло над трехгранной крышей из дранки.

Семнадцать лет в столице провинции — это Фу-Юнг!
Разумеется, женщина рождена для иного,
Нежели любовная связь, преткновением которой
Лишь менструальные спазмы.

Я было подумал об объявлении помолвки с тобой
В день первой луны месяца Х.

Ветер утих, однако магнолия продолжает ронять
Лепестки с влажным плеском к сухим порам земли.
Вечерний воздух кипит от докучливой мошкары.

Для того чтобы сложить этот ребус,
Нужно найти фрагмент в виде свиньи,
С одной стороны он окрашен в фисташковый цвет,
Перетекающий в цвет шкуры буйвола.

В марте, в самом начале
Несколько кирпично-медовых желтофиолей расцветут
на террасе
Под защитой полуразрушенной каменной кладки
В зарослях моха.

Однажды утром ты появляешься к завтраку
В худшем из того, что у тебя нашлось в гардеробе,
И за кофе, точнее, какой-то ржавой водой,
Заявляешь о желании оставить меня одного
В этом доме, смахивающем на газгольдер.
Для твоего же блага предпочту тебе не поверить.

По ту сторону заброшенной эспланады
Простирается забавная песчаная отмель,
В чем тебя убеждает твоя же интрига.

"В тридцать два настала пора университетских экзаменов.
Как оказалось фабрике У по изготовлению воска был нужен
Новый директор. Я был единственным соискателем
должности,
Тем не менее мне было отказано. Таким образом, я предпочел
Завершить дни своей жизни в безмятежном приюте цветов".

Утомленный старик нам повествует о жизни.

Под водой играет форель —
Мастера красноречия
На страницах твоей книги блистают,
Подобно горам в дымке небес или воды.

"Вторая позиция"
Возникает на семнадцатый год —
Над подоконником
Созерцая безмозглое кружение мух.

Уронить голову в руки. Водопад простоты.
Устье жизни, втекая во все.

Насос засорился. Надо бы его починить.
Твои заплетенные волосы.
Шаль пущена по плечам,
Отливая цветами всех радуг.

Той изумительной вещи, которую тебе пока не понять...

Отклонить квадратные ульи,
Замедлить то, что выше всего...

Яблоки обретают янтарную смуглость
В холодном воздухе осени.

Восходят созвездия
В неуязвимом порядке: Телец, Лев, Близнецы.

Перевод Аркадия Драгомощенко

Горы и реки

На тайной карте ассасинов
Показано, что Лунная река
Течет у Восемнадцати Вершин и го́рода
Потерь и унижений — чтоб затеряться
Среди сухих, похожих на бумагу, листьев:
Пожухлых, серых, перистых — подобных
Попыткам мыслить в звонком, но пустом потоке
Сегодняшних письмен, начертанных на карте
Поверх болот и пустошей, перемежаемых кустарником.
Да, конечно, там в лесах водились белки,
Но над страной нависли
Запустение и вялость: мятежники,
Стряхнув оцепененье сна, в уютных тюрьмах
Пели уныло — по-над мрамором фабричных стен —
Глухие жалостливые утешенья, полнящие воздух
Невидимым, но крепким частоколом
Той поросли, что в долинах, где песчаник: если хочешь
Оттуда выбраться, ступай неспешно, соизмеряя шаг за шагом.
Пролетающие птицы гнездились тут —
А что им оставалось делать?
Не ошибись и не прими царящую здесь тишину за гордость
или мощь,
Как не прими шум водопада за гомон гавани,
С огнями кораблей: на палубах их — сотни пассажиров,
Одетых хорошо — им есть куда податься,
Они готовы к играм. Иногда, раскладывая карту
На перилах из тесаного камня,
Ты замечал следы, что оставляют на камне краски.

В обход городов
К иным местам — ты видел их на карте
В подробностях; но вся эта страна —
Бумажная, пусть выглядит точь-в-точь
Как изгороди, грязь и прочее,
А море, со всею магией его пространств,
Распахнуто, как свиток,
А тайна здесь — не более, чем складка,
Хоть по углам и наползает тьма,

Как будто на плоту, один, средь океана безлунной ночью,
Лишь мелодия невнятно
Слышна из-за деревьев,
Прикосновение бессильно и не встречает отзыва
Так долго, но все-таки там были и дома́,
Там, далеко, где этот пик лишений
Скалистый, острый
И места общественных гуляний,
Тень виноградников, вино которых
На вкус — что палая листва в лесу,
Дальше — рыбный шельф и устричная банка,
Приливы — ближе к полюсу,
А там — площадки семинаров и места
Собраний, залитые светом,
Районы сбора основных налогов.
Все они — морщинки на плане
Выборов на должность президента.
Шестьдесят два года, завтрак после ванной,
Видимость движенья на улице, где тени
Нет и выходить не хочется: быки
Уже ушли и увезли арбу, ее дававшую.

Твой план был: острым, как бритва, горным хребтом
Рассечь силы врага на две отдельных группировки.
На бумаге все было прекрасно,
Но лагерь вражеский разросся,
Став и горами, и самою картой,
Слегка слинявшей: молния
Не распорола тьму — лишь легкое покашливание
Грома. По счастью, войну выиграли
Иначе, изолировав две морские эскадры
Противника, так что материк
Держал линейные суда на расстоянье.
Свет ударил разом, положив конец
Всему в свинцовых волнах, возвестив
Наблюдателям о завершенье великой драмы —
В ней одержана победа, и можно отключить
Всю машинерию, чтобы спокойно
Двигаться среди полей, расчищая снег
В районах накопленья талых вод,
Опасных тем, что пребывающая за ночь
Любовь способна затопить округу.

Ива плакучая и лепесток цветка —
Они положат это письмо на стол
Президента, избежавшего убийства,
Чтобы оттиск его печати мог воспроизвести
Все это, до последнего листа, по осени
Слетающего с дерева, и горечи июньского кортежа,
Что движется в глубь пейзажа с зачерненным солнцем.

Об истоках тревоги

Тому уже лет пятьдесят,
как я живу в городишках заштатных и темных,
о которых твердил тебе.
С той поры мало что изменилось. Я все так же
неспособен найти дорогу от почты к качелям в парке.
Цветение яблонь по холоду — кто их заставляет?
А голова моя — что твой одуванчик: только подуй...
А если эти стихи — о тебе: не ты ли
вложил в них все то, что я вынес за скобки —
описания боли, занятий любовью, того, как
нас предают ненароком? Да нет,
это тоже — в какой-то из книжек. Для тебя
я оставил про тонкие сэндвичи
и про стеклянный глаз, что в изумлении
остановился на мне, прикрепленный к подставке, и смотрит.

Перевод Антона Нестерова

Ветивер[1]

Времена проходили медленно, грузом сена,
Как цветы повторяли по памяти строки стихов,
И щука размешивала дно пруда.
Перо холодит пальцы,
Лестница раскручена вверх
Через раздробленные гирлянды, хранящие грусть,
Уже сосредоточенную в буквах алфавита.

Было бы время сейчас для зимы, ее башен
Из кружения сахара, и для линий забот
У рта, и цвéта на лбу и щеках,
"Пеплом розы" когда-то названного.
Сколько ящериц, змей свою кожу покинут
За вот так проходящее время,
Оседающее глубже в стойкость песка, поворачивающее
К завершению. Все идет хорошо и сейчас,
Хорошо, оно как-то распалось в ладонях,
Выраженное, как перемена, острое,
Как рыболовный крючок в горле, и декоративные слезы,
Протекавшие мимо, в миску, называемую бесконечностью.

Тут все бесплатно, и ворота
Нарочно брошены открытыми.
Не провожай, все будет у тебя.
А кто-то в комнате свою рассматривает юность,
Найдя ее пустой, сухой и пористой на ощупь.

1. Вещество, используемое в парфюмерии для фиксации запаха, придания ему стойкости.

Пусть буду я с тобой, пока открытый воздух
Нас не охватит, не соединит, иначе
Не уберут все ветки с клеем птицеловы,
И рыбаки не вытянут пустые лоснящиеся сети,
И другие не станут частью огромной толпы
Вокруг того костра, ситуации,
Что стала для нас — нами, и плач
Сохранен в листьях, и падает последнее серебро.

Настроение тихой красоты

Вечерний свет словно мед в деревьях,
Когда вы оставили меня и шли до конца улицы,
Где закат оборвался внезапно.
Свадебный пирог подъемного моста опускался
К легким незабудкам.
Вы взошли на корабль.

Сгоревшие горизонты внезапно мостили золотые камни.
У меня были сны, включая самоубийство,
А сейчас они надувают горячим воздухом шар.
Это взрыв, это взорвется
С чем-то невидимым
Именно в эти дни.
Мы слушаем и узнаем иногда,
Прижимаясь друг к другу так крепко.

Опускаем кровь и тому подобное.
Щедрыми стали музеи, они в нашем вздохе живут.

Леопард и лемур

Голос успокоился, в тот раз
Говорил он о трещине в стене:
Истоки земли смыты;
Мы не знаем, с какого места история началась,
И речь неба туманна.
Но если это хочет Бог назад вернуться,
Обернуться, то пробел станет невидимо
Вымощен, и чужие расчеты, возможно,
Откроются, ерзающая коммерция начнется
В том, что до сих пор было дном сухого потока.
Пусть начнут расхаживать львы и так нас выдернут
Из пропасти дурного настроения
В мечту о сегодня как найденном:
Нет драгоценностей, лишь голубого кусочек
Над улицей Тейлора, и ссыхающиеся деньги

В прачечной, вы все вернете
За уроки свои, но нет школы сегодня,
Только немного незавершенных и вечных моментов
Раздразнят снова блеск исчезнувший, пока
Мы плаваем свободно, вспоминая позже
Лишние часы, и в это время узнаем что-то.

Однако: дни так беспорядочны, поверь,
Что не все происходит,
Что было достигнуто, и обещанные высоты
До сих пор картонны, а потом — печали
Долгое время до того, как эхолалия
Отпирает пойманные весны, расцветает в ливень
Многочисленных и зигзагообразных недоразумений.
Тогда широкой кистью одинокое дерево
На низком холме введут в существование,
Оно осведомлено, раз уж намерено остаться,
Вот так, упреком уединению
Извозчиков на их площадках под луной рогатой.
И это, и это случится, вначале
Не многозначительно, но постепенно придет занять
ваше место,
И еще другие взрастут, и примут решение, и еще более
Найдут себя забытыми, все же странно
Знакомо и правильно в зеркале, время
Занято Богом, чтоб рассказать и уйти:
Леопард для себя — смятение отождествлений
Со всеми другими. Позволь старику видеть сны
Хоть недолго. Этой ночью никто не идет никуда.

Бриз в сторону моря

Возможно, я только позабыт.
Возможно, это действительно было, как ты говоришь.
Откуда мне знать?
А жизнь растет все больше, больше, непостижима и опасна,
Еще невидима никем.
Я одинок и тих,
Словно трава этого дня без ветра,
И обжигающее знанье.
И листья падают, не слушаясь руля, сгорая.

Один по крайней мере может спать до Страшного Суда —
Но может ли? Будь осторожен с тем, что говоришь,
обеспокоенная стая
Меняется и отступает
В цветное уравненье долгого держанья курса.
Никто не знает, что
Меняются микробы. Ты мне нравишься,
Поскольку это все, что сделать я могу.

И то, что происходит — получение тобой истории
невосстановленной,
И бриз от берега толкает это мягко прочь,
Недалеко. И был обут,
Подумать если, тот встречающий — в закат,
Блестящий, беспорядочный и острый,
Как слово, что во рту держали слишком долго.
И косточку выплевывает он.

Мышь

Мне нравится то, что вы дали мне,
Мои стихи — резные фигурки шахмат,
Волнений или безразличия, продуманного хорошо.
Что движет вас — похоже на погоду,
Она приходит и уходит, остается,
Чтоб оттолкнуться нам иль прислониться,
Пока она распространяется, глуха и милосердна.
И здания, что больше не имеют вкуса ярких
Кружащихся полос — они ко времени, к тому
Цилиндру, что неспешно прогорает.

Поймите, это зажигает даже преднамеренную
И безразличную ложь.
И что торжественно в любом из нас,
Вынуждено стоять и защищать
Другие увлеченья, как на сцене.
И это кружится, как лист
Снаружи и внутри дождя, там нет воображения,
Безжалостности, снисходительность еще глядит,
все погружаясь
В нас сейчас, во все надеющееся.
Кого, они думали, она заберет?

Поскольку точность безжалостна,
Делает все аккуратно.
Думаю ли я взять твою руку,
приправленную памятью, стремящейся к нулю?
Но кто-то предлагает мутный снимок.
Площадь пуста сейчас и снегом опушена,
Где мы обычно сходили, любимая наша
Остановка, хотя мы это не знали тогда,
Когда родители еще могли обняться,
Открытые тому, что угрожает,
Но старой рамкой объединены.

Перевод Александра Уланова

Екклесиаст

"Пошлее подсолнуха", — сказала она. Однако
Новое измерение истины только недавно
Обрушилось на нас. Отныне надлежало
Отвергнуть то, чья нафталиновая правда
Изъедена до дыр в тени бродячей. Банальность пожрана
В прохладной — нравится она иль нет — тени.
Усталые домохозяйки породили —
Тому уж несколько десятилетий — кусочек правды,
Как будто медом по устам помазав, но
Он дальше был на миллионы миль
От места, что ему предназначалось.
Ты видишь вдруг, как разъедает мед
Вселенную твою, похожую на учрежденье — сколько стен?

Согласно этой правде все должно пойти на дно,
И вскоре. И жизни нет, чтоб до конца изжить.
Нет убеждений, которые могли б тебя спасти.
Аскетам и распутникам в конце концов равно
Пасть суждено в огромнейшие лапы смерти.
Но слушай, расскажу я об обоях —
Ключ ко всему был в той дубовой роще,
Но ключ печальный. Во всем особый смысл
Был с детства: ты смеялся шуткам
Друзей, но много позже, лишь сквозь слезы.

Ибо и туфли нестерпимо жмут, хотя и впору.
И яблоки сотворены, чтоб их, собрав, вкушали равно,
Как целый ворох бед и хворей мира.
Нет кроме настоящего иного времени, чтобы поддаться
искушенью этому.
А завтра будешь горевать — и что с того? Еще есть времени
довольно —
Когда с полей собрали урожай и скот на зиму заперт —
Стоять у глупого окна и орошать пустыню
Солеными слезами, что до добра не доведут.
Я, дорогая, словно галеон среди соленых волн.
Своим забвеньем ороси мою главу.
Ибо в один прекрасный день вернутся эти мысли.
Корабль траурный закончил плаванье по ледяным морям.

Проснешься, все забыв. И сотрясает свет дневной опять
Тебя в твоем саду. Но руки
Твои пусты. Они плетут из прутьев ивовых корзину
Сейчас, когда при свете солнца снова
Мрак набирает яростную силу. Ты никогда, однако,
Сие не представляла так, и это
Твоей наградой будет.

Восходят от всего живого прекрасные пары,
И ночь нежна, прохладна и ангелов полна,
Что топчут смертных. Вовсю освещены заводы.
На колокольный звон никто внимания не обращает.
Мы вместе наконец, хотя и врозь.

Песня

Песня повествует о том, как жили мы встарь,
О жизни в прежние времена, об ароматах цветов,
О том, как кончалось все, что кончалось,
Как все начиналось снова со вздоха. Потом
Движение обращается вспять, и спешащие маски
Летят к совсем непредвиденному финалу,
Как часы, вышедшие из повиновенья. Этот ли жест
Подразумевался давным-давно — извивы

Мучительных отречений, как растительность джунглей,
И простота конца — все отпустив, изойти
В стремительно удушающей сладости; день
Обращает свое лицо из кирпичей простенькой кладки

К никчемности неба. Рано или поздно
Загудят скорбно машины, и все дела встанут.
А пока мы сидим, едва смея говорить, дышать,
Как будто подобная близость может стоить нам жизни.

Однажды все притязания прошлого
Претворятся в развитье, взросленье,
Прекрасное, как новый учебник истории
С неразрезанными страницами, иллюстрациями,
которых не видел еще,

И цель всех остановок и новых начал станет ясна:
Она упирается в давнишнее нежеланье взрослеть,
Вырастать в ночь, которая становится кровом, разминовеньем
Дорог, далеко уводящих нас в сон. В немую любовь.

И *другие, более смутные образы*

Созданы из смешенья пространства и жизни
Там, где мы вполне воплотились
В ромбовидных открытых формах, ибо
Считается, что такие структуры обращены
Исключительно к эстетическим чувствам, как ветряки
На равнине. На что отвечают, что нет
Иных чувств, кроме этих, наполовину

Втоптанных в грязь, но выплывающих на поверхность
Мгновенья, которым живем, приучаясь любить его.
На сей дальней полоске земли нет ни сонета,
Ни растений, ни гальки. Растягивать жизнь
На грязных камнях некой площади
И не чувствовать прекрасных порывов ветра,
Света и тени, точно выйти из комы,
То есть из интересной белой страны,
Готовясь к утрате памяти на последнем свиданье
Под фонарем на краю скособоченной лестницы.

Спящие наяву

Сервантес спал, когда писал "Дон Кихота".
Джойс проспал всю главу "Блуждающие скалы" из "Улисса".
Гомер клевал носом, порою впадая в сон, на протяжении всей
"Илиады", но бодрствовал,
когда писал "Одиссею".
Пруст прохрапел "Пленницу" от начала и до конца —
Как и легионы его читателей.
Большую часть "Моби Дика" Мелвилл спал, вцепившись в
штурвал, Фицджеральд
проспал "Ночь нежна", что, возможно,
и не удивительно,
Однако то, что Манн дремал даже на склонах
"Волшебной горы" —
явление исключительное, еще исключительней то,
что он ее вообще написал.
Кафка, конечно, не спал никогда, даже когда не писал, даже в
праздники.
Никому неизвестно, как писала Джордж Элиот, —
предполагаю,
она могла прикорнуть, пробудиться, написать пару
страниц,
а потом опять задремать.
Удивительно: Лью Уоллес прикорнул во время состязания
колесниц в "Бен Гуре".
Эмили Дикинсон спала на холодной узкой кровати в Амхерсте.
Пробуждаясь, она видела на оконном стекле новое
стихотворенье,
которое написал для нее Дед Мороз.
Листва снежинок позванивала на оконном стекле.
Старина Уолт кемарил во время писанья, но, как большинство
из нас, категорически сие отрицал.
Моэм похрапывал на Ривьере.
Агата Кристи спала грациозно, как женщина, потому-то
ее романы
похожи на сэндвичи к чаю — по большей части
искусственны.

Я сплю, когда не могу противиться сну. Мой сон и писанья мои улучшаются постоянно.

Я хочу сказать о другом — я отниму у вас совсем немного времени.
Никогда не катайтесь на лодке с писателями: они не сознают, что плывут по воде.
Птицы — плохие примеры для подражания.
Философу следует указать на дверь, чего почему-то не делают ни при каких обстоятельствах, — попробуйте.
Из рабов получаются хорошие слуги.
Чистка зубов не всегда улучшает внешность.
Храните чистые коврики в старых наволочках.
Кормите собаку, когда залает.
Заварку выливайте в унитаз, кофе в раковину.
Остерегайтесь анонимных писем — вы сами могли написать их в бессловесном приступе сна.

Перевод Яна Пробштейна

Апрельские галеоны

Тянуло какой-то гарью; к тому же
В дальнем углу комнаты опозоренный вальс
Еще дышал, лепеча истории завоевателей
С лилиями в гербе, — что же, вся жизнь —
Прохладное новоселье? Откуда приходят
Обрывки смысла? Ясно, было самое время
Убраться прочь — на болота или к холодным,
Вычурным именам городов, звучащим так, точно они и вправду
Были на свете — но их не было. Мне видна лодка,
Нацеленная, как стрелка компаса, на наслажденья
Великого открытого моря; она примет меня на борт,
И мы с тобой отведаем разъединенности
На пляшущей палубе, а потом вернемся, когда-нибудь,
Продравшись сквозь рыжие занавесы раннего вечера,
Знающего наши имена только на чужом
Языке — и тогда, только тогда
Прибыльная весна может, как говорится, настать
Должным образом — движением птицы,
Поднимающейся в воздух ради предположительно лучших
Мест обитания, — но, вероятно, не бóльших,
В том смысле, что крылатая гитара, будь она у нас,
Была бы большей. И все деревья как настоящие.

После был очень короткий день, и его сырые
Гобелены с инициалами всех предыдущих владельцев,
Остерегая нас: ждите молча. Разве мышь
Знает о нас сейчас? — и если знает, довольно ли мы похожи,
Чтобы спорить о разнице: хлебные крошки или иной
Дар, еще незаметнее? Кажется, все
Пойдет прахом; никто этого не хотел — не больше,
Чем корни дерева близки к центру земли; и, однако,
Порой они устремятся оттуда, чтобы
Оповестить нас о процветании и о том, что завтра —
Празднество лоз виноградных. Стоит улечься под ними —
И спрашиваешь себя, много ли вообще ты знаешь,
А потом просыпаешься и знаешь, но не то,
Много ли тебе известно. В сумерках то и дело звуки
Расстроенной мандолины соседствуют с их вопросом
И не менее торопливым ответом. Приходи,
Взгляни на нас, но стой в отдаленьи, иначе близость
Исчезнет в мгновение ока, и юная нищенка,
Растрепанная, плачущая неизвестно о чем, будет
единственным,
Что осталось от золотого века, нашего
Золотого века, и роящиеся толпы больше не будут
Устремляться прочь на заре, чтобы вернуться
Вечером, в клубах мягкой пыли, отвлекая нас от скуки
И ненужной честности историями о городах разноцветных,
О том, как мгла обосновалась там, и куда
Двинулись прокаженные, чтобы укрыться
От этого ока — вечного ока любви.

Перевод Ирины Ковалевой

Ян Пробштейн

Интервью с Джоном Эшбери – и несколько слов о нем

Пожалуй, ни об одном из поэтов столько не спорят, сколько о творчестве Джона Эшбери. Каждая новая книга (а их у него двадцать пять, включая "Избранное") вызывает поток противоречивых рецензий. Мнения расходятся диаметрально — от восторженного, причем восторги исходят не от неискушенных любителей, а от таких влиятельных критиков, как профессора Гарольд Блум и Марджори Перлофф, в прошлом ведущий критик журнала "Нью-Йоркер", а ныне профессор Гарвардского университета Хелен Вендлер и Мичико Какутани, один из основных рецензентов газеты "Нью-Йорк таймс", — до полного неприятия, обвинений в солипсизме, герметизме, эклектике, эстетизме, стремлении за красноречием и виртуозностью скрыть пустоту и т. д. Установив генетическое родство поэзии Эшбери с его старшим современником Уоллесом Стивенсом, представителем философского, метафизического направления, противники Эшбери, являющиеся в то же время почитателями Стивенса, не понимают и не принимают постмодернистского скепсиса, даже безысходности современного поэта. Если Стивенс, видя все противоречия жизни и современного ему американского общества, не отделял тем не менее себя от него, а искусство от жизни, искал пути преодоления этих противоречий, то Эшбери как бы заявляет о том, что противоречия эти непреодолимы, общество глухо и слепо к искусству, а человек глухонем к человеку. При этом и почитатели, и противники отдают дань его мастерству, виртуозному владению словом.

"Главная тема Эшбери — это время и его движение, он пишет хронику постоянных приливов и отливов времени с импрессионистической подробностью, запечатлевая вызванные ими мгновенные сдвиги в эмоциональном климате, "приходы и уходы", человеческие "бормотанья, всплески", встречающиеся на их пути"[1], — пишет Какутани в "Нью-Йорк таймс".

На первый взгляд кажется парадоксальным, что в творчестве Эшбери, человека вполне благополучного, так сильны мотивы неустроенности, даже некоторого изгойства:

> Едва терпели нас, живших на отшибе
> Технологического общества, всегда нас приходилось
> Спасать от гибели, как героинь "Неистового Роланда",
> Чтобы потом все повторилось снова.

Перевод Я. Пробштейна

"Люди 60-х были открыты, люди 70-х погружены в себя", — как-то сказал он мне. Люди 60-х — это Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, представители поколения 'битников'. Эшбери родился в 1927 году, но себя к этому поколению не причисляет. Постмодернистом он себя тоже не считает: 'Я пишу стихи уже более пятидесяти лет. Начинал как раз во времена модернизма. Всегда

© Ян Пробштейн. Перевод, интервью, 2006
1. Michiko Kakutani. With Poetic Licence. A Review of Selected Poems by John Ashbery // The New York Times, 7 Dec. 1985. Sec. C. 18.

старался писать нетрадиционно, но разницу между модернизмом и постмодернизмом не очень понимаю...'"

Когда я работал над переводами стихотворений Эшбери, мне часто доводилось с ним беседовать.

Ян Пробштейн. Французский философ и литературовед Лиотар считает, что если модернисты пытались преодолеть отчаяние, холод одиночества и безверия — а пример Томаса Стернса Элиота, пришедшего от неверия к вере, лишнее тому подтверждение, — то постмодернисты как бы не пытаются ничего утверждать, говорят о том, что человек — одинок, а понимание — невозможно. Это, мне кажется, перекликается с некоторыми взглядами, которые высказываете вы, Джон.

Джон Эшбери. Ну, в наше время человек не так уж одинок: есть, к примеру, Интернет, где люди могут общаться круглосуточно, не выходя из дома. Интернет стремительно изменяет образ общения, всего нашего мира.

Я. П. А вы часто прибегаете к этому средству?

Дж. Э. Нет, иначе я бы не смог писать. А кроме того, есть значительное число людей, которые разделяют мои взгляды и устремления, — с ними я и общаюсь. Что же до одиночества, то в философском смысле человек всегда был и остается один. Да, человек — одинок.

Я. П. Нынешнее опьянение новейшими технологиями и средствами связи сродни тому, которое владело людьми в начале прошлого века, когда казалось, что отменяются границы — не только между государствами, но и границы пространственно-временные. А ведь XX век принес с собой две мировые войны, Хиросиму и Нагасаки, войну во Вьетнаме, да и сейчас нет особых поводов для оптимизма.

Дж. Э. Все это так, но и после величайших трагедий в прошлом люди не переставали надеяться, то есть заниматься творчеством. И после Освенцима не замолчали: я говорю не о бездумном оптимизме — о творчестве как о средстве преодоления отчаяния, трагедии, ужаса.

Я. П. А каковы роль и место поэзии в современном мире?

Дж. Э. Современное общество не очень-то ценит поэзию. Создается даже впечатление, что она ему не нужна. Нужнее бестселлеры, журналистика. Мне кажется, что я бы мог писать бестселлеры, но мне это неинтересно. Поэзия — гораздо интереснее и — труднее.

Я. П. Вы часто обращаетесь к детству в вашей поэзии. В ваших стихах повторяется мысль о том, "что стремление не взрослеть — быть может, и есть ярчайший род зрелости".

Дж. Э. Да, у меня есть стихи о стремлении не взрослеть. Для меня детство — это сказки, детские стихи, первые книжки и комиксы — открытие мира, в первую очередь мира чтения, книги.

Я. П. Я пытался докопаться до истоков, до того, что явилось побудительной причиной, толчком к написанию таких стихотворений, как "Екклесиаст", "При погружении пьяного на пакетбот" и поэмы "Автопортрет в сферическом зеркале". Насколько осознана была, так сказать, неоплатоническая идея невозможности отобразить действительность.

Дж. Э. Мне очень трудно точно припомнить и дословно передать, что я думал во время написания того или иного стихотворения. Я почти не перечитываю своих стихотворений, даже самых любимых. Я бы не

хотел докапываться до истоков своей поэзии, чтобы не замутить их. Перечитываю лишь для того, чтобы не повторяться.

Я. П. У вас в "Автопортрете", Джон, есть такая строка: "Нью-Йорк — логарифм всех городов". Как городские образы, городская культура, ритм такого гиганта влияют на ваше творчество?

Дж. Э. Нью-Йорк меня не подавляет. Мне здесь легко и хорошо работается. Иногда слушаю радио во время работы, и некоторые фразы проникают в мою поэзию. Я не так уж много выхожу из дома, а вот за городом, где у меня есть небольшой дом в 100 милях к северу от Нью-Йорка, меня слишком многое отвлекает от работы.

Я. П. Преподавание?

Дж. Э. И преподавание тоже не способствует, скорее мешает. Правда сейчас, когда я перешел в колледж Бард, который, кстати, недалеко от моего загородного дома, стало полегче.

До этого Джон Эшбери, так же как и его дед, был заслуженным профессором английской литературы Бруклинского колледжа, в 1989—1990-х годах был профессором поэзии в Гарварде, читал так называемые Нортоновские лекции (имени Чарльза Элиота Нортона), такой чести удостаиваются немногие.

Дж. Э. Потом мне предложили преподавать в колледже Бард, но дом в тех краях у меня уже был до этого.

Ныне Джон Эшбери уже заслуженный профессор на пенсии — эмеритус: в будущем году ему исполняется восемьдесят лет.

Я. П. Кто из американских и не только американских поэтов вам близок?

Дж. Э. Джеймс Тейт, Джеймс Скарвер, Роберт Крили — я считаю, что он удивительно своеобразен, абсолютно ни на кого не похож.

Я. П. А из предшественников?

Дж. Э. Оден — до того, как приехал в Америку, потом его поэзия перестала мне нравиться, и я перестал читать его новые книги. Уоллес Стивенс, Элизабет Бишоп...

Я. П. В западной и особенно в американской поэзии считается, что рифма устарела. Рифмой сейчас пишут рекламы в метро. Как вы относитесь к рифме, Джон?

Дж. Э. Не думаю, что в рифме дело. Дело в самой поэзии. Как написано. Вот у нас есть течение "новый формализм", они пытаются использовать и рифму, и старые формы — триолет, сонет. Но у кого-то есть поэзия в стихах, например, у Энтони Эктона, Ричарда Мерилла, а у других нет. Мне трудно судить и говорить о том, какой должна быть поэзия. Легче сказать, что мне не нравится. Не люблю политической поэзии, плаката, лозунгов.

Я. П. В свое "Избранное" вы включили всего несколько стихотворений из книги "Клятва в Зале для игры в мяч", принесшей вам известность.

Дж. Э. Это была во многом очень экспериментальная книга. Я жил во Франции, в отрыве от языковой среды. Первая книга привлекла так мало внимания, что я подумывал о том, чтобы вообще перестать писать стихи, во всяком случае не печатать их. Писал не для публикации, экс-

периментировал с языком. А потом поступило предложение опубликовать книгу. Сейчас я к ней отношусь более чем сдержанно, но очень многим она нравится настолько, что они даже называют ее моей единственной поэтической книгой, — усмехнулся Джон.

За последние годы Эшбери издал несколько книг стихов, которые отличает не только мастерское владение словом и безграничный словарь, вобравший в себя новейшие словообразования, коллоквизмы и сленг, доведенное до совершенства смешение высокого и низкого стилей, умение перемежать лирическую исповедь иронией, сарказмом и пародией, но и новые, неожиданные грани в творчестве мастера.

Искусство, по Эшбери, это — коридор во времени, мост, связующий времена, выявляющий и проявляющий неповторимость времени, однако временем же и разрушаемый. Невозможно постоянно жить в очищенном, разреженном воздухе искусства — ни в картине, ни в стихотворении. Однако искусство, обладающее магнетической силой, не отпускает. Эшбери говорит об этом не в приподнятой романтической манере — ему вообще чужд романтизм, а как бы смиряясь с неизбежностью. Соединяя века, поэт говорит о вечном в искусстве и в жизни — суровую правду без патетики, не повышая голоса. Хотя удел любого человека, не только художника — одиночество, целое распадается на части, а понимание невозможно, нельзя убежать ни в детство, ни в прошлое, ни назад к природе, поэтому единственный выход — двигаться дальше, даже в жестких рамках необходимости. В стихах Эшбери — "мужественное отчаяние", полагает Хелен Вендлер. И все же, несмотря на иллюзорность и хрупкость, только искусство способно соединить распадающееся на части время, сделать его цельным — исцелить его:

Все было наяву,
Хотя и с мукой, но эта боль проснувшейся мечты
Вовеки не сотрет начертанного на ветру эскиза,
Мной избранного, предназначенного мне
И плоть обретшего в обманчивом свеченье
Моей квартиры.

Перевод Я. Пробштейна

Хотя искусство это — "эскиз на ветру", его невозможно стереть, несмотря, а может быть, именно из-за его эфемерности, только у искусства и остается надежда избежать тления и забвения. Горделивый мотив Горациевой оды: "Я памятник себе воздвиг...", обрастая оговорками, размышлениями, сомнениями, в устах постмодерниста зазвучал остраненно, даже смиренно. И только автопортрет Пармиджанино, художника Высокого Возрождения, позволяет Эшбери, избегающему деклараций, несмотря на все оговорки, прийти к утверждению: пространство искусства это — форма времени, то есть истина и реальность — истинная реальность в образе времени.

Балканы. Пейзаж развалин

Андрей Шарый
Фантомные боли

Несколько лет назад, ранней, но уже теплой на юге Европы весной, мы с Миленко Ерговичем сидели за столиком кофейного зала "Рубин" в загребской гостинице "Эспланада" и неторопливо, в такт с медленным, ленивым балканским днем, беседовали о югославской литературе, вернее, о том, что с ней сталось. "Эспланада" – это напыщенный, степенный отель с постным выражением холеного лица, хранящим печать достоинства нескольких десятилетий: лакеи в цилиндрах и пушкинских ливреях, растопыренные пальмы в пузатых кадках, стосвечные люстры с хрустальными подвесками, мягкий плюш портьер. Австро-венгерская традиция, казалось, пережила здесь свой век, как пережила она взлет и падение нескольких государств за гостиничным окном. Сюда когда-то захаживал апостол югославской реалистической литературы Мирослав Крлежа. Как-то, шутки ради, он заметил: именно здесь, в кафе "Рубин", проходит граница между Европой и Балканами; рубеж между упорядоченным, сытым, самодовольным Старым Светом – и суматошной, яркой, цветной, энергичной, кровавой, хаотичной, тронутой негой и страстью Востока южнославянской цивилизацией.

Для Хорватии, Сербии, Боснии и столетие назад, и теперь тема принадлежности к европейскому миру, принадлежности, конечно, не формальной, обусловленной политикой и географией, а сущностной, в основе которой лежат совместимая культура и сопрягаемые системы ценностей, – больная мозоль. Это, в общем-то, и было главным в нашем с Миленко разговоре: попытка гостя понять, в чем именно суть европейско-балканского разграничения, и стремление хозяина – объяснить. С классиком Мирославом Крлежей популярный литератор Миленко Ергович оказался вполне согласен. Потому и оставил мне на обложке только что изданного сборника своих рассказов – тоже, конечно, забавы ради – такую надпись: "В десяти метрах от Крлежиной границы Балкан".

Вот нужное для понимания темы упрощение: современная культура республик бывшей Югославии в значительной степени представляет собой лекарство и самолечение от военного синдрома. Эта попытка исцелиться зачастую иррациональна, безуспешна и отчасти даже бессмысленна, потому что неодолимое стремление блуждать среди развалин несуществующего государства подобно лунатизму. О чем бы ни писали сербские писатели, какие бы спектакли ни ставили хорватские режис-

© Андрей Шарый, 2006

серы, сколь бы разные песни ни слагали боснийские музыканты – так или иначе, прямо или косвенно, вольно или нехотя большинство этих произведений возвращают в один и тот же замкнутый круг вопросов: откуда же, ну откуда на пороге XXI века в нас (или рядом с нами) возникло новое варварство? Этот же знак вопроса на целое десятилетие, с начала девяностых и вплоть до новой глобальной трагедии 11 сентября 2001-го, превратился и в европейскую культурную моду, стал, так сказать, ответом на вызовы современности. Не случайно все постъюгославское, хоть как-то прозвучавшее за пределами бывшей федерации, все постъюгославское, хоть сколько-нибудь заслуженное, – почти неизбежно одной и той же тематики. Увенчанные крупными кинонаградами последних лет – обладатель "Оскара" фильм Дениса Тановича "Ничья земля", победитель Берлинского кинофестиваля картина Ясмины Жбаньич "Грбавица" – о войне (раньше в том же списке стояли "Подземелье" Эмира Кустурицы и "Перед дождем" македонца Милчо Манчевского). Известные к северу от Савы литературные имена – от прославленных в России сербов Милорада Павича и его самого талантливого последователя Горана Петровича, от молодой драматургессы Бильяны Сбрлянович, ставшего москвичом македонского театрального режиссера Ивана Поповски до хорватов Неделько Фабрио, Славенки Дракулич, Дубравки Угрешич – если даже прямо и не связывают своих творений с недавним конфликтом, то гражданскую-то позицию не преминут обозначить. Впрочем, другое было бы странным. В ex-Yu популярна концепция творчества под названием "luda creativnost", "креативность безумия" (вы только послушайте "Оркестр для свадеб и похорон" Горана Бреговича или "No Smoking Orchestra" Эмира Кустурицы!) – ну разве *такое* может родиться в человеческом сознании, если это сознание не воспалено травмой братоубийственной войны и государственного распада? Ясно, что и через десятилетие после окончания конфликта боль не стихает – она лишь становится изощреннее.

Самые сильные фантомные боли угасшей войны испытывают, пожалуй, те, кто считаются в бывшей Югославии (да и сами себя считают) особой кастой. Это мастера сцены, кисти или слова, пережившие трехлетнюю сербскую осаду боснийской столицы Сараево (и обычно на дух не переносящие сараевцев же Бреговича и Кустурицу, покинувших город и в своем творчестве якобы превративших народную беду в коммерческий продукт). Именно жертвам, свидетелям и наблюдателям блокады Сараева, одного из самых страшных, долгих и позорных не только для бывшей Югославии, но и для всего мира эпизодов ежедневного умирания полумиллионного города, взятого сербскими отрядами в сплошное стальное кольцо, принадлежат самые броские и самые надрывные произведения о югославской войне. Именно поэтому Сараево и стало символом балканской трагедии; именно поэтому в безвольной Европе как раз сараевские мастера искусств, выразители протеста и страдания трагического балканского пространства, где каждый воюет с каждым и где каждый каждого ненавидит, стали настоящим культурным *трендом*. Так в парижских ресторанах сто лет назад, в знак сочувствия Илинденскому восстанию 1904 года против турецкого господства в Македонии, подавали к столу салат "Macedonne", ингредиенты которого были нарезаны столь же тонко и перемешаны столь же тщательно, как перемешаны на карте Югославии народы и их традиции. Век спустя – почти то

же самое: под аплодисменты зрительных залов злая балканская кровь вливается в дряблое тело одуревшей от сытой скуки старухи Европы; и Европа молодеет, оживает. Пусть чужой, пусть кровавой, пусть страдальческой, но цветной, но — жизнью.

Два из трех авторов, чьи произведения отобраны "ИЛ" для этого номера, Миленко Ергович и Джевад Карахасан — как раз из этой "сараевской касты", хотя и по возрасту, и по поколенческому мироощущению они принадлежат к разным интеллектуальным срезам. Не нужно забывать, что речь идет о небольших по территории и населению государствах (Ергович: "На географической карте Босния размером не больше ногтя на мизинце"), в достаточно разреженной по российским меркам интеллектуальной атмосфере которых, с одной стороны, всяк желающий может без труда найти сразу несколько занятий по душе, а с другой — почти неизбежно вынужден ориентировать свое иногда многогранное творчество на тот или иной район европейского культурного пространства, где, помимо общественного признания, обусловленного талантом или проснувшимся интересом аудитории к вновь громыхнувшей "пороховой бочке Европы", еще и попроще найти гранты на реализацию проектов или средства к существованию. Ведь сербы, хорваты, боснийцы представляют пусть самобытную, но все же довольно скромную по мировым меркам культуру, в отличие от той же русской имеющую мало шансов выжить в условиях изоляции. Миленко Ергович, например, будучи человеком прагматичным (главный источник доходов для него — вовсе не литературное творчество, а работа комментатора и репортера в загребском еженедельнике "Глобус"), констатировал: "Тот факт, что я хорват и босниец, превращает меня за границей в совершенного аутсайдера, борющегося за новые тенденции в развитии литературы. У меня нет никаких, даже теоретических, шансов на влияние. Смешно мне пытаться стать Стивеном Кингом". Из этого следует еще один, пусть горький, вывод: политическая катастрофа Югославии дала югославским литературам шанс быть замеченными и по достоинству (а иногда, пожалуй, и сверх достоинства) оцененными.

Поэтому нечего удивляться: мало кто из опаленного войной полка интеллектуалов торопится вернуться из изгнания, коли уж он там оказался. Одни, как совсем молодой в ту пору поэт, литератор и журналист Ергович, отправившийся в Загреб, покинули боснийскую столицу еще до конца блокады. Другие, как драматург, режиссер, эссеист, театральный критик, романист, преподаватель сценического искусства Джевад Карахасан, оставаясь и теперь номинально гражданами боснийской столицы, значительную, если не большую часть времени проводят за очерченной Крлежей цивилизационной границей (Карахасан преимущественно живет в Австрии). Отчасти поэтому эмигрантов в Сараеве порой недолюбливают, и, в частности, язвительная критика театральных постановок Карахасана в местной печати есть проявление и такой характерной особенности раненного войной города тоже. Критика слышна прежде всего со стороны тех, кто испил чашу страданий родного города решительно и до конца: сценарист первых картин Кустурицы Абдула Сидран (боснийский мусульманин), писатель Иван Ловренович (серб), эссеист Мийо Вешович (черногорец) провели в Сараеве войну от первого до последнего дня и своей гордости и скорби по этому поводу скрывать и не пытаются. Замечу еще, что война выявила среди худож-

ников-певцов-писателей не одних только праведников и гуманистов с большой буквы. Опальный лидер боснийской Республики Сербской Радован Караджич в "прошлой" жизни был не только сараевским врачом-психиатром, но и детским поэтом, а также автором пророческих стихов для взрослых (за пару лет до войны он написал такие строки: "Я чувствую, я вижу, как рождается несчастье"). Другой боснийско-сербский лидер, покончивший с собой в конце девяностых годов Никола Кольевич, считался одним из лучших в Европе шекспироведов, а генерал Иван Толь, начальник идеологического управления хорватского министерства обороны, "солдат и поэт", в свободное от сочинения пропагандистских инструкций время складывал патриотические вирши.

По сути дела, сравнительно небольшая группа сараевских интеллектуалов превратила балканскую трагедию в артефакт европейской культуры. Как герой рассказа Ерговича, они взяли "слово Сараево в посмертную рамку черного цвета", ввели этот город в международный писательский и режиссерский обиход. Не без посторонней помощи, конечно, потому что югославская война разделила не только сербов, хорватов, албанцев, боснийских мусульман, она разделила по довольно четко обозначенным сейчас цивилизационным линиям всю Европу. По одну сторону баррикад, образно говоря, оказалась Москва в пестрой сербофильской шапке – с ее почвенническим Союзом писателей России, наградившим Караджича премией имени Шолохова; с ее большевиком Лимоновым, который молодечества ради отправился полюбоваться страданиями осажденного Сараева, с ее шахматным чемпионом Анатолием Карповым, не гнушавшимся показательных турниров во взятых сербами штурмом городах. На несколько более адекватно информированном о причинах и сути балканской войны Западе такую безоглядную позицию разделяли единицы. Из заметных на европейской культурной карте имен упомяну модного австрийского писателя Петера Хандке, который с аккуратной периодичностью делает заявления в защиту "сербского дела". После похорон Слободана Милошевича, на которых Хандке выступил с патетической речью, "Комеди Франсез" снял его пьесу из своего репертуара. Это решение дирекции театра вызвало бурную общественную дискуссию, обострившуюся, когда члены городского совета Дюссельдорфа сначала приняли решение наградить австрийского писателя литературной премией имени Генриха Гейне, а потом, услышав громкие протесты левых интеллектуалов, заколебались. Ситуацию разрешил сам Хандке, отказавшийся от престижной награды.

По другую сторону "линии огня" от Петера Хандке и его единомышленников осталась бóльшая часть западного мира. Выразителем крайней точки зрения либералов стала американка Сьюзен Сонтаг: за годы блокады Сараева она побывала в осажденном городе полдюжины раз и даже поставила с местной драмтруппой беккетовскую пьесу "В ожидании Годо"; этот спектакль, естественно, снискал политическую, а не театральную известность. Искренний жест Сонтаг, кстати, был воспринят неоднозначно и в самом Сараеве: кто-то считает ее "проверенным другом Боснии", другие пишут о том, что американка "проделала с нами эксперимент, как с подопытными кроликами". Вслед за Сонтаг в Сараево последовали другие деятели искусств, например, ирландский рокер Боно, демонстративно встретивший в только что освобожденном от осады городе Новый год – в компании случайного политического при-

ятеля, тогдашнего боснийского министра иностранных дел, позже обвиненного в вопиющем казнокрадстве.

Вклад Сьюзен Сонтаг в культурное осмысление балканского конфликта оказался и ярче, и долговечнее прочих. Однако и ее гуманистическая позиция весьма категорична: полутонов нет, зло глухой стеной отделено от добра, и у каждого из этих понятий обязательно есть национальное имя. Любопытно, что продвинутые местные писатели — взять тех же Ерговича или Карахасана, не говоря уж о Чосиче — сколь угодно цветисто могут писать о "гибели цивилизации" и о "варварстве", но национальных дефиниций не предлагают: ведь они рождены и большую часть жизни провели в многонациональной стране, опыт этнического сосуществования в которой совсем не обязательно оказывался отрицательным. Если не знаешь, кто именно и почему осаждал несчастное Сараево, то из рассказов Ерговича или эссе Карахасана не всегда это и поймешь. Их произведения — о людях, а не о государствах; личные, семейные истории они старательно изымают из контекста глобальной политики; может, потому, что этот прием помогает убивать газетную сиюминутность. Судьба человека и судьба страны соотносятся мимоходом, одним точным штрихом, стежкой, сшивающей частное и общее: так трещина в разбитом "осколком гранаты величиной с рисовое зернышко австрийском зеркале шкафа" (Ергович) являет читателю точное подобие сетки меридианов на географической карте; не злые сербы, как у Сонтаг, убивают добрых боснийских мусульман, нет — новые безымянные варвары штурмуют основы цивилизации, расправляясь с невинными детьми, невинными городами, невинными книгами (Карахасан: "Нашим душам некуда будет возвращаться, ибо то, что останется после нас, это не развалины и не Место, а Ничто... Наступают времена варваров, варвары грядут, они уже среди нас. Возможно, в нас?").

Ветерану югославской литературы Боре Чосичу с его склонностью к масштабной метафоре такого формального иносказательного отдаления мало, и он выбирает историческую оптику куда более крупного калибра, помещая героев своих книг совсем в иные событийные декорации. Умудренный жизнью Чосич опытнее Ерговича и Карахасана вместе взятых: он знает, что лобовых ответов на сложные вопросы не существует, потому и пишет о стародавней истории, в которой — совсем другая, но заставляющая размышлять о сегодняшней повседневность. Чосич копает глубоко в австро-венгерское прошлое, которое, кстати, не ему одному кажется иногда золотым веком в истории Сараева и Загреба. Между тем и на судьбу этого писателя югославская война оказала непосредственное влияние. После начала конфликта в Хорватии Чосич покинул Белград, в котором прожил полвека, сначала отправившись в очаровательный город Ровинь в северной Адриатике (это примерно такой же "дачный" писательский заповедник для бывшей Югославии, как для Москвы Переделкино, только дачи не государственные), а позже осел в Германии, поскольку именно в Берлине получил стипендию одного из общественных фондов. Впрочем, Чосич не считает себя политэмигрантом, иногда употребляя сравнение с Тургеневым, "который уехал в Париж вовсе не потому, что его прогнал с родины царский режим". Можно, конечно, сказать, что писатель воспользовался тем самым рецептом, который предложил герой его романа "Наставники" ("Толковее всего сидеть в богатом доме и смотреть в окно

на улицу"), когда уехал из развалившейся Югославии в благополучную Германию. Но так может полагать только тот, кто не ощущал на себе давления душной, пропитанной миазмами национализма атмосферы Сербии, Хорватии или Боснии первой половины девяностых годов.

В этой общественной среде и формировалась идеология нынешнего этапа творчества трех столь разных писателей, с той поправкой, что для уже давно знаменитого Боры Чосича югославская война стала второй в жизни и, пожалуй, не главной, поскольку детские воспоминания о нацистской оккупации Белграда в его творчестве, а следовательно — в восприятии, пожалуй, все-таки ярче, потому хотя бы, что это воспоминания детства. Джевад Карахасан свою последнюю довоенную книжку "Стыдные жития" выпустил за полтора года до вооруженного конфликта в издательстве с говорящим само за себя названием "Братство-Единство". А Миленко Ергович, первую свою премию за сборник стихов получивший в конце восьмидесятых еще студентом, прославился книгой "Сараевское 'Мальборо'", когда в его родном городе война еще не окончилась.

Естественно, для всех троих распад Югославии стал невероятной — в том числе и творческой — встряской. Все трое отдали дань почти ежедневной публицистике. Чосич, поселившись в Хорватии, быстро отреагировал на кровавые события первых месяцев войны: цикл эссе "Дневник апатрида", в котором на современные трагические события автор взглянул сквозь призму прустовской прозы и историю франко-прусской войны, наделал шума во всех республиках бывшей федерации. Карахасан, тоже в Хорватии и в том же либеральном издательстве "Durieux", опубликовал заметки, перекликавшиеся с книжкой Чосича даже обозначением жанра в названии — "Дневник переселения". Что касается Ерговича, то чуть ли не все его творчество вплоть до конца девяностых — это составленные из трех- или пятистраничных лаконичных, скуповатых по выразительным средствам и простых по развитию сюжета, еще и потому, может быть, особенно достоверных, текстов (в этом отношении характерны два из трех рассказов предлагаемой "ИЛ" читателям подборки, "Кактус" и "Географ"). Не случайно к сложным литературным формам Ергович, в кафе "Рубин" убеждавший меня в том, что "роман — это мистический символ для малых литературных народов, у которых сильна потребность получить свою книгу типа 'Американской трагедии' или 'В поисках утраченного времени'", обратился относительно недавно. Его поздние произведения, романы "Ореховый дворик" и "Gloria in Exselsis", по объему и широте замысла лишь немного уступают эпопеям Чосича, кстати, представляя собой те же саги семейных воспоминаний. А описанная Ерговичем в рассказе "Библиотека" смерть "цивилизации книги", гибель сараевских библиотек в пожарах войны — это как раз то, что приключилось с Чосичем в реальности, ведь в 1992 году, вскоре после начала осады боснийской столицы, на складе одного из издательств почти полностью сгорел тираж его романа "Распад".

Пик популярности Боры Чосича пришелся на время процветания многонациональной федерации южнославянских народов. Самый главный и самый известный роман Чосича "Роль моей семьи в мировой революции"[1] — который, кстати, еще и экранизировали в Югославии по

1. Русский перевод — издательство "Азбука", 2000 г.

авторскому сценарию — вышел в конце шестидесятых годов на гребне всемирных контркультурных волнений и получил отменную критику как значительная работа уже тогда маститого писателя. Чосич и в ту пору писал в характерном для югославской литературной школы масляном, размашистом, причудливом стиле, ловко мешая выдумку с реальностью и непрестанно загоняя читателя в интеллектуальные ловушки. Оттуда, из тех десятилетий, как мне кажется, и методология, с помощью которой Чосич до сего дня пытается нащупать выход из межнационального конфликта: разрешение от бремени войны он видит в объединении близких народов, а не в подчеркнутой авторами помоложе, с другим жизненным опытом, *вненациональной* организации общества. Смешно написали о Чосиче критики: "Он — один из последних, кто эмоционально искренне отождествлял себя с югославской химерой". Такой подход свойственен многим белградским писателям поколения Чосича, как, пожалуй, и всему кругу сербской культуры, которая на протяжении большей части двадцатого века пыталась взять шефство над хорватами, словенцами и боснийскими мусульманами. Расхождение писательских концепций легко объяснимо: в 1969 году трехлетний Миленко Ергович только учился слушать воспоминания своих бабушки и деда-железнодорожника, которые он так изобретательно изложит четверть века спустя в сборниках рассказов "Караваны" и "Мама Леоне", а Джевад Карахасан, юноша из боснийской семьи с древней и славной фамилией (еще и отсюда интерес Карахасана к османской культуре, наложивший печать на его лучший, пожалуй, роман 1989 года "Восточный диван"), заканчивал гимназию в провинциальном городке Дивно.

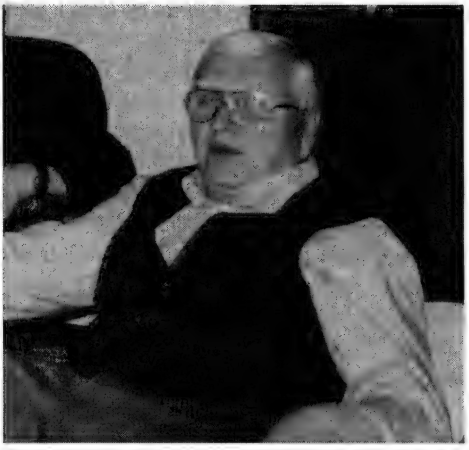
В СФРЮ, впрочем, уже зрели гроздья национального гнева. В Загребе набирало силу общественно-политическое движение, получившее известность как "хорватская весна", в Сараеве группы национально настроенных интеллектуалов составляли декларации в защиту боснийских традиций и мусульманской культуры. Но о цивилизационной границе Балкан и Европы тогда думали так мало, как никогда до или после в бурном XX веке: Югославия слыла лидером всемирного движения неприсоединения и являла собой блестящий пример того, что при социализме можно жить почти как при капитализме. Многонациональной федерации — и ее творцам, и ее противникам — возможность кровавой трагедии в ту пору казалась бредом; в трех самых больших югославских республиках тогда говорили всего лишь на разных диалектах одного и того же сербскохорватского языка; в школьных учебниках истории и литературы одну главу иногда печатали на латинице, а следующую за ней — на кириллице. Проблема разграничения культурного пространства, самая болезненная для нынешней постюгославской словесности, существовала разве что в теории. Никто не чувствовал, как *рождается несчастье*. Но теперь-то понятно, что Джевад Карахасан прав: даже смерть не следует воспринимать как конец пути. Потому что единой страны на карте уже нет, а литература все еще есть, потому что существуют близкие языки и коллективная память.

Три писателя разных поколений из трех теперь независимых государств — естественно, дети одной и той же литературной традиции, традиции сербско-хорватского реализма. В первой половине минувшего столетия на каждый из трех самых многочисленных народов Югославии выпало по крайней мере по одному талантливейшему писателю.

Это сейчас серб Иво Андрич (единственный югославский лауреат Нобелевской премии по литературе), боснийский мусульманин Мешо Селимович, автор книги "Дервиш и смерть", и хорват Мирослав Крлежа, видный загребский романист и драматург, поставлены патриотически ориентированной интеллигенцией на часы только "своей" литературы. Прежде их последователи "от Вардара до Триглава" (югославский вариант песни "От Москвы до самых до окраин" – от македонской реки Вардар до горной вершины Триглав в Словении) черпали вдохновение из общего творческого источника. Чосич, Карахасан и Ергович, не сговариваясь, выбрали себе в главные литературные предтечи одного и того же "великана" – Мирослава Крлежу. Карахасан называет себя учеником драматургической школы Крлежи, Чосич в восьмидесятые годы даже посвятил Крлеже сюжеты двух своих романов – "Деяния, сомнения, сны Мирослава Крлежи" и "Доктор Крлежа". Не отрицает важности прозы Крлежи для формирования своего писательского мироощущения и Миленко Ергович. Но, как считает Ергович, на писателей его только что вошедшего в силу поколения особое влияние оказали две культурные традиции, традиции русской и американской словесности: Драйзер, а не Пруст, Чехов, а не Цвейг. С этим, правда, многие литературоведы возьмутся поспорить: уж Крлежу-то и Андрича принято вставлять в среднеевропейскую культурную раму, даже с учетом того факта, что Сербии и Хорватии далеко не всегда удавалось шагать в ногу с Европой. Чертивший границы миров и культур в кафе "Рубин" Мирослав Крлежа не грешил против истины.

Петр Вайль писал о коротком XX веке советской России – столетие началось в 1917 году, закончилось в 1991-м. А югославский-то век, между прочим, оказался еще короче: Королевство сербов, хорватов и словенцев возникло в 1918 году, приведшая к полному и завершившемуся только несколько месяцев назад распаду СФРЮ война вспыхнула на рубеже девяностых. И модная некогда заводная рок-композиция "Вся Югославия играет рок-н-ролл" для одних теперь – грустно-сладкое воспоминание, а для других – знак беды. Подводя неутешительный итог короткого югославского столетия, писатели разных национальностей, разного возраста, уже и, видимо, навсегда – из разных стран, констатируют: мир вокруг нас был несовершенен и вчера, он будет несовершенным и завтра. Глядя на "библиотечные пожары" в Сараеве, Ергович убеждается в кризисе цивилизационных идей, делающем книги лучшей растопкой для костра. "Развалины – это то, что осталось от прежней жизни", – грустит Карахасан. "Куда бы вы ни ступили своей невинной ногой, повсюду вы увидите, насколько наш мир плох", – говорит герой Чосича. Но ни один из этих трех писателей не намеревается возвращаться к тому, что некогда было Югославией, – незачем. Из "поэтики руин" не сложить будущего. Прошлое, сколь бы хорошим оно теперь ни казалось, "нельзя воссоздать, а можно только выдумать – с той мерой произвольности, которую мы сами себе позволим".

Бора Чосич



Катарина

Фрагменты романа "Наставники"

Перевод с сербского и вступление Василия Соколова

Время и жизнь семейства Чосичей

"Иностранная литература" в 2004 году опубликовала часть "Дневника попа Теодора" — отрывок из "семейной саги" Боры Чосича "Наставники" (1982), сравнимой по объему разве что с "Войной и миром" или "Тихим Доном". Громадное произведение, звучащее как многоголосый оркестр, разбито на повествования от лица прадеда, бабушки, матери, отца, других героев и, наконец, от лица самого автора. И каждая его часть исполнена в неповторимой стилистической манере. Некоторые из глав даже в идеальном переводе вряд ли будут адекватно восприняты русским читателем, не изучавшим всерьез историю Югославии и населявших ее народов. Например, написанная в виде театральной мистерии драма времен заката двуединой черно-желтой империи, разворачивающаяся на территории Воеводины — ныне автономной области Сербии. Сотни действующих лиц, в том числе реально существовавших людей, сонмы правителей, ангелов, демонов, разбойников, тонкие аллюзии и грубые намеки, откровенное пародирование и глубокая философия — все это в полной мере может оценить лишь знаток истории славянских Балкан. И тут же искусно препарированный диалог в вагоне поезда: мы слышим слова, произносимые только одним собеседником, в результате текст приобретает совсем иной, фантастический характер. Или еще: захватывающее дух путешествие ребенка по городу на дребезжащем трамвае, по накалу переживаний юного героя сравнимое разве что с кругосветкой Магеллана. Или монолог старухи-матери в книжной лавке. Или поход загулявшего отца по злачным местам Белграда.

© Василий Соколов. Перевод, вступление, 2006

Сегодня российскому читателю предоставляется возможность познакомиться с отрывками из следующей части эпопеи "Наставники": на этот раз автором записок, которые можно уверенно датировать 80-ми годами XIX века, выступает бабушка автора, Катарина. Воспитанная в католической хорватской семье, она выходит замуж за православного священника — и не простого, а одного из активных ревнителей веры отцов и борца за национальное самосознание сербов. Вольно или невольно, но Бора Чосич не только демонстрирует читателю, как зарождался и развивался непрерывающийся на протяжении веков балканский кризис, но и старается нащупать пути к его преодолению. И видит их в единении родственных по языку, культуре и условиям существования народов, хотя принадлежность к той или иной религии и разделяет людей, а то и вызывает непримиримую вражду и кровавые конфликты. Гуманист Чосич, в жилах которого течет сербская и хорватская, немецкая и словенская, "католическая" и "православная" кровь, покинул раздираемую гражданскими войнами и фанатической религиозной ненавистью бывшую Югославию и эмигрировал в Германию.

Но он увез с собой родной язык и писательский дар. Его великолепный сербский язык далеко не всегда поддается переводу. Лингвистическая смелость его текстов временами заставляет снова и снова перечитывать его строки, но решение головоломок Чосича доставляет истинное наслаждение. Надеюсь, русский перевод передал хоть частицу прелести его прозы.

"Катехизис" бабушки Катарины повествует о повседневной жизни семьи Чосичей и прочих обитателей города Грунт, расположенного в Славонии, области, где на небольшой территории сошлись три национальности, а также католицизм с православием (ныне это северо-восточная часть Хорватии, граничащая с Сербией и Венгрией). "Катехизис" бабушки Катарины — яркий литературный лубок, напоминающий полотна знаменитых некогда югославских примитивистов (посербски — "наивци") вроде Ивана Генералича. Кому-то из читателей город Грунт, возможно, напомнит сонно-утопический гоголевский Миргород, и все же это исторически достоверное повествование о жизни православных сербов в католической Австро-Венгрии, да еще на границе со все еще агрессивной Оттоманской империей.

Бабушка Боры Чосича нередко говаривала: "Ничто в этом мире не вечно, даже время" — и потому главной своей задачей считала "спасти этот прекрасный день от забвения". Книги Боры Чосича спасают от забвения дни, прожитые его предками на протяжении двух веков. Каждое слово и каждая буква непрерывно пополняемой им семейной саги спасают от забвения дни и нашей с вами жизни.

Что нам следует делать

ПРИХОДИТ слуга Мия Оршич и от имени всех работников спрашивает привлекательную, решительную и отважную хозяйку: "Дорогая хозяйка, что нам сегодня следует делать?", а она ему отвечает: "Ты знаешь, добрый человек, что наш хозяин находится на важном поповском соборе в Венгрии, так что все здесь легло на наши плечи, следовательно, работай как можно лучше!"

Катарина Ускокович, урожденная Пеячевич, разговаривает каждое утро с работником, старательным и хорошим человеком, варит сладкую овсяную кашу больному ребенку и после этого бросает все силы на стирку белья, которое у нас есть для ношения на теле, как на верхней его части, так и на нижней, да еще белья для постели, особенно если кто-то в

ней больной лежит, и всякие там фартуки, полотенца и тому подобное, а также скатерти для стола, на которых едят. Работник Мия продолжает расспрашивать прекрасную хозяйку: "Хозяйка, что мы будем делать с пустырями, которые все сплошь непаханая тяжелая земля, на которой, кроме папоротника и вереска, нет ничего полезного?", а хозяйка отвечает ему: "Перекопай их и преврати в пашню, чтобы все цвело на ней, хозяин будет счастлив, если по завершении своего путешествия увидит, что полезные растения растут там, где прежде только волчец был и прочая напасть!" И после этого говорит: "А как там с тутовым деревом и самими листьями, хватит ли их, чтобы накормить наших шелковичных червей, которые в мгновение ока могут вылупиться из коконов и улететь уже в виде мотылька, так что мы их больше никогда и не увидим?" Слуга Мия отвечает ей: "Только вот проложим в земле трубы с целью осушения и тут же набросимся на пауков и мышей, которые растаскивают все, что у нас есть!" — "Мусор надо собрать в кучу, чтобы ветер опять не разнес его", — велит сердитая хозяйка, глядя на небо, желая определить, пойдет дождь или не пойдет. "Будем ли копать яму для жидкого навоза, несмотря на то, что кто-нибудь может упасть в нее?" — спрашивает верный слуга. Хозяйка расспрашивает, какого вида земля бывает, особенно про глину, как обычную, так и сукновальную, фаянсовую, известковую и пластичную для выработки самого качественного фарфора. "Если тарелку разбил, смело можешь ее выбрасывать, это лучше, чем склеивать", — объясняет она. Слуга на это говорит: "Надо известь гасить, как жирную, так и постную, а может, даже и гидравлическим путем!" Хозяйка говорит: "Надо на охоту за зайцами сходить, да на рынок — осла в упряжку купить, а я сяду и запишу все в главную книгу, дневник и расходник, чтобы разобраться, куда у меня сегодня деньги ушли!" — "Молокомер точно нам покажет, что есть в молоке, одно ли молоко или еще что-нибудь, например вода", — говорит хозяйка Катарина с легкой угрозой. Слуга смотрит на свою хозяйку и продолжает следующими словами: "Я никогда бы не налил внутрь ни капли воды, пусть у меня рука на корню отсохнет!", а хозяйка решительно отвечает: "Лучше бы так, чем позориться тебе на базаре, продавая излишек, который нашему дому не нужен!" Слуга Мия Оршич спрашивает: "Будем ли удобрять гипсованной землей или нет, учитывая, что гипс есть белая материя, получаемая в результате обжига в особых печах гипсового камня и которая в контакте с жидкостью приобретает неимоверную твердость?" Катарина велит: "Сегодня осушим вон те луга, позаботимся о господском салате, поработаем немножко в гончарне, может, выйдет нормальная посуда! — А после этого велит верному слуге: — Отведи этих двух здоровых детей на реку, пусть учатся плавать, а то вдруг неожиданно наводнение случится. — И после всего этого: — Только не выдумай с жандармами ругаться из-за всякого пустяка, потому что потом нам только хуже станет!" — "Что бы мы без наших коров делали! — вздыхает слуга Мия, весь гордый и в обрызганных коровьим молоком штанах. Слуга Мия говорит всем: — Нам надо старательно работать, чтобы было что показать на земледельческой выставке в Пожеге, или на винной выставке в Липике, или на выставке крупного рогатого скота в Загребе, там вскоре соберется вся скотина всего королевства, так что ее мычание во всей Европе услышат! А кроме того, — отмечает слуга, — у нас есть еще конопля, которая воняет в процессе обработки, но без нее мы все ходили бы по белу свету голые и босые, как

нищие", а хозяйка велит: "А сейчас сойдем в подземные помещения, специально подготовленные, и займемся там, будто все мы под арестом в царской темнице, выращиванием грибов, которые произрастают только в вечной темноте и сырости".

Пес

ПОСЛЕ этого в освободившуюся кухню входит пес, верный спутник человеческий, который проживает по всей земной поверхности. Псы бывают гончие, домашние, кудлатые, охотничьи, дворняги и доги, и вот пес этот показывает свои усталые и печальные глаза, и хозяйка говорит ему: "О, мой грустный пес, кто опять огорчил тебя так сильно, сейчас я тебе дам сахарную косточку, грызи и круши ее своими зубами сколько захочешь, но только после этого от тебя польза должна быть на охоте, во дворе, при ограблении, а также как от друга семьи!" А ведь мог бы этот же самый пес, взбесившись и обозлившись, перекусать всех домашних так, что все они поумирали бы в страшных мучениях, стоило только ему захотеть.

Родня

ГОВОРИТ хозяйка Катарина: "У меня из родни есть мой муж, который отсутствует, когда нам так тяжко, и все ради государственных и церковных дел, есть деверь, который продает всякие мелочи в своей лавке, есть его верная жена, хотя никак родить не может, есть другой деверь, который скитается по Германии и собирает разные ядовитые растения и всякие камни в неизведанных и чужеземных горах, есть еще свекор Теодор, образцовый поп и человек, который каждый день говорит совсем не то, что вчера говорил!" На это отвечает ей служанка, вымыв закопченную и очень грязную посуду: "Хорошо вам, прекрасная хозяйка, а что мне сказать, у которой нигде никого нет, совсем как у той собаки, что с аппетитом грызет в углу свою кость, что мне сказать, у которой в один прекрасный день муж исчез при исполнении военного задания, и после этого я счастлива тем, что могу полы мыть в благородном поповском доме и получать за это тарелку супа и какую-то мелочь в качестве доли от всего этого вашего огромного богатства!" После этого хозяйка говорит: "Сначала я забыла сказать о том, что мне всего дороже: что у меня трое деток, цветок к цветочку, Анка восьми лет, Петр пяти и больной Душан всего лишь годовалый, хотя очень надеюсь, что он поправится!" Преданный и верный слуга Мия Оршич добавляет: "Если бы еще двое у вас не околели в страшных мучениях, то было бы у вас пятеро, а не трое деток!", на что дед Теодор замечает своим грубым и праведным голосом: "Чем больше детей, тем больше напастей!" Мать Катарина говорит: "Я не виновата, что я такая счастливая и довольная, хотя работаю с утра до ночи как скотина, будто я не хозяйка всего этого поповского имения, которое для всей округи образцом служит!" Жена деверя на это говорит: "Если бы ты осталась в своем богатейшем доме Пеячевича в Нашице, сейчас бы использовала время на читание романов, играние на фортепьянах и вязание ажурных и нико-

му не нужных кружев, а так тебе приходится судиться с родными братьями из-за этих беспредельных полей, лесов, лугов и чистого золота, которое они держат в шкатулках и в других местах, а тебе не дают ни грамма!"

Болезнь

У маленького, хотя и симпатичного Душана, любимца и очевидного наследника всего этого богатства, нет-нет, да и случается болезненное состояние, называемое лихорадкой, которое к тому же сопровождается общей слабостью, горячкой и остыванием маленького тельца, а также затрудненным дыханием посредством легких, органа, предназначенного принимать и отдавать воздух. Общинный доктор В. Талер приходит и говорит, что с малышом все в порядке, просто надо дать ему немного хинина, изобретенного пятьдесят лет тому назад во Франции, точное воздействие которого и результаты еще не до конца известны. Мать Катарина говорит деверевой жене: "О, только бы он выздоровел и стал бы искать трясогузочьи гнезда, как его старший брат Петр, никто бы со мной в счастье не сравнился!" Слуга Мия говорит: "Что есть гнездо, как не своего рода колыбель, которую строит большинство птиц, чтобы откладывать туда яйца, из которых потом вылупляются птицы, животные бесполезные и красивые!" Дед Теодор говорит: "Если дитю малому дать хоть один глоток вина, оно ни на сантиметр не вырастет, хотя попробовать бы стоило!" Жена деверя на это говорит: "По всему свету ходят колченогие и колчерукие, а другие стонут от страшных болей, люди падают в ямы с негашеной известью, и у них живое мясо от костей отстает, или в кабаках друг другу глаза вышибают, или только мычат, или рождаются с четырьмя ногами и восемью руками, а к тому же еще и рогатые, мы счастливы просто должны быть, что у нас только одно дите болеет, и то совсем малое!"

Сосед

ПРИХОДИТ владелец паровой мельницы и лесопилки Павел Михоль и говорит: "Хотя мы не такие крепкие и зажиточные, как вы, которые под собой всю торговлю держите, церковь, виноградники, лошадей, леса и хлеб, я все-таки смиренно называю себя вашим преданным соседом, из-за того, что мой дом прямо на ваш смотрит, и только улица нас разделяет!" — "Тем более, — говорит ему хозяйка Катарина, — сейчас, когда мой хозяин в дальней дороге, ребенок болен, а старый свекор уже не в себе немного, тем приятней мне иметь в соседях благородного, честного и отважного человека, независимо от его семейного положения и способа, которым он свои деньги зарабатывает! — Павел Михоль кланяется, а Катарина продолжает: — Я знаю многих хозяев и владельцев, которым завистливый сосед амбар поджег, в колодец нагадил, скотину отравил, служанку увел, а по дверям всякие гадости понаписал, надеюсь, в нашем случае такого не будет!" — "Нет, ни в коем случае, даже в кошмарном сне!" — кланяется Михоль и бьет себя кулаком в сердце, подтверждая, что никогда.

Школа

ЖЕНА деверя спрашивает маленькую Анку: "Разве ты сегодня не в школе, неужели хочешь, чтобы тебя цыгане украли, которые вокруг бродят, а потом тебе глаза выкололи и уши отрезали для того, чтобы тебе побольше милостыню давали?" Мать Катарина говорит своей любимой, но временами вспыльчивой дочери: "И хотя твой добрейший отец и хозяин в дальней дороге, прилежно слушай, что тебе говорит замечательный учитель Йова Станивук, и старательно все записывай в тетрадку, даже то, что тебе глупым покажется, потому что он лучше тебя все знает!" Жена деверя добавляет: "Только бы дожить до того дня, когда все твои дети выучатся, вырастут и занемогут, только тогда я смогу в мире и покое сомкнуть свои усталые и жертвенные глаза!" Слуга Мия Оршич стоит в дверях, чешет свою умную голову и как бы невзначай замечает: "Если бы мне Бог дал счастье выучиться, я бы не мучился теперь со скотиной и погаными людьми, работая в этом доме, достойном всяческой хвалы!" Жена деверя продолжает говорить маленькой Анке: "Лучше бы вас в школе научили, как из шелковичного червя сделать бальное платье, чем мучить собственный мозг глупыми именами из неизвестной истории, которые, возможно, вообще не существовали!" Дед Теодор говорит в таких случаях: "Я бы каждую, даже самую убогую служанку заставил бы выучить, кто такой Наполеон, а кто не хочет – того кулаком по башке!"

Заботы

ПОКА пес грызет свою вкусную кость, больное дитя Душан плачет в своей детской кроватке, а работники Йосип Шкуль и Петр Мркович выгоняют овец с тридцатью четырьмя зубами у каждой, с длинными и нелепыми головами, а порой и просто глупыми, а мать Катарина, на которой держится вся домашняя и другая работа, заботится о своей прекрасной семье. Слуга Мия Оршич говорит: "Сейчас спущусь в подвал и осмотрю эти бочки, каждая из которых может вместить от трех до четырех гектолитров вина, и посмотрю, не отпил ли кто из них без нашего ведома!" Мать Катарина говорит: "Было бы в этих бочках еще и больше, если бы не проклятая филлоксера, гнусный жучок, который жилки в корне лозы перегрызает и ни на что другое не способен!" – "Вот что бы нам следовало выращивать, так это эвкалипт, дерево, которого ни в одном доме нет, как в Грунте, так и в целой Славонии!" – говорит сердитый дед Теодор. Катарина ему отвечает: "Тогда лучше уж маслины, если бы только было у нас южное море, но откуда у нас морю взяться, если даже Риека не присоединена к нам официально хоть каким-нибудь государственным договором!" Дед говорит: "Море и поле по способу обработки – две совсем противоположные вещи, хотя и похожие!" Катарина велит верному слуге: "Лучше бы ты посмотрел на градусник, стеклянный прибор, чтобы нас не застал врасплох мартовский мороз и не погубил бы все, чего мы добились тяжким трудом, во всем себе отказывая!" Так проходит жизнь этих замечательных и действительно ко всему готовых людей, их прекрасных, но временами болеющих детей и их беззаветно преданных слуг, в то время как век, девятнадцатое столетие, приближается к своей последней четверти, потому что ничто в этом мире не вечно, даже время.

Мышь

МАЛЕНЬКАЯ Анка уходит в школу для приобретения знаний, их расширения, объединения, понимания и впоследствии применения в собственной жизни. Там справедливый, но несколько близорукий учитель Йова Станивук учит прилежно слушающих детей всему о животном, которое у многих людей водится в комнатах, о маленьком создании, обликом совершенно противоположном слону, то есть о мыши. Учитель Станивук спрашивает, где еще проживает этот маленький вредитель, а умная Анка вежливо отвечает, что это маленькое создание живет и в амбаре, и в подвале, где сыр хранится, и в риге, куда сваливают хлеб в необозримом количестве, и еще что во многих стихах говорится о ней с симпатией к ее внешнему виду, пугливости и проявляемой изредка мудрости. Учитель Станивук говорит: "К следующему уроку каждый из вас должен сделать мышь из дерева, теста, глины или из чего вам угодно будет, главное, чтобы она была как настоящая и чтобы никому никаких неприятностей не чинила!" В Грунте мышь грызет, бегает и дрожит, а кошка ее подстерегает, прыгает, сжирает ее, после чего мурлычет как ни в чем не бывало.

Против напастей

УЧИТЕЛЬ Йова Станивук демонстрирует картинки тяжких болезней, которые в любой момент готовы напасть на приличную человеческую внешность, и говорит: "Этот рисунок рассказывает вам о том, какие напасти постигли угодного нашего соседа Гргура Клашню, который страдает прободением желудка, сломанным позвоночником, зобом, язвой, дистрофией мышц и повышенной кислотностью, искривлением рук, ключицы и грудины, слепотой одного глаза и трахомой другого, поносом, сапом, отрезанным пальцем на левой ноге и который, несмотря на все перечисленное, имеет еще силы веселиться и петь в своей больничной койке!" Маленькая Анка говорит: "И у нас один работник упал с горящей конюшни на вилы и с ними вместе в глубокий колодец, полный змей и ядовитых грибов!" Учитель Йова гладит маленькую Анку по голове и говорит всем без всяких околичностей: "Я знаю, что многие из вас погибнут во время празднования различных семейных праздников, при покупке яда для истребления крыс или при строительстве новой конюшни, но будьте, по крайней мере, готовы к этому и никогда не забывайте о том, что могут случиться самые страшные вещи!" Маленькая Анка говорит: "Мой братик Душан очень болеет в своей кроватке, но доктора говорят, может быть, он не сразу умрет, а если вообще не умрет, то всю жизнь болеть будет, особенно если врачи будут такие же, как сейчас!"

Мир плох

"КУДА бы вы ни ступили своей невинной ногой, повсюду вы увидите, насколько наш мир плох, – говорит Йова Станивук. – Здесь больница переполнена неизлечимыми больными и раненными на всяческих войнах, там приют с неизвестно каким

количеством сирот, у которых ни одного родного человечка на белом свете, а вот вам пожарное депо, в котором полупьяные пожарники Бога молят, чтобы какой-нибудь честный дом загорелся, чтобы они смогли себя показать, а тут трактир и кабак со своими страдающими пьяницами и детьми, которые также принимают алкоголь, глядя на своих родителей, а вот церковь, в которой вам проповедуют на чужом наречии, здесь мост, который в любую минуту может рухнуть в буйную Шуметицу, которая не знает пощады!" Маленькая Анка спрашивает: "А что же нам в таком случае делать?" Учитель устало утирает лоб, протирает запотевшие от таких разговоров очки и говорит: "В таком случае толковее всего сидеть в богатом доме и смотреть в окно на улицу, где все это происходит, и чтоб тебе никто ничего плохого не сделал!"

Благородные и ненасытные

МАЛЕНЬКАЯ Анка говорит своему учителю: "Моя мать, хотя и из очень богатой семьи, всегда оставляет куриные косточки и другую еду перед домом, чтобы нищие могли еще немного обглодать их и высосать мозг из вкусных косточек!" Учитель говорит: "Все богатеи, которых я знаю, благородны, а все нищие перед чужим порогом алчно чавкают и потом даже руки не вытирают!"

Обязанности

"У каждого есть обязанности, которые он должен выполнять, даже если у него на это рука не поднимается, — говорит добрый учитель. — Один обязан погибать в бою с неприятелем, которому на нас наплевать, моряку судьба уготовила смерть в холодной воде, сталевар живьем расплавится в невероятной жаре, так что даже косточки от него не останется!" Маленькая Анка говорит: "Моя мама рассказывает, что любой человек, что бы он ни делал, все равно через это пострадает, либо палец по невнимательности пришьет, либо, бутылку открывая, руку порежет, либо со стремянки упадет, собирая яблоки, которые и без того сгнили!" Учитель Станивук на это: "Да и сами ученики, которые приходят из бог знает каких мест сквозь снег, лед и эту ужасную жару, во время чего их подстерегают рыси, дикие кошки, львы и разбойники, готовые их задушить за копейку, приходят, следовательно, голодные и босые в школу, где слушают то, о чем понятия малейшего не имеют, и где с ними разговаривают на непонятном языке, а после этого возвращаются домой, не получив от всего этого никакого толку!"

Все равны

"СТОИТ мне присмотреться к вам, — говорит учитель, — и я вижу, что один из вас хромой, другой косой, третий очки носит, четвертый заикается, пятый убогий, шестой немытый — и потому от него повanивает и отдает грязным постельным бельем, у седьмого позвоночник кривой, восьмой совсем горбатый, девятый еврей, де-

сятый попович, одиннадцатый левша, и всегда вы будете равны со всеми другими, и никто в этом ничего не изменит!"

Мудрые примеры

УЧИТЕЛЬ Йова Станивук пересказывает замечательный разговор между двумя корчмарями, одним рыцарем и некоей красавицей, а также поучительное замечание, которое сделал убогий нищий местному богатею, благодаря которому оба корчмаря, рыцарь и богатей поимели немалую пользу, потому как прекратили гордиться, надуваться и хвастаться своим корчмарством, храбростью и богатством, а стали раздумывать, как бы помочь другому корчмарю, красавице и убогому, у которого в суме даже сухой корочки нет. "Что толку от того, что мы самые богатые в округе, – говорит маленькая Анка, – если все и без того знают, что это именно так и есть!" Учитель приветствует это заявление хлопаньем в ладоши и говорит: "В самом деле, чего только нет в доме Ускоковичей, каждый готов пожалеть, что его собственный дом не таков, однако мы продолжаем жить без зависти и ненависти в душе, как будто все это имение уже сгорело синим пламенем вместе со всеми его благородными обитателями!" Маленькая Анка добавляет: "Правда, к нам приходят разные люди, часовщики, жильцы, калеки и трубочисты, и каждый дает какой-нибудь умный совет, который моя мама Катарина тут же записывает в толстую тетрадку!" – "Что было бы с этим народом, если бы не было у него своих мудрых и умнейших граждан, которые могут запросто утереть нос любому богатею, который потом над этим всю жизнь размышлять будет!" – добавляет учитель и сморкается в платок.

Ландшафт

"ЧТО есть снаружи такого, чего нет в этом классе?" – спрашивает учитель. "Снаружи холодно, внутри тепло, снаружи авантюристы, внутри ученики, снаружи ночь, внутри день", – говорит лучшая, но неисправимо озорная девочка Анка Ускокович, глядя исподлобья на своего учителя, который носит очки. "Снаружи – ландшафт, – говорит учитель, – а это совсем не то, что воздух, которым вы дышите, и нет Наполеона на лошади, потому как только дерево, камни и травы, а кое-где и речка случается!" – "А чему все это служит?" – спрашивает маленькая Анка, желающая набраться знаний и всяких пакостей. "Ничему, разве что только бы Господь Бог радовался, видя, что все это существует!"

Наши ремесленники

ОДНАЖДЫ приходит столяр Лисац, неся на горбу стул, который он сделал для деда Теодора, чтобы тот сидел на нем, и говорит: "Вот вам ваш стул, преподобный!" Затем приходит Йова Петрич, который делает посуду из глины, и говорит: "В эту посуду из глины можешь лить какую угодно горячую жидкость, она не треснет, че-

стное слово!" А вот и лапотник Джука Ковачевич объявился с лаптями для работников и тоже свой товар, собственноручно сделанный, хвалит. Полно народу в дом набилось, каждый что-то приносит и своими товарами товары предыдущего со стола спихивает, так что служанка то и дело осколки и обломки на помойку выносит, а мать за все платит, лишь бы они с Богом убрались. "Вы наши ремесленники, — говорит она. — Вот только не понимаю, почему ваш переулок не в вашу честь назван, а именем императрицы Гизеллы Людевиты Марии, которая с рождения и по сегодняшний день не то что в Грунт не заехала, но даже и не знает, что такой существует!"

Солдат

СМОТРИ, как молоденький Рудольф Цанкл на войну уходит! Заботливая мать, супруга землемера Драгутина Цанкла, с глазами, полными слез, немного от радости, немного от печали, говорит: "Так и вижу, как ты, такой прекрасной наружности в этой яркой униформе, хватаешь мандолину в какой-нибудь корчме и поешь неприличную песенку, как любуешься испорченными девушками, которые танцуют на проволоке, играют на скрипке и вещают чревом, как отпускаешь бороду и усы, хотя оправдания этому нет, как хулиганишь в ресторанах и на биваках, в то время как твой командир себя по лбу рукой хлопает, потому что не знает, где ты пропадаешь, как срываешь неизвестные фрукты и ешь их немытыми, как куришь трубку с длинным и, наверное, турецким чубуком и оттого кашляешь и едва не задыхаешься, как падаешь в какую-то реку, совсем не научившись плавать, как какая-то кухарка обвиняет тебя в том, что ты ей ребенка сделал, и все это вместо того, чтобы погибнуть как мужчина и герой под знаменем нашего знаменитого и неустрашимого полковника, благородного Ферды Белтрупа, который ждет этого не дождется, чтобы получить возможность утешить нас замечательной открыткой!"

Путешествие

"ХОРОШО вам, что не обязаны вообще странствовать неизвестно где, а только убираете себе сор, выносите полезный навоз из коровника, пропалываете огород и кормите свиней, — говорит хозяйка Катарина своим в ряд выстроенным работникам и другим домашним слугам. — А что сказать про нашего угодного и несчастного хозяина и отца Василия, который к тому же и поп! Как только он повернулся к нам спиной и зашагал, я сразу же волноваться начала: перевернется или нет повозка, да оглобля, того гляди, его насквозь проткнет? Не потонет ли пароход на Саве и он вместе с ним, и одна только ряса на воде останется как знак беды? Не упадет ли он со скалы, на которую ему и влезать-то не стоило, и все кости переломает, а после этого еще на куски разорвут дикие звери, которых в таких краях полно? Сгинет ли он так, что даже могилки от него не останется? Или вернется хромой, без одной ноги вследствие несчастного случая, или без одного глаза в результате небрежного откупоривания бутылки? Или его огра-

бят и ножом сердце пронзят посреди ночи? Об этом и многом еще более страшном размышляю я вечерами, пока не усну, устав от таких мыслей, а вы себе прекрасно руки умоете, нажретесь горячего супа и заснете как убитые!"

Военные

ГОВОРИТ начальник артиллерии двадцать первой краевой Драгутин Шрам своим солдатам: "Солдаты, стрельнем ли мы по туркам, которые у меня вот здесь сидят, грабят и угнетают наших братьев?" – "Стрельнем!" – отвечают веселые артиллеристы, одетые в красные артиллерийские мундиры, и вот уже один стреляет, а другой пальцем ухо заткнул, чтобы не оглохнуть, а вдалеке, куда снаряд из пушки упал, слышится болезненный, но справедливый вопль турка на его родном языке: "О горе мне, Боже, я погибаю!" – "Ерунда все это! – говорит рыцарь Ферда Розенцвейг. – Их надо саблей сечь сверху донизу, вот так вот!" И первого встречного турка действительно располовинил на две одинаковые части, хотя тот ни в чем перед ним не провинился. Из далекой Вены смотрит в трубу благородный император Франц Иосиф и говорит своей любезной императрице: "Так они в самом деле сражаются, а не шутки шутят!"

Печатники

В некоторых укромных и прекрасно обустроенных городах есть механизмы, которые, стоит только одно колесо провернуть, начинают тискать разные буквы, как наши, так и немецкие, а иногда и мадьярские, а потом из механизмов вылезают готовые книги, хоть сразу бери и читай. Говорит Дж. Дежелич Игнату Фуксу и Андрею Вагнеру: "Слава богу, мы настоящие печатники, и у нас ничто не останется не отпечатанным!" Говорит Джордже Радич, также печатник: "Я, если бы не печатал, просто не знаю, чем бы день-деньской занимался, а так, может, кому и польза будет, хоть и через сто лет!"

Разные полезные особы

ГОВОРИТ Чисер Янош, владелец парохода "Перцл Мориц": "Давайте я вам отвезу ваш товар вниз по Саве, а вы мне после этого честно заплатите, и каждый доволен будет!" Добавляет Луи Гендельсман: "А что вы скажете на мое предложение выучить вас каллиграфии, после чего вы сможете хоть самому императору писать, только дурью не мучайтесь и глупости не сообщайте, а прекрасным стилем опишите ему свою жизнь, чтобы получить хорошую должность и симпатичную вдовицу в жены!" Генрих Гиршл встает посередь дороги, останавливает коляску, набитую кавалеристами в увольнении и их прекрасными девушками, и кричит им еще издалека: "Если вы не купите у меня замечательный бильярдный стол для игры в карамболь, то оскорбите меня до смерти, разве сможете вы хоть день прожить без этого прекрасного развлечения?" Стефан Вульпе гово-

рит своим землякам: "Раз уж так, давайте сфотографируемся, чтобы спасти этот прекрасный день от забвения!", а Экерт говорит: "Ничего, ничего, можете не покупать моего плуга, попробуйте другим вспахать, ни фига у вас не выйдет!" Говорит служащий страхового общества "Анкер": "И когда все рухнет, сгорит и пропадет, я приду к вам и принесу кучу денег за все эти ваши совершенно никчемные руины!" А дед Теодор решает: "Так, или слуги прогонят толпу этих фальшивых торговцев и татей, или я стану из ружья палить, несмотря на рясу, которая на мне надета!"

Визит

В превосходный дом попа Ускоковича въезжает человек в мундире и говорит: "Я — общинный чиновник, который явился, чтобы выжать из вас последний грош по причине невыплаченных налогов, без чего я не смею показаться на глаза судье и председателю общины!" Судья Талер сидит в своей прекрасно побеленной канцелярии и говорит некоему помощнику: "Никак не дождусь, когда вернется униформированный чиновник на коне с кучей денег из дома Ускоковичей в счет налогов, и я немедленно пополню ими государственную казну, ключ от которой я немедленно закопаю в неизвестном месте на огороде!" В ту же минуту появляется у хозяйки Катарины благородный доктор Палацкий, которому мать Катарина говорит: "Добро пожаловать, мудрый доктор, наверное, вы явились для того, чтобы и мы вкусили от вашей мудрости, как бы нам разрешить эту напасть с чиновником, который желает отнять у меня последний крейцер в счет налогов!" Судья Талер говорит своему служителю: "Слышал я, что к хозяйке Катарине приходил мудрец Палацкий, который советует ей, как выкрутиться, чтобы не платить налог моему униформированному чиновнику, я просто не знаю, что мне делать, до такой степени я взволнован!" Мудрый доктор Палацкий говорит: "У нас в Югославянской академии никто никому не платит налог за работу с учеными книгами, так и вы не платите, потому что налог никому никакой пользы не приносит, а особенно тому, который его платит!" Директор учительской семинарии Кораяц говорит: "Я тут проезжал случайно на коляске и завернул на стаканчик этого замечательного винца и разговора, хотя и знаю, что домохозяин все еще в дороге, и вот вижу тут и премилостивого мудреца доктора Палацкого, а также неизвестного мне униформированного татя, который наверняка хочет украсть у вас последний крейцер в счет налога!" Судья Талер быстро встает со своего стула, захлопывает двери канцелярии и шагает через парк, чтобы как можно скорее попасть в дом Ускоковичей. Немытый паренек, который точит ножи, говорит своему брату, играющему в пыли: "Вот судья, который идет, чтобы выпить в замечательной компании в доме Ускоковичей, раз уж у него не выходит выбить из них хоть крейцер в счет налога!"

Проклятый пьяница

ПРОКЛЯТЫЙ пьяница Йоца Рняк приходит в свой совершенно разграбленный дом без крыши, где дождь капает прямо в тарелку его несчастной жене и трем малышам, также несчастным, и

вот он говорит им всем вместе: "Я проклятый пьяница, и нет мне спасения. Все деньги, которые я каким-то чудом заработал, чтобы кормить вас целый месяц, пропил я у проклятого корчмаря Томленовича, лакая сливовицу, которая впрок мне не идет и не нравится мне совсем, а только жжет в животе, как жар!" Отвечает ему на это его несчастная супруга: "О, пропащий мой муж, известна мне твоя пагубная страсть к питию ракии, но важнее всего, что ты у нас жив и что тебя не посадили под арест за убийство судьи, или попа, или налогового, а ты с чистыми руками явился в свой убогий дом, а мы уж как-нибудь заработаем новые деньги честным трудом, в ходе которого, возможно, кто-нибудь из нас умрет от усталости, но тем не менее и после этого мы покроем свою крышу и вылечим наших детей от страшного кашля!"

Лавка

"ЭТО лавка, – говорит дядюшка Йова своему племяннику Петру, – сейчас тебе дядя Йова покажет, что есть что и для чего предназначено! – Это поплавок, – говорит он, – а это касса, где лежат деньги, полученные от неких селян и других покупателей. Вот это вверху – коробки со сладкими и солеными хорошими вещами, вполне съедобными, а также гвозди, купорос, которым можно отравиться, но только если лизнешь, веревка, которая для тебя, как для ребенка, тоже опасна, и еще вилы, которые могут тебя насквозь проколоть, потому не смей их трогать, ни сейчас, ни потом!" Тетка Юля говорит: "Бог с тобой, что ты все подучиваешь ребенка, который потом из чистого любопытства станет пробовать все запрещенное, вот помяни мое слово!" Дядя Йова замечает: "Все эти железки, краски, проволоки, куски того и этого, кадки, кастрюли, лампы, керосин, чтобы жечь его, как и многое другое, купленное за огромные деньги, дядя Йова как-то кому-то должен продать, причем подороже, за большие деньги, а он и понятия не имеет, кому и как все сплавить!" Говорит тетка Юлианна: "Это тебе на будущее наука, чтобы ты в торговлю не влезал, даже если промотаешь все, что у тебя будет, только бы не нервничать после того, как закупишь порченый и никому не нужный товар!"

Звание

ГОВОРИТ слуга Мия Оршич: "У каждого есть какое-то звание, например, господин Франя Йосип имеет звание императора, господин Василий – священника, а мое звание – слуга, хотя я с чем угодно справиться в состоянии!" Мать говорит Анке и Петру: "Ваш удел теперь детьми быть, хорошо вам, потому что не приходится потеть, как бедному Мие, которого мне часто жалко бывает, но что я могу поделать!" Приходит директор учительской семинарии Вилим Кораяц и говорит: "Когда я прихожу в дом Ускоковичей, то у меня всего одно звание остается – гость, дай вам Бог здоровья и всяческих благолепий за ваше замечательное гостеприимство!"

Ученое общество

СИДЯТ господа учителя Бадани, Форко, Жедич, Ткалчич, а также Петр Валевац и Йова Станивук за чистым столом в симпатичной корчме Йосипа Томленовича, и говорит Йова Станивук: "Не знаю, как у вас, а я что говорю, что не говорю, все впустую, никто на меня в классе не смотрит и никто меня не слушает!" – "Перво-наперво, – отвечает Йосип Форко, – нельзя говорить этим твоим гнусавым голосом, но греметь надо так, чтобы каждый на месте замер, а самые мелкие дети чтобы в мышиные норы от страха попрятались!" Никола Комленац говорит: "Это совершенно неправильно, потому что школа предназначена учить тому, как ветер дует, откуда карлики появились и почему некоторые мысли следует излагать в форме речи, а не орать их и не кричать, будто ты совсем с ума сошел!" Петр Валевац говорит: "У меня хороший характер, но когда меня эти маленькие хунхузы расстроят, я бы их всех перерубал, если бы только посмел и если бы из-за этого у меня неприятности не возникли с их еще более сумасшедшими и ненормальными родителями!"

Паук

"ЧЕЛОВЕК куда угодно спрячется, если ему худо станет и жандармы его искать станут вследствие неуплаченного налога или из-за уклонения от призыва на военную службу, – говорит дед Теодор и добавляет: – В таком случае каждый пожелает в жучка мелкого превратиться, или в паука по крайней мере, но ведь он человек!" Учитель Станивук говорит: "Хорошо пауку, у которого собственная паутина есть, в которую он заманивает и где употребляет в пищу других, иной раз очень даже крупных насекомых!" Маленькая Анка говорит: "Паутина состоит из шелковых ниточек и из самого паука, который их ткет, однако все это можно очистить шваброй так, чтобы от ниточек и следа не осталось!" Учитель Станивук завершает: "Тем более что паук вовсе не безобиден, особенно если укусит такую девочку в пятку, от чего она сразу рухнет замертво в безумном трансе итальянского национального танца!"

Татъ

КОГДА поймают нищего и несчастного татя на попытке увода коровы из коровника образцового содержания, свяжут его и изобьют чем под руку попадется, говорит ему слуга Мия Оршич: "Проклятый тать, как это ты решился обокрасть самый уважаемый в Славонии дом, вместо того, чтобы отправиться на работу в подземный рудник в Америке, или на пароходе, который перевозит путешественников в Пешт, или половым в некую корчму, где хотя бы выпить немного на дармовщинку смог!" Говорит избитый тать: "Ни к чему мне пить или ездить на пароходе, а нужна мне корова, от которой я молоко получать буду для своих семнадцати детей, которых я родил вследствие другой нехватки, жена у меня умерла при последних родах, отец меня проклял, налоговые меня ограбили, неприятельские солдаты мне глаз выбили, так что мне теперь только и остается, как татю, воровством заниматься, пока меня насмерть не забьют почтенные люди вроде вас!" Мать Катарина развязыва-

ет свой фартук, старательно причесывается гребнем из перламутра и говорит татю в лицо: "Я прикажу, чтобы тебя отпустили домой, но корову тебе не отдам, потому что она мне самой нужна, хотя мне известно, что во многих местах — в общине, в суде и много еще в каких канцеляриях — сидят воры похуже тебя, только я вслух об этом сказать боюсь!" Хорошо накормленный пес спрашивает печальным взглядом свою знатную хозяйку, не порвать ли ему на куски чахлое тело голодного одноглазого татя, а хозяйка говорит ему к удивлению всех присутствующих: "Не надо!"

Бунт

ГОВОРИТ судья Талер своему помощнику: "Что это за проклятый город такой и кто меня сюда посадил, черт бы его мать побрал и так далее, почему тут никто никогда не бунтует и даже следов нет хоть какого-то неприличия, за которое человека арестовать можно было бы!" Йоца Рняк говорит на это в совершенно пьяном состоянии: "Да здравствует наш император и король Франя Йосип еще сто и пятьдесят лет!" Писарь Буник заявляет: "Когда некое пьяное лицо говорит в честь нашего императора, то по мне это то же самое, если бы трезвый стал бранить и оскорблять его, так что мы это пьяное лицо смело можем повесить за ноги или за какую другую часть".

Общинные чиновники

КАЖДОЕ утро общинные чиновники являются в общину и распределяются по своим удобным, однако несколько грязноватым канцеляриям, где они должны находиться до четырех часов пополудни, даже если у некоторых из них нет никаких дел. Говорит Йожа Лукац, общинный чиновник: "Как только подумаю о том, что я, будучи общинным чиновником, должен сидеть здесь, а мою прекрасную супругу именно в этот момент соблазняет капитан Плуштец, рассказывая ей про вымышленные войны, на которых он даже во сне не бывал, не говоря уж о том, чтобы погибнуть на них, как и следовало бы честному и достойному похвалы человеку!" Председатель общины Игнат Лобо проходит галереей и входит в служебные помещения, где сидят все общинные чиновники в глубоком трауре, поскольку не знают, что у них дома происходит, а чего не случается. Говорит им председатель общины: "А что вы думаете, мне, что ли, легче, чем вам, только потому, что я председатель, ведь я и сам знаю, что делают офицеры с нашими верными женами, одного только понять не могу, кто только позволяет им шастать по приличным домам в то время, когда мы здесь сидим!"

Набег

НАЛОГОВЫЕ приходят в дом испуганного сапожника Джуки Ковачевича и говорят: "Дай деньги, которые ты задолжал императору и королю в результате починки огромного количества обуви всему городу!" Отвечает им сапожник, весь лицом сокрушившись:

"Дорогие господа налоговые, посмотрите на мой скромный дом, который состоит из комнаты для проживания и маленькой мастерской, в которой клеем смердит, вот вам кровать, стол, на столе тарелка с колбасой, стакан вина и открытая книга 'Новая Элоиза Хорватская', там вон шкаф, на шкафу три другие тарелки, на стене картинка Христова распятия, на полу мышеловка для ловли мышей, два стула, жена шерсть прядет, ребенок описавшийся плачет, в то время как в открытую дверь корова голодная мычит, вол, коза, две овцы, петух, четыре тощие курицы, один павлин и старая гусыня. Вот все, что у меня есть, а денег, вот те крест, нету!" Налоговые говорят: "Если так, то извиняйте и спокойной вам ночи", — и уходят, пришибленные и несчастные, чтобы рассказать об этом печальном событии расстроенному судье Талеру, который прямо и не знает, что со всем этим делать.

Праведник и грешник

ГОВОРИТ судья Талер: "Прямо так и вижу, как умрет наш бедолага Йоца Рняк. В пыльной комнате будет сидеть во мраке на поломанном стуле, у ног его лежит колода карт для игры в пьяницу, рассыпанные деньги, которые ему уже не нужны, окровавленный нож, павлинье перо, сломанная бритва, на столе уже испортившаяся нетронутая еда, потому что ему есть неохота, змея самой ужасной породы ползает у него по груди и больно кусает в те места, где у него рубашка расстегнута, а в это время на некоем облаке будет плакать несчастный ангел, который не хочет с ним никаких дел иметь, а также ощерится на него дьявол с копьем в руке, ожидая минуты, когда несчастного, которого весь Грунт жалеет, можно будет насадить на это страшное орудие!"

Хозяйка Катарина добавляет: "В то время как наш счастливый и благородный дед Теодор умрет окруженный всеми нами, своими детьми, сыновьями, успешным торговцем Йовой, протоиереем Василием, вернувшимся с собора, самым младшим Митрой, изучившим науки о растениях и камнях, будут тут и внуки, все, к счастью, здоровенькие и причесанные, в комнате все прибрано, на столе лучшие лекарства, которые ему уже не помогут, я буду вся заплаканная и расстроенная, все слуги во главе с верным Мией в трауре и на коленях, коровы и кони понурятся, голуби во дворе как околелые, и в это время луч несравненного света коснется его уже совсем лысой головы и в его трепещущем свете прямо в воздухе можно будет прочитать слова вроде 'Бог с тобой!'"

Пребывающая в дурном настроении жена деверя говорит в конце: "Ну и в чем тут разница?", но сразу после этого умолкает.

Жизнь на выбор

ГОВОРИТ добродушно настроенный судья Талер: "Один человек любит с другим в корчме посидеть, чокаться с ним по-приятельски, в то время как снаружи молнии во всю силу сверкают, даже смотреть страшно. Другой, напротив, любит присесть у фортепьяно, когда некая герцогиня перебирает клавиши, а его цилиндр стоит рядышком с прекрасно выписанными нотами, едва не касаясь прекрасного плеча пианистки!"

Чувства

"КТО в молодости не принимал пограничного капитана с букетиком цветов, которые нигде не растут, в то время как пес смотрит на капитана и на букет, размышляя, порвать ли их обоих на куски, или лучше будет промолчать!" Так говорит жена деверя своей дорогой родственнице Катарине, а та отвечает: "По мне, так куда лучше было гулять с палкой в руке по пшеничному полю, чтобы при этом вежливый младший писарь показывал письмо, написанное им тебе, курил папироску в маленьком мундштуке, ведя на поводке свою охотничью собаку, а вдалеке чтобы виднелась мельница, машущая крыльями на легком ветерке!" На это их верная, но несчастная служанка говорит: "Я только однажды почувствовала подобное чувство, когда после несчастного случая с покойным мужем служила я у одного писателя и там случайно подняла подол у платья, чтобы не замарать его конским навозом, а он на коне и в прекрасном костюме, посмотрел и сказал: 'Ох-хо-хо, боже мой!' – и это было все!" – "Когда симпатичный, молодой красавец супруг сидит за столом в саду, а на столе прекрасные фрукты, чашечки с кофе и отменное печенье, на коленях у него счета, которые говорят только о доходах от продажи в сущности никудышного зерна, хромых лошадей и прогорклого жира, а он курит немецкие сигары и пропускает ароматные струйки дыма сквозь холеные небольшие усики, в то время как его наикрасивейшая жена всех времен и народов стоит над ним, одетая, чтобы в церковь идти, с веером в руке, словно ангел небесный, вот это и есть самые прекрасные чувства, о которых нам даже и задуматься-то страшно!" – говорит в конце госпожа Матильда Клашня и незаметно смахивает свои драгоценные слезы.

Заботы наших стариков

ДЕД Теодор шагает по прекрасно прибранному дому, в котором у него прошла вся жизнь, перебирает в голове мысли и разговаривает сам с собой: "Кто знает, сколько я еще должен ломать голову над тем, как и что будет с моим народом, который стенает под чуждым ярмом, а также вынужден в больших количествах погибать на полях сражений, стрелять в разных правителей, мучиться от холода и страдать от нищеты и голода, чтобы только после всего этого свободно петь свои песни, развевать свои стяги и скандалить в собственной национальной Скупщине по всяким незначительным поводам! – Дед Теодор смотрит на себя в зеркало и продолжает: – Кто мы, что мы, куда бредем, кто нас знает, что нам прочие, откуда мы, что мы за люди и сколько всё это еще продолжаться будет – бог его знает!"

Митар пишет с чужбины

БЛАГОДАРНЫЙ сын, посланный в мир на учебу, пишет своим домой: "Любой бы на моем месте удовольствие получил, попав в чужую страну, где тебя никто не понимает и где всего полным-полно для описания в виде некоей повести или какого другого научного трак-

тата. Перешел многие реки в Вогезах, заходил в прекрасные дома, где некие трудолюбивые старцы сидят за изобретенной швейной машиной, которая работает совершенно самостоятельно, обошел многие фабрики по производству бумаг, которые потом будут исписаны исключительно французскими буквами, осмотрел их шоссе и железные дороги, слушал музыку весельчаков, играющих на пианино, скрипке, басе, тромбоне, кларнете, арфе и трубе, причем все одновременно! Многие из них также рисуют различные случаи из жизни, например, куриц и веселых коз, а другие возводят памятники великим людям, которых по ошибке убили в давние времена. Где-то добывают руду, где-то дождь идет, где-то берегут в особых комнатах письма, написанные славными людьми, хотя чернила давно выцвели. Всюду какие-то растения, деревья и реки, а изредка и замки на вершинах гор с абсолютно французскими названиями вроде 'Безансон' или как-то так. Мы всю жизнь убивали разных людей, на войне и в мире, как чужих, так и своих, а уж после этого смотрели, кто из них хорош, а кто нет, сказал мне один француз. А одна француженка сказала мне: я могу сделать для вас гобелен или соткать жаккард, чтобы вы могли подарить кому-нибудь на именины! Каким-то деревьям позволяют расти по пятьсот лет, а какие-то рубят и делают из них столы, стулья для сидения или жгут их и на этом огне обжигают кирпичи, точно как мы. Легко подниматься на самые страшные горы или бороться с ужасным наводнением, когда вспыхнет пожар и начнется землетрясение, так что у тебя все под ногами трясется, но, оказавшись в открытом море, французу приходится плыть, как и всем прочим, если только есть построенный где-то корабль или хотя бы лодка. Многие говорили мне: все это мы сами сделали, это наша страна, которую мы ни от кого не унаследовали, и язык мы тоже сами выучили от своих матерей, правда, сами не знаем как! Некие инженеры без конца смотрят в подзорные трубы, кое-где какие-то капитаны ругают своих солдат, занятых на строительстве моста, а пчеловоды позволяют своим пчелам жалить себя ради здоровья. Все мы французы, сказал мне один нищий и запел. И тогда я пошел смотреть сахарный завод в Нанте, где, несмотря на всю сладость труда, многие рабочие еще как потеют и страдают. В Бресте учат жителей приморья смотреть в окно, где появились, а где нет неприятельские корабли, и есть уже потонувшие или нет, и не потонули ли с ними и моряки, в то время как в других местах готовят только из рыб и из других трав так вкусно, что пальчики оближешь. Еще умеют красить натуральную шерсть, как и мы, добывать ядовитый газ из земли и возить диких зверей в клетках по городам. Опять же один француз говорит мне: 'Где еще в мире вы найдете такого дурака, который вам, иностранцу, показал бы каждый наш цветок, кто бы вам позволил перебирать наши камни и растения и при этом еще пробовать наше лучшее вино из всех существующих, да никто, кроме нас, потому что мы ни с кем не сравнимы!'"

Что бы случилось

ЧТО бы случилось, если бы наше дивное имение и весь Грунт подверглись потопу, поджогу или ужасам войны: главный дом и другие строения развалили бы вражеские солдаты, которые ввели бы в столовую коней, а каждый офицер наложил бы в угол, как будто бы

уборной нет. Повозки бы все изрубили и сожгли вместе с прочим домашним скарбом, сваленным в кучу у колодца. В колодец побросают всех слуг, чтобы они там утонули, поверх них скотину, а потом еще завалят камнями, и вода из-за этого станет отравленной. Цветы, виноград и жито — все повытопчут в припадке бешенства, чтобы не дай бог кому бы еще послужило. Все домашние, даже малые дети, зарезаны ножами, порублены саблями и брошены в Саву. Все горит. Даже небо почернело бы от всего этого. Только пес, верная тварь, горько выл бы на пепелище, впрочем, мы надеемся, что никогда ничего подобного не произойдет, но все это следует нарисовать, чтобы у каждого в тетрадке была картинка с таким страшным напоминанием.

Кто поступает глупо

ПОКА в доме уважаемого всеми попа каждый делает что ему положено и как следует, многие другие делают совсем наоборот. Сапожник Ковачевич ударяет палкой по репейнику и при этом еще смеется. Йоца Рняк падает в корыто с отрубями, где его чуть не съедают свиньи и поросята. Воевода Каливода облизывает пальцы и смотрится в зеркало. Три повара у госпожи Клашни болтают, пока у них каша не подгорит. Когда пьяный Ловрич идет по дороге, у него солому из-под ног выметают, а то не дай бог споткнется. Жена деверя стелит своему мужу Йове перед сном, потому что он может и просто так заснуть. Мия Оршич и главная служанка спорят по поводу императорской бороды. Хостинек ситом воду из колодца черпает, хотя эта вода и так для питья не годится. Граф Юлио Янкович заливает огонь маслом и еще удивляется, что он только жарче становится. Мудровчич Франя одного воробья в руке держит, а другим десяти позволяет на крыше сидеть. Никанор Груич сидит во владыкином кресле, а на сердце у него огромный камень, который пытаются сбросить протоиереи Иоаннович, Ускокович, Чупович и Соларич.

Кто где стоит на лестнице

НА вершине нашей лестницы стоит император и король Франя Йосип, и он даже знает несколько наших слов, с помощью которых мимоходом общается из кареты с народом. Ступенькой ниже стоит его жена Елизабета, которая держит на руках крошечную дочку Гизеллу, а прочие дети держатся за ее юбку. Под императрицей стоит наш наместник Левин Раух, а под ним Никанор Груич, наш духовный владыка, он же благословляет. Под ним — граф Пеячевич с алчными глазами, под ним — судья Талер и полководец Ферда Белтруп, а еще ниже протоиерей Ускокович и вся его семья. Далее пошел писарь, под ним адвокат, а под ними кастелян Шмауц. А уже за ними, еще ступенькой ниже, расположились лесничий Д. Павич, повитуха Мара Сокопф, учитель Станивук и ремесленник Лисац. Еще ниже на этих ступенях оказались многие солдаты, работники и поденщики, среди них выделяется дорогой слуга и верная личность Мия Оршич. А еще ниже, извольте полюбоваться, Йоца Рняк и ему подобные проходимцы, тати и прочие бесстыдники, которые, даст Бог, в петле свою жизнь закончат!

Картинка

ПОСМОТРИТЕ на красивую картинку, что нарисовала маленькая Анка в свои восемь невинных лет. На ней поместился весь Грунт, со всеми своими домами, виноградниками, цветами и колокольней. Но вот именно эта колокольня на образцовом рисунке загорелась, полыхает веселым пламенем, дед Теодор стоит наверху и бьет тревогу, а вокруг бездельная толпа, поденщики и солдаты только смеются и указывают на него пальцем. Но недолго им забавляться будет, уже катит на них по главной улице первый вал потопа, который снес уже Лобин дом и мельницу Павла Михоля, утопил коров хозяина Клашни, разрушил суд и почту, а судья Талер и почтмейстер Халер спасаются, держась за одну доску от нужника. Есть тут и другое кое-что, потому что хорошо видно, как лица у некоторых зевак перед церковью испещрены некими пятнами, что свидетельствует о том, что они смертельно заразились некой болезнью, и некоторые уже побежали домой, чтобы намазаться известью, а другие бегут и прыгают в колодец, сами не понимая, зачем. В одном из окон виден доктор Елачич, который кричит этим с оспинами, чтобы остерегались здоровых по причине заразы, а сам не видит, что за спиной у него стоит тать, уже обобравший весь дом вместе с кабинетом, и теперь занес над его головой клинок, который к тому же сверкает от огня, потому что перед этим тать конюшню поджег. Многие больные прыгают из окон, лишь бы не сгореть в этом пламени, плывут и заражают все вокруг. Видна на рисунке и конница Ферды Белтрупа, которая сечет всех подряд своими саблями, и в первую очередь заразных больных, лишь бы только спасти остальную часть двуединой империи от напасти. На другой стороне, где находятся дома, другие строения и вообще все имение Ускоковичей, виден большой белый корабль, который дожидается, когда вода сюда хлынет и он поплывет, а на корабле мать Катарина и совсем маленькая художница Анка в подвенечной фате рядом с мальчиком, который держит в руке саблю и кричит что-то, в то время как вокруг по всей палубе танцуют слуги, друзья дома, дядя Йова, тетя Юля, а с облака на них глядит отец Василий с многими прочими попами и коронованными особами, поэтами, государственными деятелями и адвокатами, которые вне себя от счастья созерцают такую благородную и патриотическую картину. Если так продолжится, наш ребенок далеко пойдет, аж в художественную школу наместнического города Загреба!

Царские дела

ИМПЕРАТОР Франя Йосип сидит в своем просторном, однако скромном дворце в Вене, красивейшем из всех городов человечества. Он говорит: "Мне вовсе не обязательно быть императором и королем или еще кем-нибудь, главное для меня — бдеть, как отец мой, над всеми моими нациями, как над людьми, так и над зверьми, как над богатыми, так и над нищими и оборванцами, какой бы они веры ни были! — Вся прислуга разбежалась по прекрасным дворцовым залам, а император продолжает: — Я в роскоши не нуждаюсь, разве что только поесть что вкусненького, или какого непотребного медведя застрелить, или искупаться в соленых водах, или сыграть кон-другой в пьяницу, должны ведь и у меня хоть какие удовольствия быть, ведь я тоже человек

из костей и мяса, как и все прочие!" Приходит любезная и прекрасная императрица Елизабета и спрашивает императора: "Император, какой ты скромный и какой великолепный человек, как долго все это будет продолжаться?" А слуги все бегают по огромному дворцу, и император отвечает: "Я и не могу быть другим, раз меня так воспитали мои прекрасные и богатые родители!" Младшие писари Пожегского округа Буник, Брчич и Пейчич говорят: "Он наш человек, мы за такого готовы погибнуть сей момент!" Император говорит: "Это еще ничего, а вот насколько я до глупости добр к своим подданным, которые все у меня вот тут сидят, а я их не истязаю, не убиваю, не вешаю, а люблю их всем своим сердцем!"

На *поле боя*

ПОД гордым стягом нашей многонациональной двуединой империи бьются смертным боем наши солдаты с коварными турецкими всадниками, у каждого из которых есть сабля, и они ею рубят налево и направо. Храбрый земляк Рудольф Цанкл из маленького Грунта сечет турецких всадников, но тут и его самого ранило в руку, и говорит ему австрийский капитан: "Как это вы, хорват, показываете такую отвагу в бою с турками, если это вообще не ваше знамя и не ваша держава, а наша?" Геройский улан Рудольф Цанкл говорит: "Я по-другому не умею!" Военный доктор чех Хлубичка говорит: "Я не знаю, но такой доброжелательности к противнику я никогда не видел, ведь вы, дорогой мой копейщик, чуть ли не перебинтовали того турка, как будто он вам и не враг вовсе!" Улан говорит: "Все мы такие, мы народ малый, но дико храбрый и ужасно добрый, потому можем долго все сносить и упрямо, потому как такие мы есть!" Говорит доктор Хлубичка: "И не только вы, но и ваши братья сербы такие же точно, хотя у них для этого совсем никакого повода нет!" Говорит тяжело раненный кавалерист Цанкл, сын господина Цанкла, землемера из Славонии: "Мы, славяне, всегда за других страдали, так и будем за всех страдать, но и в этом мы свое счастье находим, не зря нас по всему миру дикими называют, безумными и храбрыми, и абсолютно непобедимый народ, который, хотя и мал, способен чудеса творить, словно великий!" Доктор Хлубичка видит, что уланова рана смертельна, но продолжает: "И русские тоже славяне, но ведь не ведут себя как вы!" Умирая, улан Рудольф Цанкл говорит: "Ну, это ведь совсем другое, дорогой, благородный и более мне не надобный доктор!" Пленный турок, скованный с головы до пят тяжелой цепью и раненный в левую руку, говорит: "Я хоть и турок, но по происхождению ребенок, похищенный в ваших краях, должен признать, что восхищаюсь ужасной храбростью, которую вы показываете в бою с нами, лучшим войском в мире!" Умирающий Цанкл продолжает: "Нипочем нам тьма-тьмущая чужого войска, сверкание сабель и пороховой дым, убивающий нас сыпной тиф, дождь, мороз, снег; единственное, что заставляет нас страдать, — это предательство и когда нам не верят, что мы были там, где были!" Доктор Хлубичка смотрит, как молодая кровь улана Рудольфа Цанкла орошает родную ему и в то же время чуждую землю, и говорит: "Все-таки я верю, что через сто лет кто-нибудь стукнет себя по лбу и опишет в исторической книге все подробности, как оно на самом деле было, а не как теперь болтают!" Рудольф Цанкл говорит: "Вот это меня действительно утешает", — и умирает на руках как у друзей, так и у врагов.

Спорные вопросы

В гостеприимном городе Карловаце сидят в приятном обществе протоиерей Василий Ускокович, его преданные друзья председатель Новосадского кассационного суда Лазо Костич и еще несколько мудрейших, умнейших, а к тому же еще и виднейших граждан всей империи, и вот протоиерей Василий говорит: "Вот, дорогой Лазо, опять сидим за стаканчиком с наших виноградников, а еще не знаем, господин ты мой хороший, что́ мы, почему мы и зачем мы, сербы, на свете живем, хотя даже на первый взгляд мы лучшие, знатнейшие в истории и для женского глаза самые симпатичные, но каждый нас мучает, мудрит над нами, угнетает нас и клевещет на нас и по всяким газетам, как будто мы сволочь распоследняя!" На это судья ему взвешенно отвечает: "Именно потому!", а протоиерей продолжает: "Я бы с тобой всю ночь напролет сидел, пока мы не разрешим все спорные вопросы, не рассмотрим все несчастные случаи и другие народные страдания, если бы не знал, что ты свое драгоценное время бережешь для написания замечательных стихов, как любовных, так и патриотических! — И добавляет еще: — Серьезно, как только тебе удается все эти свои чувства строчка за строчкой сложить, да еще в конце все так собрать, чтобы оно с тем, что раньше писано было, совпало?" Отвечает ему судья Костич: "Да я и сам не знаю!"

Императорские отговорки

ИМПЕРАТОР и король всех нас, сидя в приятной ванне в тени раскидистого дерева и глядя на оперную сцену, говорит своему дворянину: "Разве я хоть когда совершил какой злодейский поступок, к которым цари, императоры и короли так привычны и им подвержены? Разве я когда-нибудь выселял целые города, чтобы заселить их другими жителями? Разве я отравлял колодцы, рубил головы гильотинами или слал на людей войска, чтобы их поубивали и перевешали на всюду растущих деревьях? И даже если подобное где-то и случалось, я о том ни сном ни духом не ведал! По мне, ничего лучше нет, как быть при своем дворе, умильно беседовать с моими дорогими домашними, кормить моих зверей, сидящих по красиво разукрашенным клеткам, а после всего этого читать газеты, которые свободно печатаются по всей нашей великой империи! Разве это слишком великие пожелания для императора, который находится в самом лучшем, самом мужественном и самом славном возрасте?" — "Конечно же нет", — отвечает ему смирный, гладко причесанный и верный дворянин.

Хрестоматия

"ЧТО это вы все читаете эти разлохмаченные хрестоматии, которые держите в своих маленьких ручонках, когда в жизни можно увидеть куда больше куда более интересных событий?" — спрашивает учитель Йова Станивук и гонит маленьких детей из класса, чтобы они посмотрели на восход и закат солнца, равноденствие, заморозок, чтобы услышали ураганный ветер, веселый гром и легкие на-

хальные звуки мартовского дождичка. "Вот цветочек!" – говорит маленькая Анка и тут же срывает его, потом передает в отеческие ладони учителя Станивука. "Этот больше никогда пахнуть не будет! – говорит победоносно поучительный учитель, вставляя цветок себе в петлицу. – Смотрите, птица! – говорит он, указывая на птицу, в которую целится Ивица Михоль из своего охотничьего ружья. – Зловредный охотник, – говорит ему учитель, – потому как желаешь прервать полезный полет маленькой птички, но ведь тебе от этого никакой корысти не будет! Дай ей свободно порхать в воздухе, и пусть жизнь ее продлится!" Говорит посрамленный охотник Ивица Михоль: "Мои знакомые еще хуже дела вытворяют, вон как они преследуют невинного оленя, он даже рогами в ветках запутался!" Мясник Никола Дебач с обнаженным резаком мчится в том направлении и кричит: "Дайте я его освежую как следует, а не как попало!" Корчмарь Томленович добавляет: "Дорогие дети, приходите посмотреть, как из убитого оленя готовят прекрасный королевский обед для тех, кому есть чем заплатить, при этом будем разносить вино с виноградников господина Ускоковича, состоящее из ядовитой, но очень приятной жидкости!" – "Говорю я вам, – повторяет добрый учитель Йова Станивук, – лучше и больше следует наблюдать то, что происходит вокруг нас в виде жизни, чем читать всякие глупости в нашей растрепанной, замусоленной, хотя и умной школьной хрестоматии!"

Миленко Ергович

Рассказы

Переводы с хорватского

Библиотека

СНАЧАЛА слышишь свист над головой, потом проходят две-три напряженные секунды, и внизу, где-то в городе, раздается взрыв. Из окна место взрыва всегда хорошо видно. В первый момент там поднимается нечто похожее на высокий, стройный столб пыли, который тут же превращается в дым и пламя. Ждешь еще немного, чтобы узнать, о каком доме идет речь. Если пламя горит лениво и неспешно, значит, это жилище кого-то победнее. Если оно вдруг всполохнет огромным синеватым шаром, то это наверняка недавно отремонтированная мансарда, обшитая лакированным деревом и синтетическими материалами. Если огонь горит долго и ровно, то это богатый дом солидного хозяина, набитый массивной старинной мебелью. Если пламя рванет в небо внезапно, дикое и разнузданное, как волосы Фарры Фосетт[1], и так же резко исчезнет, оставив ветру носить над городом лепестки пепла, можно быть уверенным, что сгорела чья-то домашняя библиотека. И постольку, поскольку за тринадцать месяцев бомбардировок ты видел над городом бесчисленное множество этих огромных беснующихся факелов, в голову приходит мысль, что этот город, Сараево, просто стоял на книгах. Конечно, это не так, но, прикасаясь пальцами к своим, еще не сгоревшим книгам, думаешь именно об этом.

© 1999 by Durieux, Zagreb
© Лариса Савельева. Перевод, 2006
© Елена Солодовникова. Перевод, 2006

1. Известная американская киноактриса (р. 1947). (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)

В любой личной библиотеке больше всего непрочитанных книг, таких, которые куплены из-за красивого переплета, имени автора или просто потому, что они привлекли своим запахом. В первые после покупки дни такую книгу часто берешь в руки, раскрываешь, прочитываешь две-три строчки и возвращаешь на место. Через некоторое время о ней забываешь или смотришь на нее издали с легким отвращением. Часто возникает желание отнести ее в ближайшую библиотеку, подарить кому-нибудь, избавиться от нее любым способом, но все не можешь придумать, как это сделать. И каждая такая книга становится странным подтверждением твоей привычки собирать ненужные вещи, которые в один "прекрасный" момент, исполненный огня и боли, превратятся в собрание воспоминаний. Все эти ненужные и непрочитанные книги будут висеть на тебе грузом до тех пор, пока с ними не распростишься. И когда внизу, в городе, веселящийся огонь будет глотать чьи-то точно такие же тома, ты будешь смотреть на него даже со своеобразным пониманием.

Книг, к которым не возвращаешься с детства, гораздо меньше. Они напоминают о том времени, когда ты еще не научился пропускать страницы и читать по диагонали. Это, должно быть, единственные в жизни книги, которые прочитаны по-настоящему. У всех хороших историй для детей обычно грустный конец, из которого нельзя усвоить ничего, кроме того, что фантазия гораздо важнее действительности. В фильме Джона Хьюстона "Мертвые" есть место, где одна женщина плачет и не может объяснить почему. Когда смотришь его, то кажется, что хорошо понимаешь, в чем дело, и тоже хочется плакать.

Меньше всего таких книг, про которые думаешь, что они всегда будут с тобой. Когда читаешь эти книги в первый раз, то всегда стараешься оттянуть конец. Позже они начинают волновать и содержанием, и просто своим видом. Но с ними, как и со всеми другими, тоже приходится расставаться, с горечью осознавая, что в этом городе, да и вообще в этом мире, естественное для книги состояние – это огонь, дым и пепел. Может быть, позже кому-то покажется, что это звучит слишком патетично, но для тебя, особенно когда ты попадешь в другие города, где все еще существуют книжные магазины, навсегда останутся горькой истиной именно огненные волосы Фарры Фосетт. Лучше, красивее и основательнее, чем книги, горят только рукописи.

Одновременно с угасанием иллюзии о домашней библиотеке угасает и иллюзия о книжной цивилизации. Уже самое имя книги, восходящее к греческому корню, такому же обычному корню, но связанному с названием Священной книги, являлось подтверждение веры в эту цивилизацию. Однако, когда книги одна за другой начинают безвозвратно исчезать в пламени, перестаешь верить в смысл их существования. Пожалуй, лучше всего в смысл истинного назначения книг проник тот сараевский писатель и библиофил, который прошлой зимой вместо того, чтобы топить печку дорогими дровами, грел руки над пламенем Достоевского, Толстого, Шекспира, Сервантеса... После всех огромных костров, разжигавшихся и по приказу, и спонтанно, сформировалась целая категория людей, которые, постигнув горькую логику хода вещей, завтра будут хладнокровно смотреть на горящий Лувр без малейшего поползновения плеснуть в огонь хотя бы стакан воды. Нет смысла мешать огню поглощать то, мимо чего спокойно проходит человеческое равнодушие. Красота Парижа или Лондона не может служить алиби тем преступникам, из-за которых нет больше прежней Варшавы, Дрездена, Вуковара или Сараева. Но даже ес-

ли эти города и существуют, люди, живущие в них, даже в годы самого прочного мира готовы к эвакуации и к тому, чтобы отречься от своих книг.

В мире, таком, какой он есть, всегда остается в силе одно основное правило, то самое, которое сформулировал Зуко Джумхур, имея в виду Боснию. И смысл его сводится к двум собранным в дорогу сумкам. Они должны вместить все твое имущество и все воспоминания. Остальное следует считать утраченным. Причину, смысл и оправдание искать бессмысленно. Они мешают, так же как и воспоминания. И остается лишь аккуратно возвращать одолженные книги, стараться избавиться от подаренных, а еще лучше терять их, написанные же тобою рассылать тем друзьям, которые живут как можно дальше друг от друга, чтобы пламя не смогло поглотить этих книг разом, еще до того дня, когда Земля вернется к состоянию, в котором она пребывала несколько миллионов лет назад.

Невозможно ни переписать, ни запомнить все сожженные библиотеки города Сараева. Да и кому это нужно? Но самым жарким пламенем, самым ярким огнем и самым стойким ко времени прахом и пеплом останется сараевская университетская библиотека, прославленная Вечница, чьи книги полыхали целый день и целую ночь. Она загорелась после хорошо знакомого свиста и взрыва ровно год назад. Может быть, очередная годовщина придется именно на тот день, когда ты, читатель, прочитаешь об этом. Прикоснись с нежностью к своим книгам, погладь их страницы и вспомни о том, что и они всего лишь прах.

Географ

КАЖДОЕ утро, явившись на свое рабочее место, снайпер, который держит на мушке улицу Короля Твртко, видит старика в черном костюме, с галстуком цвета запекшейся крови, ведущего на поводке маленького черного песика, и каждое утро вновь и вновь думает, что ему бы не хотелось, чтобы в этот день его первой жертвой стал именно этот старик. А после нескольких первых выстрелов вспоминает его и говорит себе, что убьет старика, когда тот будет возвращаться. Так проходят дни, месяцы и годы, сменяются снайперы, и никому из них не хочется стрелять в старика, который солнечным утром выводит на прогулку песика, и каждый откладывает убийство на момент его возвращения, но он никогда не возвращается домой по улице Короля Твртко.

Преподаватель географии на пенсии Павел Соколовский (в школе известный под прозвищем Post Scriptum) уже сорок лет в одно и то же время выходит на прогулку и всегда возвращается другим путем. Все эти годы рядом с ним маленький черный песик. Бывшие школьники, которые уже и сами стали пенсионерами, утверждают, что песику столько же лет, сколько и его хозяину, а те из них, кто отличается здравомыслием, удивляются тому, как это Павлу Соколовскому удается среди племени кудлатых, хвостатых, пятнистых дворняжек всегда найти себе в качестве товарища для прогулок маленького черного песика.

На стене своей комнаты преподаватель географии Павел Соколовский держит две карты мира, купленные им еще в 1934 году в книжном магазине "Мулабдич и сыновья". Во времена, когда менялись государственные границы, исчезали, поглощенные пламенем, старые страны и рождались новые, преподаватель вносил черной и красной тушью изменения на одной карте, не трогая другой. Она по-прежнему оставалась

картиной мира в дни его молодости, в те дни, когда он в Вене перед профессорским корпусом и студентами защитил диссертацию о границах Римской империи. В 1943 году Павел Соколовский обвел жирной черной рамкой написанное на карте слово "Варшава", а в 1945 году слово "Дрезден". Они могут выстроить новые города, говорил он тогда, но этим городам придется дать другие имена. Неуместное имя может лишить покоя мертвых, покоящихся под пеплом Помпеи.

На картах преподавателя Павла Соколовского Босния была размером не больше ногтя на мизинце. Весной 1992 года он, с лупой в руке, обвел тонким красным фломастером ее границы. Той же ночью во сне он встретился со святым Петром. Испуганно посмотрел на него, потом перевел смущенный взгляд на свою пижаму, но святой Петр махнул рукой и сказал, что время его пока не пришло и что ему, Павлу Соколовскому, доверено еще много важных земных дел, но сейчас ему предстоит незамедлительно познакомиться с одним господином. У этого господина была длинная борода и огромные белые одежды, которые тянулись за ним по земле. Его указательный палец был длинным и тонким, похожим на бамбук. За его спиной виднелась карта мира с континентами и сетью границ, напоминающих кровеносную систему человека. Старец указал на самую большую страну на карте и произнес какое-то странное, неизвестное Павлу Соколовскому имя. Он попытался было задать вопрос, но старец уже указывал ему на другую страну и произносил еще более удивительное слово, которого не было ни в одном из известных Павлу Соколовскому языков. Так он пальцем блуждал от страны к стране, повторяя незнакомые слова. Одни страны по форме напоминали песчинку, другие кристалл, третьи слезу. Такие государства никогда не могли существовать, подумал Павел Соколовский во сне. Последняя страна, по которой старец царапнул своим пальцем, имела знакомые очертания и называлась известным ему именем. Старец, уже утомившись, произнес его как вздох — Босния. В тот же момент к ним вернулся святой Петр, развел в стороны руки и сказал, обращаясь к Павлу Соколовскому:

— Вот, это и есть твое важное земное дело!

Сны имеют свойство прерываться на самом интересном месте, за миг до того, как спящему вот-вот откроется самое важное. Несколько следующих ночей Павел Соколовский ложился спать в свою постель одетым в отглаженный костюм и с галстуком цвета запекшейся крови. Но ни святого Петра, ни старца он больше никогда не увидел.

Названия городов, которые исчезали с лица земли по всей Боснии, Павел Соколовский не мог обвести черной тушью, потому что на его картах они обозначены не были. Там стояло только одно имя — Сараево, но этот город был жив, пока преподаватель, несмотря на разрывы снарядов и бдительность снайперов, каждое утро выводил на прогулку своего маленького черного песика и всегда возвращался с ним домой по улице Кранчевича. Вместе с королем Твртко бодро вступаю в новый день, говорил он, а с грустным поэтом иду назад, к своим тревогам.

Пришел и такой день, когда сгорели все географические карты, хранившиеся в архиве городской библиотеки. У Павла Соколовского перехватило дыхание, ему показалось, что, лязгнув, захлопнулся волчий капкан, простоявший в бездействии с 1934 года. Вместо галстука цвета запекшейся крови он повязал черный, взял тушь и старательно обвел жирной рамкой слово "Сараево". Лег в кровать, скрестил на груди руки, закрыл глаза и стал ждать. Так он, в конце концов, и уснул.

Разбудил его, уже следующим утром, маленький черный песик. Павел Соколовский удивленно посмотрел на него, потом встрепенулся, поднялся, подбежал к карте. Слово "Сараево" действительно было взято в посмертную рамку черного цвета. Он постоял немного, растерянно глядя на карту, прислушался к себе, не почувствует ли голода, и почувствовал его, попытался услышать стук собственного сердца и услышал его.

Павел Соколовский пожал плечами, пристегнул поводок к собачьему ошейнику, песик весело завилял хвостом, на улице рвались снаряды, снайпер вздрогнул, увидев его через оптический прицел, палец на спусковом крючке медленно пришел в движение, но преподаватель уже исчез за углом. Там, по другой стороне улицы, держась за руки, неспешно шли мужчина и женщина. Мужчина приветствовал Павла Соколовского, тот махнул ему рукой и проговорил в ответ: "Вот, идут дела потихоньку, по-стариковски". Женщина вопросительно посмотрела на мужчину, и он с таким выражением лица, словно речь идет о чем-то очень важном, сказал:

– Это Post Scriptum.

Женщина удивленно подняла брови, но ничего не ответила.

Перевод Ларисы Савельевой

Кактус

ОНА жила в постоянном страхе, что может пропустить в жизни что-то важное и прекрасное. Она много путешествовала и страдала, когда это ей не удавалось. Ощущение, что веселье и счастье где-то не здесь, не покидало ее, и она трудилась изо всех сил, чтобы не разминуться с тем волшебным мгновением, когда жизнь, как во сне, превращается в сказку.

В конце декабря 1990 года она решила, что Новый год непременно надо встретить на Хваре[1], в компании каких-то едва знакомых людей. Воодушевленная этой идеей, она преподнесла мне ее как один из вариантов, достойных обсуждения. Я сначала не соглашался, но ее это очень расстроило, и, в конце концов, мне пришлось подчиниться. Так ее решение стало нашим. В предпоследний день года мы все собрались в самом центре города на Мариндворе. Было раннее утро, еще не начали кружить трамваи. Меня представили группе экзальтированных типов и девиц в вечерних платьях, наводивших на мысли о грядущей попойке. Всего нас было двенадцать душ, да еще куча багажа – и веселая сука боксерской породы. Все это с трудом разместилось в трех автомобилях. Два "гольфа" ехали впереди, а за ними едва поспевала раздолбанная "диана". Именно в этой машине отправились в путь мы, лысеющий студент-электротехник, его некрасивая толстая подружка и собака. Несмотря на то, что "диана" вся была залеплена скотчем, из многочисленных дыр дуло, а ноги в любой момент могли провалиться сквозь гнилое днище. Невыносимо медленно мы тащились на юг. Толстуха без умолку болтала о парижских духах, а псина то и дело портила воздух. Я улыбался, шутил

1. Хвар – остров в Адриатическом море, ныне принадлежит Хорватии.

по этому поводу и прилагал титанические усилия, чтобы моей девушке казалось, будто путешествие доставляет мне огромное удовольствие.

При подъеме на Иван-гору "диана" ползла со скоростью не более двадцати километров в час, но в Конице бедняга пару раз чихнула и встала замертво. Боксерша вновь громко пукнула и весело залаяла. Мы вышли из машины, которую вряд ли можно было вернуть к жизни, чтобы обсудить, что делать дальше. При любом раскладе мы оказывались лишними. И когда уже было решено, кто поедет дальше на поезде, а кто на машинах, я коснулся ее плеча и шепнул:

– Может, все-таки вернемся?

Против ожидания она не бросила на меня негодующий взгляд, только со вздохом пожала плечами.

– Кто им скажет?

– Ты мужчина, ты и скажи.

– Лучше ты – это ведь твои знакомые. К тому же, если скажу я, они решат, что мы на что-то обиделись.

И она прощебетала, что мы возвращаемся в Сараево. (У меня всегда это получалось – переложить на кого-нибудь принятие решений, как приятных, так и не очень.) До поезда оставалось два с половиной часа. Пристроившись в пустом и прохладном вестибюле гостиницы, мы обменивались нежными взглядами и ласковыми прикосновениями.

– Жаль все-таки! – соврал я.

Она ругала себя за то, что встреча Нового года сорвалась по ее вине. Слукавив, чисто по-мужски, я убедил ее, что она преувеличивает.

– Мне жаль еще и из-за подарка.

Я всегда любил подарки, и мне очень хотелось получить ее новогодний дар прямо здесь, в Конице. Сначала она не соглашалась – уж больно обстановка казалась ей неподходящей. Ведь она все еще мечтала о том волшебном мгновении... Но и в этот раз я сумел уговорить ее.

Она открыла свой рюкзак и очень бережно достала коробку юбилейного виньяка.

– Открой!

Коробка была легкой – ясно, что в ней вовсе не бутылка. Я даже и не удивился, так как не ожидал от нее подобного подарка. Внутри было что-то, упакованное в белую бумагу. Она велела очень аккуратно открыть сверток. В миниатюрном горшочке был крошечный – под стать горшку – кактус, размером с пальчик новорожденного. Я терпеть не могу комнатные растения, правда, я никогда ей об этом не говорил. Кактусы и им подобные требуют от тебя внимания и дисциплины, они хотят, чтоб о них думали, а я не имел никакого понятия даже о том как заботиться о людях, которых люблю. Когда умерла бабушка, все комнатные цветы засохли, и мне стало грустно, хоть я и не испытывал к ним никаких чувств.

Я улыбнулся, поцеловал ее и произнес какие-то слова благодарности. Убедив ее, что я искренне рад, я достал "Шанель № 5" (покупая, разумеется, думал о Мэрилин) и сборник эссе Сьюзен Сонтаг о фотографии. Делая ей подарок, я никогда не ограничивался только книгой, наверное, это было правильно, ведь она считала, что, даря книги, я думаю о себе, а не о ней.

Кактус я поставил в своей комнате на слабоосвещенное место рядом с гипсовой статуэткой святого Влаха[1] и приносящим удачу пеньком с

1. Покровитель Дубровника.

дыркой посередине. Через несколько месяцев вспыхнула война в Хорватии, а потом был фильм Шпегеля, Плитвице, Борово село...

А я по-прежнему поливал свой кактус каждый пятый день, никогда не забывал об этом и следил за тем, чтоб не сдвинуть его с места. Когда-то бабушка говорила мне, что кактусы нельзя переставлять, что они могут жить только на одном месте — неважно, какое оно и лучшее ли, главное, это их место. Я заботился о кактусе и поражался, как здорово это у меня получается.

И вместо того чтоб затеряться, разделив судьбу милых, но ненужных вещиц, которые заполняют магазины в преддверии праздников, он вдруг начал расти. Росли колючки, нежные, как у совсем маленького ежика, а сам он толстел и тихонько следовал за солнцем. Теперь он уже не был с детский пальчик величиной.

Приходя ко мне, она радовалась, что кактус чувствует себя неплохо, несмотря на мою безответственность и беспорядок в доме.

— Он стал похож на тебя.

— Кактус?

— Ну, не совсем на тебя, скорее на некую часть твоего тела.

Честно говоря, я никакого сходства не замечал, но после ее слов и сам стал смотреть на кактус по-другому. Такие забавные мелочи обогащают любовь новыми оттенками и никогда не забываются.

В те дни, когда был уничтожен Вуковар, я словно ощутил чье-то ледяное дыхание за спиной. Жизнь вдруг стала совсем другой, а я об этой новой жизни не знал совсем ничего. Любая оплошность могла стать роковой ошибкой, я инстинктивно ощущал это, хотя еще не совсем ясно понимал. В последние дни марта 1992 года она уехала из города. Как на экскурсию. Не попрощавшись.

В начале апреля я переселился в подвал. В крону яблони угодила граната. Окна вылетели, и осколок размером с рисовое зернышко разбил старинное австрийское зеркало в шкафу. Трещины в стекле являли точное подобие меридианов на географической карте. Телефон еще работал, и я хотел рассказать ей об этом. Она не понимала, о чем я с ней говорю, вероятно, думала, что у меня в голове тоже что-то треснуло.

Каждый пятый день я поднимался на свой этаж и поливал кактус. Теперь он был обращен прямо на позиции четников. Я со страхом смотрел на солнце и ежесекундно ждал выстрела. Внизу, в подвале, было темно, сыро и неудобно. Пахло гнилой картошкой, в глаза въедалась угольная пыль.

Она уверила себя в том, что смерть нагрянула только в Сараево. Ее речи стали патетичными, а сама она сделалась совсем далекой и чужой. Спрашивала, не хочу ли я поехать с ней в Новую Зеландию. Я ответил, что сижу в подвале, что Новая Зеландия слишком далеко, и я не думаю, что мог бы быть там счастлив. Про кактус она никогда не спрашивала, а я не хотел напоминать.

Живя в темноте, люди меняются. Это происходит само по себе. Я слышал притчу о человеке, который вечером лег в постель, а наутро проснулся седым. И даже не мог вспомнить, снилось ли ему что-то в ту ночь или нет. А я жил в отчаянном страхе перед надвигающейся зимой.

Однажды утром, как раз на пятый день, вся вода в квартире замерзла. Только тогда я вспомнил, что кактус не переносит холода. Я взял его и отнес вниз и поставил напротив печки, которую мы топили угольной пылью. Не слишком близко и не слишком далеко. Именно там, где, как

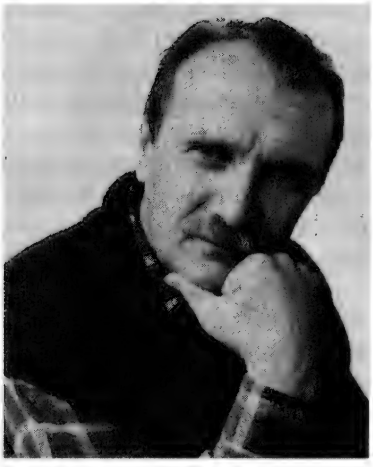
мне казалось, хорошо и кактусам и людям. Наутро он лежал, уронив головку на край горшка, будто высматривая где-то внизу солнце. Я полил его в последний раз, хотя было ясно, что это конец.

Война научила меня колдовским способом усмирять эмоции и нервы. Если заговорить о чем-то, что мне особенно близко и дорого, где-то внутри меня будто загорается красная лампочка, вроде той, что стирает шумы на магнитной ленте, и я уже ничего не ощущаю. Но стоит мне подумать о моем кактусе, проверенное средство не приносит облегчения. Он стал для меня олицетворением грусти, столь же обманчиво безопасным, как исходящий от смертоносного цианида запах горького миндаля. В старину люди жалели, что кони умирают стоя, а я горюю о кактусе, как о мальчике из баллады Гёте "Лесной царь".

Все сказанное не так уж важно. Просто напоминание, что в жизни нужно трепетно относиться к мелочам и больше ни к чему другому.

Перевод Елены Солодовниковой

Джевад Карахасан



Пейзаж развалин как сад
(*Поэтика руин*)

Эссе

Перевод с боснийского Ларисы Савельевой

> И если я печально кружу среди развалин, то это —
> из-за спрятанных сокровищ.
> Любовь к сокровищам манит меня сюда, потому что сокровища —
> среди развалин.
>
> *Фарид-ад-дин Аттар*[1]

С развалинами я впервые встретился в раннем детстве, когда открыл для себя Бочин дол, одно из главных мест, где происходило мое взросление. Те развалины, возможно благодаря Бочину долу, оказались в моем детстве настолько важными, что, если бы из моего утверждения можно было изъять метафорический смысл, я мог бы сказать, что практически вырос в развалинах (или на развалинах, но в любом случае в постоянном, тесном и сущностном соприкосновении с ними). Ввиду того, что изъять метафорический смысл из этого утверждения нельзя, а также ввиду того, что мое детство, слава богу, было чудесным образом свободно от драматических коллизий (точно так же как мое существование до сегодняшнего дня свободно от необходимости выбора между жизнью и смертью), итак, как я уже сказал, ввиду того, что метафорический потенциал никак

© Лариса Савельева. Перевод, 2006
Редакция благодарит Джевада Карахасана и издательство "Зуркамп" за любезно предоставленное право безвозмездной публикации этого эссе на страницах журнала.
1. Фарид-ад-дин Аттар – персидский и таджикский поэт-суфий XII века. (*Прим. перев.*)

не изымается, я говорю, что вырос в Бочином доле — глубоком, узком овраге с крутыми склонами, заросшими густым, почти непроходимым кустарником, по дну оврага в редкие дождливые дни протекал (а точнее — сочился) невеселый ручеек. На дне оврага была одна, а на восточном склоне несколько полянок или прогалин, окруженных природной изгородью — плотной стеной кустов, пробраться через которые может только мальчишка, готовый ползти, напарываться на колючки, быть оцарапанным, сталкиваться с другими испытаниями, из тех, что сами собой подразумеваются в случаях, когда речь идет об "укрытии" — невидимом и недоступном для непосвященных небольшом пространстве с естественными стенами и без какого-либо крова, где можно, уединившись, часами оставаться в своем собственном мире, мечтая, представляя себе все, что пожелаешь, не произнося ни слова или же, напротив, беседуя с кем-то или с чем-то порожденным твоим воображением.

На дне оврага, отделенные от кустарника несколькими метрами одичавшего сада, находились мои развалины. Это было то, что осталось от дома Лигачей, семьи, которая незадолго до моего рождения переселилась в Австралию, дома настолько жалкого, что даже в нашем бедном краю не нашлось никого, кому можно было бы его продать или хотя бы подарить. Построенное из непрочного камня (у нас его называют трескуном, потому что он легко впитывает ночную влагу, а днем растрескивается на солнце и со временем обращается в песок), опустевшее здание не могло долго продержаться без заботы хозяев. К тому моменту, как я открыл его (или как оно открылось мне), дом семьи Лигач стал настоящими руинами — и это всего за какие-то пять-шесть лет.

Западная стена представляла собой кучу камней, кусков штукатурки и пыли. На этой куче, во время первого похода к моим развалинам, я застал молодой куст шиповника и несколько стебельков травы, проросших как предзнаменование, как обещание будущего (ведь это возможно, вполне возможно) луга, к которому однажды, полный любви и интереса, придет какой-то другой ребенок, готовый на этом лугу часами мечтать и, лежа под кустом, воображать себе, что ему вздумается. Восточная стена пока еще стояла почти во весь свой рост, так что угадывалось, где некогда было окно, а где балки венца, знаменовавшие собой границу между двумя пространствами — жилой частью и чердаком; по этой стене можно было судить о высоте дома, о том, сколько в нем было комнат. Северная и южная стены с востока сохранились вполне прилично, а с запада хуже, примерно в половину своей былой высоты, но и этого хватало для того, чтобы представить себе входную дверь и окно на южной стене, через которое божий свет днем проникал в кухню — главное место любого бедного дома, где проходила бóльшая, по сравнению со временем, отводившимся на сон, часть суток всех членов семьи, место, где семья формировалась и проявляла себя, каждый день сызнова.

Не могло быть сомнения, что помещение слева от входной двери, в юго-западном углу дома, было кухней. Здесь стояло то, что осталось от железной плиты (настолько обветшавшей к тому моменту, когда дом опустел, что никто из соседей и не захотел, и не смог перенести ее к себе); по размерам эта комната была больше всех остальных, находилась она

в самом укромном и защищенном углу, который мог предложить дом. Почти истлевшие куски металла, ветхие и ажурные, как паутина, свидетельствовавшие о прежней плите, были единственными приметами вещи, которая некогда являла собой главный символ кухни и, следовательно, всей жизни той давней семьи, пытавшейся теперь укорениться где-то в далекой Австралии. Не осталось стола из грубо обтесанных досок, не осталось табуреток, аккуратно стоящих вокруг стола, не осталось лавки под обращенным к югу окном, на которой обитатели дома любили сидеть в холодные дни и смотреть на заросшую клевером лужайку, тянувшуюся до самого ручья, на крутой склон оврага за ним. Не осталось и полки для посуды, застеленной куском красно-белой клетчатой ткани, полки, которая наверняка висела на южной стене между плитой и окном. Не осталось стенки, отгораживавшей кладовку, расположенную к северу от кухни (об этом можно было судить по тому, что в этом бывшем помещении не было никаких следов, никаких намеков на пол, ведь здесь должно было быть холоднее, чем во всем доме, могла сохраниться та еда, которая приберегалась впрок), не осталось и обычно висевшей на этой же стене вышитой крупными цветами салфетки с карманами для ложек, ножей и вилок. Интересно, какое стихотворное обращение к домашним было вышито на этой салфетке? "Пока кумушка болтала, молоко-то убежало"? Вряд ли, ведь салфетка висела напротив плиты и не могла служить напоминанием хозяйке, находясь у нее за спиной. Скорее всего, это был какой-нибудь призыв к чистоте, тем более, что тут же хранились и столовые приборы. Не исключено, что это были иввестные слова: "Руки мыть – о болезнях забыть!" Кто теперь узнает, однако можно быть совершенно уверенным в том, что салфетка здесь висела и что на ней крупными наклонными рукописными буквами был вышит некий весьма важный призыв.

Не осталось ничего, кроме истлевшей плиты в углу, нескольких кусков черепицы и гнилых щепок, валяющихся в пыли на том месте, где когда-то стояла перегородка, отделявшая кладовку от кухни; там лежало и несколько обломков трухлявых досок, на которые не польстились соседи, оставив их здесь догнивать. Однако тому, кто оказался бы здесь, будь то ребенок или взрослый, склонный мечтать и фантазировать в тишине, этих обломков вполне хватило бы, чтобы воссоздать в воображении, чем занималась и как проводила свои дни обитавшая здесь семья. Легко представить себе отца семейства, который, дожидаясь, пока накроют на стол к обеду, сидит на лавке у южной стены, курит и смотрит на ручей, на склон, поднимающийся за ним. Легко представить себе и дочку, если она была в семье, которая деловито и немного важничая снует между столом и перегородкой с висящей на ней салфеткой, подавая на стол вилки-ложки и тем самым подсобляя матери. А легче всего вообразить себе сына, парнишку, похожего на того, который все это себе и воображает (может быть, даже слишком похожего, и такого сходства не избежать, потому что для полной достоверности сопереживания воображаемому оно должно быть конкретным и наполненным любовью), парнишку, который старается побороть в себе чувство неловкости, возникшее из-за того, что он ничего не делает и никак не помогает сестре и матери. И для того, чтобы скрыть от самого себя ощущение своей бесполезности, он воображает себя взрослым, который как две капли воды

похож на его отца, и этот взрослый только что вернулся с поля домой, сел на скамью под окном и закурил сигарету, точно так же, как сейчас его отец.

Все это очень легко представить, все это само собой открывается внимательному взгляду и чувствам человека, которому знакома жизнь неимущей семьи. Ему открывается и то, что комната к северу от входа в дом, чья дверь располагалась прямо напротив входной двери, служила спальней, откуда мать каждый вечер выносила постельное белье для себя и отца, оставляя детей в холодной комнате один на один с темнотой, с пробуждающимися во мраке страхами, с сонливостью, которая хорошо помогает обороняться от страха, когда рядом нет никого близкого, кто мог бы защитить ребенка.

Все само собой открывается тому, кто смотрит достаточно внимательно и готов сам открыться и развалинам, и всему тому, о чем они рассказывают. Такому все откроется само собой, и он все узнает. Даже малый опыт, малое знание о жизни в таких домах и малая доля чувствительности, готовности раскрыть свое существо и свое пережитое в ответ на речь развалин, среди которых ребенок проводит целые дни, оказываются совершенно достаточны для того, чтобы на основе сохранившихся деталей воссоздать те формы, в которых протекала здесь жизнь, чтобы почти во всех подробностях вообразить и реконструировать занятия и распорядок жизни людей, обитавших здесь тогда, когда эти руины еще были домом. Открыться развалинам и, оставаясь открытым, пребывать в них подолгу и часто — этого было совершенно достаточно, чтобы полностью воссоздать ту жизнь, которая шла здесь или, по крайней мере, могла бы идти именно так, как себе представляет ее ребенок, для того, чтобы узнать людей, претерпевавших эту жизнь, для того, чтобы по-настоящему сблизиться с ними. Хотя я никогда их не видел, хотя еще до моего рождения они перебрались в Австралию, то есть в тот, другой, мир, я был знаком с ними, понимал их и они понимали меня, встречался среди этих развалин с их воспоминаниями о проведенных здесь днях, чувствовал те вздохи, которые вызывала у них чудесная картина, открывавшаяся за окном на южной стене, или их страх перед темнотой холодной спальни. Я не только встречался здесь с воспоминаниями живых, но далеких Лигачей, отправившихся в Австралию, я знакомился с душами их предков, давно умерших и похороненных неподалеку отсюда, которые время от времени собирались тут вокруг источника, и я учился различать их.

Тогда я еще не знал, что́ такое искусство, и даже представить себе не мог, что всю свою жизнь буду заниматься именно тем, чем занимался тогда: из речи развалин, из речи воспоминаний, которая передает истинные события в отчасти искаженном виде, из остатков и осколков, на основе нескольких сохранившихся или открывшихся мне деталей, видимых и реальных, я буду воссоздавать возможную (вероятную) жизнь отсутствующих людей, далеких, невидимых мне, может быть, даже уже мертвых или вообще никогда не рожденных, но столь же дорогих и близких, как собственное мое дыхание. Я даже представить себе не мог, что точно так же, как я тогда узнал и полюбил Лигачей, я позже

узнаю и полюблю доброго и умного дядю Ваню и его племянницу Соню, хитрого старика Пистетера, невинную и страстную Гретхен. Я представить себе не мог, что в духовной сфере поэтика литературы и поэтика развалин — это сестры-близнецы или, по крайней мере, близкие родственницы, я не знал, что развалины столь близки и столь необходимы литературе. Должно быть, я был слишком молод тогда для того, чтобы иметь собственные воспоминания, и поэтому не мог понять, что развалины суть хранительницы воспоминаний и что именно поэтому необходима литература, которая на основе воспоминаний воссоздает былую жизнь.

К тому времени, когда я узнал, что существует литература, общение с отсутствующими Лигачами стало для меня давним воспоминанием, а "встречи" с душами и памятью далеких людей лишь изредка всплывали в моем сознании, да и то я испытывал при этом некоторую неловкость, такую, какую, вероятно, испытал бы желающий постичь истину и живущий реальностью человек, вынужденный признаться в том, что всматривался в хрустальный шар, надеясь с его помощью узнать нечто важное. Но я, сам того не сознавая, все время занимался именно тем, начало чему было положено среди развалин: исходя из одной или нескольких ситуаций, из одного или нескольких поступков, в которых скрещивались объективное и субъективное, характер и судьба, я стремился воссоздать людей, их жизни, то, как выглядели прожитые ими дни. Мне хотелось кожей своего лица и рук ощутить их дыхание, вздохи их воспоминаний, движения их душ. Видимо, поэтому, из-за этих упорных занятий и столь часто повторяющихся, мне все же удалось забыть, что́ я делал среди развалин. Впрочем, и сами развалины я тоже забыл. Остались только вопросы, которые возникли именно тогда и которые сопровождали меня весь тот период, пока из моей памяти постепенно стирались мои детские впечатления, и эти вопросы всплывали снова и снова: сколько объективной истины, а сколько моих собственных фантазий и моих собственных черт содержится в том, что мне открылось о жизни, которую я воссоздаю из видимых остатков; насколько я действительно могу по развалинам воссоздать образ какой-то жизни, дни, протекавшие в каком-то доме; какая часть дома должна была сохраниться для того, чтобы позволить воссоздать из остатков нечто достоверное; в какой мере такое воссоздание представляет собой истинное прочтение и толкование сохранившихся деталей, а в какой мере оно является результатом встраивания моей собственной природы и судьбы в соотношение тех деталей и проявлением потребности на некоторое время выбраться из своей шкуры?

Возможность проверить ответы на все эти вопросы представилась мне ранней осенью моей жизни, когда я целый год был вынужден блуждать среди развалин, которых — Бог свидетель! — предпочел бы не видеть. С апреля 1992 года в развалины начал превращаться мой город, поэтому и вышло так, что среди развалин я работал, мимо них ходил, в них прятался от снарядов. Некоторые я посещал, гонимый наивной надеждой проверить, не осталось ли чего-нибудь среди них, к другим приходил почти ритуально — вспомнить лучшие дни и тем самым обрести силы, чтобы переносить настоящее.

***

Первыми развалинами, с которыми я познакомился во время моего сараевского военного года, стал бывший Институт ориенталистики, разрушенный при обстреле в самом начале войны. Туда я ходил по первой из приведенных причин — из наивной надежды (из-за неудержимой потребности, которая, видимо, и рождает наивную надежду), что, может быть, все не совсем так, как рассказывают и как оно выглядит на первый взгляд, что, может быть, на самом деле не все уничтожено, я ходил туда в глупой уверенности, что сумею отыскать хоть что-нибудь из институтских сокровищ, хоть что-нибудь, что, может быть, каким-то чудом уцелело. (Человек признает, что рак — смертельная болезнь, только до тех пор, пока его не обнаружат у него самого или кого-нибудь из дорогих ему людей. Хорошо бы узнать, занимался ли кто-нибудь серьезно этим типом надежды. Надежды, которая живет вопреки разуму и вопреки объективному положению дел, именно вопреки. Является ли такая надежда, точнее способность к такой надежде, нашей родовой особенностью, или же эту способность мы приобрели в новое время как замену веры: тогда, когда утратили веру, а с ней и тот свет, вечность, доверие к фундаментальной Истине и Действительности, ощущение того, что смерть — это не конец? Психология в качестве замены метафизики?)

В Институте ориенталистики хранились сотни тысяч редчайших, бесценных для историографии документов, документов, без которых в полном смысле слова невозможно написать историю этого региона, и, скорее всего, именно на этом обстоятельстве и основывалась моя "надежда вопреки всему": ведь не один я, но и те, кто разрушает Город, могут узнать о своем прошлом только из хранящихся здесь документов, и, уничтожая их, они тоже остаются без достоверных фактов, без памяти, без возможности проверить свою память. В этих рассуждениях с полной ясностью видно тупое упорство "надежды вопреки": я знаю, что они варвары, я знаю, что они варвары именно потому, что им удалось осуществить парадоксальную операцию по мифологизации истории, но тем не менее я жду, что документы, имеющие важность для историографии, окажутся бесценными и для них. Такое ожидание может являться только плодом "надежды вопреки всему", надежды, которая существует вопреки объективным аргументам и вопреки собственным убеждениям, в некоторых случаях даже вопреки неопровержимой истине. Я знаю, что те, кто сжег Институт ориенталистики, не нуждаются в документированной памяти, потому что документы их "памяти" (странной псевдопамяти) — это не что иное как псевдомифы и эпические песни; я знаю, что исторические документы могут им только мешать, потому что документы не позволяют осуществлять мифологизацию истории, а без мифологизации истории теряет опору вся их идеология, все это я знаю, но моя "надежда вопреки всему" гонит меня на место событий, чтобы проверить, наполняет чувством, что все-таки и для них собрание бесценных документов значит достаточно много для того, чтобы не посметь навсегда уничтожить его.

(Или моя глупая "надежда вопреки всему" основывается на вере в Божье Милосердие? Явив себя людям, Бог положил начало истории и "запустил" время, сделал возможными воспоминания и обязал нас к памяти.

Поэтому Он не позволит, чтобы погибло, исчезло без следа и без остатка собрание фактов, которое хранило память обо всем, что происходило на этой земле.)

Не знаю, я действительно не знаю, на чем основывалась моя надежда, знаю только, что, подгоняемый именно ею, этой "надеждой вопреки всему", я отправился к Институту ориенталистики через пару дней после того, как он загорелся от разорвавшихся снарядов, упавших с точностью, не оставлявшей ни малейшего сомнения в том, что координаты цели рассчитывались задолго до начала обстрелов Города. Я отправился туда, исполненный глупой и упрямой надежды, что погибло не все, что абсолютно все просто не могло погибнуть...

И действительно, погибло не все – остались развалины, которые я мог расшифровывать так же, как в свое время расшифровывал развалины дома Лигачей. Я мог воссоздать основные формы пребывания в этом пространстве, мог по расположению и размерам помещений разгадать иерархию, существовавшую между обитателями этих помещений, мог по виду, расположению и соотношению покрасневших участков стен узнать, где были книжные полки, где шкафы с документами, а где голые стены. Мог я, разумеется, распознать и нечто фундаментальное, предшествовавшее повседневной работе и пребыванию в этом здании людей, а именно – из каких материалов оно было сделано, каково количественное соотношение этих материалов в его составе, какова была их функция и какие формы с их помощью создавались. Я мог установить и то, что люди здесь не жили, а работали и нечто хранили, что они здесь ничего не производили, а, говоря патетически, сберегали жизнь, которая в своих конкретных проявлениях развивалась где-то в других местах. И, к сожалению, мог установить я и то, что ничего из хранившегося здесь не сохранилось, и что поэтому ту жизнь, следы которой здесь сберегались, нельзя больше воссоздать, а можно только выдумать с той мерой произвольности, которую мы сами себе позволим.

Позже, на протяжении моего сараевского военного года, я познакомился со многими развалинами такого типа, потому что именно те сооружения, которые могли бы иметь символическую ценность, разрушались с несомненно продуманной систематичностью: здание Красного Креста, отель "Европа", мечеть "Магрибия", Олимпийский музей... Похоже, что в течение того года я понял основные жанровые различия между развалинами этого типа и того, с которым я познакомился и изучил в детстве. И думается мне, что я не ошибусь, если скажу, что полному воссозданию в сфере воображаемого поддаются только те развалины, в которых протекала конкретная, цельная повседневная жизнь, в то время как развалины, оставшиеся от огромных, представительных зданий, функционируют как совершенно иной тип текста, потому что они предлагают исследователю принципиально иной тип сведений, знаний, вопросов. Истолковывая развалины дома семейства Лигач, вы можете конкретно представить себе его жителей, их обед, их состояние и настроение в течение дня; истолковывая же развалины на месте Института ориенталистики, вы открываете для себя (особенно если вы об этом что-то знаете и если элементарная информация не ускользнет от

вас, даже если вы совершеннейший профан вроде меня) много фактов из области строительной техники в Австро-Венгерской империи, принципов организации пространства в научных учреждениях Второй Югославии, иерархии в рамках этого конкретного института, предпочтений в организации рабочего пространства у отдельных сотрудников этого института. Перед вами предстают сведения, объективная информация об объективных феноменах, предстают "социальные", а не "человеческие" данные.

Вы чувствуете гордость дочери Лигача, помогающей матери накрыть на стол к обеду, хотя никогда не видели ни ее, ни матери, вы чувствуете эту гордость даже в том случае, если никакой дочери у них вообще не было, чувствуете просто потому, что не можете не почувствовать, когда находитесь в их бывшей кухне, между местом, на котором некогда стоял стол, и местом, где была стена с висящей на ней салфеткой с карманами. И не чувствуете, просто потому что не можете почувствовать, подрагивание руки бывшей сотрудницы Института, хотя эту сотрудницу вы знали лично, хотя были свидетелем подрагивания ее руки, хотя вот сейчас находитесь в ее бывшем кабинете, рядом с черным отпечатком, который оставил на стене стоявший здесь и сгоревший шкаф, возле которого в свое время дрогнула ее рука. Все здесь: комната, отделенная наружной стеной от улицы, след шкафа на стене и образ вашей знакомой, ваши живые воспоминания о словах, сказанных ею на этом самом месте как раз в тот момент, когда дрогнула ее рука, вот здесь, перед шкафом, который воскресил в вашем воображении оставшийся от него черный след на стене. Но все напрасно — эмоции не оживают, ваш дух не регистрирует подрагивания руки, на которую вы смотрели, и того образа, которой мог бы возникнуть в ваших воспоминаниях. И в данном случае, я уверен, дело вовсе не в вас — дело в том, что́ именно говорят и могут сказать развалины.

Развалины дома хранят память о тех, кто в нем жил, раскрывают формы их жизни и их пребывания в этом мире. Ваша комната говорит о вас и то, что не могли бы сказать о себе вы сами, предметы и их распределение в вашем доме точно отражают картину ваших семейных ритуалов, а эти ритуалы, в свою очередь, отражают картинку ваших дней, того времени, которое вы смогли посвятить самому себе. Если наши души заглядывают в этот мир и после нашей смерти, то они, безусловно, посещают развалины наших домов. Поэтому развалины дома — это художественный "руинный жанр" par excellence, жанр, который позволяет познакомиться с былой жизнью и жителями дома и понять их через опыт (*aisthessis*, в частности, означает и *познание через опыт, опытное познание,* что следовало бы иметь в виду всегда, когда речь заходит об искусстве), позволяет реализовать некую разновидность кажущейся и мимолетной идентификации с тем, кого познаешь, то есть понимаешь. Развалины дома дают вам тот вид знания о его жителях и их понимание, какими бы вы обладали, если бы сами являлись одним из этих жителей. Читая развалины дома, вы на мгновение освобождаетесь от предначертанной вам экзистенции, переходите границы, поставленные вам судьбой и характером, которым вы наделены при рождении, вы приобретаете знание, которым могли бы обладать, будь вы кем-то другим,

например жителем того дома, который теперь лежит перед вами в развалинах. Такой вид знания и такой тип понимания развалины дома предлагают тому, кто умеет их прочитать, и это сродни знанию и пониманию, которое раскрывает искусство тому, кто им наслаждается. (Вопрос о том, почему и тех и других так мало, относится уже к совершенно иному контексту.)

В противовес этому развалины какого-нибудь монументального, по преимуществу общественного, здания раскрывают культурные структуры того общества, в котором оно появилось на свет, и общества, которое им пользовалось. Они открывают вам особенности строительной техники в определенную эпоху, рассказывают о том, каков был в ту или иную эпоху образ такого солидного здания (например, вчитываясь в развалины Института ориенталистики, вы понимаете, что Австро-Венгрия очень серьезно относилась к своему присутствию в Сараево, к самому этому городу, это становится ясно из того, что здание это явно походит на аналогичные здания в австрийских городах), раскрывает перед вами представления о кабинетном труде, характерном для общества в тот момент, когда здание было обращено в руины, говорит о внутренней организации такого типа учреждений. Тот, кто читает развалины дома, может вообразить себе его обитателей (если он в принципе способен воображать), а тот, кто читает развалины общественного здания, вообразит общественные структуры, то есть формы определенной культуры, но отнюдь не формы конкретных существ и их дней, которые обусловила эта культура. Все различия между двумя этими "руинными жанрами", от разницы в методах прочтения и понимания до разницы в результатах интерпретации, являются следствием этой фундаментальной разницы — разницы между культурными структурами и фактами настоящей, индивидуальной, совершенно конкретной жизни, которую мы проводим сами с собой и со своими близкими.

***

С третьим "руинным жанром" я познакомился тоже в Сараево, и именно из-за него, если хорошенько подумать, я и взялся за эти записки. Для этой разновидности развалин совершенно не подходит слово "развалины", даже при весьма строгих оговорках, определяющих значение, ибо то, что осталось от небоскреба UNIS на Мариндворе, от здания Скупщины Республики, от целого ряда современных деловых центров, то есть от всех модных сооружений из стекла и стали, которые оказались сожженными, просто-напросто не является развалинами в том смысле, в котором стали развалинами дом Лигача и Института ориенталистики. (Тут нужно сделать оговорку, вызванную моим абсолютным незнанием строительного дела: возможно, эти здания были сделаны вовсе не из стекла и стали, возможно, только мне, профану, они казались такими. Уточняю, что я здесь имею в виду здания, которые сверкают зеркальным блеском, которые, как и любое зеркало, совершенно равнодушны к окружающему их миру, которые одинаково выглядят, одинаково сооружаются и одинаково безучастно отражают средиземноморский, тропический или полярный пейзаж. Вероятно, в силу этого их равнодушия к окрестностям и климату, среди которых они стоят, при взгляде на них создается впечатление, что внутри, за сверкающими стенами, они, как

и любое зеркало, пусты, что за их блеском существует только виртуальная действительность, в которую верит, да и то в качестве предположения, лишь тот, кто в этом зеркале отражается в тот момент, когда он в нем отражается. Одним словом, я имею в виду те здания, которые нам, незнайкам, так же как и зеркала, все кажутся на одно лицо.)

Развалины — это то, что осталось от прежней жизни, сумма следов и свидетельств, на основе которых удается воссоздать и понять, представить себе или хотя бы предположить, что думали и делали, как воспринимали мир и как существовали те люди, которые обитали в этих развалинах прежде, чем они таковыми стали. И если развалины представляют собой именно это, а "традиционные развалины" поддаются именно такому определению, то подвергшиеся разрушению современные стеклянно-стальные здания развалинами, несомненно, не становятся. Не знаю, как следует называть то, что остается на месте этих зданий, не знаю, к какому жанру следует их относить, если мы все же назовем их развалинами, но я уверен, что по своим определяющим особенностям они являются чем-то совершенно иным, чем традиционные развалины.

Например, от бывшего здания Скупщины Республики, с которым я в последнее время познакомился очень хорошо, потому что часто ходил туда за водой, осталась гротескно деформированная стальная конструкция и много чего-то черного, что не смола, не сажа, не... Это "что-то" нельзя сравнить ни с чем известным в той действительности, которая мне знакома. Наружные стены и внутренние перегородки, покрытие полов и мебель — все это, похоже, расплавилось и превратилось в какое-то невиданное черное вещество, которое не поддается ни определению, ни описанию, или же преобразовалось в столь же диковинный черный порошок. Фантастически искривленная стальная конструкция и некоторое количество черного вещества, о котором я бы скорее всего сказал, что оно представляет собой подтверждение присутствия, олицетворение того, что мы имеем в виду, когда говорим "Ничто", тем не менее не являются развалинами, по которым можно что-то прочесть, о чем-то догадаться, по которым можно почувствовать и понять некое прошлое, неких других людей, которых развалины запоминают и позже нам открывают. Нет, это не развалины, это самое смерть в восприятии современного человека, смерть, которая представляет собой не переход в другую форму существования, а уход в буквальное, наибуквальнейшее "ничто". Говоря другими словами, если даже мы и назовем эти остатки развалинами, потому что, в сущности, они все-таки являются остатками былого здания, то это развалины совсем нового типа, который от доселе известных отличается не степенью, а видом.

Первое и наиболее очевидное различие между этим, новым, и традиционными типами развалин состоит в отношении ко времени: новые развалины, так же как и зеркало, — это абсолютное настоящее, оно не помнит и не предзнаменует, глядя на него, вы не можете поверить в то, что было какое-то прошлое или возможно какое-то будущее. Оно, это настоящее, не помнит людей, которые в нем находились, когда оно было зданием, а не развалинами, оно не помнит культурного контекста, который его определял, оно даже ничего не сообщает о материале, из ко-

торого было построено. (Правда, возможно, просто я ничего не знаю об этих материалах и потому не способен истолковать новое лицо развалин — лицо той черной материи, которая так напугала меня?) Единственная информация, которую можно получить из таких развалин о здании, которое когда-то стояло на их месте, — это то, что и это здание, по-видимому, было "вневременным": пока стоит и функционирует, выглядит как новое, а в тот момент, когда оно больше не новое, тут же становится бывшим. Но, может быть, и это неправильно? (Действительно, могут ли здания, которые выглядят как зеркала, быть старыми? Могут ли они помнить? Как они выглядят, когда им исполняется пятьдесят лет? Отличаются ли, и, если да, то чем, от тех, которым сто лет?)

Как классифицировать этот тип развалин в обзоре "жанров развалин", который я здесь пытаюсь набросать? Как читать развалины такого типа, как их понимать и как интерпретировать? Какую информацию они дают о себе, о здании, из которого возникли, о людях, которые это здание строили, и о людях, которые им пользовались, пока оно оставалось зданием? О каких смыслах и значениях, каком восприятии мира и типе мышления можно догадаться по информации, которую предлагает такое здание? К какому типу текста принадлежат такие развалины? Являются ли они вообще текстом, и, если да, то как его анализировать, трактовать, читать? Относится ли такой текст к тем, которые так же, как тексты дадаистов, желают не "значить", а "быть" (словно возможно одно без другого), и в силу этого не могут отсылать никуда за пределы своих собственных границ. Текст, который абсолютно совпадает сам с собой, у которого тело и тень, значение и смысл, цель и причина, исток и устье — одно. Как понять и как определить, как вообще описать такой тип текста? Ультраконкретизм? Остатки республиканской Скупщины как ультраконкретные развалины, которые "не значат, а существуют", которые абсолютно идентичны самим себе и доказывают собою, что возможна горсть черного порошка под гротескно искривившимися конструкциями, которые когда-то, если вы помните, несли все здание.

Такие развалины совершенно определенно не являются знаком или знаковой структурой. Если я не ошибаюсь, Аврелий Августин в "De doctrina christiana"[1] определил знак как вещь, которая придает чувствам форму и привносит в мышление нечто другое, производя это другое из себя, и мне кажется, что это самая точная дефиниция знака, потому что она принимает во внимание не только функции знака, но и его природу. Итак, как я уже сказал, такие развалины наверняка не являются знаком и уж тем более не могут быть знаковой структурой: они не придают формы ничему, они и сами не имеют формы, они являют собой отсутствие формы, они представляют собой самое распад, который рождает в нас вопрос: а возможна ли здесь форма в принципе, была ли она и могла ли она быть? В еще меньшей мере эти развалины, эта малость бесформенной черной материи, способны привнести в человеческий дух нечто другое (кажется, Августин, по примеру стоиков, называл это "другое" словом "lecton"), некий смысл, ментальный образ некоего предме-

1. "О христианском учении" (*лат.*).

та, явления, состояния, потому что эти развалины попросту не способны привнести в него что бы то ни было. И уж совсем не способны они произвести из себя какой-либо ментальный образ, какой-либо смысл или что бы то ни было, что подразумевает форму во времени и/или в пространстве. Они не указывают ни на что вне самих себя, но и сами не предлагают и не обладают какой бы то ни было формой, значением, смыслом. Единственное, что они говорят, — это то, что здесь, где вы сейчас видите немного черной материи, вероятно, когда-то что-то было. Но человек, который смотрит на них, обладает памятью и помнит, он помнит, что здесь стояло здание республиканской Скупщины, и в таком случае они говорят ему нечто большее, а именно, что здесь стояло красивое и исполненное достоинства здание. Но говорят они это только ему, тому, кто это помнит.

Потому-то и приходит мне в голову, что нет такого мальчишки, который завтра, по развалинам, которые останутся после нас, попытается разгадать и воссоздать наши души, воспоминания, жизни, дела и течение дней. Я уверен, что его нет, но не из-за того мальчишки, который будет жить завтра, а из-за нас, а точнее, из-за развалин, которые мы способны оставить после себя: мы — те строители, после которых не остается развалин, способных помнить, мы — те люди, которых не может запомнить мир, в котором мы жили. То, что мы строим, никогда не станет развалинами, по которым окажется возможным вообразить и в сфере воображаемого восстановить наше лицо. Здания, которые мы воздвигаем, после того как они перестанут функционировать, смогут стать лишь реальным, материальным образом "ничего". Нашим душам будет некуда возвращаться, ибо то, что останется после нас, — это не развалины и не Место, а Ничто. А это Ничто, разумеется, внеисторично, так же как внеисторичны и варвары, которым псевдомиф заменяет историю, а мифологизированная псевдоистория заменяет миф.

Из того, что́ вместо развалин оставим после себя мы, невозможно будет представить себе те культурные структуры, которые были формами нашей общественной жизни, невозможно будет оживить перед собой лицо человека и то, что собой представляла жизнь отдельных людей в качестве конкретных форм нашей частной жизни. После нас, судя по тому "руинному жанру", который в состоянии породить мы, останется лишь пустая основа, на которой можно что-то комбинировать, произвольно выдумывать, болтать, что взбредет в голову, то есть основа, пригодная лишь для порождения псевдомифов. Отсюда и мой страх, что наступают времена варваров, варвары грядут, они уже среди нас. Возможно, в нас?

Фестиваль книги

С Грэмом Свифтом и Тибором Фишером беседует Александр Ливергант

Осенне-зимняя ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction снискала столь громкую популярность у российских и зарубежных читателей и издателей, что "перекинулась" на лето с иным, правда, названием — "Московский книжный фестиваль". Фестиваль, как это обычно и бывает, явился отличным поводом не только для продажи книг, но и для проведения всевозможных семинаров, круглых столов, презентаций, ставших модными в последнее время поэтических и прозаических чтений, а также для вручения литературных наград. В этот раз на летней non/fiction дебютировала долгожданная премия за лучший перевод современной английской и ирландской прозы и поэзии. Премию "Единорог и лев", учрежденную Британским советом, журналом "Иностранная литература", союзом "Мастера литературного перевода" и газетой "Книжное обозрение", получили в номинации проза ("Лев") и поэзия ("Единорог") постоянные авторы нашего журнала Елена Суриц и Марина Бородицкая, с чем мы их горячо поздравляем. Премия для победителей — поездка на еще один прославленный книжный фестиваль — Эдинбургский.

Съехались в Москву на книжный фестиваль не только издатели, но и именитые писатели, в том числе и зарубежные. Французское посольство в Москве и московское издательство "КоЛибри" привезли кумира российского студенчества, автора "99 франков" и "Windows of the World" Фредерика Бегбедера, Британский совет — двух самых, пожалуй, крупных представителей современной британской прозы — Грэма Свифта и широко известного в России Тибора Фишера. Все трое встречались с читателями, охотно вступали в дискуссии, отвечали на вопросы, читали отрывки из своих последних, совсем недавно вышедших из печати произведений. Такие романы Г. Свифта, как "Свет дня" и "Земля воды", философские сатиры Т. Фишера "Философы с большой дороги" и "Коллекционная вещь", уже не раз издавались в России и знакомы нашему читателю, должно быть, ничуть не хуже, чем английскому. И Свифт, и Фишер, как и многие "живые классики" современной зарубежной литературы, впервые увидели свет на русском языке на страницах нашего журнала.

Грэм Свифт: "Писатель стал культурным аутсайдером"

"Иностранная литература". Поскольку наш журнал уже больше полувека печатает переводную литературу, первый вопрос, пусть это не покажется вам странным, касается перевода. На русский язык переводились и "Земля воды", и "Последние распоряжения", и "Свет дня"[1]. Переводы всех трех ваших романов очень недурны. Так что с русскими переводами вам повезло. Переводят вас, разумеется, и на другие европейские языки. Вы знакомитесь с переводами ваших книг? Или эта сторона вашей литературной деятельности вас мало интересует?

1. "ИЛ", 1998, № 1 и 2004, № 8.

Грэм Свифт. Да, мало. Я перевожусь на многие языки, мои романы издавались, если не ошибаюсь, чуть ли не на двадцати пяти языках, однако в отношения с переводчиками я не вступаю. Иностранных языков я не знаю, при этом когда пишу, задумываюсь порой о том, как с тем или иным выражением, или описанием, или игрой слов переводчику придется, должно быть, повозиться.

"ИЛ". Надо ли, на ваш взгляд, "пере-переводить" классические произведения? Или достаточно одного перевода, если он хорош, на все времена?

Г. С. По-моему, каждое поколение должно иметь "свой" перевод — ведь взгляды на литературу меняются. Впрочем, у нас в Англии существует классический перевод М. Пруста на английский язык, выполненный еще в 20-е годы, и до сих пор никто не смеет взяться за новый.

"ИЛ". Вы, должно быть, и классическую русскую литературу читаете по каноническим переводам Констанс Гарнетт?

Г. С. Да, и меня они вполне устраивают.

"ИЛ". А вот Бродский говорил, что когда читаешь Достоевского в переводах Гарнетт, то читаешь не Достоевского, а Гарнетт. Набоков тоже, кажется, был от нее не в восторге.

Г. С. А я не в восторге от Набокова: заворожен собой, своим мастерством.

"ИЛ". Раз уж зашла речь о русской литературе, кого бы вы выделили? Обычно ведь западный ценитель русской словесности дальше Толстого и Достоевского не идет.

Г. С. Для меня особое значение имеет Бабель. Сказать, что он оказал на меня как на писателя влияние, — значит не сказать ничего. Бабель, его "Конармия", "Одесские рассказы" подтолкнули меня к писательству, вдохнули в меня желание писать, когда я не сочинил еще ни строчки. Это было в конце 60-х годов, когда мне не было еще и двадцати.

"ИЛ". А кто из англичан на вас повлиял?

Г. С. Трудно сказать, кто именно. В отрочестве я очень много читал — телевидения ведь не было. Читал, как и все мои сверстники, все подряд: приключения, детективы, фантастику.

"ИЛ". А сейчас развлекательную литературу читаете?

Г. С. Нет, если хочу развлечься, иду с большей охотой в кино.

"ИЛ". А вообще, читаете много?

Г. С. Сейчас гораздо меньше, чем в юные годы, да и как-то иначе, не так увлеченно, что ли. Думаю все больше не о прочитанном, а о написанном и — особенно — о пишущемся, о том, что еще написать предстоит. Чтение помогает переводчику, но не писателю — его оно, скорее, отвлекает.

"ИЛ". В России — традиционный вопрос — вы впервые?

Г. С. Да, впервые. Должен был приехать лет двадцать назад, но что-то помешало — не помню уж что. Взял, кстати, с собой в дорогу сборник рассказов Чехова. Что еще читать в России, как не Чехова.

"ИЛ". Кстати, о дороге. Мы сейчас в журнале готовим номер "Писатель путешествует". Собираем материал. А вы — писатель "путешествующий"? Путевые очерки пишете?

Г. С. Путешествую мало, путевых очерков не пишу. В 1989 году летал в Прагу, когда там была "бархатная революция". Ездил от журнала "Гранта" брать интервью у Жежи Вулфа, писателя-диссидента, его тогда только что из тюрьмы выпустили. Написал тогда очерк о Праге — и это, пожалуй, все.

"ИЛ". Мы собираемся печатать очерки о Праге Джона Бэнвилла, последнего букеровского лауреата.

Г. С. Да, Бэнвилл — прекрасный писатель, хотя его последний роман ("Море". — *"ИЛ"*) — не лучшая его книга.

"ИЛ". А кто из сегодняшних ирландских писателей вам по душе?

Г. С. Я бы назвал Колина Тойбина. У него есть превосходная книга "Мастер" про Генри Джеймса. Люблю Джеймса.

"ИЛ". А американскую литературу?

Г. С. По-моему, у нас в Англии об американской литературе завышенные представления. Английские писатели смотрят на американских снизу вверх, считают большую американскую прозу достойной подражания. Я тоже люблю Фолкнера, Беллоу, Рота (хотя далеко не все), а вот к Апдайку совершенно равнодушен.

"ИЛ". А что скажете про свою, британскую прозу?

Г. С. Скажу, что я принадлежу к счастливому писательскому поколению, начинавшему в 80-е годы прошлого века: именно тогда появились английские писатели с неанглийскими корнями, с культурным наследием, полученным за пределами Британии. Это явление очень обогатило английскую литературу, благодаря таким писателям, как Рушди, Исигуро, Найпол, мы теперь открыты миру, перестали вариться в собственном соку, как это было в середине века.

"ИЛ". Вы приехали в Москву по приглашению Британского совета и здесь, на Книжном фестивале, будете читать отрывки из своих книг. Публичные чтения теперь очень популярны, в том числе и в России. Вместе с тем уже общим местом стали невеселые наблюдения: современная молодежь читает гораздо меньше, чем раньше. Разделяете ли вы распространенный пессимизм по поводу будущего книги?

Г. С. Пожалуй. Теперь писатель стал в некотором смысле культурным аутсайдером. На смену книжной культуре, художественному опыту пришла культура информационная.

"ИЛ". У вас есть свой читатель, как вам кажется?

Г. С. Я о своих читателях не думаю, хотя, действительно, нередко участвую в публичных чтениях, отвечаю на многочисленные вопросы, разумные и не очень. В то же время я искренне верю, что у меня есть свой читатель, и, полагаю, он не слишком отличается от меня самого. Скажу больше: роман (а я пишу исключительно романы) — это всегда совместный труд, сотрудничество читателя и писателя. Впрочем, когда видишь — в метро, например, — что кто-то из пассажиров читает твою книгу, хочется почему-то поскорей выйти из вагона. Не раз ловил себя на этом.

"ИЛ". И очередной традиционный вопрос напоследок. Над чем сейчас работаете?

Г. С. Только что закончил новый роман, он еще не напечатан. Выйдет лишь в начале следующего года. Не решил еще даже, в каком издательстве.

"ИЛ". И долго вы над ним трудились?

Г. С. Вот именно, трудился. После "Света дня" шло тяжело, последний роман писал больше года — в новую книгу вообще долго втягиваюсь, а в эту — особенно.

"ИЛ". И вы им довольны?

Г. С. И да и нет. С одной стороны, стоит книгу закончить, поставить точку, как тут же хочется многое переделать. С другой — был бы недоволен, не стал бы выпускать ее в свет.

Тибор Фишер: "Труднее всего понравиться самому себе"

"ИЛ". В России вы необычайно популярны, особенно у молодежи. "Коллекционная вещь"[1] переиздавалась уже не один раз.

Тибор Фишер. В Англии, пожалуй, популярен тоже, и тоже, скорее, у молодого читателя. "Коллекционную вещь" почему-то любят женщины – вероятно, из-за главной героини. А вот роман "Философы с большой дороги" устраивает далеко не всех – язык, говорят, странный какой-то.

"ИЛ". А в мире имя Фишера известно?

Т. Ф. Меня перевели на двадцать три языка. Сам же я, кроме родного английского, читаю и прилично говорю по-французски и кое-как – по-венгерски. И это при том, что я английский венгр: родители бежали из Венгрии в Англию в 1956 году, а я родился тремя годами позже.

"ИЛ". Но ваше постоянное место жительства – Англия, так ведь?

Т. Ф. Как сказать. Часть года я действительно живу в Лондоне, часть – в Будапеште, который очень люблю, а зиму провожу теперь в Майами. Действие моего следующего романа, кстати говоря, происходит в Майами, куда является... сам Господь Бог.

"ИЛ". У нас на этот сюжет написал уже лет десять назад свой роман А. Слаповский. Что же собой представляет ваш очередной роман? Сатира, стилизация, как и предыдущие?

Т. Ф. В некотором смысле да. Но это еще и криминальный роман. Самый настоящий – не чета "Философам..."

"ИЛ". И название уже есть?

Т. Ф. Есть. "Хорошо быть Богом".

"ИЛ". А писателем?

Т. Ф. Откуда мне знать? За другие профессии я же не брался. Мне не с чем сравнивать. Всю жизнь только и знаю, что пишу. А если серьезно, писательство – дело тяжелое. Если ты приличный писатель, то труднее всего понравиться самому себе...

"ИЛ". У вас почему-то романы веселые, а вот рассказы – я имею в виду сборник "Идиотам просьба не беспокоиться" – получаются какие-то мрачноватые.

Т. Ф. Да, не вы первый мне это говорите. Вообще, рассказы пишутся тяжелее, к тому же их и книжный рынок не слишком жалует – откуда же взяться веселью?!

"ИЛ". А читать вы любите? Теперь ведь читают все меньше.

Т. Ф. Не знаю, я читал и читаю много – в метро без книги не езжу. По-моему, чтобы быть писателем, надо быть и читателем тоже: уметь себя видеть со стороны – первое дело. Что же до чтения, то, мне кажется, все страхи относительно падения интереса к чтению несколько преувеличены и преждевременны. В 60-е годы тоже говорили: роман, дескать, умирает, рассказ умирает, стихи никому не нужны и т. д. Ну, а уж в России, с ее более чем серьезным интересом к чтению, читатели будут всегда.

"ИЛ". А что бы вы сказали об английских читателях?

1. "ИЛ", 1999, № 8.

Т. Ф. Своим несерьезным, ироническим отношением к литературе английский читатель – парадоксальным образом – помогает английскому писателю. Благодаря ему в нашей литературе нет таких икон, как, скажем, Уэльбек, или Гюнтер Грасс, или Умберто Эко. Мы ведь, известное дело, люди сдержанные. И в отношении литературы тоже.

"ИЛ". И все же, несмотря на британскую сдержанность, кто из современных писателей Англии вам близок?

Т. Ф. Из англичан это Дэвид Митчелл, прежде всего его роман 2000 года "Написано привидением", из американцев – Чарльз Уиллифед и его "черный" роман "Квартет из Майами" – вот видите, и здесь тоже Майами. Из венгров – Шандор Мараи, замечательный писатель, покончивший с собой на чужбине в полной безвестности. Сейчас в Венгрии форменный культ Мараи, в книжных магазинах его книги занимают несколько полок.

"ИЛ". А из русских? Современных русских писателей знаете?

Т. Ф. Со многими современными русскими писателями я знаком не только по книгам, но и в жизни. Дружу с Пелевиным – очень, по-моему, одаренный автор, с Битовым, нравится мне "Это я – Эдичка!" Лимонова. Из великих покойников отдаю предпочтение Гоголю и Замятину. У Гоголя больше всего люблю малую прозу: повести и рассказы. Когда-то давно смотрел в театре постановку "Ревизора" – отличная пьеса.

"ИЛ". А как стали писателем вы?

Т. Ф. Когда мне было одиннадцать лет, то есть в 1970 году, в Англию приехал мой кумир Айзек Азимов – он-то меня и вдохновил на этот каторжный труд. В те годы английская литература была мертва, и американская казалась нам путеводной звездой.

"ИЛ". Вы пишете каждый день?

Т. Ф. Сколько раз пытался уклониться, делать перерывы, но сам не замечаю, как подсаживаюсь к компьютеру...

Чжан Жун: "Дикие лебеди" и Красное, Красное Солнце

Мы предлагаем вашему вниманию интервью с живущей ныне в Англии писательницей китайского происхождения Чжан Жун — фрагменты ее книги "Дикие лебеди, или Три дочери Китая" были опубликованы в "ИЛ", 2005, № 9. О ее новой книге рассказывает и беседует с писательницей Роман Шапиро.

В прошлом году вышла книга с эффектным названием "Мао: неизвестная история", написанная Чжан Жун в соавторстве с мужем, историком Джоном Холлидеем. Биография Мао сразу же заняла первые места в рейтингах продаж британских книжных магазинов, ее стали переводить на ряд иностранных языков (скоро она выйдет по-русски), однако реакция на нее как профессионалов, так и широкой общественности оказалась противоречивой, не в пример почти единодушному восхищению, выпавшему на долю "Диких лебедей"[1]. Пожалуй, достаточно ясное представление о сути разгоревшейся полемики дает название репортажа радио "Свобода": "'Неизвестная история Мао Цзэдуна': Развенчание мифа или... антикитайская провокация?".

Посвятив десять лет жизни кропотливым поискам в архивах — в том числе и российских, взяв интервью у нескольких сотен людей, знавших их героя с самых разных сторон, авторы приходят к выводу, что Мао был еще страшнее, чем его обычно малюют. По их словам, вся мифология китайской компартии, даже и в той части, в какой ей принято доверять на Западе, — и впрямь мифология и ничего более. Для начала, Мао эту компартию вовсе не основывал — это сделали за него русские, финансировавшие первое время 94% ее бюджета (см. в этой связи нижеприведенное интервью). Мао приветствовал зверскую японскую оккупацию. Никакого героического Великого похода, воспетого в стольких книгах, и далеко не только китайских, Мао не совершал — он просто путешествовал на носилках в сопровождении своей армии из одного конца Китая в другой, а его главный враг Чан Кайши и не думал ему в этом мешать. Мао повинен в смерти и страданиях семидесяти миллионов. Среди этих миллионов — его собственная жена, которую он мог спасти, но не спас. Список можно продолжать бесконечно, во всяком случае, у авторов на рассказ ушло более восьмисот страниц.

Мало кто в наше время сомневается в том, что Мао был одним из величайших тиранов в истории. Даже официальная точка зрения китайских властей, приписываемая изначально Дэн Сяопину, отцу нынешнего экономического процветания Китая, гласит, что роль Мао была "на 70% хорошей и на 30% дурной". После этого логично предположить, что западные публикации, свободные от цензуры китайского режима, должны состоять из обличений если не на 200, то хотя бы на 150%. Это, однако, не так. Можно, конечно, сказать, что симпатизирующие Мао Симона де Бовуар, Сартр и знаменитые авторы знаменитого левого французского журнала "Тель-кель" мало что о Китае знали. Труднее сказать это об Эдгаре Сноу (авторе апологетической "Красной звезды над Китаем", 1936), прожившем там бурные тринадцать лет — с 1928-го по 1941-й — и возвращавшемся туда позднее. Примечательно, что и Гаррисон Солсбери в 80-е годы ("Великий поход",

1. Полный русский перевод "Диких лебедей" готовится в Издательстве Ивана Лимбаха (СПб).

1985), и Майкл Линч уже в наше время ("Мао", 2003) рисуют Мао не одной черной краской. Линч, в частности, пишет: "[Убеждения Мао] делают его готовность терроризировать китайский народ объяснимой, если не оправданной". Даже Николас Кристоф в положительной, в основном, рецензии на "Мао"[1], называя титульного героя "сумасшедшим", "диким" и "безжалостным", отмечает: "Я не могу полностью разделить выводы книги, ибо, с моей точки зрения, каким бы чудовищем Мао ни был, он принес Китаю и полезные перемены... Не все в наследии Мао плохо". Имеются в виду, например, земельная реформа, эмансипация женщин, отмена детских браков.

Что же думают о Мао его соотечественники? Опрос китайской редакции "Немецкой волны" (11911 респондентов) по поводу книги дал такие результаты: "заслуги Мао перед Китаем — величайшие в истории" (9,7%); "Мао — великий человек, с какой стороны ни посмотри" (14,5%); "и самого Мао, и его роль можно описать так: на 70% хорошо, на 30% плохо" (10,5%); "сам Мао на 70% плох, на 30% хорош, а роль его на 70% положительна, на 30% отрицательна" (9,0%); "он не был хорошим человеком, но сыграл великую роль" (13,6%); "он был плохим человеком и сыграл отрицательную роль" (10,1%); "преступления Мао перед Китаем — величайшие в истории" (9,3%); "относительно книги Чжан Жун следует развернуть аргументированную полемику" (8,5%); "книгу Чжан Жун следует игнорировать" (7,4%). Любопытно, что лишь 7,4% опрошенных сказали: "Я смогу сделать выводы, лишь прочитав книгу" (а в Китае ее, разумеется, не издавали и издавать не собираются). Тем не менее на стороне китайцев практический жизненный опыт — многие из них были свидетелями деяний Мао, и все до одного — свидетели их последствий. Таким образом, даже оставив в стороне оценку малодоступной книги, можно констатировать, что лишь примерно треть населения явно настроена против Красного, Красного Солнца, а остальные либо считают его самим совершенством, либо, по крайней мере, одобряют его историческую роль. Правда, по убеждению Чжан Жун, связано это исключительно с пропагандой режима и невежеством населения (см. интервью).

Возможна по этому вопросу и иная точка зрения. Андре Мальро, автор романов о Китае "Искушение Запада", "Завоеватели" и "Удел человеческий" (последний получил Гонкуровскую премию), писал: "Китайцы не верят ни в какую идеологию. Прежде всего они верят в Китай".

Это значит, что идеологии приходят и уходят, а Китай остается. В китайской традиции известно так называемое учение о "воле Неба", перекликающееся с просветительской теорией общественного договора. Династия приходит к власти, только если ее основатель добродетелен, и теряет ее, если правители погрязают в грехах. Следовательно, первые императоры династий в китайской историографии — почти идеальные герои, а последние — еще более образцовые изуверы. Может ли Мао, объединивший страну под властью процветающей ныне династии Коммунистической партии Китая, считаться в народе злодеем?

Еще это значит, что китайцы "верят в Китай", а не "в китайцев". Массовое сознание легко прощает обильные человеческие жертвы, если они принесены на алтарь государственной мощи. А вряд ли кто поспорит с тем, что с момента прихода Мао к власти Китай многократно усилился.

Чжан Жун отрицает связь жизни Китая в двадцатом веке с его традицией (см., в очередной раз, интервью). Между тем сама она, покинувшая Китай и вышедшая замуж за англичанина, — человек вполне традиционный. Именно укорененностью в традиции, вместе с умением погрузить в нее, очаровали мир "Дикие

1. New York Times, 2005, 23.10.

лебеди". Чжан Жун не особенно доверяет прогрессу: Интернет для нее — не надежный источник общественного мнения (кажется, о том, что на сетевых форумах можно что-то обсуждать, она узнала от автора этих строк). Чжан Жун не может забыть традиционной сычуаньской кухни и в Лондоне ходит в сычуаньский ресторан (где вместе с мужем гостеприимно угощала автора этих строк; и все равно, он, неблагодарный, насплетничает читателю, что Чжан Жун не могла поверить, что такое большое — по ее мнению — интервью влезет в такой маленький диктофон). Это мелочи и частности личной жизни — но из таковых и слагаются традиции.

На суперобложке издатель сообщает, что книга "сочетает тщательность исторического исследования со сказовым стилем 'Диких лебедей'". Точнее, возможно, стилем популярно-газетным. Главы называются: "Незапуганный соперник отравлен", "Убийство ста цветов", "Новый образ, новая жизнь, новая жена" (в оригинале — в рифму), "Великий скачок: 'Ничего страшного, если умрет пол-Китая'". Заключительные фразы глав тоже грешат субъективностью: "К крестьянам Мао особой любви не испытывал"; "Мао мало во что верил". Последняя глава завершается так: "Рассудок [Мао] оставался ясным до конца, и в нем шевелилась лишь одна мысль: о себе и своей власти". Что касается исследовательской стороны работы, источники в ней часто не цитируются, а пересказываются (еще реже встречаются пространные выдержки из них), не приводятся тексты взятых авторами интервью, ссылки даются лишь в общем виде, по политическим причинам не указаны названия китайских архивов, в разделе "Благодарности" опущены имена сотрудничавших с авторами китайцев.

Надеемся, читатель, ознакомившись с этими заметками, не обратится в маоизм. Надеемся, он не подумает, что книга плоха: как памфлет она весьма хороша и не зря произвела неизгладимое впечатление на Джорджа Буша-младшего, читавшего ее на ночь; памфлет — вообще достойнейший из жанров, представленный в истории блестящими образцами, не сто́ит лишь смешивать его ни с научным, ни с научно-популярным трактатом. Надеемся, наконец, "Мао" выйдет по-русски, и у читателя будет больше оснований развернуть по его поводу аргументированную полемику, чем у обделенного в этом смысле многострадального китайского народа.

Роман Шапиро. "Дикие лебеди" пользуются на Западе необычайным успехом, их называют и самой популярной книгой о Китае, и даже самой популярной документальной книгой вообще. Давайте поговорим о том, как ее воспринимают в самом Китае. Ее китайское издание, как известно, запрещено, но в центральном шанхайском магазине можно купить ее по-английски, без купюр – я проверял.

Чжан Жун. И что же, лежит много экземпляров?

Р. Ш. Да, они разложены у самого входа, рядом с другими бестселлерами.

Ч. Ж. Да что вы! Мне говорили, что книгу можно купить в аэропорту, в Шанхайском музее, то есть в местах, где много иностранцев. Но не ожидала, что ею торгуют и в книжных магазинах.

Р. Ш. Многие слышали про книгу, хотя и не читали. Одна китайская преподавательница поинтересовалась, почему книга запрещена, – не потому ли, что порнографическая. Книгу обсуждают в китайском Интернете.

Ч. Ж. По-китайски?

Р. Ш. Да, и думаю, читали ее эти люди тоже в нелегальном китайском переводе — они упоминают имена собственные, иероглифическое написание которых трудно вычислить из английского текста. Да и вряд ли многие знают английский настолько хорошо. Отзывы встречаются самые разные. Одной женщине, например, понравилось ваше наблюдение, что влюбленный человек становится добрее. Вообще, в целом эти люди хвалят вас за вещи, не имеющие отношения к политике. Но много и критических откликов. Почти никто не спорит с фактами, изложенными вами. Общая мысль, пожалуй, такая: "Да, это было; но не нужно рассказывать такие вещи иностранцам, не нужно стирать на людях грязное белье".

Ч. Ж. Конечно, никто не любит стирать на людях грязное белье, ни японцы, ни англичане, ни китайцы. Не случайно такое выражение существует в английском языке.

Р. Ш. Да, и в русском тоже. Но, возможно, англичане чаще позволяют себе критиковать собственную историю, в том числе и "на людях"?

Ч. Ж. Пожалуй. Ну что ж, я должна сказать, что не согласна с этим взглядом. Тем более, что здесь мы имеем дело не с грязным бельем, а с ужасами, о которых должен знать весь мир.

Р. Ш. Один человек написал: "Конечно, можно понять, что она критикует председателя Мао, ведь ее родители пострадали при нем как сторонники капиталистического пути". Таким образом, он как минимум извиняет вашу точку зрения. Но ему ответили: "Ну и что? Мои родители тоже пострадали при Мао, но я его уважаю".

Ч. Ж. Это просто глупо. И речь идет не об одной семье, а о десятках миллионов. Не могу даже спорить с этим, потому что для спора необходима общая отправная точка, общая мораль. Если я говорю, что убивать плохо, а собеседник — что хорошо, как я могу спорить? Другое дело, если человек выдвигает какие-то серьезные аргументы, например: да, моя семья пострадала при Мао, но он сделал то или это — тогда есть смысл о чем-то говорить. А с такими людьми даже спорить не о чем. И, конечно, я не могу этого принять.

Р. Ш. Но можете ли понять? Почему это происходит?

Ч. Ж. Дело в невежестве. И в молодости тех, кто так говорит. Они сами не жили при Мао, пострадали их родители, и они представить себе не могут, как это было ужасно, им просто не хватает воображения. Я бы сказала, что это в первую очередь не их вина, а вина государства, правительства. Вы сказали, что "Дикие лебеди" продаются по-английски. Но большинство китайцев не читают по-английски. А китайское издание запрещено несомненно. Иностранным режиссерам не разрешают снимать правдивые фильмы об эпохе Мао. Писателям — правдиво писать о ней. Это свидетельство промывания мозгов, которое до сих пор происходит в Китае. Как можно ожидать, что у людей будет верное представление о той эпохе?

Р. Ш. Некоторые фильмы все же можно увидеть, например "Жить!" режиссера Чжана Имоу по книге Юй Хуа.

Ч. Ж. Его можно посмотреть в Китае?

Р. Ш. Да, диск можно купить на каждом углу. Не думаю, что фильм показывают в кинотеатрах, но для домашнего просмотра он абсолютно доступен, стоит 7 юаней[1].

1. Около 25 рублей.

Ч. Ж. Что ж, это очень меня огорчает: значит, люди все-таки что-то знают и тем не менее не хотят это принимать. Но я оптимистка, я думаю, это оттого, что они не знают точной меры ответственности Мао. Когда я сама писала в "Диких лебедях" о жизни при Мао, я не понимала, насколько он лично был ответствен за происходившее. Человек может посмотреть "Жить!" и все же не понимать, кто ответствен за все это.

Р. Ш. Разумеется, правительство ответственно.

Ч. Ж. Да, но что такое для них правительство? Это мадам Мао, Линь Бяо, "Банда четырех". Они могут думать, что Мао заблуждался. Конечно, умные люди, умеющие задавать вопросы, сочтут такое объяснение глупым. Но многие не мудрствуют лукаво, они в это верят. В Китае до сих пор довольно рискованно обличать Мао. И кроме того, этот Интернет... Он привлекает людей определенного рода... Я думаю, по-настоящему умные люди... Я разговаривала с необычайно умными людьми, когда собирала материал для книги "Мао", но они не высказывают свои взгляды на Интернет-сайтах, потому что не хотят подвергнуться преследованиям. Так что не думаю, что Интернет репрезентативен, особенно если речь идет о старшем поколении, которое помнит, какова была жизнь при Мао.

Р. Ш. Возникает еще такой вопрос. У меня сохранились детские воспоминания о жизни при Брежневе, до перестройки. Люди не могли позволить себе критиковать власть публично, но если бы человек стал воспевать советский строй дома или в компании близких друзей, окружающие были бы, мягко говоря, удивлены. Наоборот, существовала так называемая кухонная культура, люди выражали откровенное недовольство окружающей жизнью, в среде интеллигенции активно распространялся "самиздат" и "тамиздат". Мало кто знает все факты, скажем, о Сталине, но почти в каждой семье был кто-нибудь, кто пострадал при нем, и большинство понимало, что Сталин не мог не отдавать себе отчета в том, что происходит.

Ч. Ж. И какой же вы делаете вывод?

Р. Ш. Возможно, не все объясняется невежеством, отсутствием информации или страхом. Мне приходилось беседовать с молодыми людьми из континентального Китая и Гонконга (последние, кстати, имели возможность прочитать "Диких лебедей" по-китайски), и у меня сложилось впечатление, что они не боятся. Они просто по-другому смотрят на дело. Они считают, что не следует рассказывать "белым людям" (мне встретилось и такое выражение) то, от чего китайцы "потеряют лицо".

Ч. Ж. Все, что я могу сказать, — мир состоит из разных людей. У меня был совершенно иной опыт. Я отвечала на вопросы слушателей американского радио на китайском языке — и ни один не высказал отрицательного отношения к моим книгам вроде только что описанного вами. А их выбирали случайным образом из дожидавшихся своей очереди на линии. Наоборот, они просили меня: расскажите нам про Великий поход, про все эти страдания, про погибших, про ужасные события во Внутренней Монголии во время "культурной революции" и т. д., и спрашивали, напишу ли я об этом в "Мао". Из американской студии "Голоса Америки" я отвечала на вопросы слушателей из КНР — я была потрясена тем, что они имели возможность позвонить на "Голос Америки". Только один из них читал "Мао", и он назвал книгу "эпохальной". Другие не читали ни "Диких лебедей", ни "Мао", но выражали сильное не-

довольство нынешним режимом. Например, один слушатель сказал, что режим плох, потому что за лекарства надо платить. При Мао лекарства действительно были бесплатны, но лишь для городской элиты, не для крестьян, не для людей из городских низов. Но это другое. Тут просто дело в том, что у разных людей разные взгляды.

Р. Ш. Вы считаете, что это не имеет отношения к китайской культуре?

Ч. Ж. Нет. И подавляющее большинство людей, которых я знаю, не поклонники Мао. Типичная критическая реакция была такая: конечно, "Дикие лебеди" — замечательная книга, но мы все пережили нечто подобное. Против такой критики я не возражаю, думаю, это даже хорошо — значит, книга отражает судьбы многих людей. И еще о критике власти: вы сравниваете жизнь при Брежневе и современное китайское общество. Но между ними есть существенная разница. Сейчас люди в Китае могут путешествовать, вкусно есть, жить в хороших материальных условиях — что важно для китайцев, поэтому они не возражают против нынешнего порядка. Разумеется, я говорю о привилегированных горожанах. В последние годы жизни Мао ситуация была совершенно иной. Люди критиковали власти, хотя начали делать это лишь с 1975 года. Вот это напоминало Россию при Брежневе.

Р. Ш. Но это было всего за год до смерти Мао.

Ч. Ж. Да. Чтобы выступать с критикой, положение должно быть плохим, но не таким ужасным, что страшно открыть рот.

Р. Ш. Говорят, что народ имеет ту власть, которой заслуживает. Возможно, китайцы, довольные властью, позволившей им жить хорошо, и должны ее иметь?

Ч. Ж. Нет, думаю, они заслуживают лучшего. Это просто невежество. Они должны больше знать, тогда они поймут истинное положение вещей.

Р. Ш. Это и было посылом обеих ваших книг? Вы хотели рассказать читателям, кем Мао был на самом деле?

Ч. Ж. Главное — это было очень интересно. Настоящая детективная история, которую надо распутать. Прежде всего, меня подтолкнул интерес. Но, конечно, мы не писали книгу в вакууме. По сей день портрет Мао висит на площади Тяньаньмэнь, его имя упоминается в китайской конституции, и мы не могли на это не откликнуться.

Р. Ш. В чем, с вашей точки зрения, главное различие между Сталиным, Гитлером и Мао?

Ч. Ж. Мао не убивал людей из-за их расы, не расстрелял так много коммунистов, как Сталин, но он доводил их до смерти — медленной, ужасной, мучительной.

Р. Ш. Вы думаете, единственным мотивом, руководившим Мао, была жажда власти?

Ч. Ж. Да. Он не был идеалистом, совершенно не верил во все это. И коммунизм в значительной степени навязали нам русские.

Р. Ш. Может ли иностранное государство, внешняя сила навязать подобное другому народу, особенно такому большому, как китайцы?

Ч. Ж. У Мао была еще компартия, существовавшая на деньги русских.

Р. Ш. То есть коммунисты были просто предателями?

Ч. Ж. Нет, все было сложнее. Многие верили.

Р. Ш. Например, ваш отец.

Ч. Ж. Да, но он не входил в число основателей. Это было навязано китайцам, они не хотели этого.

Р. Ш. Есть ли взаимосвязь между коммунизмом и традициями императорского Китая?

Ч. Ж. Нет, это вещь сугубо в стиле XX века.

Р. Ш. Немало иностранцев говорили или писали о Мао и Китае при Мао во вполне положительных тонах. Они могли критиковать и критиковали его, но в то же время одобряли многие его действия. В чем причина? И говорите ли вы в своей книге что-нибудь хорошее о Мао? Или, по вашему мнению, он сделал столько зла, что о хорошем говорить бессмысленно?

Ч. Ж. А было ли в его действиях что-нибудь хорошее? Я считаю, что нет. А у западных исследователей просто не было достаточной информации.

Р. Ш. Мао исходил исключительно из циничных соображений, его ничто не волновало, кроме власти, правильно ли я передаю ваше мнение? Некоторые тираны в истории не отличали интересов страны от своих собственных — например, Людовик XIV, говоривший: "Государство — это я". Испытывал ли что-нибудь подобное Мао?

Ч. Ж. Нет. Знаете, когда мы начинали писать книгу, я не думала, что он был таким циником, я предполагала, что он во что-то верил. Но позднее, побеседовав со множеством людей, поняла: он не верил ни во что.

Джон Холлидей. Я бы добавил, что, с моей точки зрения, фраза "Государство — это я" не значит, что монарх воспринимает интересы народа как свои собственные; она значит только: "Я могу делать все что угодно, если государство и народ в моей власти".

Р. Ш. Как вы с Джоном распределяли обязанности, когда писали "Мао"?

Ч. Ж. Я работала с китайскими источниками и информантами, а Джон занимался всеми прочими языками.

Р.Ш. А сам текст?

Ч. Ж. Текст мы писали вместе.

Р. Ш. Как повлиял Джон на "Диких лебедей"?

Ч. Ж. Он повлиял на стиль, но также и на содержание книги: задавал множество вопросов, и мне становилось понятнее, что требует пояснения для западного читателя.

Р. Ш. Кто придумал "Диким лебедям" название?

Ч. Ж. Когда текст был готов, мы с Джоном задумались о названии, и тогда мне в голову пришли эти слова.

Р. Ш. Символично ли название? Связано ли оно только с иероглифом "Хун"[1] в вашем первом имени (Эрхун) и имени вашей матери (Дэхун)?

Ч. Ж. Это главная причина. К тому же звучит красиво.

Р. Ш. Думали ли вы о том, что в классической китайской поэзии он символизирует весть с родины?

Ч. Ж. Нет, но это вполне возможная интерпретация.

Р. Ш. Вы согласны с многими китайцами, которые называют вас "китайской писательницей, путешествующей и живущей в Англии"?

1. Иероглиф "Хун" — китайское название книги; традиционно его переводят "дикий гусь", но Чжан Жун выбрала более благозвучный вариант "дикий лебедь".

Ч. Ж. Да, мне это определение нравится. (*Улыбается.*)

Р. Ш. Видите ли вы в своей книге какие-либо специфически китайские черты?

Ч. Ж. Нет, думаю, она интернациональная.

Р. Ш. Есть ли у вас по отношению к Китаю патриотические чувства?

Ч. Ж. Все зависит от того, что называть патриотизмом. Мне, безусловно, небезразличен мой народ, чье дело не выслушали на суде истории. Он испытал множество страданий, но никто не знает их полной меры. Однако я не испытываю никакого пиетета перед этим государством, перед этой системой.

Р. Ш. Вы ощущаете себя больше китаянкой или англичанкой?

Ч. Ж. Пожалуй, все-таки китаянкой – в возрасте, когда формируется личность, я жила в Китае. Я не забываю о Китае, но британское общество очень терпимо, и мне здесь хорошо.

Р. Ш. Во введении к "Диким лебедям" вы говорите, что больше не смотрите на Англию сквозь розовые очки. Что вам в ней *не* нравится?

Ч. Ж. Тогда я только приехала в страну и идеализировала ее, но и теперь отношусь к британскому обществу с уважением и любовью.

Р. Ш. Попробую сформулировать вопрос иначе. Есть ли, по-вашему, в Китае что-нибудь хорошее, чего нет в Великобритании?

Ч. Ж. Если вы принадлежите в Китае к привилегированному среднему классу, то легче вызвать на дом водопроводчика и тому подобное, в каком-то смысле китайское общество эффективнее. И конечно же в Китае намного больше хороших ресторанов. Мама рассказывает, что сейчас в Чэнду еще больше роскошных ресторанов, чем в 1999 году, когда я там была. Вообще-то, те двадцать минут интервью, о которых вы просили, давно истекли. Так что давайте выключим диктофон.

Лев Аннинский
На *полях* Холокоста[1]

Заметки читателя

Уолтер Лакёр, издатель энциклопедии "Холокост", во вступительной статье пишет, что эта книга "освещает главным образом проблемы, а не персоналию или географию массовых убийств".

Проблемы? Да, освещает. Факторы и факты. Кто, как и почему. Остается последний, *проклятый* вопрос: а почему все это вообще оказалось возможно? Чем освещенней верхи, тем гуще тьма на дне проблемы. Что до "персоналии", то стоит, не прочтя еще ни одной статьи, всмотреться в фотографии. Там такая "персоналия", что не вдруг выдержишь. Глаза убийц. Глаза обреченных. Глаза случайных зевак.

Подпись под фотоснимком: *Литовские националисты поливают из шланга евреев, избитых во время погромов в Каунасе, чтобы привести их в чувство. Фото принадлежало германскому офицеру 290-й дивизии, убитому под Пустобродовом. 27 июня 1941.*

"География" налицо: немцы избивают до бесчувствия, литовцы приводят в чувство.

Интересно, что за человек был тот немец, который сделал этот снимок и хранил его? Для кого хранил? Для историков рейха? Для своей фройляйн? Продемонстрировать непреклонность вермахта в "окончательном решении еврейского вопроса"? А может, хотел милосердием похвастаться: вот, мол, литовцы покалеченных евреев отливают водой, и мы, немцы, разрешаем. Может, он еще и гуманистом был, тот немец? Убили гуманиста на пятый день войны. Получил персональное окончательное решение.

***

Еще из статьи Лакёра:

> Нельзя безоговорочно полагаться на отчеты нацистских органов, проводивших истребление евреев. Некоторые документы они уничтожили, а другие с самого начала не были точными. В конце концов, им поручалось истребить максимальное число людей в минимально короткие сроки, а не представлять точную отчетность.

Какие-то бумаги предусмотрительно уничтожили, в каких-то предусмотрительно наврали.

На "самом верху" — вообще никаких бумаг. Ни словечка, ни зацепки!

Хотел или не хотел Сталин в 1953 году депортировать евреев? Геннадий Костырченко архивы перепахал — ни приказа, ни указа... Так было или не было? Вроде было... но *что*? Не уличишь. Полунамеки, обиняки, выразительные взгляды, неуловимые интонации?

Когда-то в Угличе убили царевича Дмитрия. Историки стали доискиваться, не приказал ли Годунов. Ничего не нашли. Костомаров объяснил: никакого приказа и не нужно было царевым сатрапам — звериным нюхом чуяли, что царю выгодно, а что нет. Понимали все по взгляду, по вздоху.

"Окончательное решение" учинили не потому, что фюрер дал при-

© Лев Аннинский, 2006

1. Холокост: Энциклопедия / Перев. с англ. — М.: РОССПЭН, 2005.

каз, а потому, что огромное число потенциальных убийц почуяло: пробил их час. "Решения не фиксировались. Важные приказы отдавались устно".

***

При внутренней структуре нацистского режима и при постоянном соперничестве в среде его руководства любой акт радикального антисемитизма горячо поддерживался, поскольку служил личным и учрежденческим амбициям. Этот радикальный антисемитизм вылился в непрерывное соревнование в служении злу.

Это наблюдение помогает решить вопрос, столь часто задаваемый сегодня: были ли творцы и проводники антисемитской политики биологическими юдофобами лично? Ответ: необязательно. Были и те, и эти. И у нас и те и эти делали "общее дело". Моралисты пусть выбирают, кто хуже: Абакумов или Рюмин? Первый — цепной пес, выполнявший приказы, второй же пропах личной ненавистью к евреям настолько, что даже мешал такому прагматику, как Сталин, и тот в конце концов, не выдержав, сделал выбор: "Уберите от меня этого шибздика!"

***

Термин "антисемитизм" придумал немец. Энциклопедия "Холокост" имени не приводит, но оно известно из других источников: журналист Вильгельм Марр, пустивший это словечко в мир в конце 1870-х годов — незадолго до того, как в России убили либерального царя, "попустительствовавшего" евреям. Интересная параллель. В Германии термин есть, но погромов нет, и, кроме "пустых угроз" в памфлетах (во Франции этого добра еще больше), евреям ничего не навешивают. В России же термина нет, про "антисемитизм" слыхом не слыхивали, но громят с размахом и удовольствием, и именно после убийства царя-либерала. Это длится вплоть до 1917 года, когда Временное правительство (в котором нет ни одного еврея!) впервые в России принимает "государственный закон", "запрещающий антисемитизм в любом его проявлении".

Кажется, это единственный пункт, в котором Ленин следует своему земляку Керенскому. Советская власть в 20-е годы антисемитизм преследует и евреев эмансипирует — реально. С маленькой оговоркой: все пути открыты только евреям-коммунистам, открестившимся от иудаизма и вообще от всякой религии. На евреев, хранящих традиции и обычаи предков, эмансипация не распространяется. В ту пору эта тема граничит с анекдотом (сарказм поэта Багрицкого и юмор поэта Уткина тому иллюстрации). Лишь при Сталине этот сюжет возвращает себе зловещий смысл и — как убеждены авторы энциклопедии "Холокост" — из-за Гитлера. Тот в 30-е годы развернул антисемитскую программу, а этот, стремясь обезопасить себя от агрессии, подавал тому знаки к сближению... все на том же универсальном языке — антисемитском.

Не обезопасил.

Вопрос о том, какое зло меньше: Гитлер или Сталин — энциклопедия "Холокост" окончательно решает с помощью русской шутки 40-х годов: "Сталин за всю жизнь поверил только одному человеку — Гитлеру".

***

Антисемитизм — дно бездны. Кромешная темень. Проклятый вопрос мировой истории.

Были попытки решить? Были. Вот три свидетельства, оставленные просветителями:

В обмен на гражданские свободы евреи должны ассимилироваться в обществе и прекратить создавать "государство в государстве".

Все для евреев как личностей, ничего для евреев как нации!

Еврейские общины, сами того не желая, укрепляли традиционный отрицательный образ еврея.

То есть к евреям оказался неприменим нормальный этноюридический подход, когда нация имеет свое компактное место и равные права среди других. Евреи такое место имеют: это община. Вопрос в правах. Надо жить либо в общине (в гетто), либо в обществе (уйдя из гетто).

Квадратура круга! Стать членом общества значит перестать быть евреем. Остаться евреем значит чувствовать, как сквозь добровольную ассимиляцию прорастает "что-то", и ты все равно выпадаешь из круга, из ряда, из равенства. "Государство в государстве"! А забудешь — так тебе напомнят. Конечно, государство Израиль очерчивает магический круг, ставит себя в ряд с соседями. Но и тут история кровавым колесом напирает: мечта соседей — спихнуть это государство в море! Что уж говорить про диаспору, про галут: как ни ассимилируйся — разглядят: череп измерят, кровь высосут на анализ, в пятом поколении обнаружат нос, уши, губы. Да ведь потому в XX веке и взяли в расчет "гены", что "конфессии" перестали работать! Дух прикрывал — плоть выдала. ЧТО выдала? То, что звериным нюхом чуют антисемиты: что еврей ни при каких обстоятельствах не согласится забыть, что он еврей! Память рода неистребима. Она, генная память, у *всех людей* неистребима. И Никон помнил, что он мордвин, и Некрасов — что поляк, и Аракчеев — что армянин, и Борис Годунов — что татарин, и Николай Романов — что датчанин.

На евреев История просто нахлобучила этот искус памяти. Выйдешь из темницы кагала на свет цивилизации — и начнут тебя испытывать на "равенство", обратно в кагал заталкивать — да ведь ты вправду *и хотел выйти из общины, и не хотел.*

***

"Изнутри общины еврей может говорить все что угодно. Как только он покинет общину, в этом праве ему будет отказано". Эли Визель. Повесть "Горящие души", 1972 год.

И что же, на протяжении истории не было попыток решить эту проблему?

Были. Чемпионы толерантности, британцы, за 114 лет до Визеля предложили вариант — как сохранить овец в волчьем обществе, не превращая их в волков:

Евреям было гарантировано гражданское равенство, право на национальное вероисповедание, культуру и обычаи, отмена ограничений по этническому принципу и предъявления к евреям особых требований.

Все это хорошо, во-первых, на бумаге и, во-вторых, в относительно мирное время. В кровавое время истина обнажается.

***

В апреле 1944 года Хаим Вейцман обратился с письмом к Черчиллю... Он также был среди членов депутации, отправившейся 30.06.44 к Идену с требованием разбомбить комплекс Освенцим-Бжезинка или хотя бы железнодорожные пути к лагерю.

Оставим в стороне вопрос о личном отношении Черчилля и Идена к данной просьбе — он не вполне ясен. Но позиция Великобритании как Державы ясна вполне. Первое. Лучший способ помочь евреям, погибающим в лагере смерти, — выиграть войну поскорее, не отвлекая силы на попутные малозначащие операции. Второе. Сугубое внимание к погибающим евреям может вызвать у погибающих представителей других народов (например, у поляков) чувство, будто англичане жалеют их меньше. Третье. Если спасенные от гибели евреи наводнят Британию, это усилит у англичан антисемитизм. А правительство Ее Величества, как известно, с антисемитизмом борется.

Замечательная логика. Чтобы окончательно покончить с антисемитизмом, надо дать евреям погибнуть.

Ежи Эйхгорн, описавший отправку эшелонов в лагерь смерти в

1945 году, заметил, что даже одна бомба, разворотившая пути, помешала бы немцам вывезти какую-то часть смертников. Сколько-то жизней было бы спасено.

Британцы же полагали, что надо победить зло стратегически, не оттягивая победу из-за тактических задач.

Попробуй опровергни.

***

Валленберг отбросил всякую осторожность, когда банды нилашистов, прочесывая город в поисках евреев, стали врываться в дома, находившиеся под шведской защитой. Обнаружив евреев, нилашисты либо расстреливали их на месте, либо загоняли в товарные вагоны и отправляли в лагеря смерти. Обычно В. подъезжал на своем автомобиле к железнодорожным станциям, кирпичным заводам, гетто и др. сборным пунктам, откуда начинались депортации, и приказывал ответственному офицеру освободить арестованных, поименованных в зачитываемых им списках как имеющих шведские документы. Списки обычно к находившимся на сборных пунктах никакого отношения не имели, что сообразительные люди среди задержанных понимали сразу, немедленно отзываясь на выкликаемые фамилии. Ухищрение, как это ни удивительно, срабатывало не раз.

Интересно: а что чувствовали менее сообразительные, которые не успевали откликнуться на выкликаемые фамилии?

Найдется ли новый Шекспир на этот сюжет?

***

Как только депортированные сходили с поезда, им, как всем их товарищам по несчастью, говорили, что они прибыли в пересыльный лагерь по пути в трудовые лагеря, должны принять душ и продезинфицировать одежду, перед тем как двинуться дальше. Чтобы усилить иллюзию, им выдавали расписки на сданные деньги и ценные вещи. Место выгрузки было замаскировано под обычную железнодорожную станцию. Газовые камеры выглядели как душевые кабины, по периметру здания, где они располагались, были разбиты цветочные клумбы. Даже вход в камеры был замаскирован: на занавеске перед дверью красовалась цитата из 117-го Псалма: "Вот врата Господа; праведные войдут в них".

Палачи тоже люди: выяснилось, что солдатам вермахта психологически тяжело расстреливать в упор безоружных, особенно детей и женщин. Сжигать их заживо в запертых церквях и школах тоже было излишним зверством. Поэтому нашли менее болезненный способ уничтожения — газовые камеры.

Справедливости ради надо признать, что камеры эти первоначально изобрели вовсе не для евреев. Хотя впоследствии статистики подсчитали, что, например, в Освенциме из каждых десяти удушенных девять были евреи, один же удушенный — поляк, цыган или русский — свидетельствовал об объективности судей. Но первоначально камеры были спроектированы немцами для немцев же: убивали больных, неполноценных и вообще всех, кто не дотягивал до сверхчеловека. Этот метод очистки нации был признан гуманным и назывался эвтаназией. В войну продвинули газовые камеры на оккупированные территории. Построили стационары. Придумали душегубки на колесах: кузов автомашины, набитый людьми, запирается наглухо, туда пускают выхлопные газы от мотора; несколько минут — и можно вываливать трупы.

Вываливать трупы тоже было немецким воинам психологически тяжело. Поэтому для этой и подобной работы приспособили еще не удушенных евреев: составленные из них зондеркоманды опорожняли место, отмывали кровь и рвоту, чтобы следующие партии, загоняемые во врата Господни, не сразу догадывались, что их ждет, и не очень сопротивлялись перед вратами. В Терезине евреям-инженерам даже доверили спроектировать и построить газовую камеру. Опыт не оправдался: выяснилось, что евреи втихую саботируют работу. Пришлось отказаться от их услуг.

Газовые камеры совершенствовались. Подсчитали, например, что окись углерода убивает медленнее, чем цианид, поэтому первый вариант человеколюбиво признали более жестоким. Однако приходилось учитывать и то, что концентрация газа с каждым вдохом жертв уменьшается, а надо, чтобы жертвы успели умереть. Да и проветривать камеры приходилось. Кроме того, газ был тяжелее воздуха, он оседал на пол, обреченные люди, борясь за жизнь, затаптывали друг друга в надежде глотнуть под потолком свежего воздуха. Это был непорядок.

Разумеется, технические решения были бы найдены. Разгром помешал. Пришлось заметать следы: уничтожать всю эту технику. Не все успели: Красная Армия наступала слишком быстро.

***

Профессор Клауберг разработал метод массовой стерилизации посредством одноразовой инъекции в матку химических препаратов. Тысячи узниц Равенсбрюка и Освенцима были подвергнуты этому испытанию. В результате погибло множество еврейских и цыганских узниц. Клауберг доложил Гиммлеру о готовности стерилизовать за один день тысячу заключенных. Для этого нужен один врач и десять ассистентов.

Когда читаешь отчеты о нацистских медицинских экспериментах, ужас постепенно притупляется, атрофируется, переходит в какой-то тупой читательский ступор. От этой математики (тысяча подопытных — десять ассистентов — один врач) в моей памяти встал числовой фантом. Сколько дочек было у доктора Геббельса и его жены фрау Магды? Всех угробили родители перед тем, как покончить с собой в апреле 1945 года! Когда я впервые узнал об этом, пожалел девочек — они-то чем виноваты?

Что-то вывернул во мне доктор Клауберг своими подсчетами. Один — десять. Один — шесть. Шесть миллионов евреев угробили в Холокосте. Шесть девочек угробили доктор Геббельс и его фрау. Кто из них убивал, кто ассистировал?

Господи, прости меня за это бешенство подсчетов. Немцы — великие математики. Заражает.

***

"Христианин, обратившийся в иудаизм, считался евреем". Это — из гитлеровской юридической практики относительно полукровок и прочих замаскировавшихся неарийцев.

Интересно: кричали о голосе крови, о расе, о генах, измеряли черепа, плевать хотели на конфессиональную приписку, которую, как известно, можно поменять. А дошло дело до обратного случая, когда ариец перешел в иудеи, — и его тоже к стенке.

Наперсточники — пальцы в крови.

***

Лет сорок назад врезалась мне в память фраза, которой Стэнли Крамер "повернул" свой фильм "Нюрнбергский процесс" с лукавой казуистики на честную правду: какой-то неунывающий военнопленный немец, из нижних чинов, услышав в столовке спор экспертов, обернулся к ним и весело уточнил:

— Убить не проблема, проблема — убрать трупы!

Энциклопедия "Холокост" подводит базис под эту проблему:

Переработка тел была главной проблемой для многих центров уничтожения. В Майданеке, как и во многих других лагерях, поначалу трупы хоронили в общих могилах. В июне 1942-го построили два небольших крематория, но они не справлялись с такой массой тел. В итоге пришлось сжигать тела на открытом воздухе на специально сложенных кострах. При этом использовали метод, усовершенствованный в Треблинке: над глубокой ямой укладывали решеткой железные рамы от грузовиков, а сверху чередующиеся слои тел и дров. Затем костры поливали бензином или метанолом и поджигали. В конце концов, построили большие крематории с пропуск-

ной способностью 1000 тел в сутки. К 1943 году единственными ограничениями для процесса уничтожения в Майданеке служили поломки механизмов и нарушения железнодорожного графика.

Еще за четверть века до этого подобным же образом решили проблему большевики, угробившие в Екатеринбурге царя Николая с семьей и челядью. Свежие трупы горели плохо, тогда сообразили положить их слоями вперемежку с дровами и полить бензином. Дело пошло веселее.

***

"Всем известно, что Святой престол не в состоянии усмирить Гитлера".

Примиренческое отношение Ватикана к нацизму "всем известно" настолько, что любой из нас выдвинет список грехов Святого престола, начиная с Конкордата, подписанного кардиналом Пачелли, и кончая отказом защищать евреев, когда кардинал стал Папой Пием XII.

Можно, однако, составить и параллельный список. Туда войдут: попытки Папы предотвратить войну в 1939 году, в частности отговорить итальянское правительство вступать в нее. Попытки уговорить американское правительство увеличить квоту на прием еврейских беженцев из Европы. Попытки спасти венгерских евреев в 1944 году, когда в Будапеште стали хозяйничать немцы. Все безуспешно.

Можно разделить: частные усилия католиков, которые на свой страх и риск прятали евреев, не дожидаясь папских инициатив, и надежды тех же католиков, что проблему может решить только Папа, не ниже.

Можно учесть и то, что защищать Папе надо было не только иудеев, но и самих католиков, на которых еще раньше, чем на иудеев, обрушилась секира эвтаназии, — защищать иудеев, не защищая католиков, было немыслимо. Защитить же не удавалось ни тех, ни этих.

На такие попытки гитлеровская власть либо вообще не обращала внимания, либо демонстративно усиливала репрессии — как в Голландии в 1942 году, когда в ответ на пастырское увещевание гитлеровская администрация выловила евреев, прятавшихся в монастырях, и отправила в Освенцим.

Гитлеровская власть то ли свирепость демонстрировала, боясь выказать слабость, то ли силу, уверенная в том, что немцы и прочие обыватели в оккупированной Европе поддерживают гитлеризм как реальность, а католицизм игнорируют как призрачность. Возможна другая пара: неминуемое зло и миновавшее добро.

Пока идет война, ситуацию не переменить, Папа это знает. И за евреев не вступается.

***

Гестапо было слишком малочисленным, чтобы следить за всем населением, оно получало большую часть информации от простых немцев, которые доносили на своих сограждан в спецслужбы. Однако большинство доносов возникало не из политических соображений, а от кипения мирских страстей, таких, как стремление избавиться от нежелательного супруга или соседа, имущественная зависть или сведение старых личных счетов.

No comment.

Разве что два слова заменить: во-первых "гестапо" и во-вторых "немцы".

***

Величайшая загадка состоит не в том, как "окончательное решение" еврейского вопроса могло сохраняться в тайне так долго (какая там тайна: то, что евреи "исчезали", было очевидно, и о том, куда они "исчезали", было достаточно свидетельств. — *Л. А.*), а в том, почему было такое сильное НЕЖЕЛАНИЕ — со стороны как евреев, так и неевреев — признать, что происходит систематическое массовое убийство.

Многим из "неевреев" было просто не до евреев — сами выживали под бомбежками, еле сводили кон-

цы с концами, не рассчитывали дожить до утра.

Не до евреев было и западным политикам, которые рассчитывали дожить не только до утра, но и до конца войны: им принять факт геноцида значило принять к обсуждению тезис Гитлера, будто мировую войну развязало мировое еврейство, и тогда пришлось бы это обсуждать с Гитлером как с партнером. Проще было добить Гитлера, чтобы "еврейский вопрос" не обсуждать с ним вообще. Пусть Германия капитулирует, а не качает права на еврейском вопросе.

Но главная причина, почему в геноцид *не поверили*, – другая.

Немыслимо было поверить.

Поверить могли в гигантский погром, в неуправляемую ярость масс – но не в то, что разработан и выполняется последовательный план физического уничтожения целой нации. И план этот разработан в недрах одного из талантливейших и культурнейших народов в мировой истории. В середине XX столетия мировой истории. После Христа.

Нужно было впасть в полное отчаяние, чтобы в такое поверить. А поверив – повеситься.

***

Энциклопедия ответила на тысячу вопросов. Кроме одного, проклятого.

Я все о том же: как все это вообще оказалось возможно? Нет ответа. Значит, ждать повторения?

Национальная литература столетия: стереорама

Энциклопедический словарь английской литературы XX века / Ответственный редактор А. П. Саруханян. — М.: Наука, 2005. — 542 с.

Издание, как справедливо отмечено во "Введении", уникально и не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, включая саму Великобританию. Статьи-персоналии здесь естественно и легко сопрягаются со статьями, в которых рассмотрены характерные для английской литературы в этом столетии жанры, традиционные (например, "готическая проза") и новые (например, антиутопия), а также литературные движения, направления, группировки. Самостоятельно представлены такие существеннейшие для Великобритании слагаемые литературной жизни, как детская литература или литературная критика. И нигде еще столь обстоятельно (и богато) не были у нас отмечены литературно-критические периодические издания, оказавшие значительное влияние на литературный процесс XX века. В Англии это влияние особенно ощутимо в силу традиционной специфики литературной полемики — достаточно вспомнить дебаты между представителями романтизма в XIX веке на страницах журналов и альманахов. Я уже не говорю о статьях про писателей, не одобрявшихся, если не впрямую запрещенных, при коммунистическом режиме, — Оруэлле, Конквесте, Ишервуде, Кёстлере, Уиндеме Льюисе, ряде других. Здесь много новых имен, в советском и российском литературоведении не освоенных, но и к ряду писателей, о которых, казалось бы, все давно известно и сказано, найдены новые подходы, так что их творчество предстает в новом неожиданном ракурсе — см. статьи о Харди, Киплинге, Уэллсе, Толкиене, Голсуорси, Гр. Грине.

Впервые в нашем литературоведении достойное место в справочнике заняли мастера национальных литератур Великобритании, существующих на английском языке, — литератур Уэльса и Шотландии. Наше литературоведение всегда как-то пренебрегало этими авторами, сосредоточиваясь на "магистральном пути", то есть на собственно английской литературе. Правда, если бывал идеологический "заказ" отметить "прогрессивные тенденции", то и Л. Г. Гиббон, сделавший одного из центральных персонажей своей трилогии "Шотландская тетрадь" коммунистом, и Хью Макдиармид, автор трех "Гимнов о Ленине" (никак, между прочим, не связанных с теорией и практикой Ильича и коммунистической доктриной!), удостоивались благожелательного упоминания. В связи с этим хочу отметить статьи В. Скороденко об этих авторах, где им воздано должное как мастерам, которые в полной мере послужили шотландской литературе.

Я вижу этот словарь как великолепную мозаику, составленную из разновеликих фрагментов смальты. Они слагаются в своей совокупности в целостное панно, по сути же — в панораму великой национальной (или многонациональной, но на английском языке существующей) литературы. Даже не в панораму: со всеми перекрестными отсылками, "перекличками", наложениями, повторениями в разных контекстах и сопряжениями — в стереоскопический образ, своеобразную литературную стереораму. Рада отметить в числе

творцов этой раскованной и объемной картины как моих ровесников и старших современников – безвременно ушедшего А. Зверева, не только американиста, но и блестящего англиста, вообще невероятного эрудита, свободно "обживавшегося" во многих литературах, М. Кореневу, Т. Красавченко, В. Ряполову, И. Васильеву или того же В. Скороденко, не говоря о "душе" этого великолепного проекта, Алле Павловне Саруханян. Рада отметить и тех, кому хочется сказать "здравствуй, племя младое, незнакомое", – К. Бузылеву, М. Свердлова (он великолепно чувствует ткань стиха) или О. Маркову, предложившую новое понимание ряда крупных явлений британской прозы.

У нас долго писали историю английской, то есть существующей на английском языке, как точно определено во "Введении", литературы. От истоков до середины XX века – в трех томах и пяти книгах (академическое издание 1943–1958 годов), плюс том "Английская литература 1945–1980" (1987). Эта "Энциклопедия" вносит объективные коррективы в третий и дополнительный тома и, по сути, завершает процесс. Будем надеяться, что и по некоторым другим великим национальным литературам итоговые – включая век XX – истории будут закончены и опубликованы еще на наших глазах.

Недостатки "Энциклопедического словаря" напрямую связаны с его структурой и достоинствами, если не являются продолжением последних. Насколько я понимаю, возникла, скажем, "обойма" авторов не англичан, обогативших послевоенную английскую литературу, – и из этой "обоймы" непонятным образом выпали стоявший у истоков явления Уилсон Харрис и появившаяся на свет в Вест-Индии Джин Рис (1890–1975), хотя с каждым годом значение ее наследия, например, романов "Путешествие во тьме" (1934) или "Широкое Саргассово море" (1966), возрастает в "цене", а изучение ее творчества включено в Великобритании в школьные и университетские программы. Между научной фантастикой и фэнтези (невнятно по-русски звучит этот термин, быть может, лучше было бы просто – "фантастическая проза"?) потерялась классик обоих жанров и крупная писательница Сильвия Таунсенд Уорнер. Не удостоились внятного упоминания или вообще обойдены молчанием мастера рассказа Манро "Саки", Джон Кольер, Роалд Дал, Фрэнк Тьюохи, Пенелопа Джиллиат, Джон Дэвид Бересфорд или даже Уильям Сэнсом и Брайен Гленвилл, хотя все они заслуживают, на мой взгляд, персональной статьи, двое последних – в первую очередь. Добавлю, у меня лично вызывает недоумение то, что в словаре даже не упомянуты (см. "Указатель имен") весьма известный в свое время и поныне читаемый Майкл Арлен, поэт и прозаик Лори Ли или Элизабет Тейлор, автор 11 романов и 4 сборников рассказов, тезка и однофамилица знаменитой американской киноактрисы, которая, кстати, одного упоминания удостоилась – за исполнение роли в экранизации романа Грэма Грина "Комедианты". Прекрасно, что в словаре нашли отражение "опальные" жанры, по инерции исключавшиеся из большой, или серьезной, настоящей и т. д., литературы (тот же детектив, "готика", научная фантастика, фантастика сказочная), но детектив занял все же непропорционально много места.

И уж как там ни относись к "поттериане" и ни входи в положение редакторов, которых на заключительном этапе катастрофически подгоняли сроки, но в самую последнюю минуту если не персональную статью, то хотя бы абзац о Джоан Ролинг в конец обзорной статьи "Детская литература" вставить было просто необходимо.

В таком издании подобные небольшие – по сравнению с корпусом и качеством сделанного авторами и редакторами словаря – накладки, понятно, неизбежны. И, добавлю,

легко устранимы при переиздании. Как и "производственные" огрехи – например, на титульном листе отсутствует фамилия ответственного редактора или в трех статьях, персональной и двух "жанровых", название романа Дорис Лессинг дано в трех разных переводах на русский язык.

О переиздании я говорю не случайно. Тираж книги – 700 экземпляров. Такое количество для такого справочника, который должен стоять на полках библиотек хотя бы всех значительных российских гуманитарных (пусть просто филологических и педагогических) институтов и университетов, смехотворно мало. Российские библиотекари уже который год упорно твердят о необходимости радикально изменить систему книгораспространения и библиотечного комплектования в стране (в Советском Союзе с этим все было нормально в "производственном" отношении). Сегодня тираж распродан, причем за пределы Москвы ушло, дай бог, если полсотни экземпляров. Очень хочется верить, что при допечатке тиража (или втором издании) этот словарь разойдется по России и попадет в руки тех, кому он нужен в самую первую очередь.

Е. Гениева

Все о нем

Томас Бернхард. Все во мне... Автобиография / Перев. с нем. Р. Райт-Ковалевой, В. Фадеева, Т. Баскаковой, Е. Михелевич; Послесловие А. Белобратова. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006. – 576 с.

Вышло новое издание произведений Томаса Бернхарда (1931–1989), классика австрийской литературы, одного из всемирно известных немецкоязычных прозаиков и драматургов минувшего века. Повести и рассказы Бернхарда публиковались в "ИЛ"[1], в сборниках "Австрийская новелла XX века", "Искусство и художник в зарубежной новелле XX века", отдельно были изданы драматические произведения; в 2000 году петербургское издательство "Симпозиум" выпустило роман "Стужа" в переводе В. Фадеева. Новая книга объединяет пять автобиографических повестей Бернхарда, написанных в 70–80-е годы. Три повести, вошедшие в пенталогию, переизданы, это "Причина: прикосновение" и "Подвал: ускользание" в переводе Р. Райт-Ковалевой и "Ребенок как ребенок" в переводе Е. Михелевич. "Причина" – повесть о времени, проведенном Бернхардом-подростком в интернатах: нацистском в конце войны, затем в католическом. "Подвал" – история о том, как Бернхард бросил гимназию и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь в продуктовой лавке на окраине Зальцбурга. Повесть "Ребенок как ребенок" переносит нас в более ранние времена: достигнув пятидесятилетнего возраста, Бернхард переоценивает многие впечатления своего детства. Повести "Дыхание: выбор" (перевод В. Фадеева) и "Холод: изоляция" (перевод Т. Баскаковой) на русском языке публикуются впервые. В них идет рассказ о тяжелой легочной болезни, которую Бернхард перенес в юности, оказавшись в ситуации выбора между жизнью и смертью и, одновременно, осознания смысла своего собственного бытия и творческого начала своей личности. Бернхард – явление в современной прозе настолько яркое и противоречивое, что многое, безусловно, еще ожидает специального исследования. Творчество писателя посвящено исключительно крупным, глобальным проблемам – это жизнь и смерть, искусство, природа и взаимоотношения с нею человека. Произведения Бернхарда отличает глубокая тематическая и стилистическая цельность, строгая, буквально

1. "ИЛ" 1983, № 11 и 2003, № 2.

"архитектурная" завершенность, но сюжеты всегда просты, и это понятно, так как автора не интересует действие, зачастую оно и вообще отсутствует, а место внешних событий занимают факты и процессы внутренней жизни одного или, реже, двух-трех персонажей, облеченные в форму монологов. Проза Бернхарда во многом продолжает линию великих австрийцев Ф. Кафки, Р. Музиля, Г. Броха, погружая читателя в мир искаженный, на глазах разваливающийся, стремящийся к первозданному хаосу. Писатель оперирует выстроенными понятиями, эстетика которых основана прежде всего на мысли, не на ощущениях — это разумное (raisonnable) искусство, как говорил о пластическом языке своей живописи Пикассо. Онтологии, дополняя ее, противостоит мир повествования, "рассказывания", в котором совершенно нет гладкости, напротив, идет бесконечная правка текста, неустанный поиск слов и образов с единственной целью — приблизиться к подлинной сути человека, не допустив и малейшей фальши. Благодаря этому особому типу повествования создается эффект "никогда не виденного", мы как бы заново открываем для себя знакомое и привычное: одни образы предстают объемно и видятся близко, другие словно удалены, что-то лишь намечено, а что-то выписано со скрупулезной точностью каждой детали. И, как при взгляде на картины Дж. Де Кирико, не удается понять, в силу каких причин пространство, изображенное, казалось бы, в согласии с законами перспективы, подавляет, гнетет. Быть может, потому, что человек несоизмеримо мал и беспомощен перед лицом неотвратимой смерти, внезапной тяжелой, неизлечимой болезни. Однако осознание трагизма ситуации не вызывает отвращения, скорей испытываешь благоговейный страх, как перед величественным и прекрасным зрелищем стихийной катастрофы. Сумрачные краски Бернхарда, сквозь которые проступает графически четкий образ, словно позаимствованы с палитры Пауля Клее — густо-багровое с темными зияниями, полными мглой, в которой угадывается бесконечность. И надо всем "начертано слово "рок"" (пишет о художнике Р. М. Рильке в письме В. Гаузенштейну). "...Подобно тому, как потерпевшие кораблекрушение или зажатые в полярных льдах, превозмогая себя, стремятся до последней минуты заносить на бумагу свои наблюдения и переживания, чтобы их жизнь прочертила след на чистых полях листа, куда раньше еще никому не удавалось добраться", он "предстает регистратором всех взаимосвязей и соучастий в явлениях этого мира, хотя последние сами по себе уже бессвязны, и отворачиваются от него <...>"[1]. Эти слова можно отнести и к мироощущению Бернхарда-рассказчика. В автобиографических повестях Бернхард не раз упоминает о своем намерении лишь честно и неэмоционально зафиксировать некие процессы своей жизни, дать беспристрастную реконструкцию собственного прошлого в духе нон-фикшн, если употребить современный термин. Но это лишь одна сторона его автобиографической прозы, к тому же здесь стоит сделать поправку на характернейшую черту Бернхарда — склонность к гиперболам, природа которых обусловлена его художническим принципом, непримиримой враждебностью по отношению к банальности, в данном случае к набившей оскомину "исповедальной прозе" современного мемуарного жанра. "Одухотворенность художественного вещества поэзии" (Дм. Мережковский), обернувшаяся в пенталогии холодностью, суровой материальностью и усложненностью текста, не связана непосредственно с сюжетами, хотя писатель именно повествует, ведя рассказ в медленном темпе (и этим также достигается эффект подлинности переживания), не камуфлируя, напротив, подчеркивая свое стремление к реалистическому жизнеподобию. Каждая повесть — исто-

1. Р. М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. — М., 1971. С. 274–275.

рия об определенном событии или эпизоде, оказавшемся принципиально важным для всей дальнейшей жизни автора, и в совокупности они образуют сложную ткань с густым и объемным переплетением. Избегая травмирующих натуралистических описаний, Бернхард спокойно представляет нам реальность, в которой уже нет ни боли, ни страсти, а остались лишь их отзвуки или отражения, подобные странным снам: человек видит себя вчуже и сознает, что окружен пространством, где ему не уйти от скрытой или явной опасности, где "даже самое страшное, и жестокое, и невыносимо отвратительное" — не фантазия, а данность. "Наблюдая и вглядываясь, я смог преодолеть это состояние", — пишет Бернхард. То, что перед глазами, — и есть естественный ход событий, таков окончательный вывод.

В повести "Дыхание: выбор" (1978) Бернхард рассказывает, как в юности начертил себе схему жизни, от которой и не отступал (изучение торгового дела, занятия музыкой). Болезнь смела́ наивные планы взять в руки собственную жизнь. Исход легочного заболевания предрешен, но не столько это, сколько страх за любимого деда, тяжело заболевшего и лежащего в той же клинике, неотвратимо увлек молодого человека на экзистенциальную грань, сломив что-то в его душе... В больнице властвует умирание, здесь каждый день и каждую ночь умирают; это лазарет, больничная палата? — нет, "усыпальня", "умираловка", рассказчик пристально наблюдает "полубытие" еще-не-умерших, дед же просто называет больницу адом. Бернхард ничего не разъясняет читателю, как и во всех своих книгах, он ждет от нас трудной, серьезной работы, если угодно — участия в создании текста, в котором все явственнее проступает авторское философское обобщение: Голгофа ждет всех и каждого, она сотрет любые индивидуальные черты. Неслучайны в этой связи и упоминание рассказчика о том, что при поступлении в больницу он, восемнадцатилетний парень, не мог вспомнить собственный день рождения, и тот (подлинный) факт, что в объявлении о смерти матери Бернхарда исказили ее фамилию. Но за сошествием в ад следует Воскресение. К изумлению врачей, обреченный выжил. Генерал, фермер, трактирщик, почтальон — все они умерли. Умер и дед. "Теперь ты должен встать и бороться в одиночку", — говорит себе автор, выводя свою, обратную блоковской, формулу: "Познай, где тьма, — поймешь, где свет". По мысли Бернхарда, художник, писатель, творец время от времени должен уходить в "зону углубленных размышлений", "медитативное пространство", каким может быть больница, тюрьма или монастырь. Таково непременное условие, без которого творческая личность не состоится, ибо она потеряет смысл своего предназначения и при всех стараниях не сможет "пробиться сквозь поверхностную оболочку явлений". Итак, выбор сделан, начинается медленное возвращение к жизни. На прогулках (за несколько дней до Пасхи) выздоравливающий новыми глазами смотрит на идиллические пейзажи Австрии. Теперь он знает — у всякой идиллии есть "своя изнанка, свой гнойничок, своя адская воронка. Тому, кто в нее заглянет, надо остерегаться подавляющей силы смерти, но я-то, прошедший через ад <...>, уже не подвергался смертельной опасности..."

В повести "Холод: изоляция" (1981) Бернхард снова борется и одолевает болезнь, но на этот раз решительному повороту к жизни предшествует долгий путь от смирения со своей участью и ненависти ко всему, что здоро́во, до осознания того, что полагаться нужно только на себя: "Я никому не доверял — и, можно сказать, именно благодаря этому выздоровел". Но и не только — выздоровление началось, лишь когда Бернхард понял, что "должен взять болезнь в свои руки и, главное, взять ее в голову — вопреки врачам..." и обособиться от обреченных смерти. Обе повести — бернхардовский эпикриз воли к жизни, ее

зарождения в момент наибольшей близости к смерти и сознательного выбора, более трудного, чем безвольная смерть, – жить дальше, пребыть в творчестве.

Волею судьбы повесть Бернхарда "Дыхание: выбор" стала последней опубликованной при жизни работой замечательного переводчика Владимира Владимировича Фадеева. Это не просто превосходный русский язык – текст отличает предельное внимание к стилистическим краскам каждого слова, выверенность синтаксиса, естественность живой интонации и продуманное чередование отрезков текста, создающее ритм, который удивительным образом совпадает с ритмом дыхания рассказчика и нашим. С легкостью решена сложнейшая задача – выдержать однородность трудного бернхардовского стиля, неброского, лишенного орнаментальности и эффектных стилистических приемов, вроде бы не дающего переводчику – как и в прозе Кафки и Германа Броха, – опоры или хотя бы зацепки. При внешне спокойной интонации перевод воссоздает бернхардовский экзистенциальный морок, исподволь заволакивающий все плотный туман, от которого вдруг становится трудно не читать – дышать. Таковы, к примеру, наполняющие душу тихой жутью образы безымянных и безликих больничных сестер, ибо по существу это парки, определяющие, кому из пациентов оставаться в палате среди живых, а чье место в покойницкой...

Владимир Фадеев ушел непостижимо рано, внезапно, в расцвете творческих сил. В 2000 году он блестяще перевел роман Бернхарда "Стужа" (1963). Высочайшая филологическая культура и щепетильная честность по отношению к авторскому тексту – наверное, это важнейшее качество всех переводов Владимира Фадеева – стихотворений Георга Тракля и Теодора Крамера, иронической поэзии Эриха Кестнера, Вальтера Меринга и Иоахима Рингельнаца, романов Густава Мейринка и современных австрийских писателей, представленных в серии "Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге" (в 1991 году она открылась переводом В. Фадеева), – Роберта Шнайдера, Марианны Грубер, Франца Иннерхофера, Альфреда Коллерича. Во всех текстах, но, пожалуй, явственнее всего в переводах из Бернхарда, чувствуется их органическая связь, более того, укорененность в поэтическом творчестве переводчика. "Дыханию", наверное, более всего созвучна глубоко трагическая тональность переводов из Г. Тракля ("Беда людская", "На родине", "В деревне") с тем отличием, что их трагизм окончательно, абсолютно безысходен и уже нет речи о спасительном выборе:

Часы бьют пять, начало и конец,
И одиноких страх берет за горло,
В садах ветров не умолкают
сверла,
Маячит за окном мертвец.
.....
Порожний гроб теряется во мгле.
Убийце и в ночи хватает света,
Согнула буря фонарей скелеты.
И кто-то белый с лавром на челе[1].

Беда людская

Галина Снежинская

1. Г. Тракль. Стихотворения. Проза. Письма. – СПб.: Симпозиум, 1996. С. 125, 127.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Бонфильоли К. *Эндшпиль Маккабрея*: Роман / Пер. с англ. М. Немцова. — М.: Эксмо, 2006. — 320 с. — (Книга о которой говорят). 10000 экз. (п)

Из жизни скупщиков краденых шедевров, бывших разведчиков, гедонистов и извращенцев. Чарльз Маккабрей подходит под все эти определения. Плюс ко всему он еще чертовски остроумен, обаятелен и постоянно впутывается в рискованные дела. Рядом с ним верный дворецкий Джок, "анти-Дживз", как его характеризует сам Маккабрей. Джок не столь остроумен и элегантен, зато силен, как бык, и превосходно готовит. А покушать Маккабрей любит. Редкий случай, когда и сюжет, и описание деталей, и юмор, и перевод — все на самом высоком уровне.

Перес-Реверте А. *Мыс Трафальгар*: Роман / Пер. с исп. Н. Кирилловой. — М.: Эксмо, 2006. — 368 с. — 20100 экз. (п)

Бах! Бах! Ба-бах! Два флота, франко-испанский и английский уничтожают друг друга в знаменитом бою у мыса Трафальгар. Артуро Перес-Реверте знает, как писать военно-исторические романы. Побольше выстрелов, взрывов, мужественных суровых офицеров и непременно парочка юнг и гардемаринов, которые впервые участвуют в битве и на все смотрят круглыми от удивления глазами. Такой выбор героя позволяет автору сделать вид, будто он не знает, чем кончится дело и кто победит. Нам предлагают картину сражения, увиденную с бортов испанского линейного корабля "Антилия". На самом деле этот корабль в битве не участвовал, да и вообще серьезные историки описывают ход сражения немного не так, но в литературе победителей не судят. А литературная победа остается за Пересом-Реверте.

Осака Го. *Косые тени далекой земли* / Пер. с яп. Л. Ермаковой. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 576 с. — 5000 экз. (п)

Еще одна японская книжка, на сей раз детектив. Не то чтобы сюжет был особенно захватывающим и хорошо прописанным. Нет, эта книга ценна другим; она интересна так же, как интересны "Хождение за три моря" Афанасия Никитина или дневники Марко Поло. Это забавный взгляд раскосых глаз на европейскую цивилизацию. Японец, наш современник, описывает чужой для него мир и отмечает достоинства и недостатки. А поиски золота Испанской республики, исчезнувшего на полпути в Советский Союз, — дело десятое.

Энквист П. У. *Книга о Бланш и Мари*: Роман / Пер. со шведск. А. Савицкой. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. — 280 с. — 2000 экз. (п)

Мари — это не кто иная, как дважды лауреат Нобелевской премии Мари Кюри, а Бланш — ее помощница, в молодости любившая психиатра Жана Мартена Шарко (того самого, который дал свое имя пресловутому душу). Бланш за время работы у Кюри-Склодовской слишком часто имела дело с радиоактивными материалами и потеряла руку и обе ноги, но и одной руки ей хватает, чтобы писать воспоминания о великом психиатре. Странный роман: сюжет тонет в деталях, но при этом текст читается вполне легко. А еще роман Энквиста полон символов. Радий — символ любви. И то и другое начали профессионально изучать в конце XIX века. А бедняжка Бланш пострадала и от того, и от другого.

Хёг П. *Ночные рассказы* / Пер. с дат. Е. Красновой. — СПб.: Симпозиум, 2005. — 416 с. — 5000 экз. (п)

Одна из первых книг прославленного и загадочного датчанина. Девять рассказов, и во всех текстах действие разворачивается ночью 19 марта 1929 года. Место действия меняется — это может быть Бельгийское Конго, Копенгаген, Лиссабон или Париж. Рассказы могут быть как сюжетными, так и бессюжетными, в них могут появляться как выдуманные герои, так и реальные исторические персонажи. Такое впечатление, что Хёг в этом сборнике тренировался, оттачивал свое мастерство, но главное у него уже получилось: мастерски передать мимолетные ощущения.

Смит З. *Собиратель автографов*: Роман / Пер. с англ. Д. Благова. — М.: Издательство Ольги Морозовой; СПб.: Амфора, 2006. — 494 с. — 4000 экз. (п)

Вторая книга Зэди Смит, переведенная на русский язык. История про полуеврея-полукитайца, который для души увлекается каббалой, а для денег собирает автографы звезд с тем, чтобы потом перепродавать их как можно дороже. Мисс Смит погружает нас в тонкости рисования каббалистических схем и в способы добычи заветных росчерков голливудских звезд. Англичане, что критики, что читатели, остались в полном восторге. Я же, скорее, в недоумении, хотя роман местами написан очень остроумно.

Бачко Б. *Как выйти из Террора? Термидор и революция* / Пер. с фр. и послесловие Д. Бовыкина. — М.: BALTRUS, 2006. — 348 с. (Библиотека Французского ежегодника). — Тираж не указан (о.)

Книга эта интересна сразу по двум причинам: с одной стороны, серьезное историческое исследование, где события Великой французской революции анализируются не по чужим рассказам, а по печатным и архивным документам того времени. Но с другой стороны, "Как выйти из Террора" — произведение глубоко современное, можно сказать, злободневное. Рассказывая о том, как французы конца XVIII века шли к своему Термидору, то есть свержению диктатуры Робеспьера, Бачко не забывает, что Термидор бывает у всякой революции. В предисловии к русскому изданию он специально касается вопроса о том, когда именно наступил в XX веке русский Термидор. Бачко, ныне профессор Женевского университета, а некогда — варшавский историк, постепенно превратившийся из коммуниста в изгоя-диссидента, судит об этих проблемах не понаслышке.

Иванов А. *Повседневная жизнь французов при Наполеоне* / Вступ. ст. А. П. Левандовского. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 351 с. (Живая история: Повседневная жизнь человечества). 5000 экз. (п.)

Как у многих книг "Молодой гвардии", замысел превосходный, а вот исполнение хромает. Само по себе появление оригинальной, а не переводной книги о Франции можно только приветствовать. Наполеон ведь нам не чужой. В его жизни Россия сыграла большую и, прямо скажем, трагическую роль, а он — точнее, миф о нем — кружил головы многим русским людям и литературным героям, от пушкинского Германа до Раскольникова. Книга Андрея Иванова чрезвычайно богата фактами и цитатами. Цитирует Иванов и русских, и французов, и беллетристов, и мемуаристов. Больше того, можно сказать, что он уместил под одной обложкой две книги: не только "повседневную жизнь французов при Наполеоне", но и краткое жизнеописание Наполеона на фоне французской жизни. Вот только стиль зачастую коряв, главы сшиты, что называется, на живую нитку, а цитируемые фрагменты автор толкует "с точностью до наоборот".

Джон Бэнвилл
John Banville
[р. 1945]. Ирландский прозаик, критик, журналист, лауреат Букеровской премии [2005].

Автор повести *Длинный Лэнкин* [*Long Lankin*, 1970], романов *Ночное отродье* [*Nightspawn*, 1971], *Доктор Коперник* [*Doctor Kopernicus*, 1976], *Письмо Ньютона: интерлюдия* [*The Newton Letter: An Interlude*, 1982], *Призраки* [*Ghosts*, 1993], *Афина* [*Athena*, 1995; рус. перев. 2001], *Неприкасаемый* [*The Untouchable*, 1997; рус. перев. 2003], *Затмение* [*Eclipse*, 2001; рус. перев. 2004] и др. В *ИЛ* был напечатан его роман *Улики* [*The Book of Evidence*, 1995, № 2].
Публикуемый роман печатается по изданию *The Sea* [Great Britain: Picador, 2005].

Збигнев Ментцель
Zbigniew Mentzel
[р. 1954]. Польский писатель, эссеист.

Автор двух сборников эссе *Под чертой* [*Pod kreską*, 1990] и *Шахматный слон* [*Laufer*, 1998] и сборника малой прозы *Опасное орудие в устах* [*Niebezpieczne narzędzie w ustach*, 2001].
Публикуемая повесть печатается по изданию *Wszystkie języki świata* [Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005].

Павел Моисеевич Грушко
[р. 1931]. Поэт, драматург, эссеист, переводчик с испанского, каталанского и английского языков.

В его переводе издавались произведения Луиса де Гонгора-и-Арготе, Лопе де Веги Карпио, Хуана Рамона Хименеса, Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти, Хосе Марти, Хосе Лесама Лимы, Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара, Дилана Томаса, Уистена Хью Одена, Ричарда Уилбера, Роберта Пенна Уоррена и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *ИЛлюминатор* [2000].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, а также поэтов XVII–XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Джон Эшбери
John Ashbery
[р. 1927]. Американский поэт и арт-критик. Лауреат *Пулицеровской* премии [1975], *Национальной книжной* премии [1975], *Национальной премии критики* [1975], *Боллингеновской* премии [1985] и др.

Автор более 20 поэтических сборников, среди них *Клятва в зале для игры в мяч* [*The Tennis Court Oath*, 1962], *Реки и горы* [*Rivers and Mountains*, 1965], *Апрельские галеоны* [*April Galleons*, 1979], *Ты слышишь ли, птица?* [*Can You Hear, Bird?* 1995], многих книг по искусству.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук.

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Ж. Гина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и коммента-

Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

тор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор многих работ по английской поэзии рубежа XVI-XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Ян Эмильевич Пробштейн
[р. 1953]. Поэт, переводчик поэзии с английского, итальянского, испанского и польского языков, литературовед. Кандидат филологических наук, магистр сравнительного литературоведения (CUNY Graduate Center, New York).

Автор семи книг оригинальных стихов. Составитель, автор предисловия и комментариев, редактор и один из основных переводчиков *Собрания стихотворений Эзра Паунда* [2003]. В его переводах публиковались стихи Дж. Марстона, Т. Траэрна, У. Блейка, П. Б. Шелли, Дж. Китса, Дж. М. Хопкинса, Т. С. Элиота, Э. Паунда, Унгаретти, Саба и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Андрей Васильевич Шарый
[р. 1965]. Журналист, эссеист, сотрудник Радио "Свобода".

Автор посвященных проблемам бывшей Югославии книг *После дождя. Югославские мифы старого и нового века* [2002], *Трибунал. Хроника неоконченной войны* [2003], *Молитва о Сербии. Тайна смерти Зорана Джинджича* [2005] и сборника путевых заметок *Четыре сезона* [2006]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Бора Чосич
Бора Ћосић
[р. 1932]. Сербский писатель, прозаик, эссеист, в настоящее время живет в Берлине. Лауреат многих югославских и международных литературных премий.

Автор цикла "семейных" романов *Роль моей семьи в мировой революции* [*Улога моје породице у светској револуцији*, 1967; рус. перев. 2000], *За что боролись* [*Зашто смо се борили*, 1972; рус. перев. 2000], *Загребский анализ* [*Загребачка анализа*, 1991], а также повести *Таможенная декларация* [*Царинска декларација*, 2000], ряда философско-сатирических эссе и др. В *ИЛ* были напечатаны фрагменты книги *Словарь попа Теодора* [2004, № 3].
Публикуемый фрагмент взят из книги *Наставники* [*Тутори*. Београд: НОЛИТ, 1982].

Миленко Ергович
Miljenko Ergović
[р. 1966]. Хорватский поэт, прозаик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Обсерватория Варшава* [*Opservatorija Varšava*, 1988], *Небесная команда* [*Himmel comando*, 1992], *По обледеневшему мосту* [*Preko zaledenog mosta*, 1996] и др., прозаических сборников *Сараевские "Мальборо"* [*Sarajevski Marlboro*, 1994], *Мама Леоне* [*Mama Leone*, 1999]. В *ИЛ* был опубликован его рассказ *Могила* [2000, № 5].
Публикуемые рассказы взяты из книги *Сараевские "Мальборо", Караваны и другие истории* [*Sarajevski Marlboro, Karivani i druge priče*. Zagreb: Durieux, 1999].

Джевад Карахасан
Dzevad Karahasan
[р. 1953]. Боснийский писатель, литературовед и театровед, лауреат премии им. Гёрдера, премии *За европейское взаимопонимание*, присуждаемой Книжной ярмаркой в Лейпциге и др.

Автор романов *Восточный диван* [*Istocni diwan*, 1989], *Перстень Шахрияра* [*Sahriarov prsten*, 1994], *Сара и Серафина* [*Sara i Serafina*, 1999] и др., а также сборников рассказов, пьес, более ста работ по литературоведению и театроведению. На русском языке публикуется впервые.
Эссе взято из его *Книги садов* [*Knjiga vrtova*. Zagreb, 2002].

Грэм Свифт
Graham Swift
[р. 1949]. Английский писатель.

Автор романов *Хозяин кондитерской* [*The Sweet-Shop Owner*, 1980], *Игрушка судьбы* [*Shuttlecock*, 1981], *Земля воды* [*Waterland*, 1983, литературная премия газеты *Гардиан*; рус. перев. 2003], *Отныне и навсегда* [*Even After*, 1992, французская литературная премия *За лучшую иностранную книгу года*], *Вне этого мира* [*Out of This World*, 1998]. В *ИЛ* напечатаны романы *Последние распоряжения* [*Last Orders*, 1998, № 1] и *Свет дня* [*Light of the Day*, 2004, № 8] и рассказы из сборника *Учимся плавать* [*Learning to Swim and Other Stories*, 1997, № 2].

Тибор Фишер
Tibor Fischer
[р. 1959]. Английский писатель.

Автор романов *Под лягушкой* [*Under the Frog*, 1993, премия *Бетти Траск*], *Философы с большой дороги* [*The Thought Gang*, 1994; рус. перев. 2002]. В *ИЛ* опубликован его рассказ *Злоумышленники* [*The Getaway Lunch*, 1995, № 10] и роман *Коллекционная вещь* [*The Collector Collector*, 1999, № 8].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Дж. Китса, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Чжан Жун
Jung Chang
Английская писательница китайского происхождения. В 1978 г. уехала учиться в Англию. В 1982 г. первой из граждан КНР защитила докторскую диссертацию в английском университете.

Ее литературный дебют оказался на редкость удачным — *Дикие лебеди* стали на Западе самой читаемой книгой о Китае. В 2005 г. выпустила совместно с мужем Джоном Халлидеем книгу *Мао: неизвестная история* [*Mao: The Unknown Story*]. В *ИЛ* напечатаны фрагменты ее книги *Дикие лебеди, или Три дочери Китая* [*Wild Swans: Three Daughters of China*, 2005, № 9].

Роман Георгиевич Шапиро
[р. 1978]. Переводчик с английского.

В его переводе была опубликована повесть Э. Бёрджесса *Долгий путь к чаепитию* [2000]. В *ИЛ* в его переводе печатались очерки Оливера Сакса *Случаи из практики* [2001, № 3], фрагменты книги Чжан Жун *Дикие лебеди, или Три дочери Китая* [2005, № 9].

Лев Александрович Аннинский
[р. 1934]. Литературный критик, публицист.

Автор книг *Ядро ореха* [1965], *Обрученный с идеей* [1971], *Зеркало экрана* [1977], *Тридцатые – семидесятые* [1977], *Охота на Льва* (*Лев Толстой и кинематограф*) [1980], *Михаил Луконин* [1982], *Контакты* [1982], *Солнце в ветвях. Очерки литовской фотографии* [1984], *Лесковское ожерелье* [1986], *Три еретика* [1986], *Билет в рай* [1989], *Локти и крылья* [1989], *Отлетающий занавес* [1990], *Шестидесятники и мы* [1991], *Серебро и чернь* [1997], *Барды* [1999], *Русские плюс...* [2001], *Крепости и плацдармы Георгия Владимова* [2001], а также многих статей о литературе и кино. В *ИЛ* публиковались его статьи *Лев Толстой на за-*

рубежном экране [1978, № 7], *Переобретение свойств* [2004, № 5] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин [р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премий *Инолит* [1994] и *Единорог и Лев* [2006].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актов* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* М. Спарк [2005, № 12] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986] и польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ напе*чатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повести Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8] и др.

Аркадий Трофимович Драгомощенко
[р. 1946]. Поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премии Андрея Белого [1978], премии электронного журнала *Post modern culture* [1995].

Автор многих поэтических книг, среди них: *Небо Соответствий* [1990], *Description* [1990], *Xenia* [1993], *Фосфор* [1994], *Описание* [2000], *На берегах исключенной реки* [2005], романа *Китайское солнце* [1997] и др. В его переводах публиковались стихи М. Бланшо, Р. Крили, Ч. Милоша, М. Палмера, Ч. Олсона, Б. Уоттена, Л. Хеджинян, Дж. Эшбери и др.

Александр Уланов
[р. 1963]. Поэт, критик, переводчик.

В его переводах публиковались Дилан Томас, Р. Данкен, Э. Фостер, Л. Шварц, К. Кулидж, М. Мёрфи, П. Валери. Также им опубликованы три книги стихов, книга прозы, более 200 статей в *Знамени*, *Новом литературном обозрении*, *Русском журнале* (www.russ.ru) и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Игоревна Ковалева
Филолог, критик, переводчик с греческого и английского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2004].

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002] и *Юбилейный гимн* [2003]. Переводила стихи и прозу Г. Сефериса, К. Кавафиса, стихи О. Элитиса, М. Сахтуриса, Т. С. Элиота и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ага Шахида Али [2003, № 1], К. Кавафиса [2004, № 8], Г. Павлопулоса [2005, № 1]. Ею подготовлен Литературный гид *Сеферис, или путь Одиссея* [2005, № 6].

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Боры Чосича *Роль моей семьи в мировой революции* и *За что боролись*, а также роман Момо Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе опубликованы фрагменты книги Боры Чосича *Словарь попа Теодора* [2004, № 3].

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Елена Львовна Солодовникова
Публицист, переводчик с хорватского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины боснийского художника Мерсада Бербера [р. 1940] *Большой чертеж КРИК (Хроника Сараево)* [1984].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2105.
Тираж 7350 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[11] 2006

РОМАН ДЖОНА БЭНВИЛЛА “МОРЕ” / ПОВЕСТЬ ЗБИГНЕВА МЕНТЦЕЛЯ “ВСЕ ЯЗЫКИ МИРА” / ИСПАНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПЕРЕВОДЕ ПАВЛА ГРУШКО / ДЖОН ЭШБЕРИ В РУБРИКЕ “ДРУГАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “БАЛКАНЫ. ПЕЙЗАЖ РАЗВАЛИН” / “НА ПОЛЯХ ХОЛОКОСТА” — СТАТЬЯ ЛЬВА АННИНСКОГО

РЕКЛАМА

№8

non/fictio№8

Восьмая Международная Ярмарка интеллектуальной литературы

29 ноября – 3 декабря 2006

Центральный Дом Художника, Москва

Гость ярмарки – Израиль

Организатор: Компания «ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты»

119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165

Тел./факс: (495) 238 4516

E-mail: mailbox@expopark.ru, http://www.expopark.ru

Генеральный информационный партнер

Главный интернет-партнер Yndex

Главные информационные спонсоры НЕЗАВИСИМАЯ РАДИО РОССИИ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ EXPO-PARK

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №10, 1-304